ДИДРО



А. Акимова

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

Жизнь замечательных людей

Серия биографий

ОСНОВАНА
В 1933 ГОДУ
М. ГОРЬКИМ

ВЫПУСК 12
(368)

МОСКВА
1963

А. Акимова

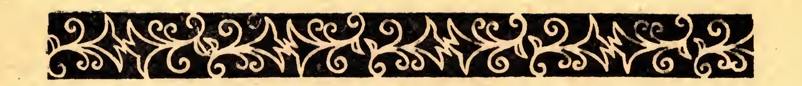
ДИДРО

ИЗДАТЕЛЬСТВО
ЦК ВЛКСМ
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ





I

Наследство

История — великая мастерица на совпадения. Надо же, чтобы Дени Дидро родился в том самом 1713 году, когда государство Людовика XIV объявило себя банкротом!

Последние два года царствования короля-солнца называли годами мира. Еще бы! Король был стар и слаб. Он не знал, как выпутаться из последней войны. Уступил Англии свои владения в Ньюфаундленде, в Новой Голландии, в Гудзоновом заливе и, главное, свое влияние. Испанские Нидерланды перешли к Голландии, что тоже не сулило ничего доброго.

Но слово «мир» правильнее было бы заменить словом «агония». Агонизировал дряхлый король, переживший и сыновей, и внуков, и собственную популярность, — когда он, наконец, в 1715 году умер, в церквах служили благодарственные молебны. Агонизировал вместе с ним и старый порядок, как называли абсолютизм.

Государственные расходы в пять раз превышали доходы. Вот почему не только в 1713-м, а еще дважды — раньше, в 1710-м, и позже, в 1715-м, королевское казначейство объявляло себя несостоятельным и прекращало платежи. Пахотные земли зарастали сорняками, а люди, которые могли бы их обрабатывать, умирали с голоду.

За границу не вывозили уже французских гобеленов, но еще не вывозили французских идей. Вольтер был юношей. Первенство и здесь перешло к Англии, где буржуазная революция на целый век опередила французскую. Театр, поэзия, скульптура — все пришло в упадок. В 1713 году заказы на картины поглотили, — нет, этот глагол не подходит! — зачерпнули всего тысячу ливров[1], менее одного процента суммы, истраченной в 1681-м.

И никакой надежды не было, что дела поправятся. Расточительность двора все возрастала. Чего стоили хотя бы ответственные должности хранителя королевской трости или двух наблюдателей за королевским ночным горшком! Любой из этих постов оплачивался в двадцать тысяч ливров ежегодно.

И, конечно же, каждый, кто только мог, норовил получить от короля пенсию и добиться уплаты своих карточных долгов.

А мошенничество самых высокопоставленных особ, процветавшее повсюду! Первые дамы королевы увеличивали свои доходы продажей недогоревших свечей. Один адмирал собирал в свою пользу налог с якоря каждого судна, входившего в порт.

Не меньше денег, чем королевский двор, поглощали и маленькие «версали» вельмож светских и духовных. Когда король оказывал маркизу Субизу честь, обедая и ночуя у него, гостеприимному хозяину августейший визит обходился в двести тысяч ливров (причем сто пятьдесят ливров стоила одна яичница из фазаньих яиц).

Агония старого порядка, правда, затянулась еще на семьдесят шесть лет с рождения Дидро. Новый король был всего на три года его старше, и, не считая регентства, самостоятельное царствование Лю-

---

[1] Во Франции в то время были в ходу следующие деньги: ливр — серебряная монета, введенная в 1719 году; франк, не чеканившийся, но употреблявшийся как единица исчисления и примерно равнявшийся ливру; экю золотой, называвшийся еще луидор; экю серебряный, равнявшийся половине золотого и шести ливрам; пистоль, равнявшаяся луидору; и мелкая монета — денье.

довика XV продлилось полвека. Остальные восемнадцать лет, до подготовленного Дидро и его друзьями падения трона, престол Франции занимал Людовик XVI.

Да, старый порядок был очень тяжело болен, когда в книге прихода Сен-Пьер городка Лангра появилась запись, гласившая, что 5 октября 1713 года от рождества Христова у ножевых дел мастера метра Дидье Дидро и его законной супруги Анжелики, в девичестве Виньерон, родился второй сын, Дени.

Семья Дидро не принадлежала к первым двум сословиям — духовенству и дворянству и тем более к первым десяти тысячам Франции. Но из двухэтажного дома с мансардой в приходе Сен-Пьер просителей с пустыми руками не отсылали. В Лангре все говорили, что метр Дидье милосерден и нищие его обожают.

К счастью, метру Дидье было из чего подавать. Богатство уже не являлось, как прежде, привилегией двух первых сословий. Богатым мог стать и буржуа, даже если он не был ни откупщиком, ни владельцем мануфактуры. Семью Дидро можно было причислить по меньшей мере к зажиточным.

Вообще-то говоря, цехи из-за общего оскудения получали все меньше и меньше заказов. Но у самого искусного и самого уважаемого из лангрских ножовщиков недостатка в заказах не было. Метр Дидье изготовлял хирургические инструменты. «Способствовать операциям — это у нас фамильное», — говаривал его сын, когда стал взрослым и готовил операцию общества.

А его отец был одним из тех, кто нуждался в этой последней операции. Он как бы совмещал в себе все слои третьего сословия. Был не только ремесленником, но и продавцом собственного товара. Естественно, что он не мог сам жить в трех своих домах — в Лангре, Шампани и Кооне — и, сдавая их, получал арендную плату. Не мог он сам и обрабатывать все свои земли, тем более что ему не помогал ни один из сыновей.

Мастерскую и лавку метра Дидье посещали не

одни заказчики и покупатели. Сюда приходили мастера всех цехов и коммерсанты, адвокаты, нотариусы, и далеко не всегда бескорыстно. Порой их приводила необходимость занять денег. Перечень должников метра Дидье, не расплатившихся с ним до самой его смерти, — это перечень самых старинных и почтенных семейств Лангра. Среди них мы встретим и его родственников — Виньеронов, Юмбле и его соседей и добрых знакомых — Дюран, Десгре, Роберов, Тавено, Дюбуа. За готовность всем помочь ножовщика прозвали «провидением» города.

Но так или иначе не приходится удивляться, что, когда метр Дидье в возрасте семидесяти четырех лет 4 июня 1759 года скончался, дети его унаследовали тридцать тысяч ливров в контрактах, пшеницы на сорок тысяч ливров, три дома, ножевую мастерскую с полным оборудованием, ножевой товар, невостребованную арендную плату за несколько лет и не уплаченные ему долги.

Дидро назвал общую сумму оставленного его отцом наследства — двести тысяч ливров, состояние по тем временам значительное. Но для него в отцовском наследстве гораздо важнее было другое.

Вскоре после смерти старика Дидро писал из Лангра своему другу Гримму: «У отца моего было приблизительно шесть тысяч ливров ренты. Это много для провинциала, который начал свою жизнь, не имея ничего... Бедным родственникам он помогал, пока был жив... Поддерживал других несчастных, которые долго будут его оплакивать. В его состоянии не нашлось бы ни одного гроша, приобретенного неправедно».

Нет данных, какими были доходы метра Дидье с 1713 по 1728 год, когда Дени мальчиком жил у своих родителей в Лангре. Но надо полагать, что состояние ножовщика было и тогда достаточным, если он мог себе позволить ссужать хорошими инструментами и незадачливых хирургов. Своевременность уплаты его не тревожила. Он интересовался прежде всего успешным ходом операции.

Портрет ножовщика потерян. Те, кто этот портрет видел, говорили, что метр Дидье изображен на нем в парадном платье и парике, с разукрашенной табакеркой. Но не прав ли его сын Дени, утверждая, что в те дни и часы, когда метра Дидье не наблюдал художник, вместо праздничного камзола на нем были рабочие куртка и фартук, голову покрывал не парик, но колпак мастерового, а руку он держал не на табакерке, а на колесе точильного станка?

Каждый будний день Дидье Дидро можно было увидеть у окна его мастерской за работой. Рядом с ним двое подмастерьев. И нет решительно никакого сомнения в том, что у своей наковальни или точильного станка он проводил несравненно больше времени, чем в гостиной, в мягком кресле с подлокотниками, как изобразил его портретист.

Можно было бы, вероятно, изобразить его и в тележке, на которой он объезжал свои виноградники и своих фермеров. И окруженным людьми, пришедшими к нему за советом. И на коленях с молитвенником в руках в церкви Сен-Мартэн. И за книгой счетов. Словом, отец Дидро, как и большинство людей, не был похож на головку сыра — где ни разрежешь, все одно и то же.

Собственноручное завещание Дидье Дидро, составленное 21 июня 1750 года, за девять лет до его смерти, хранится в архиве департамента Верхней Марны в фонде Вандель, дочери Дени Дидро. Написано оно на шести листах бумаги среднего формата и представляет собой документ настолько достопримечательный, что не привести его хотя бы в выдержках просто невозможно. «Во имя отца и сына и святого духа я, Дидье Дидро, прошу мою дочь Денизу исполнить мою волю и сделать то, о чем я дальше пишу собственной рукой.

Прежде всего я поручаю мою душу богу, властителю неба и земли, и моему спасителю, просителю за меня, его божественной доброте, его смерти и его страданиям, властителю нашему — Иисусу Христу и прошу простить мне с великим его милосердием мои грехи и принять мою душу в число спасен-

ных. О том же прошу святую Марию, достославных апостолов святого Петра и святого Павла, моего патрона, достославного мученика, святого Дидье, святого Иосифа, покровителя умирающих, святого Элуа, покровителя моего ремесла, и всех святых, населяющих рай, прошу заступиться за меня. Только их молитвам и заступничеству я могу быть обязан прощением и отпущением всех моих грехов. Все свои упования возлагаю на милосердие моего господа, к нему обращаю все мои надежды».

Это могло бы быть принято за положенную проформу, если бы затем, после распоряжения похоронить его как можно скромнее на кладбище часовни Террасс, прихода святого Петра и святого Павла, рядом с могилами его отца, матери и супруги, не следовала просьба заказать отцам якобитам, отцам кармелитам и отцам капуцинам по двадцать заупокойных месс и дать отцам капуцинам десять ливров, чтобы их община молилась за упокой его души. Если бы по крайней мере еще две страницы не были отданы перечислению монашеских орденов, церквей, капелл и святых, которым Дидье Дидро завещал те или иные вклады, чтобы служились заупокойные мессы, покупались восковые свечи и покрывала. Так, одну мессу он просил приурочить к празднику святого Элуа, а другую — к годовщине дня, когда было перенесено тело святого.

Если достопочтенные отцы якобиты не захотят принять его вклад в церковь или монастырь, пусть эта сумма будет истрачена в память о его жене на обучение одного ребенка ремеслу. Только пусть выберут такого ребенка, который и нуждается и способный.

В одном из писем отцу Дени — тогда уже безбожник, — не решаясь прямо отвращать старика от религии, советует ему меньше молиться, но больше подавать милостыни. Как мы видим, и милостыня не забыта в завещании, хотя отнюдь не в ущерб молитвам.

Не забыл метр Дидье завещать и свой молитвенник латинский, и свой молитвенник французский, и

маленький «Часослов» на французском языке, который привез ему «Дидро парижский», как старик называет Дени.

Завещатель просит Серет — домашнее прозвище Денизы — давать слепому Тома каждую неделю по два су и шесть денье — эту сумму он уже давно дает нищему, — но с условием, что тот будет читать заказанные ему метром Дидье молитвы.

«Я желаю, чтобы по десять ливров было роздано ножовщикам Лангра — тем, которые работали на меня, и тем, кого я привлек к своему ремеслу, тем, кто не должен десяти ливров, и тем, кто должен больше десяти, а также ремесленникам Ножена, работавшим на меня; пусть дадут десять ливров всем, кто в них нуждается», — говорится дальше.

Метр Дидье завещает разделить его рабочие блузы между кузенами Виньеронами, если тем они пригодятся, а те, которые останутся, отдать кузену Депрей — ножовщику.

Не забывает он и кузена Вишара, завещая ему рабочую куртку, штаны и один из костюмов, видимо парадных.

В книге его счетов лежит билет, подписанный им и его женой Анжеликой. По нему получит триста франков Элен Брюле, их старая служанка, если переживет своих хозяев.

Не обошел метр Дидье милостями и своих арендаторов. Что же касается его сыновей — Дени Дидро-старшего и Дидье Пьера Дидро-младшего, он им напоминает, сколько денег уже на них потратил. Дидро-старшему за двадцать лет его пребывания в Париже в разные сроки выслал больше десяти тысяч ливров. (За такое время это, прямо скажем, немного.) Не забывает завещатель и о ренте с этой суммы. На Дидье Пьера, пока тот учился в семинарии, было потрачено три тысячи ливров.

Несмотря на эти расходы, подсчитанные со скрупулезностью буржуа, он, по божьей милости, может еще кое-что оставить своим детям, рассчитывая, что они удвоят его наследство. Дени он желает сохранить свои таланты и извлекать из них прибыль, не забыв

тут же упомянуть, что тратил на него больше, чем на его сестру монахиню и на его брата аббата.

В конце метр Дидье просит дорогих детей разделить его наследство, пребывая в мире и согласии, наказывает им любить бога, друг друга и всех людей, быть милосердными к бедным и, в частности, к бедным родственникам.

Дени еще не успел после смерти отца приехать в Лангр, как ему выслали это завещание.

25 июня 1759 года он пишет Гримму: «Это документ, над каждой строчкой которого я плакал», — и приводит вправду замечательное место: «Я никому ничего не должен, но если кто-нибудь предъявит какое-нибудь требование — платите. Лучше, чтобы кто-нибудь на этом свете имел мое, чем чтобы у меня было что-нибудь чужое там, куда я ухожу».

Это правило очень близко к жизненным правилам Дени Дидро, с той разницей, что он и на этом свете щедро раздавал свое, не пользуясь чужим.

И весь его комментарий к отцовскому завещанию характеризует самого Дени, его бескорыстие и человечность, еще больше и, главное, еще лучше, чем покойника.

То место завещания, где говорится о билете в триста франков для старой служанки, Дидро перефразирует так: «Вы обеспечите существование Элен — она жила в нашем доме, когда вас еще не было».

Наследие души покойника было словно бы разделено между его сыновьями так же, как дома, земельные участки, виноградники и ножевой товар. Младшему достались религиозность, им умноженная и направленная во зло; Дидье Пьер знал также и цену деньгам. Старшему — отцовские человечность, справедливость, совестливость, честность, редкая способность хорошо влиять на людей. Мы еще узнаем, каким Человеком с большой буквы был «Дидро парижский».

Старший сын унаследовал от отца и редкостное трудолюбие, приумноженное им в отличие от ренты. В этом же письме Дидро защищается от упреков

Гримма в том, что делает слишком много дел сразу.

Метр Дидье славился в Лангре и как превосходный рассказчик. Его слушали целыми вечерами не одни домочадцы, но и родственники, и соседи, и знакомые. Не отсюда ли и ораторский и повествовательный дар его сына?



II. Роза и наковальня

Мастерская ножовщика Дидро представляла собой для того времени то же, что для нашего — инструментальный цех или завод точных инструментов, с тем различием, что круг точильного станка вместо электрического привода, не говоря уже об автоматике, приводил в действие слепой, а может быть, и умная собака.

Сын метра не стал ножовщиком. Но пониманием техники, интересом ко всем ремеслам он, несомненно, был обязан своему происхождению. Лангр был средоточием металлургов и металлистов. Это теперь на площади Дидро, названной так в честь не ножовщика, но его знаменитого сына, да и во всем городе нет ни одного подобного предприятия. Они производили слишком много шума, и их вывезли в соседний городок Ножен.

Кстати, о шуме. Метр Дидье сказал однажды Дени: «Мой сын, мы оба производим слишком много шума в мире. Разница лишь в том, что шум, который производите вы, лишает покоя вас, а шум, который произвожу я, лишает покоя других».

Вы можете найти эту фразу в диалоге Дени Дидро «Разговор отца со своими детьми»; отец — это отец автора, а дети — он сам, его сестра Дениза и брат-аббат. Но эта фраза не совсем точна, потому

что шум, который производил сын метра, тоже лишал покоя и других.

А вот аллегория, связанная с профессией отца Дидро. Ножовщики населяли Лангр с XIII столетия. У каждой фамилии была своя печать или фирменная печать, как бы эмблема: большая корона, голова оленя, имя Иисуса, королевский жезл. Фамильной маркой Дидро была наковальня, на ней два перекрещенных молотка, роза и жемчужина. Можно ли подобрать эмблему более подходящую для того, кто ударял молотом своих речей и своих сочинений по наковальне народного возмущения, насаждал красоту, такую же подлинную и совершенную, как роза, и стал жемчужиной Франции и человечества?!

Но кто из жителей Лангра мог это предвидеть, когда каждое воскресенье семья Дидро после большой мессы в церкви Сен-Мартэн совершала свою традиционную прогулку по городу? Метр Дидье в праздничном камзоле и парике шествовал впереди, держа двух младших детей за руки. Жена следовала за ним с двумя другими. Процессию замыкал Дени, ему было тогда лет двенадцать. Мальчик отличался живым, быстрым умом, переменчивостью настроений, непоседливостью, неугомонностью, шумливостью.

Если погода была ясной, метр Дидье показывал детям вырисовывавшиеся вдалеке Альпы. Потом семейство переходило в крытую галерею.

На углу улицы Сент-Антуан — ее потом переименовали в улицу Дидро — ворота Мельницы. Они так же, как главные ворота Лангра, украшены статуей Святой девы. Их фронтон, их бельведер — такие архитектурные достопримечательности, что путешественник, въезжающий в город со стороны Бельфор, не может им не залюбоваться. Залюбовались бы и мы с вами.

Направо — фонтан Фей, налево — дорога в Бузон. Стоит еще раз повернуть направо, и откроются ворота Девяти и ворота святого Дидье со статуей Святой девы Лангрской. Они-то и считались главными воротами города.

Прогулка обычно завершалась в парке Бланш-

фонтан. Он начинался сразу за воротами Мельницы и своими куртинами напоминал воинственный Версаль. Дени это очень нравилось.

Не только во времена этих воскресных прогулок, но и много позже, когда Дидро приехал в родной город вскоре после смерти отца, земляки, хотя и радушно и почтительно принимали философа, отдавали предпочтение покойному ножовщику.

— Вы хороший человек, мосье Дидро, — сказал ему, повстречавшись на улице, старый знакомый, — но, если вы надеетесь когда-нибудь сравняться со своим отцом, вы глубоко заблуждаетесь.

Было бы просто неловко доказывать, что заблуждался он. Но и отец Дидро, чему приведены доказательства, пользовался уважением. К сказанному можно добавить: репутация метра Дидье в Лангре была такова, что его постоянно приглашали разбирать чужие ссоры. Так поступали даже люди, лично с ним не знакомые. Это звучит горько, потому что чужие ссоры-то он разбирал, а к своей не знал и как руки приложить. Больше десяти лет метр Дидье был в жесточайшей ссоре с любимым старшим сыном.

Но до ссоры еще далеко — речь о ней впереди. Пока Дени еще мальчик и слушается своих родителей.

Кто в Лангре не знал, где жили Дидро, кто не бывал у них? Мемориальную доску прикрепили было не к тому дому на площади Шамбо, теперь это площадь Дидро, 6, в приходе Сен-Пьер, где Дени Дидро родился, а к другому — на улице Ришелье, в приходе Сен-Мартэн, куда они переехали тремя годами позже и где родился его брат Дидье Пьер. Может быть, так поступили потому, что тот первый дом отец философа всего-навсего арендовал, а этот приобрел в собственность у королевского нотариуса Пьера Жакино и его супруги Клары Деселе. Да и жили Дидро в том втором доме куда дольше! Виноваты же в этой ошибке, по-видимому, историки города Лангра — Вальфарден и Миньоре.

Но ошибка была рано или поздно обнаружена,

и мы можем если не осмотреть, то хотя бы представить себе дом, где Дидро родился.

Окна второго этажа совсем маленькие, не больше слуховых окошек. Над мансардой, где, надо думать, жил Дени ребенком, — чердак. На первом же этаже снаружи ниша со статуей. Скорее всего она изображала святого Дидье, покровителя Лангра. Ножовщик, окрещенный в честь этого святого, считал его и своим покровителем.

К двухсотлетию со дня рождения Дени Дидро — а еще не все признают пользу юбилеев — генеалогию великого человека проследили до конца XVI столетия. Не удалось, правда, установить, был ли ножовщиком первый из известных нам Дидро — Антуан, родившийся в 1596 году и скончавшийся в 1664-м. Но зато доподлинно установлено — сохранился акт, — что от двух браков у него было четырнадцать душ детей и что его сын Никола уже наверняка был ножовщиком.

Ножовщиками были второй сын Никола -- Дидье и Жан, старший сын Дидье от второго брака, и его младшенький, женатый на мадемуазель Дидьер Колин.

Один из сыновей Антуана от второго брака, Дени, был тоже женат дважды, причем первый раз на дочери ножовщика, мадемуазель Николь Белинь. Она родила ему восьмерых детей, в том числе Дидье — отца нашего Дени. Произошло это немаловажное для нас событие 14 декабря 1685 года. Дидье был третьим ребенком в семье.

Не достаточно ли у нас оснований считать профессию ножовщика фамильной профессией рода Дидро? Но каких еще занятий не встретишь у этих крепышей! Бочары и цирюльники, книготорговцы и священники, стекольщики и адвокаты, мастера, выделывавшие замшу, и мастера, которые плели канаты, кожевники, каретники.

И решительно ничего удивительного нет в том, что в роду Дидро ремесла объединялись с коммерцией, юриспруденцией, служением господу богу. Это было вполне в нравах и традициях третьего сословия.

Напротив, подобная генеалогия подтверждает, что Дени Дидро был сыном не только своих родителей, но и третьего сословия. Не унаследовав ни одной из семейных профессий, не став ни ножовщиком, ни каретником, ни духовным лицом, ни адвокатом, он стал голосом своего рода и своего сословия.

Он унаследовал от предков крепкое здоровье, деятельную натуру, кипучую энергию.

Нельзя забывать, что Дени Дидро был уроженцем Шампани. Он и сам прекрасно это помнил. Почитаем, что он писал, давно уже живя постоянно в Париже: «Жители этой местности отличаются остроумием, чрезмерной живостью, непостоянством, уподобляющим их флюгеру. Это происходит, думается мне, от переменчивости здешнего климата: жара сменяется холодом, затишье — грозой, ясная погода — дождем, и так круглые сутки. Невозможно, чтобы они не чувствовали на себе действия таких перемен, почему и души их не могут пребывать долгое время в одном состоянии. Вот они и приучаются с самого раннего детства вертеться по ветру. Голова лангрского жителя сидит на плечах, точно флюгер на вертушке колокольни. Никогда она не остановится на чем-нибудь одном, а если и возвращается к покинутому предмету, то лишь мимоходом. Удивительно быстрые в движениях и мыслях, они отличаются медлительностью речи...»

Затем следует признание: «Я действительно местный житель, только пребывание в столице, усердие и прилежание несколько исправили меня. Я постоянен в своих вкусах. Что раз понравилось мне, то будет нравиться и впредь, оттого, что выбор мой всегда обоснован. Я знаю, за что ненавижу и за что люблю. Правда, я от природы склонен пренебрегать недостатками и восхищаться достоинствами».

К этому можно добавить, что живой ум и пенящееся остроумие Дидро нередко сравнивали с напитком его родины — шампанским.

Может показаться странным, что, поговорив о королях и придворных, о климате Шампани и особенностях характера лангрских жителей, о прадеде, деде,

дядях и тетках Дидро, об его отце, мы ни единым словечком не обмолвились об его матери. Впрочем, он и сам упоминал о ней редко.

Что мы знаем о матери Дени Дидро? Анжелика была десятым ребенком бочара Франсуа Виньерона и его законной супруги Жанны Юмбле.

Родилась Анжелика 12 октября 1677 года. Замуж вышла уже после смерти обоих родителей, в возрасте тридцати пяти лет, будучи на восемь лет старше своего избранника.

Их брак был, бесспорно, браком по расчету и рассудку. Брачный контракт, составленный 12 января 1712 года лангрским нотариусом Иоселином, выглядел весьма внушительно. В нем были оговорены все имущественные отношения новобрачных.

Соседи и знакомые считали Анжелику женщиной домовитой, бережливой, привыкшей к жизни упорядоченной и серьезной, хозяйкой дома и матерью семейства в лучшем смысле этих слов.

Недостатка в детях они с Дидье не испытывали. Они и поженились для того, чтобы иметь детей; и дети пошли у них сразу.

Правда, к тому времени, как Дидье Дидро через два года после смерти жены, — скончавшейся 19 октября 1748 года, — составил свое завещание, в живых осталось только трое из семерых их детей; кроме самого Дени, уже знакомые нам Дениза и Дидье Пьер.

Четверо остальных: первенец, родившийся 5 ноября 1712 года и умерший во младенчестве, Катерина, старшая, скончавшаяся в возрасте двух лет, 3 августа 1718 года, вторая Катерина и младшая Анжелика, постриженная в монахини, до тех пор не дожили.

Еще мы знаем о матери Дидро, что, хотя в их роду потомственной была профессия бочара, Виньероны чаще, чем Дидро, меняли фартук ремесленника на сутану. Два дяди Анжелики были канониками. Канониками были и два ее брата. Подобное родство не прошло бесследно для обоих ее сыновей.

III

Он мог бы стать иезуитом

«Сделайте Дени каноником! — сказал каноник Дидье Виньерон своей сестре Анжелике и своему зятю и тезке-ножовщику. — Я завещаю ему свой дом и свою конюшню вместе со своей должностью».

Предложение прозвучало очень заманчиво. Не из-за дома и конюшни. Метр Дидье и сам нажил три дома — мы это знаем.

Капитул Лангра был одним из самых почитаемых во всей Франции. Не только потому, что он был из самых старинных. Считалось еще, что он состоит из самых достойных духовных лиц. Не оттого ли, что испокон веку капитул пользовался самыми значительными привилегиями? А проще сказать, доход от каждого лангрского прихода, был ли то приход Сен-Пьер, или Сен-Мартэн, или любой другой, колебался между полутора и двумя тысячами пятьюстами ливров ежегодно. Одних домов у капитула насчитывалось тридцать восемь. В них — квартиры для причта. И все дома расположены вокруг собора да к тому же еще опоясаны монастырской оградой.

Когда одна из квартир, а вместе с ней одна из должностей освобождались, капитул объявлял что-то вроде продажи той и другой с торгов.

К словам каноника стоило прислушаться. Каноник в Лангре — это было достаточно почетное и доходное звание.

Кроме того... Мог ли метр Дидье не желать вывести своих сыновей в люди? А для этого имущества, движимого и недвижимого, которое он для них нажил, недостаточно. Путь, чтобы выбиться из третьего сословия, — один. Если ты не откупщик, не столичный книготорговец, не нотариус, не адвокат и, значит, не можешь купить своим детям должности в ма-

гистратуре, а тем более придворной должности и титула, если ты всего-навсего цеховой мастер, да еще в провинции, но денежки у тебя водятся, пусти сыновей по духовной части! Что же касается дочерей, если не удастся как следует выдать их замуж, отдай девушек в монастырь!

В желаниях метра Дидье не было ничего необычного для человека его сословия, его общественного положения, его убеждений. И наполовину его желаниям суждено было сбыться. Если Дениза, не выйдя замуж, жила при нем, то Анжелику он много раньше отдал в монастырь. Там она сошла с ума и так и умерла сумасшедшей. Не это ли побудило ее брата впоследствии написать «Монахиню»? (Многие дидеротисты, правда, указывают другие источники романа.) Если из самого Дени вопреки желанию дяди каноник не получился, зато младший сын ножовщика — Дидье Пьер, ревностнейший служитель господа, — стал аббатом.

Нашелся уже в XX веке такой яростный его поклонник, что к двухсотлетию со дня рождения Дидро посвятил специальную монографию его брату, доказывая, что из двух сыновей ножовщика великим был каноник Дидье Пьер, а не беспутный, отвергший веру Дени. Об авторе этой монографии, канонике Марселе, разговор еще впереди.

Приняв все это во внимание, подумаем, могли ли метр Дидье и матушка Анжелика предвидеть, куда завернет выбранная ими для Дени жизненная дорога?

Родители твердо решили, что заставят его выполнить желание дяди!

Да и сам каноник, отличавшийся твердым, чтобы не сказать — жестким и тяжелым, характером, не привык, чтобы его советами пренебрегали.

Итак, судьба Дени была решена. Впрочем, он и сам не слишком сопротивлялся. Может быть, ему нравилось, что дядя держался независимо, был в плохих отношениях со своими собратьями по капитулу и сатирически изображал их, и он надеялся,

став впоследствии каноником, тоже сохранить независимость?

Так или иначе, но одиннадцатилетний Дени без особого недовольства отправился в Лангрский иезуитский коллеж.

И четыре года, которые он провел там, не прошли бесследно. Не только потому, что Дидро уже в первом классе — грамматики — многому научился. Если бы он на себе не испытал, что такое изощренная власть иезуитов над неокрепшими умами, он бы и впоследствии не боролся так неистово за статью Даламбера для «Энциклопедии» — «Школы». Автор требовал, чтобы монополия на народное образование во Франции у иезуитов была отобрана и школы перешли к государству. Дидро его поддерживал.

Но это произошло много позже. Встреча Дени Дидро с отцами иезуитами в школе была первой, но не последней. История же того, как из духовного учебного заведения — а он учился даже в двух — вышел воинствующий безбожник, и не первая и не последняя. Кафедра богословия нередко служила как бы трамплином к безверию.

Но до прыжка через этот трамплин, до отрицания всех религий и самого существования бога в одном ли лице, или в трех, было еще далеко. Пока же Дени продолжал жить дома, в своей мансарде, но ежедневно ходил в коллеж и радовал родителей своими успехами в латыни и математике.

Так же быстро, как его одаренность, любознательность и трудолюбие, дал себя знать и боевой, драчливый нрав мальчика. Однажды Дени затеял такую драку с товарищами, что святые отцы запретили ему несколько дней являться в коллеж. Вероятно, «отлучение» не так бы уже его огорчило, но на один из этих дней пришлись публичные экзамены и, главное, раздача годовых наград.

Что делает Дени? Несмотря на запрещение, утром является в коллеж. Швейцар, следуя приказу, его не пускает. Дени настаивает. Тот непреклонен. Мальчик пытается проскользнуть мимо швейцара. Страж уда-

ряет его своей алебардой. Дени все-таки прорывается в актовый зал. Между тем алебарда его поранила, хлещет кровь. Мальчик завязывает рану носовым платком и, забыв о ней, отвечает так, что заслуживает аплодисментов. Хорошо, что у святых отцов хватает ума, раз уже он прорвался, не отстранять Дени от экзаменов и даже присудить ему три премии: за сочинения, за поэзию и за меморию.

Получив их, Дени отправляется домой.

Мадам Анжелика поджидает возвращения Дени с волнением, столь естественным для матери. Она видит сына еще издалека. Он несет целую гору книг, полученных в награду. Стопка достигает самого подбородка. А три лавровых венка — они велики ему — спустились на плечи. Мать бежит сыну навстречу, ведет к отцу. При виде книг и венков почтенный человек прослезился. Дени на всю жизнь запомнил этот день. Но о своей ране мальчик ничего не говорит родителям. Только через несколько дней, меняя Дени белье, мать обнаруживает рану. Вот сила воли, вот выдержка! Как не вспомнить спартанского мальчика, спрятавшего лису за пазухой и позволившего ей выесть все его внутренности?!

Было и другое. Однажды Дени заявил отцу, что коллеж ему надоел и заниматься он больше не хочет.

Другой отец стал бы настаивать, уговаривать, угрожать. Метр Дидье и не подумал. Понюхал табаку, поглядел на мальчика поверх очков и спокойно сказал:

— Не хочешь больше учиться? Изволь! Но раз так, ступай в мастерскую. Будешь ножовщиком.

Дени согласился.

Дней пять мальчик бился над изготовлением ланцетов. У него ничего не получалось. Отец молчал. Дени портил материал, ломал инструменты. Отец притворялся, что ничего не замечает.

К исходу пятого дня он так же миролюбиво спросил:

— Что, ножовщик из тебя не выходит?

Дени ничего не ответил. Но на следующее утро

он собрал свои учебники и тетради и как ни в чем не бывало отправился в коллеж.

К чести иезуитов, надо сказать, они понимали, какой это необычайный подросток, и ни за что не хотели его лишиться.

23 августа 1726 года на тринадцатилетнего мальчика надели сутану, и сам Партиллан де Годрэн, епископ и герцог Лангра, пэр Франции, выстриг ему кружок на голове — тонзуровал его. Круглая плешь называлась тонзурой и посвящала человека богу.

Тонзуровать в таком возрасте разрешал закон 1696 года. И что же в этом удивительного, если в пять лет можно было стать королем, а в невесты Людовику XV прочили трехлетнюю испанскую инфанту?

С тех пор Дени носил духовное платье. Представьте себе его в длиннейшей черной сутане, с монашеской шапочкой на голове! Он и росточку-то был еще небольшого, и ухватки у него были мальчишеские. И все равно теперь его называли аббатом. «Аббат Дидро, сюда!», «Аббат Дидро, туда!», «Здравствуйте, аббат!», «Как вы поживаете, аббат?»

И в церкви Сен-Мартэн каждое воскресенье на большую мессу для маленького аббата оставляли место.

Мадам Анжелика не могла не разводить руками. Подумать только, святая дева, заступница, непоседливый проказник Дени стал таким разумным, таким послушным!

Перемена, в нем произошедшая, была не только внешней. Мальчик теперь свято верил в бога и в свое духовное призвание. Постился, носил власяницу, спал на соломе. Святые отцы могли быть довольны: посев принес жатву.

Они могли быть довольны и тем, что их воспитанник не стал каноником, то есть церковным чиновником. Их орден и его интересы для них всегда были важнее общих интересов католической церкви.

А мог бы стать. Дядя Виньерон не забыл своего обещания. Тяжко заболев, перед смертью он попрежнему прочил племянника в свои преемники, и

статут не запрещал четырнадцатилетнему стать каноником. А 28 апреля 1729 года Дидье Виньерон скончался. Тут же два каноника отправились уговаривать Дени отказаться от дядиной должности. Боялись, очевидно, что мальчик может унаследовать от дяди вольнодумство и тяжелый характер. Впрочем, Дени не пришлось особо уговаривать.

Было еще одно обстоятельство. В том же диалоге Дидро «Разговор отца с детьми» отец рассказывает старшему сыну такую историю: «Твой дядя, каноник Виньерон, был резким человеком и не уживался со своими собратьями, служа для них вечным укором как своим поведением, так и своими речами. Он прочил тебя себе в преемники. Но при приближении смерти каноника семья решила запросить римскую курию, прежде нежели передать капитулу его предсмертную волю, которую тот, вероятно, не утвердил бы. Гонец отправился. Но твой дядя умирает за час до того, как тот должен вернуться. И вот каноникат и тысяча восемьсот франков потеряны. Твоя мать, твои тетки, наши родственники, наши друзья — все хотели скрыть смерть каноника. Я отклонил этот совет и приказал тотчас же звонить в колокол».

Следует реплика Дени, фигурирующего в диалоге, как «Я».

«Я. — И правильно сделали.

Отец. — А если бы я послушался женщин и потом в этом бы каялся, ты не поколебался бы пожертвовать для меня своей шапкой каноника?

Я. — Разумеется. Я предпочел бы быть хорошим философом, чем дурным каноником».

Итак, каноникат, тысяча восемьсот франков жалованья, дом и конюшня дяди были для Дени безвозвратно потеряны. Но это еще не значило, что он был потерян для католической церкви и тем более для ордена Иисуса.

Как знали иезуиты, искуснейшие педагоги, ловцы человеческих душ, человеческую природу, как умели управлять ею, дергая каждого за его веревочку, словно марионетку.

«Веревочкой» Дени, как заметили святые отцы, была его страсть к путешествиям. Никто, как он, не заслушивался рассказами об Африке, Азии. И, кроме того, не стоило ли отправить мальчика подальше от Лангра, оторвать от родного дома и тем самым полностью подчинить его себе?!

Не без подсказки святых отцов из коллежа Дени загорелся мыслью тайком уехать в Париж и вступить там в орден иезуитов.

Может быть, отец и не стал бы его удерживать. И все-таки Дени предпочел скрыть от него свой план. Стоит ли искушать судьбу?

Жребий вытянут. Минута приближается, пора уходить из дому. До Парижа придется добираться пешком.

Только что пробили часы на соборе. Маленький аббат с туфлями в одной руке, чтобы не производить шума, узелком — в нем скромный запас провизии — в другой, выходит из своей комнаты. Деньги у кузена, которого он уговорил себе сопутствовать.

Дени тихонечко спускается вниз по лестнице. Вот он миновал уже и последние ступеньки и добрался до парадной двери. Но что же это такое? Против обыкновения ключа в замочной скважине нет, а дверь заперта.

И вдруг раздается спокойный, но показавшийся ему грозным голос:

— Куда это вы, мой сын, собрались в такой поздний час? Неужели вы не слышали, как часы били полночь?

Перед напуганным мальчиком отец. Всегда он в ночном колпаке и шлафроке выглядит таким добродушным. А сегодня, при свече — он держит ее, как богиня правосудия Немезида, — метр Дидье почему-то кажется сыну очень суровым. На шее у него цепочка с проклятым ключом.

Дени молчит. Надо же было так глупо попасться! И откуда только отец мог узнать?!

Метр Дидье, не дождавшись ответа, подносит свечу к самому лицу сына.

— Будете вы, наконец, отвечать? — строго спрашивает он.

— Я еду в Париж, — слабым голосом бормочет Дени. — А там я вступлю в орден иезуитов.

— Но не ночью же, — невозмутимо замечает ножовщик. — Прежде нужно выспаться. А утром мы с вами поговорим.

Что остается Дени, как не вернуться к себе в мансарду?

Ножовщик, в свою очередь, возвращается в супружескую спальню, советуется с женой.

Но кто же донес метру Дидье о намерениях его сына, кто назвал ему так точно день и час, назначенный для побега? Разумеется, это сделал тот самый его племянник, который должен был сопровождать своего сумасбродного кузена. Этот был и благонамереннее и осторожнее...

Спал ли Дени в эту ночь? Вряд ли. Раз уже решив идти в Париж, он ни за что не хотел оставаться в Лангре. Но как теперь убежишь?

Утро встретило его новой неожиданностью. Все что угодно мог бы он предположить, кроме того, что услышал от отца, явившись к нему, как было велено.

Дени хочет в Париж? Пожалуйста. Ножовщик сам отвезет его туда.

Правда, чтобы мальчик не подумал, что отец слишком уж ему потворствует, метр Дидье тут же упомянул о своих ланцетах. Их можно быстрее и дороже продать в Париже. Изделия Дидье Дидро в столице ценятся еще больше, чем в родном городе.

Но, конечно же, у него были и очень важные соображения, касающиеся отнюдь не ланцетов, а Дени. Мальчик не так глуп: в лангрском коллеже ему уже нечему учиться, а от парижского коллежа дорога к духовной карьере и прямее и ближе.

Итак, судьба Дени решена. Много ли нам известно о четырех годах парижского ученичества Дидро? Прямо скажем, немного. Это-то и дало повод для разных толкований, чтобы не сказать — кривотолков.

IV Разговор автора с каноником Марселем

По примеру Дидро, который очень любил литературный жанр диалога и написал целый цикл их, автор позволяет себе прервать последовательное изложение событий детства и отрочества своего героя для воображаемого разговора с каноником Марселем. В этом диалоге — вы прочтете его сейчас — автор, опять-таки по примеру Дидро, будет именовать себя «Я», в то же время надеясь, что те же вопросы и суждения высказал бы вместе с ним и читатель.

Итак, приступаем к диалогу.

Я. Разрешите вас спросить, каноник, правда ли, что вы — духовное лицо — посвятили безбожнику Дидро целых семь лет трудов, просиживая ради них в архивах, извлекая из пыли и забвения документы, как бы двигая вперед науку о том, кто не может не быть вашим противником.

Каноник. Да, вы совершенно правы. С 1913-го по 1928-й я опубликовал семь исследований о Дидро и его родственниках. Вот их названия: «Брат Дидро, Дидье Пьер Дидро, каноник собора, архидиакон, основатель христианской школы в Лангре», «Сестра Дидро — Дениза Дидро», «Женитьба Дидро», «Легенда о Дидро, канонизированном его дочерью» (имеются в виду воспоминания дочери и первого биографа Дидро, мадам Вандель), «Дидро — ученик, легенда и история», «Письмо отца Дидро его сыну, заточенному в Венсеннский замок», «Смерть Дидро».

Я. Спасибо за точный перечень. Но чем объяснить такой, казалось бы, противоестественный ваш интерес к Дидро?

Каноник. Во-первых, я председатель археологического и исторического общества Лангра, а в на-

шем городе не было человека более примечательного, чем Дени Дидро. Не говоря уже о том, что у нас есть улица и площадь его имени, вы это знаете, но и коллеж, в котором он учился, это вам, вероятно, неизвестно, тоже носит его имя.

Я. Вы очень добросовестный председатель, слов нет, но только ли в этом дело?

Каноник. Ну, если вы уж так настаиваете, я назову вам и другую причину. И теперь, два века с лишним спустя, у католической церкви нет врага более опасного, чем Дени Дидро. Я считаю своим долгом разоблачение его безбожной доктрины.

Я. И для этого вы занялись столь пристальным изучением его биографии и биографии его родственников?

Каноник. Вы угадали. Спорить нужно с фактами в руках, в наше время просто предать анафеме еще не значит убедить.

Я. Почему же вы начали с его брата?

Каноник. Неужели вы сами не догадались? Это же так понятно. Я хотел доказать, что воистину великим был не безбожник Дени, но его искренне преданный церкви брат Дидье Пьер.

Я. И вы полагаете, вам это удалось?

Каноник. Если говорить откровенно, нет. Поэтому я в том же, 1913, юбилейном году написал еще одну работу — против легенды, созданной мадам Вандель, о своем отце.

Я. Но вы же знаете, что она написала правду!

Каноник. Разве это имеет значение? Неужели вы забыли иезуитскую поговорку?

Я. «Клевещи, клевещи, что-нибудь да останется»?

Каноник. Да, именно ее я и имею в виду.

Я. Почему же в этом случае вы через несколько лет отправились в архив и извлекли оттуда письмо Дидье Дидро его сыну в Венсеннский замок?

Каноник. Потому что мне не поверили, и я решил поискать факты более убедительные.

Я. Но направленные против Дидро?

Каноник. Само собой разумеется. Нетрудно было догадаться, что почтенный ножовщик не мог

быть доволен сочинениями своего сына, доведшими его до тюрьмы...

Я. И до сумы?

Каноник. Вы и на этот раз правы, автор. Памятуя, что отец — это банкир, дарованный нам природой, Дени Дидро в двух письмах отцу, отправленных из Венсенна, просил у него денег.

Я. А тот?

Каноник. А тот, не без язвительности, выразил притворное удивление: неужели его сын, женатый человек и отец двоих детей, автор таких трудов, может нуждаться в деньгах?

Я. И отказал ему в пособии?

Каноник. Неужели вы так плохо знаете отцовское сердце? После всех наставлений и иронических замечаний метр Дидье написал сыну, что у некоего мосье Фонсона он может получить пятьдесят ливров и распорядиться ими по своему усмотрению.

Я. Значит, вам не удалось и при помощи этого письма изобразить ножовщика врагом своего сына?

Каноник. Увы, нет!

Я. И что же вы стали делать?

Каноник. Я попытался противопоставить Дидро его сестру Денизу.

Я. Но они же очень любили друг друга. Неужели вы хотели сыграть на их размолвке из-за того, что Дидье Пьер хотел обделить Дени при дележе отцовского наследства и Дениза ему потворствовала?

Каноник оставляет этот мой вопрос без ответа.

Я. А потом? За какие измышления вы принялись потом?

Каноник. О, потом, потом я занялся очень серьезным делом. Как вы полагаете, где учился Дени Дидро в Париже?

Я. Ах, теперь я понимаю, почему Андрэ Бии в своей монографии о Дидро 1932 года отдает Дени не в коллеж Даркур, как со времен мадам Вандель и Нэжона поступали все дидеротисты, но в иезуитский коллеж Людовика Великого. Я вам признаюсь, каноник, мне самой поначалу эта версия показалась такой убедительной, богатой подробностями, что

я чуть было ею не воспользовалась. Но так как у нас в Советском Союзе принято ссылаться на источники, а Андрэ Бии этого не делает, хотя и оговаривает, что его книга не романизованная биография, я сочла своим долгом, прежде чем воспроизвести те факты, которые приводит он, написать ему и попросить объяснить, на чем основана версия «Людовика Великого».

Еще не получив ответа, я обнаружила в списке работ о Дидро в конце его книги название вашей статьи в «Ревю кестион историк» за 1920 год — «Дидро — ученик, легенда и история» и догадалась, что именно вы навели его на эту мысль. Я прочла вашу статью. Моя догадка оказалась правильной.

О, вы поступили очень хитро! Упрекая мадам Вандель в ложности ее сообщения, что Дидро учился в коллеже Даркур, вы создаете видимость правоты в своей версии. Но мне не стоило особого труда убедиться в фальши ваших аргументов. Вы неоднократно ссылаетесь на историка коллежа Людовика Великого, профессора Гюстава Дюпон-Феррье, указываете страницы его книги. Но для чего вы это делаете? Казалось, было бы так естественно сослаться на те страницы, где почтенный профессор в числе самых прославленных учеников коллежа называет Дени Дидро. Он не мог бы этого не сделать! Да и без него разве не стало бы широко известным, что Дидро учился там? Ведь что в свое время коллеж Людовика Великого кончил сперва Мольер, а в следующем столетии Вольтер, знает каждый, кто интересовался этими великими людьми! Но на указанных вами страницах книги Дюпон-Феррье упоминается отнюдь не Дидро, а несравненно менее известный воспитанник коллежа аббат Берни. Зачем он вам понадобился? А вот зачем: мадам Вандель называет его соучеником Дидро. Не имея прямых доказательств, вы пользуетесь косвенными, строя следующий силлогизм: Дидро учился вместе с аббатом Берни — аббат Берни учился у «Людовика Великого» — Дидро учился у «Людовика Великого».

Вы приводите еще одно доказательство, казалось бы, самое убедительное. Андрэ Бии у вас позаимствовал цитату из сочинений Дидро, где он вспоминает, как у «Людовика Великого» аббат Поре, тот, который прежде был учителем Вольтера, раскрыл ему и его товарищам красоты трагедии Расина «Федра» и вместе с тем показал, насколько больше правды, естественности, красоты в двух строчках Гомера, чем во всех пышных тирадах Расина. Бии не указывает, откуда взята эта цитата. Вы указываете: из знаменитого «Письма о слепых в назидание зрячим».

Но там этого места нет, в чем нетрудно убедиться, заглянув хотя бы в однотомник Дидро, изданный под редакцией того же Бии в Париже в 1951 году.

Знаменательно и то, что в 1932-м, безоговорочно приняв вашу версию «Людовика Великого», Андрэ Бии в 1951-м в своей вступительной статье к однотомнику утверждает уже только, что Дени задумал бежать в Париж, чтобы поступить туда. Учится же у него теперь Дидро в коллеже Даркур.

Каноник. Постойте, автор, не торопитесь! Почему бы вам не заглянуть не только в однотомник Бии, но и в полное собрание сочинений Дидро, изданное Ассезом в 1875 году? Если вы откроете том первый этого собрания на странице 383, вы без труда найдете рассуждение о Расине и Гомере и упоминание о коллеже Людовика Великого, где Дидро это услышал.

Я. Извольте, открываю том первый на странице 383. Но почему-то вместо аббата Поре, который называется в отрывке, приведенном вами, я нахожу там аббата Берни? Он же был, по вашему собственному утверждению, не преподавателем, а всего-навсего соучеником Дидро.

Каноник. Дидро мог ошибочно назвать другую фамилию. Но коллеж Людовика Великого там называется. И потом я приведу вам еще одно доказательство. Профессор Дедейан в своем курсе лекций «Англия в мыслях Дидро», прочитанном им в Сорбонне в 1957/58 учебном году, говорил, что после класса

риторики у аббата Поре в коллеже Людовика Великого Дидро перешел к янсенистам в коллеж Даркур. Значит, и Дедеван разделяет мою версию.

Я. Только частично и опять-таки бездоказательно. А что касается «Письма о слепых» — это же не документ, не анкета, не автобиография, а литературное произведение...

И вообще для нас не так уж важно, где учился Дидро. Все равно он стал безбожником. Вам же, конечно, хотелось возвеличить иезуитов, показать, что Дидро многим обязан знаменитому аббату Поре. А чем вы, каноник, занялись потом?

Каноник (делая постное лицо). Таких, как вы, автор, я и не рассчитывал убедить. Но на этой статье я не счел своей миссии законченной. В 1925 году я опубликовал новое исследование — о смерти Дидро. Он ведь скончался в роскошной квартире, снятой для него иждивением ее величества Екатерины II, и запись в церковной книге гласит, что в церкви покоится библиотекарь русской императрицы.

И, наконец, в 1928 году в «Ревю Шампани и Бре» я напечатал еще одну статью — о женитьбе Дидро. В ней я тоже привел один неопубликованный документ — письмо Дидье Дидро из Лангра в Париж, матери невесты его сына, мадам Мари Шампьон.

Я. И что же вы этим письмом доказали? Будто и без вас неизвестно, что ножовщик был против женитьбы Дени на белошвейке?!

Каноник. Но зато я показал, какой святой человек был отец Дидро. Он заботился не только о счастье своего сына, но убеждал мадам Шампьон, что и ее дочь не будет с Дени счастлива.

Я. Разрешите вас поблагодарить, каноник. Вы рассказали мне очень много интересного.

Каноник. Это ирония?

Я. Нет, почему же? Не так уж часто встретишь ученого богослова, не жалеющего ни времени, ни сил для изучения биографии безбожника. Но вопреки вашим уверениям в коллеж Людовика Великого я своего героя не отдам.

* * *

Уж после того, как вымышленный разговор этот был закончен, летом 1962 года я получила ответ Андрэ Бии. Он ссылался на один-единственный источник: «Мемуары» кардинала Берни, где тот называет Дидро своим соучеником. Другой известный дидеротист, Жорж Рот, в приписке к письму подтвердил эту ссылку. Комментарии, по-моему, не требуются.

А еще через несколько месяцев, когда мне удалось, наконец, раздобыть вышедшую через шестнадцать лет после первой, в 1948 году, книгу Андрэ Бии «Жизнь Дидро», я с удивлением прочла там: «Куда он поступил? Многие биографы Дидро, количества которых я не укажу, полагали, что он учился в «риторике» у «Людовика Великого» на улице Сен-Жак. В «Письме о глухих и немых» (?) он представляется учеником аббата Поре, его словам поверили, но это была ловушка... Дидро не был ритториком у «Людовика Великого», а учился у янсенистов в коллеже Даркур. Возможно, его учителем был знаменитый Роллен, а соучениками наверняка — Сартин, будущий генерал-лейтенант полиции, аббат Вассе, впоследствии ректор университета, ориенталист Фурмен, философ Буланже, аббат де Монтье, оставшийся его другом, аббат Гревье...»

Здесь же Бии высказывает и несколько странную гипотезу, что метр Дидье отдал Дени в этот коллеж, потому что Роллен был тоже сыном ножовщика.

Но это уже мелочь. Главное же то, что Андрэ Бии уже в этой книге 1948 года полностью отказался от заимствованной им у каноника Марселя версии коллежа Людовика Великого, хотя почему-то в 1962 году мне этого не написал.

И, наконец, последнее, совсем уже бесспорное доказательство. Листая два больших тома книги Гюстава Дюпон-Ферръе «О коллеже де Клермон или лицее Людовика Великого», я, как и предполагала, среди учеников коллежа Дидро не обнаружила. То, что он учился там, а не в янсенистском коллеже Дар-

кур, такое же измышление каноника Марселя, как и все прочие.

Впрочем, в книге имя Дидро встречается, но в каком контексте! В конце раздела «Персоналия», на странице 79, после авторского заверения: «Юность всех, кто во Франции обладает громким именем, связана с «Людовиком Великим», и перечня разного рода знаменитостей, бывших учениками коллежа, идет витиеватое рассуждение. Оказывается, французская литература кое-чем обязана и писателям, в коллеже курса не проходившим. Наряду с неким Данкуром, неким Кребилионом, неким Леффрен де Пампизьян, неким Шоссе, называется и «некий Дидро» — правда, с прибавкой слова «особенно». Но этот реверанс требуется только для того, чтобы тут же заявить: несравненно больше французская литература обязана тем, кто в коллеже учился, — Мольеру и Вольтеру. Подбор имен сделан так, чтобы у читателя создалось впечатление: истинно великим человеком может быть только тот, кто окончил «Людовика Великого».

Мы позволим себе не согласиться и с профессором Дюпон-Феррье.

V «Чужие уроки»

Однако вернемся к пятнадцатилетнему Дени и метру Дидье. Они садятся в дилижанс и следуют в Париж. Шестьдесят лье, отделяющие Лангр от столицы, даже меняя лошадей, меньше чем за три дня проехать нельзя. И надо полагать, они ночуют в Труа и Ножене.

Устроив сына в коллеже и оставив его там пансионером, ножовщик отнюдь не возвращается сразу до-

мой. Как может метр Дидье уехать, не убедившись, что Дени не слишком будет страдать в этом огромном мрачном коллеже?

И вот битые пятнадцать дней бедный провинциал томится в Париже. Он не привык ни к безделью, ни к столичной рассеянной жизни. Не бражничая по вечерам, не посещая спектаклей «Французской комедии» и парижских кафе, завсегдатаем которых позже станет его сын, ножовщик, поселившись в трактире, одиноко просиживает долгие вечера.

А нужно еще и заставлять себя не думать, что время, которое он убивает в Париже, безвозвратно потеряно для ланцетов. Как-то там управляются его подмастерья? А Анжелика, что понимает она в его ремесле? А виноградники? А земельные участки? А дома́? А все остальное без его присмотра?

Двадцать раз метр Дидье готов был сесть в карету. Но он не садится, не уезжает в Лангр. Он продолжает изнывать в трактире, не позволяя себе навестить сына в коллеже раньше срока, назначенного им самим. Что узнал бы он, не выждав и двух недель?!

Наконец срок истекает, метр Дидье надевает парадный парик, свежее жабо, вооружается лучшей из своих табакерок и отправляется в коллеж.

Дени не ждал его. Он до глубины души растроган.

— Мой друг, — спрашивает отец, когда они остаются одни, — я хочу знать, довольны ли вы вашим содержанием, вашими занятиями, вашими наставниками и товарищами? Если вы недовольны, если вы здесь не можете быть счастливы, вернемся со мной к вашей доброй матушке! Если же вы предпочтете остаться здесь, я прощусь с вами, даровав вам свое благословение.

И подумать только, что этот нежный и умный отец потом будет так жесток к любимейшему из своих сыновей, десять лет предоставляя ему почти умирать с голоду!

Дени в коллеже нравится. Он отнюдь не склонен вернуться в Лангр.

Узнав, какого мнения его сын о коллеже, ножовщик хочет узнать, какого мнения коллеж об его сыне.

Желание вполне естественное. Он отправляется к ректору.

— Ваш сын — превосходный ученик, — говорит ножовщику святой отец, — но мы уже вынуждены были его наказать. Послушание не принадлежит к числу добродетелей юноши. Если он не исправится и будет вести себя так же дурно, мы не сможем дольше держать его у себя в коллеже.

Метр Дидье огорчается. Он рассчитывал на более благосклонный отзыв, хотя мог бы уже привыкнуть к беспокойному нраву сына.

И все-таки он возвращается в Лангр, а Дени остается в коллеже.

Чему научился Дидро в коллеже? Многому. Не только древним языкам, но и естественным наукам и математике. Но не тому, чему в первую очередь должен был там научиться.

«Религия Иисуса Христа, возвещавшаяся невеждами, создавала первых христиан. Та же религия, проповедуемая учеными и профессорами, создает ныне только неверующих». Этот афоризм Дидро, высказанный им в «Прибавлениях к философским мыслям или различным возражениям против сочинений различных философов», очень точен в применении к нему самому.

Из лангрского коллежа он собирался бежать в Париж, чтобы стать иезуитом. Янсенисты — противники иезуитов добились не только того, что отвратили его от ордена святого Иисуса, но и от веры вообще. Даже математика, по свидетельству его друга и ученика Нэжона, внушила Дени отвращение к религии. Вот как с присущим ему блистательным остроумием в тех же «Прибавлениях» определил Дидро, что такое богословие: «Я заблудился ночью в дремучем лесу, и слабый огонек в моих руках — мой единственный путеводитель. Вдруг передо мной вырастает незнакомец и говорит мне: «Мой друг, задуй свою свечу, чтобы верней найти дорогу». Этот незнакомец — богослов».

В Лангре он был еще слишком мал, чтобы понимать это. Потом уже он переосмыслил и то, чему его учили в лангрском иезуитском коллеже. Но коллеж

Даркур дал первую вспашку на поле, где потом выросло его неверие. Если бы его не убеждали там ученые богословы, что бог создал вселенную, он не заявил бы от лица атеиста в первом своем философском сочинении — «Философских мыслях»: «Я говорю вам, что никакого бога нет, что сотворение мира — пустая фантазия...»

Разумеется, прийти к этому убеждению ему помогли еще и философы — и те, сочинения которых он потом опровергал, и еще больше те, которые стали его духовными отцами.

Но уже в коллеже «свечу» задували так усердно, что один из лучших его учеников вынес оттуда не только сомнения в правоте католицизма и в самом существовании бога, но и сомнения в справедливости устройства общества. Потом он поставит рядом бога и короля, отвергая обоих. И этому помогли уроки богословов.

Каков был он в коллеже? Мы знаем об этом немного. Но вот одна история, со слов Дидро рассказанная его дочерью мадам Вандель.

Однажды он написал сочинение за товарища. Нужно было латинскими стихами передать разговор искусителя-змея с праматерью Евой.

Преподаватель риторики, едва заглянув в сочинение, сразу догадался, что его написал Дидро. Никто другой в классе так написать бы не смог.

Это был только первый из *чужих уроков,* приготовленных Дени Дидро. Во всяком случае, первый, о котором мы знаем.

С тех пор он готовил много «чужих уроков», негласно и безвозмездно соавторствуя в большинстве статей «Энциклопедии», щедро и бескорыстно помогая даже таким людям, как Руссо, Гольбах, Гельвеций, Гримм, в главных их сочинениях.

К великому сожалению, до нас не дошли не только исторические факты той поры жизни Дени Дидро, но почти не сохранились даже анекдоты, о которых Вольтер говорил, что это колоски, остающиеся на поле истории после уборки урожая.

Дошел туманный слух об его первой любовной интрижке, которую он завел в Лангре, приехав туда на летние каникулы. Было ли это тогда, когда он учился в классе риторики, или позже, когда он перешел уже в класс философии? Кто знает? Несомненно одно: на свидания он бегал в сутане и с тонзурой. Духовное платье Дени снял, только распрощавшись с коллежем.

И совсем уже точно известно: успехи его были таковы, что 2 сентября 1732 года он получил в парижском университете Сорбонне звание магистра искусств.

Образование Дени, казалось бы, завершено. Через месяц ему исполнится девятнадцать.

О духовной карьере для него, повторяю, речи уже нет. Значит, он должен выбрать светскую профессию. В роду Дидро были, как мы знаем, не только священники, но и адвокаты.

Метр Дидье снова приезжает в Париж, и между ним и сыном происходит примерно такой разговор.

— Ну что, мой сын, вы теперь собираетесь делать?

— Продолжать свои занятия греческим и латынью.

— А что еще?

— Я хочу совершенствоваться и в других науках.

— Что именно вы имеете в виду?

— Изучить английский и итальянский.

— Однако!

— И вообще все то, чего мне еще недостает.

— Но, мой сын, я хотел бы с вами поговорить о вашей будущей профессии.

— Я вас слушаю, отец.

— Что вы думаете об юриспруденции?

— Я испытываю к ней отвращение. Но если это необходимо, если ничто, кроме пандектов, не в состоянии меня прокормить, я поступлю к прокурору.

Заручившись, хотя и вынужденным, согласием сына, метр Дидье принимается за поиски патрона для него. Нужно найти такого, который обладал бы наибольшими достоинствами и сумел бы преодолеть не-

приязнь юноши к праву. Выбор ножовщика останавливается на его старом приятеле и земляке, метре Клемане де Ри.

VI Блудный сын

Снова метр Дидье возвращается в Лангр, к своим ланцетам и виноградникам, а Дени остается в Париже. Два года юноша проводит в учении у метра Клемана. Дурно ли ему тут живется? У Дени отдельная комната, завтрак, обед, ужин, даже деньги на карманные расходы. И кто осмелился бы назвать сьера Ри и его домашних дурными людьми?

И все-таки Дени недоволен. Его неприязнь, чтобы не сказать — ненависть, к юриспруденции так же велика, как его любовь к языкам, литературе, математике и философии.

Метру Клеману не остается ничего другого, как написать в Лангр своему другу ножовщику, что с обучением его сына праву дело обстоит из рук вон плохо. Дени, попросту говоря, бьет баклуши. Много ли толку в том, что он по-английски читает сочинения каких-то сумасбродов — Локка, Гоббса, Ньютона, или приобрел четыре тома «Истории Англии в картинах» Кливленда? Это чтение ни куска хлеба, ни положения в обществе ему не принесет. А сколько тратит он на эти пустые книги! И метр Клеман не хочет даром получать деньги у метра Дидье.

В ответ из Лангра летят письма метру де Ри, самому Дени. Они полны если еще не угроз, то настоятельных увещеваний. Не хочет быть юристом, пусть поступит в ученики к врачу!

Казалось бы, увещевания подействовали. Дени делает над собой усилие и пытается углубиться в пан-

декты, выполняет поручения своего патрона, жертвуя тем, что для него всего дороже.

И снова ничего не выходит. И, вероятно, получилось бы то же, если бы он от прокурора перешел к врачу. Медицина и юриспруденция! Обе привлекали его нисколько не больше, чем мастерская ножовщика или церковный алтарь.

Снова полное увещеваний и настойчивых пожеланий взяться за ум письмо отца. Чтобы выиграть время, Дени отвечает, что подумает. Но все идет попрежнему.

Терпение метра Дидье лопается. Он поручает метру де Ри серьезно поговорить с его непутевым учеником.

Патрон припирает Дени к стенке, предлагая, наконец, сделать выбор между карьерой юриста и карьерой врача.

На этот раз юноша заявляет, что он не хочет быть юристом и заниматься чужими делами. Он не хочет быть врачом и убивать людей. Весьма благодарен!

— Кем же вы собираетесь в конце концов стать? — Метр Клеман просто его не понимает.

— Если вас интересуют мои намерения, извольте, я отвечу. Никем, решительно никем. Я люблю то, чем занимаюсь, и не хочу ничего другого.

Разговаривать больше не о чем.

Но кто в девятнадцать лет не легкомыслен и не полон надежд? К тому же Дени еще и француз и уроженец Шампани.

«Не дадут же они мне умереть с голоду!» — опрометчиво решает он и, собрав свои нехитрые пожитки, несколько рубашек, сшитых ему еще матерью, две или три пары чулок, еще кое-какую одежду и белье, толстую пачку книг, навсегда прощается с метром Клеманом де Ри и с пандектами.

Покинув дом прокурора, он тут же снимает первую попавшуюся меблированную комнату и перебирается в нее.

С этой минуты для Дени начинается то, что его биографы неточно называют жизнью богемы времен Людовика XV.

Впоследствии сам Дидро, охотно вспоминая Лангр и его жителей, отца, сестру Денизу, брата Дидье Пьера, родственников и друзей семьи, не любил распространяться о годах между уходом его от метра Клемана и женитьбой. Претило ли ему то, что он считал заблуждениями своей юности, или слишком тяжелы были эти воспоминания, другие ли были причины, но он мало рассказывал о десятилетии, прошедшем в горькой нужде и изнурительных развлечениях, в поделках для заработка и продиктованном честностью и долгом отказе от самых выгодных уроков, преходящими любовными увлечениями и непреходящей страстью к науке. Кое о чем упоминает он в «Племяннике Рамо», но насколько это точно, не приправлено ли фантазией художника? Кое-что рассказывает дочери и Нэжону.

Что же знаем мы о том, как жил Дени Дидро до самой встречи его в 1741-м с Анной Туанетой Шампьон, в 1743-м ставшей его женой?

Мы оставили Дени в убогой меблированной комнате. Кошелек его был тощ. Но только когда кошелек его опустел совсем, юноша написал отцу.

Ответ был столь же краток, сколь суров. Немедленно выбрать профессию! В противном случае Дени не получит ничего. Ни одного су, ни одного денье!

Мы уже знаем твердый характер метра Дидье. Но и сын не уступал ему в упорстве. Что бы там ни было, он не изменит своего решения.

Сердце матери мягче. Так бывает всегда, так было и в этой семье. Но что могла матушка Анжелика сделать для своего непутевого сына? Очень немного. Трижды приходила в Париж старая служанка Дидро, Элен Брюле, та самая, которая упомянута в завещании. Тайком от метра Дидье приносила она Дени несколько ливров, сбереженных мадам. Шестьдесят лье пешком туда и шестьдесят обратно! Какое для этого нужно было здоровье и какое доброе сердце?!

Мадам Вандель, дочь Дидро, еще застала Элен в живых. Всякий раз, вспоминая свои походы в Париж, старуха плакала. Сколько угодно таких путешествий готова была бы она тогда совершить, чтобы

еще разочек повидать своего миленького Дени и хоть немножко облегчить его участь!

Но надолго ли могло хватить Дидро материнских денег?!. Четвертый раз служанка уже не пришла.

Предстояло повторение старой, как мир, истории блудного сына, истории лишений и бедствий, но и приключений, истории безупречной честности бедняка, приправленной, однако, плутовскими проделками. И вместе с тем история была и новой, не похожей ни на чью иную.

Сам Дидро кратко и точно характеризует эту пору своей жизни в письме к Беррие, директору парижской полиции: «Десять лет я провел в занятиях литературой и математикой, пренебрегая возможностью стать известным».

На самом же деле эти трудные годы были не чем иным, как подготовкой к великим делам, которые Дидро совершит потом.

Почему так беспощаден был к любимейшему из своих сыновей ножовщик, человек, как мы могли убедиться, и добрый и умный? Его тоже нужно понять. А французы говорят: «Все понять — это все простить». Однажды он уже принес жертву — отказался от своей заветной мечты увидеть сына если не каноником, преемником Дидье Виньерона, то хотя бы ученым богословом. В его представлении о карьере, конечно же, юриспруденция и медицина занимали место куда менее почетное, чем служение господу богу.

Но примириться с тем, что без всякой практической цели его сын, и так уже достаточно образованный, будет изучать математику, языки, литературу, он, естественно, не мог. И редки ли такие конфликты в буржуазных семьях?

Есть еще одно объяснение. С редкостной широтой души и повышенным чувством справедливости его дал сам Дидро. Много лет спустя он рассказывал одному знакомому: «В первые годы моего пребывания в Париже я вел жизнь очень беспорядочную. Поведение мое было таково, что должно было бы прогневить моего отца даже в том случае, если бы ему не пре-

увеличивали того, что было на самом деле. Но в клевете не было недостатка. Ему рассказывали обо мне... Но чего только ему не рассказывали? Представился мне случай побывать у него. Я ни минуты не колебался и отправился с полной уверенностью в его сердечной доброте. Я был убежден, что мы оба расплачемся и все будет забыто. Я не ошибся».

Рассказ не совсем точен, или, вернее, не окончен. Настоящее примирение произойдет позже — когда Дидро пошлет в Лангр к родителям свою жену.

На какие же средства жил Дени до того, как вышла в свет его первая книга — перевод «Истории Греции»? Как он, лишенный поддержки отца, ухитрялся не умереть с голоду?

Вот самый страшный из дошедших до нас рассказов о том, до чего доводили его лишения. Однажды к нему пришла странная мысль. Она не удивила бы только того, кто сам потерял рассудок по тем же причинам. Но у бедняги голова, как бывало часто, кружилась от голода. Еле-еле он нашел в себе силы доплестись до улицы Люксембург. Не для того, чтобы, как обычно, посидеть с книгой под деревьями ее бульвара, рядом с другими, не более состоятельными обитателями Латинского квартала. На этот раз ему было не до чтения.

В конце улицы был расположен монастырь. Там подавали милостыню. Дидро добрался до монастыря и получил из рук дежурного монаха кусок хлеба. Тут, вместо того чтобы, поблагодарив за подаяние, уйти, Дени бросился на колени и закричал:

— Святой отец, умоляю вас, оставьте меня у себя! Я хочу поступить в послушники.

Тот понял, что руководит этим высоким, красивым, но истощенным донельзя молодым человеком с затуманенным от голода взглядом, и повел его в трапезную.

Если эта история правдива, до какого отчаяния должен был дойти Дидро, еще в коллеже отказавшийся от духовной карьеры, давший зарасти своей тонзуре, чтобы опуститься до подобной просьбы!

А вот другой рассказ, надо полагать, достовер-

ный: он встречается у обоих первых биографов Дидро — мадам Вандель и Нэжона, ссылающихся на него самого. Небольшие расхождения, встречающиеся у них, естественны. И в конце концов так ли важно, произошел ли описанный случай во вторник первой недели великого поста или на масленице, в день карнавала?..

Приведем эту историю так, как она изложена у Нэжона:

«Он (Дидро. — *А. А.*) был очень стеснен в средствах и терпел лишения, еще более ощутимые во время масленичного карнавала. В последний день этого праздника, более шумного, чем веселого, он остался совсем без денег, не имея даже на что поужинать во время предстоящего ему ночного бодрствования. Его друзья, объединяясь для удовольствий, столь неотразимых в их возрасте, тщетно завлекали его в участники своих проказ. Не желая ни посвящать их в свое отчаянное положение, ни принимать на себя новое долговое обязательство, столь обременительное для души свободной и независимой, он решил удовлетвориться дневным празднованием, вечером же остаться в своей комнате и чтением скрасить скуку одиночества. Но это средство, как выражается Монтэнь, недостаточно сильно против мыслей, направленных на удовольствия. Ум, уже затуманенный черными парами, был не в состоянии сопротивляться, и Дидро отправился на поиски ночных приключений».

Дальше Нэжон довольно туманно намекает на нежные чувства, которые могли принести успокоение, чего так не хватало натуре Дидро, и на то, что для счастливого завершения своего пребывания там, где он находился, нужно было бы несколько месяцев, а в его распоряжении было всего несколько часов. Речь идет, очевидно, о любовной интрижке.

Зато совершенно ясно Нэжон повествует о том, что произошло дальше. Дидро вернулся в трактир, где жил. Упал на стул и потерял сознание. Очнулся он от того, что хозяйка, напуганная состоянием своего жильца и догадываясь об его причинах, влила ему в рот стакан подогретого вина. Немного позже,

отнюдь не рассчитывая на плату, она принесла Дидро ужин и уложила беднягу в постель.

«В тот день, — кончает Нэжон свой рассказ, — он обещал, что, достигнув большего благополучия, не откажет в помощи ни одному человеку, который к нему обратится в нужде. Ни одна клятва не была столь священной и так свято не выполнялась».

Но и милостями доброй трактирщицы нельзя было просуществовать.

— Я знаю для вас одно дело, — как-то сказал ему приятель, — но я не уверен, что вы за него возьметесь.

— Ради бога, скажите! Даже самая плохая работа мне понравится, и я не сочту ее ни неприятной, ни тяжелой, — взмолился Дидро.

Можно догадаться, в каком он был положении!

— Я надеюсь, вы тонзурованы? — спросил приятель. Непонятно было, к чему он клонит, но истины скрыть было все равно нельзя.

— Нет, я не сохранил тонзуры.

— Но вы знаете, как составляются проповеди?

Это-то Дидро знал.

— Тогда ступайте на улицу Бак, в миссию. Там для вас найдется работа.

Дидро немедленно отправился на улицу Бак. Миссионер, который обращал в католичество туземцев португальских колоний, в самом деле заказал ему шесть проповедей, по пятьдесят экю за штуку. Конечно же, Дидро не замедлил их сочинить!

Триста экю! Это же целое состояние! На него, если быть благоразумным, можно просуществовать полгода.

Но он не был благоразумным, кто же этого не знал? Два нуждающихся приятеля жили на его крохи, пока эти крохи не иссякали. Ну что ж, это была его извечная манера жечь свечу для других. На каком бы убогом чердаке он ни жил, там всегда был матрас для друга; если у него была даже одна тарелка похлебки, вторая ложка всегда находилась. И диктовалось это теми же свойствами натуры Дидро, которые заставляли его готовить чужие уроки.

Ой, как ему было еще далеко до большого благополучия, а он не только не отказывал в помощи тем, кто просил ее, но и не дожидался просьб.

Приятель, пославший Дидро в миссию, надо думать, был недоволен, что у него так быстро кончились деньги. Но с его безрассудной—так считали многие — добротой ничего нельзя было поделать.

Когда Дидро начал давать уроки? Сразу ли после того, как отец отказал ему в помощи, или после куска хлеба, выпрошенного в монастыре? Кто знает!

Преподавал он математику, любя ее еще со времен лангрского коллежа, хотя в «Племяннике Рамо» и говорится, что, давая уроки, он сам еще ее не знал и учился, уча других, и его друг Даламбер подтрунивал над математическими занятиями Дидро.

Позже Дени преподавал и английский язык.

Представьте себе Дидро, приходящего на урок в неизменном плисовом сером рединготе, к тому же весьма потертом. Можно даже назвать эпохой серого редингота тогдашнюю его жизнь, в которой было столько мрачного. Но и светлого, несмотря на лишения, в этой жизни в мансардах Латинского квартала было не меньше. В «Племяннике Рамо» Дидро вспоминает не только о сером рединготе, но и о белых чулках, грубо заштопанных черными нитками.

Родители его учеников далеко не всегда платили ему так, как он заслуживал. Нередко эти сытые буржуа пользовались тем, что, кроме денег, бедняга нуждался еще и в обыкновеннейшем стуле, чтобы сидеть, занавесках на окно, рубашке, книгах. (Книги Дидро любил больше всего.) Они и расплачивались с ним мебелью, чаще пришедшей в негодность, а не доставленной из магазина, бельем, книгами. Из таких «подачек» и составлялось его скромное хозяйство. Правда, книги он покупал и сам, как только в кошельке заводилось несколько франков.

Но зато чем труднее жилось в те годы Дидро, тем больше закалялся его характер, тем больше в нем вырабатывалось энергии и стойкости.

Как-то, когда Дени пришлось совсем худо, он от кого-то услышал, что Рандон де Массан, секретарь

короля и крупный финансовый чиновник ищет репетитора для своих детей. Дидро попросил рекомендовать его Рандону.

— Каковы ваши условия, мосье Дидро? — спросил финансист.

— Квартира и питание. И еще полтораста ливров.

— Мы договорились. Ваша комната будет готова сегодня. Уроки можете начать завтра утром. Но я хочу, чтобы вы наблюдали также за туалетом моих сыновей, за их отдыхом, их прогулками, не оставляя их ни на минуту.

Деловой человек считал, что, если он платит, он может и спрашивать.

Дидро не мог отказаться. Кошелек его был совсем пуст, а он еще и задолжал несколько экю в гостиницу.

В тот же день Дени переехал из весьма скромного «отеля», где снимал комнату, в роскошный отель, как называли тогда особняки, финансиста на улице Ришелье возле фонтана.

Теперь он был и тюремщиком и заключенным. С этой минуты пришлось отказаться от бездумного фланирования по Парижу, от забав в грошовых притонах на площади Мобер, прогулок с гризетками, эскапад с молодыми людьми вольного нрава. Больше не будет ночных чтений и долгих часов в книжных лавках, самыми привлекательными из них были для него букинистические.

К тому же дети финансиста: и сыновья — Рандон де Аненкур и Рандон де Люсене — и дочь не обещали чему-нибудь научиться, так мало были они одарены от природы. Ученики относились к учителю почтительно и с явной симпатией, но он ничего не мог с собой поделать — они внушали ему просто отвращение. Однако три месяца он прожил у Рандона, не жалея для учеников своего времени, никогда не глядя на часы.

Но больше Дидро не мог выдержать. По окончании триместра он пришел к финансисту.

— Ищите мне заместителя, мосье! — сказал Дидро без всяких предисловий.

— Вы находите, что жалованье мало? Я его удвою. Вы плохо устроены? Выбирайте себе любые апартаменты. Стол нехорош? Заказывайте повару все, что вам только вздумается. Мне ничего не жаль, чтобы сохранить вас при моих детях.

— Мосье! — воскликнул Дидро со всей свойственной ему горячностью. — Лимон не так желт, как мое лицо. Я делал все, чтобы сделать ваших детей людьми. Но с ними я и сам превращаюсь в несмышленого ребенка. Я в тысячу раз богаче и благополучнее в вашем отеле, чем был до того, как в него переехал, чем буду завтра, когда съеду от вас. И все-таки я не могу вас не покинуть.

И так он поступал всегда. Если ученики оказывались способными, он занимался с ними дни и ночи, но если ему попадались тупицы, он отказывался от урока, как бы тощ ни был его кошелек и пуст желудок.

Не для того же, чтобы плодить бездарностей, он вместо пандектов и справочников по хирургии читал Тацита и Локка, Гоббса и Ньютона!

Но сколько бы он ни изучал этих духовных своих отцов, пока они обеспечивали его жильем и пропитанием нисколько не больше, чем его родной отец, зажиточный буржуа из Лангра.

Впрочем, Дени находил способы извлекать средства, если не непосредственно из кошелька метра Дидье, то из его репутации.

Самые значительные «преступления», которые совершил, чтобы не умереть с голода, Дидро в эти годы, были посягательства на мошну его земляков. Время от времени он встречал их на парижских улицах. Они приезжали в столицу то, чтобы подрядить слугу, то, чтобы продать рога животных своего стада. Других причин, пожалуй, у них не бывало. Это были добродушные, но туповатые буржуа, не имевшие даже чести знать, что за человек тот, кого они выручали.

Зато они прекрасно знали его отца и не имели никаких оснований сомневаться в том, что метр Дидье беспрекословно уплатит долги сына.



Брат Ангел

Вот самая забавная и самая изобретательная из проделок Дени с его земляками.

У метра Дидье был в Париже родственник-кармелит, брат Ангел, тоже родом из Лангра. Ножовщик попросил монаха время от времени встречаться с Дени, негласно наблюдая за поведением его непутевого сына. Дошли слухи, что подобные услуги брат Ангел оказывал не одному ножовщику Дидро, но еще нескольким лангрским буржуа, чьи сыновья тоже жили в Париже, и поведение их беспокоило родителей. Дени Дидро не забыл брата Ангела. Вы встретите кармелита под таким именем в его знаменитом диалоге «Жак-фаталист» и заметку о брате Ангеле в «Записках» для Екатерины II.

Уже в первый свой визит к брату Ангелу Дени понял, что главное в этом человеке — плохо прикрытое монашеским платьем и постной улыбкой желание разбогатеть. Пронырливый кармелит искал способа превратить свой монастырь в коммерческое предприятие, которым руководил бы он сам, в направлении, разумеется, не духовном, а мирском, житейском.

Поняв это, Дени тут же сообразил, что сможет использовать корыстные устремления кармелита для собственной выгоды. Он зачастил к брату Ангелу. В первое свое посещение Дени беседовал с кармелитом на общие темы, преследуя единственное намерение — вызвать его доверие и расположить монаха к себе.

Только когда Дени убедился, что эта цель достигнута, он позволил себе признаться брату Ангелу — ему наскучила рассеянная жизнь, которую он вел до сих пор, и он серьезно задумывается над тем, как бы ему удалиться от света.

Увидев, что кармелит на «удочку» клюнул, Дени

с той же искренностью и задушевностью продолжал размышлять дальше. Он только не знает, какой бы ему выбрать монастырь. Хотелось бы вступить в такой орден, который наверняка обеспечит ему вечное блаженство, и выбор должен быть его безошибочен и бесповоротен.

Что говорит в ответ брат Ангел? Само собой разумеется, начинает безудержно превозносить свой монастырь, произносит настоящий панегирик ордену босоногих кармелитов.

Дени останавливает монаха. Брат Ангел его убедил. Он почти готов стать кармелитом. Но есть некоторые обстоятельства, которые он счел бы себя не вправе скрыть от своего наставника на пути к вечному блаженству. Во-первых, у него есть долги. Смеет ли он распрощаться со светом, не уплатив их? Во-вторых, до сих пор он был грешником. Теперь же он должен распрощаться с женщиной не слишком строгих правил, с которой был в связи, но может ли он это сделать, не предоставив ей некоторой денежной компенсации за утраченную любовь?

Это признание нравится брату Ангелу куда меньше. Для него было бы весьма затруднительно уплатить долги своего юного друга да еще и дать ему денег для женщины, которую тот собирается оставить.

Дени жестом показывает, что в противном случае он не сможет осуществить своих благих намерений. Он собирается уходить, хотя и очень удручен этим.

Кармелит его останавливает. Будущий брат не так понял. Как ему ни трудно, он готов заплатить долги сына своего старого знакомца и дать ему денег на выкуп от греховной связи.

Дени садится на краешек стула, показывая, что он пока не ушел, но не отказался полностью от намерений уйти.

Монаху не остается ничего иного, как опустить руку в глубокий карман сутаны, достать оттуда весьма пухлый кошелек и отсчитать названную Дени сумму.

Через несколько дней вновь обращенный кармелит приходит снова. Он уплатил долги, он распрощался

не без затруднений с женщиной — как она в него вцепилась, как плакала и бранилась!

Значит, он готов к вступлению в орден?

К сожалению, нет. Разве Дени может себе позволить прийти в столь уважаемый монастырь, не будучи обеспечен самым необходимым?! Он гол и бос. Стыдно признаться, но у него нет даже целой рубашки. В конце концов это бросило бы тень на его достопочтенных родителей. Конечно, сейчас они не присылают ему даже самого крохотного пособия. Но ведь они поступают так, потому что он до сих пор не выбрал себе профессии и ведет рассеянный, чтобы не сказать — беспутный, образ жизни. Но нет никаких сомнений, как только он вступит на путь вечного блаженства, став кармелитом, метр Дидье и матушка Анжелика с благодарностью возместят обители все расходы на их сына.

Кармелит скрепя сердце принимает на веру и это заявление. Он-то ждет от ножовщика куда большего!

Он дает Дени денег и на белье. Но при этом просит молодого человека поторопиться. Какой смысл мешкать, так твердо решив посвятить себя богу?! Он, брат Ангел, уже доложил настоятелю о своих беседах с Дени, и в монастыре с нетерпением ждут вновь обращенного брата.

Дени обещает как можно скорее приобрести белье.

Еще через несколько дней он является снова. На нем почему-то все та же неуклюже заштопанная рубашка.

— Вы готовы? — с нетерпением спрашивает его монах.

Дени делает постную мину.

— У меня возникло, — говорит он, — еще одно затруднение. Книги.

Брат Ангел не понимает, что он имеет в виду.

Оказывается, дело в том, что Дени должен внести залог за некоторые богословские книги, без которых он не может вступить в обитель, так как, вполне вероятно, их нет в монастырской библиотеке. И, во-вторых, для того чтобы стать членом достопочтенно-

го ордена, ему совершенно необходимо раздобыть капитальный труд о кармелитах. Ему обещали достать эту книгу в знакомой книжной лавке. Но она стоит очень дорого, и у него нет денег, чтобы за нее заплатить. И потом... он должен еще дожить до того дня, когда книга будет добыта.

С довольно кислым выражением лица брат Ангел и на этот раз дает ему денег.

Если бы на этом кончилось! Но Дени в следующее посещение придумывает еще что-то. Теперь уже брату Ангелу совершенно ясно, что этим требованиям и вымогательствам пора положить конец.

— Я ни в чем вам не отказываю, — говорит он, изо всех сил стараясь сохранить спокойствие. — Но давайте лучше сделаем так. Дайте мне список всех ваших долгов и обязательств, я их уплачу. Составьте перечень вещей, которые вам необходимы, и даже тех, которые доставят вам удовольствие, я их приобрету. Но поймите же, наконец, с вашим вступлением в орден ничего не получится, если вы будете предоставлены самому себе. Я буду честен в глазах ваших родителей и ваших собственных только в том случае, если, выполняя все ваши пожелания и предоставляя вам все необходимое для продления жизни, не буду давать вам в руки наличных денег.

— Как, вы больше не будете давать мне денег?

— Разумеется, нет. Я же вам объяснил почему.

— Тогда, дорогой брат Ангел, всего хорошего! В таком случае я и не подумаю стать кармелитом.

Вот и вся история. Началось с того, что Дидро, обезумевший от голода, просил милостыню в монастыре и готов был стать даже послушником. Продолжилось тем, что он сочинял проповеди, не веря в то, что писал в них. А кончилось тем, что он сыграл на якобы обуявшем его приступе благочестия, беззастенчиво выманивая у брата Ангела деньги и не помышляя когда-либо их вернуть.

К тому же он не испытывал никакого раскаяния, потому что и сам брат Ангел заботился о боге нисколько не больше, чем он. Напротив, Дени был очень доволен, что так ловко обошел монаха.

VIII Чудесная Англия

Книги Дидро любил так, что даже девушка, которой он увлекся, была дочерью книготорговца Бабюти. Звали ее Габриель. Была ли она любовницей Дидро? Вполне вероятно. Она могла бы воспламенить и сердце менее горячее. Круглое личико, маленький носик в соединении с нежным румянцем, наивным детским выражением, пленительным кокетливым ротиком, каштановыми волосами, природной грацией и изяществом ее нарядов могли очаровать любого. Она была вполне достойна и платонической любви.

Габриель уже тогда предвосхитила головки Грёза, которым художник дал свое имя пятнадцать лет спустя, а Дидро тогда же их прославил. Впрочем, в этом нет ничего удивительного: в 1756 году Грёз на ней женился, и она постоянно служила ему моделью.

Что же касается Дидро, то во времена их молодости несравненно больше, чем Габриель Бабюти, в лавке ее отца его интересовали книги и... Англия.

В этой лавчонке на углу набережной Августинцев он однажды нашел «Философские письма» Вольтера. Раскрыв книгу у прилавка, за которым стояла его Габриель, он тут же забыл о девушке, не заметил, как пролетело время. А между тем прошел час-другой... Ему пора было идти обедать. Дидро вышел на улицу, продолжая читать на ходу. Толкая прохожих, он двигался по набережной, ослепленный пламенем, зажженным «Философскими письмами» в его голове. Перед ним была Сена, но он видел не ее, а Темзу, большие океанские суда, матросские таверны... Перед ним была доблестная английская нация, сильная, свободная, именно свободная. И он сравнивал ее вольную коммерцию, ее выхо-

ды на далекие заморские земли с жизнью бедного французского народа, закрепощенного своей аристократией и своим духовенством.

О чудесная Англия! Вольтер имел счастье ее посетить, у ее мыслителей он научился философии правдивой, светлой, человечной, потребность в которой возбудили в нем еще прежде Фома Аквинский и Декарт. Сам Дидро тоже учился у Фомы Аквинского и Декарта. За чтение Локка, Гоббса, Ньютона ему доставалось еще от метра Клемана, когда он жил в учениках у прокурора и вместо англо-французского словаря пользовался англо-латинским. Значение латинских слов за века отстоялось: оно было точнее французских. А как он любил Томсона, Свифта, Дефо!

Наверно, потом Вольтер рассказал ему об Англии и кое-что иное. Например, историю встреченного им на Темзе лодочника. Сперва тот не согласился бы стать и епископом в Париже. Но потом Вольтер встретил своего знакомца в тюрьме. Бедного лодочника насильно завербовали в норвежский флот и заточили, чтобы он не смог бежать. И Англия была уже не такой свободной страной. Свободы нигде на земле не было: Вольтер пришел к этому выводу.

Но Дидро пока этого не знал и был влюблен в Англию.

С большим трудом он вернулся с берегов Темзы, из страны философии к толпе, наводнявшей площадь Сен-Мишель и Новый Мост через Сену. А когда вернулся, ему стало до боли жаль Парижа с его узкими и грязными улицами, жаль Франции с ее нравами, распущенными и отсталыми, ее наглыми и развратными господами, ее темным народом.

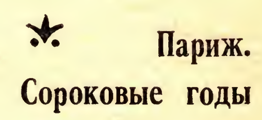
Здесь же, на Новом Мосту, не присягнул ли Дидро на книге Вольтера, дав клятву посерьезнее той, которую дал он в день карнавала, когда его накормила добрая трактирщица? Не обещал ли он преобразовать разум своего народа, утвердив мораль, естественную и поэтому святую, человечную?!

Идя снова по течению реки, уже по другому берегу Сены, он мечтал так, наверно, до тех пор, по-

ка не начал накрапывать дождь и рези в желудке не заставили его поторопиться к своему ежедневному бульону, счета за который терпеливый трактирщик время от времени посылал в Лангр.

Правда, в тот же вечер свидание у Поршеронов или на мосту Турнан с его прелестной возлюбленной заставило Дидро до завтрашнего утра забыть и Вольтера с его «Философскими письмами» и Англию с ее доблестями. Поистине можно сказать — ничто человеческое было Дидро не чуждо. В ту далекую пору он проявлял равную меру усердия в любви и в занятиях.

IX



Париж. Сороковые годы

В Париже Людовика XV самыми знаменитыми были кафе «Прокоп» — его называли еще «Пещерой Прокопа» — на улице Комеди, «Регентство» на площади Пале-Рояль, «Лорен» на улице Дофина и, наконец, кафе «Парнас» на углу улицы Эколь.

Частыми посетителями этого кафе были ученые — Мопертию, философ и естествоиспытатель, впоследствии президент Берлинской академии наук, и математик Сорен. У «Прокопа» вы могли бы постоянно встретить поэта Жана Батиста Руссо, Вольтера, Мармонтеля и других литераторов. Несмолкаемый шум стоял в многолюдном зале. Стены его были обшиты деревянными панелями. Люстры из хрусталя с бронзовыми украшениями освещали по вечерам бокалы и бутылки с напитками на буфетной стойке.

«Прокоп» посещали и актеры Французской комедии: театр помещался поблизости. Здесь можно было услышать тираду трагика, перекрываемую голосом

литератора, критикующего последний роман, или философское эссе, только что изданное в Голландии.

За четыре или пять франков можно было не только получить чашку шоколада или кофе, засахаренные фрукты, лимонад, но и провести здесь целый день, захватив и вечер, согреться в холодную погоду и... быть в курсе решительно всего. Прочесть свежие газеты и журналы или брошюры, насладиться беседой с талантливыми людьми.

Дидро не пропускал ни одного дня, чтобы не заглянуть в одно из кафе.

Но кафе «Регентство» было и тише и уютней. И если не у «Прокопа», то именно здесь глухой Лесаж просил Дидро произносить свои речи ему в слуховую трубку.

Автор «Жиль Бласа» описал кафе «Регентство», переливчатую игру зажженных свечей в его зале, где в полной тишине, окруженные почтительными зрителями, человек двадцать неизменно сражались в шахматы.

Во времена Дидро знаменитый шахматист Филидор был еще слишком молод, чтобы посещать «Регентство», но зато Дени мог наблюдать за игрой маркиза ле Легаль и аббата Шенар.

Кафе «Лорен» на улице Дофина тоже удостаивалось посещений Дидро.

В жаркое время года сады Люксембург, Пале-Рояль, Тюильри собирали обычную публику кафе. Летом эти господа предпочитали цветы, зелень, общество хорошеньких женщин. Чаще всего в Тюильри вы еще издали могли увидеть возвышающуюся над другими крупную, ловкую, мускулистую фигуру Дидро. Он любил прогуливаться по главной аллее этого сада.

Не реже встречали его и на Новом Мосту. Здесь пред ним проходил и проезжал весь Париж: стада овец, которых гнали на продажу, кавалеры, подзывающие продавцов воды, торговцы яблоками, зазывающие покупателей, кавалькады великосветских

дам и господ... Стук барабана возвещал о появлении новобранца. С цветком за ухом, с бутылкой вина в одной руке, мешком — в другой, следовал он в свой полк, а рядом шла его подружка.

Сколько раз Дени останавливался, чтобы послушать зазывную речь вербовщика. Какой получился бы из него бравый вояка! Все женщины были бы у его ног, если бы он облачился в мундир! Дени невольно расправлял плечи. И тут же опускал их. Нет, лучше всю жизнь терпеть бедность! Лучше быть никем, чем сделать своей профессией убийство.

Ни военным, ни служителем бога, ни придворным, ни королевским чиновником, так же как врачом и адвокатом, ни за что бы не хотел стать Дидро. Подумать только, что он мог бы стать каноником или, того хуже, иезуитом!

Но неверно было бы думать, что Дидро был одинок в своей ненависти к ордену святого Иисуса, в своем недовольстве королем, в своем преклонении перед свободной Англией. Весь Париж конца тридцатых — начала сороковых годов XVIII столетия как бы являл собой петарду, начиненную взрывчатыми настроениями. Город был заражен янсенизмом, и вовсе не потому, что всем парижанам так нравилась доктрина этой секты внутри католицизма. Но янсенисты были против иезуитов, а иезуиты были олицетворением того, что было всем ненавистно. Янсенисты были и против правительства.

Буржуазные историки пытались установить преемственную связь между янсенизмом и взглядами Дидро. Нелепость этих измышлений опровергается его собственными словами. В 1762 году, когда янсенисты, добившись изгнания иезуитов из Франции, торжествовали победу, он писал: «Они не представляют себе, что их самих ожидает забвение: это басня про две подпорки, которые вступили в спор с крышей дома. Хозяину надоело их несогласие: он срубил одну, другая же упала сама». И не раз еще Дидро с нескрываемой неприязнью отзывался о «папских доктринах» янсенистов.

Правда, это было позже. Но ведь уже в сороковых годах первое, вполне оригинальное философское сочинение Дидро — «Философские мысли» — было приговорено к сожжению за то, что «в них с напускным притворством все религии ставились на один уровень, чтобы не признать в конце концов ни одной из них».

Отсюда вытекает и его отношение к янсенистам.

Секта эта получила свое название по имени своего родоначальника, голландского богослова Корнелия Янсениуса (1585—1638), отрицавшего свободу воли и утверждавшего, что «спасение человека зависит от искупающей силы благодати».

Главной мишенью янсенистов, повторяю, были иезуиты, завладевшие богословским факультетом Сорбонны, главной цитаделью янсенистов был парижский монастырь Пор-Рояль. Расходясь с общепринятым католическим учением в ряде богословских вопросов, в числе других требований к духовенству янсенисты выдвигали требование аскетической жизни. Тем самым они являлись как бы протестантами среди католиков. Но, конечно, — это великолепно понимал Дидро — серьезных различий между ними не было. Дело не в догмате, а в существе — в признании бога создателем, управителем мира. Пышность ли канонического католицизма, видимость ли скромности, самоотречения от жизненных благ протестантов и близких к ним янсенистов, по сути дела, ничего не решали. Характерно и такое обстоятельство. Иезуиты, разоблачая янсенистов так же, как те разоблачали иезуитов, помогали дискредитации католической церкви во Франции и, более того, дискредитации религии вообще.

Кто тогда не читал ходившего по рукам дневника известного адвоката Барбье, наполненного разоблачениями иезуитов?! Нет сомнения, что читал его и Дидро.

Но оппозиционным образом мыслей были заражены и те, кто не читал этого дневника, хотя бы потому, что просто не умел читать. Недовольны существующим положением вещей были решительно все

слои населения. Недовольны даже больше, чем прежде, хотя бунтов — хлебных, податных, бунтов подмастерьев с излишком хватало и в предыдущее царствование — короля-солнца. Недовольно было низшее духовенство, потому что нищета прихожан приводила его к нищете. Чиновники магистратуры, прокуроры, нотариусы, адвокаты хотели законности вместо торжествующего везде произвола. Буржуа не желали терпеть больше тяжесть налогов — такую, словно на них была возложена контрибуция иноземных захватчиков.

Но, конечно же, больше всех страдал народ. Пахари умирали на своих полях от голода, и поэтому толпы пришлых нищих еще больше, чем прежде, наводняли Париж. Подмастерья, производившие материи, затканные золотом, сами ходили в жалких отрепьях.

Недовольство правительством прорывалось везде. Пасквили на короля звучали со сцен парижских театров и с амвонов парижских церквей.

Оппозиционные настроения охватили и образованный слой аристократии. Маршал Вобан, собрав вопиющие факты, обратил внимание короля на трагическое положение народа и за это впал в немилость у его величества. Мадам Дюферен, одна из знатных дам, принимала в своем салоне не только будущего соредактора Дидро по «Энциклопедии» Даламбера, но и автора пасквилей на короля и двор — Флерона.

Оставивший очень интересные дневники середины столетия, маркиз Даржансон, однокашник Вольтера, прекрасно понимал, что дальше так продолжаться не может. Понимал это и его брат — граф, военный министр, как и он, поддерживавший вольнодумных философов, что, впрочем, позже нисколько не помешало ему почувствовать себя лично задетым «Письмом о слепых в назидание зрячим» и засадить неосторожного автора в Венсеннский замок.

Но, надо думать, нигде тогда не произносилось столько зажигательных речей, сколько можно было услышать в кафе, ставших как бы политическими клубами парижской интеллигенции.

Поэтому не приходится удивляться, что в кафе «Регентство» Дидро познакомился с человеком, который сперва был его ближайшим другом, а потом злейшим врагом, человеком, чье имя вскоре прогремело по всей Европе.

X. Триумвират

В один из январских вечеров 1742 года, а может быть, это произошло и в конце 1741-го — история не донесла до нас точной даты, — Даниель Роген, офицер голландской армии, но родом швейцарец, человек уже лет за пятьдесят, однако постоянно вращавшийся среди молодежи, предложил Дидро:

— Пойдемте со мной сегодня в кафе «Регентство», я познакомлю вас с одним моим соотечественником, которого нельзя упрекнуть ни в недостатке ума, ни в недостатке таланта.

Дидро согласился. В кафе Роген извлек своего знакомого из гущи шахматистов и представил его Дидро. Это был молодой человек среднего роста, с манерами неловкими и в то же время безыскусственными, в круглом парике. В наружности его ничего не было примечательного, кроме глаз. Но зато что это были за глаза! Какой в них был огонь! Лицо его казалось не то мрачным, не то грустным. Звали молодого человека Жан Жак Руссо, он был французом из Женевы. Молодые люди разговорились. Выяснилось, что они почти ровесники. Руссо на год моложе. Он признался, что все его планы и надежды связаны с музыкой. Но как трудно чего-нибудь добиться человеку не родовитому, без состояния! Руссо — сын ремесленника.

— Я тоже! — воскликнул Дидро.

Они подружились сразу. Оба были этой дружбой счастливы. Она длилась пятнадцать лет.

В тот первый вечер они больше всего говорили о музыке. Руссо написал музыкальную комедию «Нарцисс» и давал уроки композиции. Дидро пел для себя. У него был хороший голос. Но какое это имело значение? Дидро знал музыку, как знал он все остальное.

Роген, сделав свое дело — познакомив их, ушел, оставив новых друзей вдвоем. Они посидели в кафе недолго и вышли на улицу. Разговор перешел на другие искусства. Они и не заметили, как оказались на Новом Мосту, излюбленном месте прогулок Дидро. Молодые люди то спорили, то радовались тому, что думают обо всем одинаково, и глубокой ночью обнаружили — беседа завела их на улицу Кордие, где Руссо снимал комнату. Оттуда они опять дошли до дома Дидро и все еще не могли расстаться.

То, что новые друзья жили в разных концах Парижа, нисколько не помешало их частым встречам. Три раза в неделю они встречались в Пале-Рояль и шли оттуда обедать в гостиницу «Паньо-Флери».

Дидро никогда и никуда не являлся в назначенное время, а бывало, что и не являлся совсем; его увлекало что-нибудь другое, и он забывал прийти. Но он не пропустил ни одного из этих свиданий с Руссо, хотя и частенько опаздывал: вовремя прийти он решительно не мог. Очевидно, ему очень нравились беседы, которые они вели за обедом.

Жан Жаку жилось тоже очень трудно. Он совсем недавно приехал в Париж из Женевы с пятнадцатью луидорами в кармане. Откуда сын бедного часовщика мог взять больше? С мосье Рогеном его свел де Бонфон. Руссо был ему благодарен: Роген не только стал его ближайшим другом, но и познакомил его с Дидро.

Как бы Руссо жил, если бы людям не взбредало в голову учиться композиции? Аббат де Лео предложил ему место секретаря. Он отказался. Аббат собирался платить только восемьсот франков в год. С та-

ким жалованьем можно было лишь не умереть с голоду.

Руссо приглашали к себе аристократы. Далеко не всегда они понимали, как нужно обращаться с этим разночинцем. Мадам де Баданвиль в одно из его посещений предложила ему отобедать. Руссо согласился: он был, как всегда, голоден. Но тут же выяснилось, что она собиралась отправить гостя в буфетную, где он обедал бы в обществе слуг. Узнав это, Руссо сказал, что он очень торопится. Дочь хозяйки, мадам Брюльи, была деликатнее матери и лучше понимала, что это за человек этот учитель музыки. Она что-то шепнула мадам де Баданвиль. Та сказала:

— Отобедайте с нами!

Он остался. Он вел себя за столом аристократки так безукоризненно, что мадам Брюльи взглядом спросила у матери: «Разве я не была права? Разве этому человеку не больше пристало обедать с нами, чем с нашими служанками?» И матери нечего было возразить.

Зачем Руссо водился с аристократами, зачем бывал в их салонах, где всегда мог нарваться на подобное унижение? Доступ в знатные богатые дома открывал дверь к успеху, а он хотел ее открыть. Без поддержки меценатов нельзя было пробиться к славе, а он страстно хотел пробиться.

И это тот Руссо, который потом станет самым яростным из всех республиканцев и демократов!

В сорок втором они с Дидро встречались недолго. Жан Жак уехал в Венецию секретарем французского посла графа Монтегю. Восемнадцать месяцев Руссо отсутствовал.

В Венеции он в первый раз слушал исполнение собственной оперы «Галантные музы».

Рассказывая другу о своей поездке, Жан Жак назвал Бенеттину, маленькую танцовщицу, чьи танцы его пленили. Дидро спросил об его венецианских любовных интригах. Руссо ответил, что восемнадцать месяцев и не думал о любви. Дидро это удивило. Сам он в отсутствие друга успел жениться. Но и у Жан Жака в Париже была Тереза Лавассер, краси-

вая белошвейка. Дени познакомил ее со своей Нанетой, тоже белошвейкой. Он хотел, чтобы они подружились так же, как дружен он был с Руссо. Из этого ничего не вышло ни тогда, ни потом, когда он женился на Нанете, ни даже когда женился на своей Терезе и Руссо. Не помогло и то, что обе женщины были дворянского происхождения и у обеих отцы разорились.

Впрочем, это не мешало Жан Жаку и Дени так же дружить и видеться так же часто, как не мешало этому и отвращение Дидро к высокопоставленным особам, к чьему покровительству прибегал его приятель.

Сам же он жил так: вспоминал улицу Сен-Виктор, где обитал, только чтобы спать, есть, работать. Остальное время он отдавал по-прежнему мечтательным прогулкам по аллеям Люксембурга и Тюильри и долгим часам в кафе. И, женившись, он не слишком изменил своим привычкам.

О том, как и почему женился этот человек, свободный как ветер, речь еще впереди. А пока познакомимся с третьим членом неизменного триумвирата сороковых годов.

Однажды, как обычно, опоздав к обеду в «Паньо-Флери», Дидро нашел своего друга в обществе какого-то молодого человека, тихого и учтивого, в черном платье, с маленьким белым воротником, таким же скромным, как и его владелец. Это был аббат де Кандильяк, брат аббата Мабли. Руссо аттестовал его своему другу как человека с большими достоинствами, глубокой учености, философа. Подобная рекомендация аббата заставила покраснеть и смутиться. Но когда они сели за стол и принялись беседовать, выяснилось, что он в самом деле прекрасно образован и очень умен.

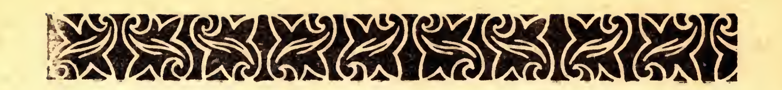
Всех троих объединяла философия Локка. Кандильяк работал над книгой «Происхождение человеческих познаний». Каждый из троих применял принципы локковского сенсуализма и эмпиризма к той области знания, которая привлекала его больше всего. Дидро на первых порах — к критике теологии, Кан-

дильяк — к психологии и к происхождению познания, Руссо — к социальной философии, или социологии, и педагогике. Скоро Дидро, как в коллеже, начнет готовить «чужие уроки», подскажет Кандильяку главную мысль известного его «Трактата об ощущениях», а Руссо — знаменитый ответ на вопрос Дижонской академии: способствовал ли расцвет искусства и наук очищению нравов?

Придет время, и пути их разойдутся. Но пока они друзья.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ





I. Улица Бутебри

Потомки придирчивее, чем самая привередливая свекровь. Прошло уже 220 лет с той ночи 6 ноября 1743 года, как Дени Дидро, нарушив запрет отца, втайне обвенчался в маленькой церковке «Петр на быках» — на ее фронтоне и в самом деле были две бычьи головы. А мы и по сей день рядим и судим, правильно ли он поступил, женившись, взвешиваем хорошее и дурное, что принес ему брак, вчитываясь в его собственные письма, автобиографические произведения, свидетельства современников.

В том же 1713 году, когда в Лангре родился Дени Дидро, в Отеле-Дье, больнице для бедных, в городке Ферте-Бернар скончался некий фабрикант Амбруаз Шампьон. Став жертвой собственных неудачных спекуляций и будучи не в состоянии поправить дела, он не нашел ничего лучше, чем умереть.

Вдова банкрота, Мари, урожденная де Мальвиль — отец ее был обедневшим дворянином, с младшей трехлетней дочкой переехала в Париж. Девочку она, как было тогда принято во Франции, отдала на воспитание в монастырь, остановив свой выбор на обители де Мирамьон вблизи от Турнеля. Сама же мадам Шампьон поселилась у богатой подруги — на ролях не то компаньонки, не то приживалки. Очевид-

но, и за воспитание Анны Туанеты платила подруга. Когда благодетельница в 1726 году умерла, Мари Шампьон взяла дочь из монастыря и открыла скромное белошвейное заведение. По некоторым сведениям, оно служило и прачечной, по другим — они продавали и кружева.

Тонкая талия Анны Туанеты, ее живые черные глаза, красивое лицо привлекали клиентов. Немало среди них было и охотников на ней жениться. Но девушка всем отказывала: видно, никто не нашел дороги к ее сердцу. Конечно, в их мастерскую приходили заказчики. Она держалась с ними строго, договаривалась о цене, снимала мерку. Эту дюжину рубашек надо сшить к святой неделе, ту — к рождеству. И все.

Что еще входило в жизнь белошвейки, но не веселого нрава и легкого поведения, как другие гризетки, а добродетельной, не слишком молодой девушки, к тому же довольно неуживчивого характера? Книг она почти не читала, музыку не любила. В монастыре этому не учили.

Так Анна Туанета продолжала жить с матерью. Ей шел уже тридцать второй год, когда одно, словно бы незначительное, происшествие перевернуло весь размеренный, как звон колоколов, ход ее жизни. Работа, церковь — она была религиозной, хозяйственные хлопоты, поучения матери...

И вот однажды Анна Туанета возвращалась после мессы на улицу Бутебри в их скромную квартирку, служившую и мастерской, не подозревая, что за ней по пятам следует молодой человек.

Он увидел ее возле церкви на улице. Она ему понравилась. Он решил проследить, в какой дом она войдет, на какой этаж поднимется. Оказалось, что девушка живет поблизости от его собственной квартиры.

Выждав ровно столько времени, сколько требовалось, чтобы не вызвать подозрений, молодой человек постучался. Ему открыли.

Побуждения, им руководившие, были так невинны и так естественны! 1 января будущего года он по-

ступает в семинарию святого Сульпиция (по другим сведениям — святого Николая). Уже одно это не могло не расположить к нему честных католичек, мать и дочь Шампьон. Молодому человеку недостает вещей, без которых его не примут в семинарию. Стыдно признаться, но его белье в совершенно негодном состоянии. Не были бы дамы так любезны и не согласились ли бы они сшить несколько рубашек из полотна, которое мать пришлет ему из Лангра? Он разговаривал с ними так почтительно, словно они и впрямь были дамами, а не белошвейками. Матушка Шампьон, вероятно, вспомнила те времена, когда она еще была женой фабриканта, а может быть, и те, когда в девицах жила у своего отца де Мальвиль.

Мать и дочь переглянулись. Этот неожиданный заказчик им явно нравился. Еще бы! Будущий духовный сановник... Вряд ли они подумали, что его голова похожа на голову Платона или Аристотеля — сравнение, столь принятое потом, — для этого дамы Шампьон не были достаточно образованными. Но могли ли они не заметить, как он хорош собой. А рост?! А фигура?! Да еще и так любезен, так обходителен!

А когда придет полотно? Они непременно окажут молодому человеку столь незначительную услугу.

Расточая почтительнейшие заверения в своей благодарности и пообещав в скором времени вернуться с материей, Дидро удалился. Едва выйдя на площадку лестницы, он пустился в пляс. Ключик к этой двери найден. Дело за небольшим, надо раздобыть полотно. Но черные глаза и тонкая талия стоят хлопот! Много позже в «Салонах», в нескольких фразах изложив историю своей жизни, Дидро писал: «Я встретил девушку, прекрасную как ангел... и она стала моей». Теперь он вступил в борьбу за эту девушку.

И скромная квартира на улице Бутебри ему понравилась, чем-то напомнив родительский дом в Лангре.

На его счастье, как раз тогда в Париж по своим

делам приехал один из друзей и земляков ножовщика Дидро — торговец табаком, поставщик двора его величества, метр Пьер Лассалет. Как не воспользоваться таким случаем? Дени воспользовался. Он тут же разыскал Лассалета и открыл ему свое намерение поступить в семинарию святого Сульпиция, ввернув, разумеется, в рассказ и то, что ему не хватает только белья. Рубашки, сшитые еще его матушкой, уже не годятся. Он хочет заказать новые по своей теперешней мерке. Но его кошелек не выдержит такой траты. Впрочем, если бы ему прислали из дому несколько локтей полотна... С остальным он управится сам.

Казалось бы, что могло быть достойнее намерения отпетого сына почтенного человека, как поступить к святому Сульпицию? Однако метр Лассалет не мог не призадуматься. Кто из соседей семьи Дидро не знал истории с братом Ангелом? Весь Лангр, городто маленький, не мог забыть этой мистификации, этой игры в покаяние и благочестие. Помнил эту историю, разумеется, и метр Лассалет. Но добродушный буржуа был незлопамятен и не страдал недоверчивостью. Может же человек взяться в конце концов за ум! Под диктовку Дени он тут же написал в Лангр.

Полотно не замедлило прибыть, его сопровождали поздравления всех членов семьи будущему семинаристу. За полотно Дени был душевно благодарен. Легковерие родных заставило его только расхохотаться.

Со свертком под мышкой он тут же отправился на улицу Бутебри.

Разумеется, понадобилось снять редингот, надо полагать, тот же серый, плисовый, и, надо полагать, сама Анна Туанета своими ручками — тогда они, наверное, показались ему нежными, хотя и были исколоты иголками, — измерила объем его шеи, длину рукавов.

А он пока говорил, говорил так, как умел говорить только он. И поймал ответный взгляд Анны Туанеты в награду за свои пылкие взгляды. Вместе

с пламенными словами они растопили зачерствевшее сердце немолодой девушки.

Через два дня последовал новый визит. Знакомство укрепилось, не прекратившись и когда рубашки были сшиты.

Домашний суп, запах сваренного Анной Туанетой кофе, — он так его любил и далеко не всегда мог себе позволить вторую чашку в кафе «Регентство»! Это было именно то, чего ему больше всего недоставало в его неустроенной жизни. Ему уже двадцать восемь. Почти все его товарищи женились. Насколько лучше бы шли его занятия, если бы всегда рядом с ним была эта милая черноглазая девушка!

И вот Дидро влюблен, влюблен на всю жизнь! Он уже называет Анну Туанету Нанетой, Тонтон, маленькой мамой, рассказывает ей обо всех своих делах. Себя же он называет Нино.

Заболев, немедленно направляет ей письмо с надежным посыльным:

«Ура, милая маленькая мама! Только что получил письмо от отца. После проповеди на два локтя длиннее, чем обычно, полная свобода делать все, что я захочу. (Очевидно, метра Дидье смягчило известие о семинарии святого Сульпиция, хотя, если судить по дальнейшему, Дени заменил его уже новой мистификацией. — *А. А.)* Буду ли я по-прежнему настаивать на решении поступить к прокурору? В таком случае отдается распоряжение найти хорошего прокурора и своевременно заплатить ему за первую четверть. Но при этом ставится совсем комичное условие: не упустить помолиться святому духу и причаститься. Слышали ли вы когда-нибудь, чтобы так готовились к поступлению к прокурору? Молиться святому духу, чтобы поступить к прокурору! Помолитесь же ему немного за меня, мадемуазель.

Мой бобо не разрешает мне расцеловать вас от всего моего сердца.

Дидро».

Затем следует шуточное стихотворение, им самим сочиненное, где говорится о причинах возникновения

его «бобо», еще больше о сладостном искусстве поцелуя и о ревности всевышнего, лишившего его запретной радости.

Новое письмо Дидро — на этот раз заболела Анна Туанета — «свидетельствует о том, что отношения их зашли дальше — они уже на пороге полной близости, и о том, что Дидро одержим настоящим чувством. Он спрашивает: «Что с вами, моя милая Нанета? Не беспокоит ли вас что-нибудь? Не расстраивает ли ваше здоровье какая-нибудь печаль?» Он просит: «Откройте мне хоть раз ваше сердце, разве не предстоит мне делить с вами и удовольствия ваши и горести? Можете ли вы скрывать от Нино, у которого нет никаких тайн от вас? Разве доверие не должно быть следствием вашей любви? Вы самая несправедливая из всех женщин, если еще сомневаетесь в искренности моих обещаний. Призываю в свидетели правду, что на всем свете люблю только вас».

Дальше Дидро опровергает наветы некоей мадам Ганье, очевидно владелицы дома, где жили дамы Шампьон: она рассказала Анне Туанете о его прежних любовных похождениях.

Письмо продолжает: «И вы слишком чувствительны, чувствительны до слабости, если будущее нашей любви навевает на вас хотя бы мимолетную печаль. Разве так безнадежны хлопоты моих друзей, которые стали и вашими друзьями? Неужели небеса ничего не сделают для людей, которые так искренне любят друг друга? Если Тонтон будет верить Нино, а сердце Нино выше всяких подозрений, судьба может, конечно, отсрочить наше счастье, но разве что-нибудь на свете способно сделать нас несчастными? В том положении, в каком мы оба находимся, мы можем опасаться только отсрочки наших наслаждений, потому что мы всегда будем видеться, всегда любить друг друга и будем об этом говорить друг другу, пока судьба не порадует нас ласковым взором. Будем же надеяться, что она застанет нас врасплох в радостный момент и удовлетворит тогда наши желания, а в ожидании этого не нужно, милый друг, приносить себя в жертву. Нужно жить и поддержи-

вать себя для того, кого любишь. По крайней мере помните, душа моя, что, если бы вы серьезно заболели, я бы сто раз умер».

Из следующего письма явствует уже совершенно определенно, что «отсрочка» истекла и «радостный момент» настал. Дидро благодарит свою возлюбленную за это и пишет: «Девушка, столь добродетельная и нежная, как вы, заслуживает, чтобы возлюбленный принадлежал ей всецело. Для стольких достоинств приходится довольствоваться одним сердцем только потому, что у человека нет тысячи сердец. Вы обладаете им по слишком многим основаниям, чтобы он мог уйти от вас. Нино дал вам слово, он честен, он любит вас, и у него слишком много вкуса, чтобы он мог когда-нибудь взять его назад.

Ваш милый, Нино Дидро».

Затем с тем же надежным посыльным отправляется письмо, в котором он обращается к Анне Туанете уже на «ты» и заверяет, что любит ее и будет любить всю жизнь.

Еще одно письмо с выражением благодарности за знаки внимания ее доброй матери и все новые и новые доказательства любви Анны Туанеты, с пламенными заверениями: «Нино любит и всегда будет любить только тебя. Разве может быть иначе? Ты связала его со всех сторон. Ты, должно быть, очень меня любишь. Но моя признательность, моя честность, — ибо я считаю, что в отношении честности я могу сравняться с кем бы то ни было на свете, — слезы, которые я проливал, когда боялся потерять тебя, твоя красота, твое сердце и ум — все должно внушить тебе уверенность в моей неизменной привязанности».

А она сомневается, боится, что, добившись «наслаждений», он на ней не женится. И, казалось бы, у Нанеты есть основания опасаться, что ее судьба станет столь частой судьбой белошвейки, соблазненной блестящим и образованным молодым человеком. Ведь ее Нино сам признается, что был легкомысленным.

Но в том же письме он называет огонь, которым

молодой развратник горит к жене соседа, огнем соломы, который гаснет быстро и навсегда. «Но огонь, которым горит честный человек, а я заслуживаю этого названия с тех пор, как ты сделала меня благоразумным, — к своей жене никогда не угасает». Дидро снова и снова говорит о своей честности, благодаря за нее Анну Туанету. И на чаше весов, на которых мы взвешиваем хорошее и дурное в его браке, — это первая гиря на чаше добра.

Он заверяет: «Таковы мои чувства к тебе. Лучше умереть тысячу раз, чем думать хотя бы одно мгновение о другой, а не о Нанете, с тех пор как она увенчала мою любовь...

Тебе были посланы мои последние любовные послания, и да накажет меня небо, как самого последнего преступника, если когда-нибудь я буду посылать такие письма другой. Тонтон нужен только ее Нино, Нино нужна только его Нинон, и они увеличат собой небольшое число счастливых супругов».

Письмо подписано: «Твой друг, твой возлюбленный, твой супруг Д. Дидро — так я всегда буду подписывать письма к тебе. До завтра, маленькая мама, целую тебя от всего сердца».

Дидро был, бесспорно, искренен в своих клятвах, бесспорно, честен. Это подтверждается всем, что происходит потом. Разве мог он хотя бы подозревать, когда писал эти письма, или позже, когда, бежав из Лангра, угрожал самоубийством, если Нанета откажется от него, когда тайком венчался с ней у «Петра на быках», что не так уж много времени пройдет до тех пор, пока он эти клятвы нарушит?!

Так бурно и беспокойно развивались их отношения. Но прошел и январь 1742 года, когда он должен был поступить в семинарию святого Сульпиция или по меньшей мере к прокурору, и еще много времени. Обман не мог не выясниться, и он признался матушке Шампьон... в том, что любит ее дочь.

Чем он располагал? Золотом на языке. Мать его возлюбленной предпочла бы золото в кошельке. Головой, полной идей, на ее взгляд, сумасбродных. Все это было плохим вкладом в хозяйство новобрачных.

Дени говорил. Анна Туанета, опустив голову, молчала. Какие основания у нас сомневаться, что объяснение происходило именно так, если мы, нарушив тайны чужой переписки, прочли послания Нино Нанете?

Но когда мадам Шампьон выразила недоверие к ее Нино, заговорила и Анна Туанета — призналась в том, что она уже его любовница.

Что оставалось обманутой матери, как не обнять дочь, не заплакать и не признаться, что и она не знает человека более приятного, чем Дени Дидро? Раз молодые люди любят друг друга и непоправимое произошло, она согласна — пусть поженятся. Дени надлежит немедленно съездить в Лангр за родительским благословением.

Он согласился. И, однако, до женитьбы было очень далеко, куда дальше, чем от Парижа до Лангра.

Мог ли Дидро предвидеть это тогда? Любя Анну Туанету и искренне желая жениться на ней, он осушил слезы обеих женщин и заверил их, что немедленно отправится в Лангр.

Почему невеста Дидро, и особенно ее мать, так настаивали на его поездке? Согласно ордонансу Людовика XIV от 1697 года, действующему и при его правнуке — Людовике XV, родители имели право лишить наследства, не достигших еще тридцати лет сыновей, если те женились без их согласия, а Дени в декабре 1742-го было двадцать девять. Только родительское благословение наполнило бы золотом кошелек новобрачных. Если не сейчас, то после смерти метра Дидье. Да и теперь богатый ножовщик, если удастся добиться его согласия на брак, разумеется, не преминет назначить сыну и невестке приличную пенсию. Да и само родительское благословение, на взгляд истинных католичек, — аксессуар обстановки новобрачных еще более важный, чем мебель, столовое серебро, сервизы, кастрюли, хотя и без них нельзя обойтись, тем более что сама матушка Шампьон располагала сбережениями весьма скромными.

II

Родительское благословение

Итак, Дидро отправляется в Лангр. Он и сам уже склонен примириться с отцом. Им движет не одно намерение жениться, но и замысел серьезных работ, без поддержки осуществить их будет трудно.

Чтобы смягчить гнев метра Дидье, а тому есть за что на него сердиться, Дени запасается в книжной лавке подарком, который не может не понравиться набожному ножовщику. Сын везет отцу «Часослов» на французском языке: тот ведь не читает по-латыни, тот самый «Часослов», который упомянут в завещании.

Поначалу все идет хорошо. Нино пишет своей Нанете: «Мать и сестра встретили меня с большой любовью. Отец принял меня холодновато, но его суровое равнодушие длилось недолго, теперь я наслаждаюсь хорошим настроением его и всего дома».

Правда, это благополучие объясняется тем, что Дидро не открыл еще родителям своего намерения жениться. Он хотел раньше добиться от них пенсии, хотя бы в двадцать — двадцать пять пистолей.

Так как младший брат Дени за неделю до его приезда отправился в духовную семинарию, отец готов был предоставить старшему сыну полную свободу. В семье хватит и одного аббата! Дени может остаться в Лангре навсегда, с полным правом ничего не делать.

Рассказав все невесте, Дидро добавляет, что это не должно тревожить его милую Нанету. Он помнит, что ей обещал, и у него не будет ни минуты покоя, пока он не сдержит своего слова.

Дальше все складывается еще лучше. Три раза в неделю из Парижа приходят гранки первой книги Дидро — перевода «Истории Греции», и они буквально производят чудеса. Если прежде отец и мать не склонны были отпустить сына обратно в столицу, то теперь они сами торопят его с отъездом. Убедились, что он там не лоботрясничает, а занимается полезным делом. Все наветы оказались ложными.

Нино уверяет Нанету, что скоро у него будут на руках все документы, необходимые для венчания. Его родители еще больше, чем он сам, хотят увидеть сына устроенным, а Нанета знает, как хочет этого он сам.

Под «устройством» Дидро имеет в виду женитьбу. Но как же он заблуждается, полагая, что этого же хотят родители! И уже по крайней мере если они и хотят видеть его женатым, то отнюдь не на парижской белошвейке, да еще на целых три года его старше.

Увы, Дени легковерен. Кто-то сказал ему, что метр Дидье и матушка Анжелика ждут только, чтобы он сам попросил их о пенсии, и тогда не преминут выполнить его просьбу. Да он и сам считает: если бы они собирались ему отказать, они не были бы в таком веселом настроении и не окружали его таким вниманием.

Так он думал в сочельник 1742 года, в очередном письме убеждая свою невесту, что все обстоит прекрасно. Однако почему-то любящий Нино просит Нанету адресовать свои письма мосье Юмбле-сыну, у мосье его отца, улица Пинье, Лангр, поставив на обороте письма крест, чтобы двоюродный брат — это и был Юмбле-младший — знал: письмо для Дени.

Но сразу же вслед за этим начинается самая драматическая глава истории блудного сына. Его атакуют с обеих сторон. Анна Туанета шлет письмо, полное несправедливостей и жестокостей. Отвечая 2 января 1743 года, он желает своей невесте встретить Новый год счастливее, чем встретил он сам. «Вы

знаете, как горячо я все воспринимаю. Судите же сами, в какое состояние вы меня привели; вы будете моим жестоким недругом, если не поспешите исправить зло, причиненное вами человеку, который меньше всего этого заслужил и бесконечно вас любит. Предоставьте другим доставлять мне неприятности, не усугубляйте тоски разлуки беспокойством...

Я перестал вам нравиться? Я должен умереть? Убейте же меня сразу — это единственная милость, о которой мне остается вас просить...»

По этому письму нетрудно себе представить, в каком состоянии был Дидро, терзаемый и невестой, требовавшей, чтобы он немедленно добился того, зачем поехал, и «другими», то есть любящими родителями. Они узнали о его намерении жениться.

Через две недели он признается Нанете — видно, она простила Нино, он обращается к ней снова на «ты»: «Не скрою от тебя, что здесь на меня наступают с ужасными угрозами». Правда, дальше он пишет: «Именно потому, что они так ужасны, они меня нисколько не пугают. Если бы мои родители мне просто сказали: вот тебе разрешение, которого ты просишь, и мы лишаем тебя наследства, я бы им ответил: большое спасибо, это все, чего я от вас хочу, этого вполне достаточно, чтобы утешить меня в том, что я теряю. Но их злоба заходит гораздо дальше, и это-то меня и успокаивает».

События разворачиваются. Метр Дидье, еще раз потерпев крушение своих надежд, доводит свою жестокость до того, что распоряжается запереть непослушного у монахов. А те пускают в ход все, что могли бы измыслить самые отъявленные преступники. Достаточно сказать: чтобы сделать бегство своего узника невозможным, они выстригают ему половину головы.

Так представляется происходящее Дени — мы знаем об этом из его собственных писем. Родители же полагают, что он сошел с ума, и принимают «необходимые меры для его спасения».

И все-таки Дидро бежит глухой ночью, выпрыгнув в окно. Пройдя пешком, да еще и в ужасную погоду тридцать лье, он добирается до Труа, откуда дилижанс доставит его до Парижа. Он еще и голодает всю дорогу, потому что, опасаясь преследования, идет проселками, попадая только в глухие деревушки, где нельзя купить ничего, кроме вина и хлеба. Хорошо, что он утаил от своих тюремщиков несколько монет, завязав их в подол рубахи.

Скромный запас белья, захваченный им с собой, потерян. Можно только надеяться, что тетка — единственная из родственников, принявшая его сторону и приютившая племянника у себя, как только начались семейные распри, перешлет в Париж книги, оставленные им у нее на столе.

Опасаясь дальнейших преследований, Нино в письме просит Нанету снять ему меблированную комнату поблизости от себя или в другом месте. На старой квартире ему оставаться нельзя: вне всяких сомнений, отец поручил брату Ангелу устроить так, чтобы его арестовали, и тот не преминет выполнить это поручение.

И все-таки куда больше, чем гнева отца, который теперь уже наверняка лишит его наследства, Дидро боится гнева своей невесты. Он пишет ей: «Если ты будешь недовольна неудачей моей поездки и покажешь это, я, подавленный горем, исстрадавшийся, решусь сразу положить всему конец. Смерть моя или жизнь зависит от приема, который ты мне окажешь...» Если он потеряет и ее, что сможет удержать его в этом мире?!

Беспокоит Дени и то, как отнесется к печальным известиям матушка Шампьон. Он предлагает Нанете скрыть от матери часть истины, чтобы уменьшить ее горе.

Но со свойственными ему переменчивостью настроений и неистребимым оптимизмом он кончает письмо заверениями, что все еще обернется к лучшему: «То, что откладывается, нельзя считать безвозвратно потерянным».

И в конечном счете в том, что относится к отцовскому наследству, он окажется прав. Состоится и примирение с родителями, хотя и не сразу.

Но увы, столь же справедливы опасения Дидро, касающиеся его невесты и ее матери. Трудно сказать, чего тут было больше — скорби ли из-за утраченных наследства и пенсии, религиозных ли предрассудков и предрассудков мещанских, сложного ли расчета, но в руке Анны Туанеты Шампьон ему наотрез отказано, и отставного жениха, несмотря на все его настояния, больше не принимают.

Мало того, чтобы окончательно отрезать ему путь к себе, дамы Шампьон переезжают с улицы Бутебри на улицу Пупе. Именно по этому адресу 1 февраля 1743 года приходит письмо Дидье Дидро мадам Шампьон. Как мы уже знаем из разговора с каноником Марселем, ножовщик уговаривает ее отказаться от брака дочери с его сыном, заверяя, что это супружество не принесет счастья обоим.

Что же касается Дени, чувствующего себя глубоко несчастным, он, переехав на остров Нотр-Дам, улица Двух Мостов, тяжело заболевает. И как говорится: не было бы счастья, да несчастье помогло. Некому подать бедняге ни чашки горячего бульона, ни прохладительного питья. Могут ли Нанета и матушка Шампьон не навестить больного?! И они навещают его все чаще и чаще. А от сострадания не такая уже длинная дорога к прощению. Да и церковка «Петр на быках» неподалеку от собора Нотр-Дам и квартиры Дидро.

Церемония, как нам уже известно, состоялась в полночь 23 ноября 1743 года. Присутствовали на ней Мари де Мальвиль, мать невесты, Пьер Боссон, викарий церкви «Петр на быках», священник Жан Батист Гильо, старый каноник Доль и свидетель со стороны Анны Туанеты, сосед дам Шампьон, торговец Габриель Пулен.

Брата Ангела на свадьбу не пригласили, но он не замедлил о ней проведать и тут же накляузничать метру Дидье.

III. Семейное счастье

Квартира молодоженов на улице Сен-Виктор, где Дидро уже жил однажды, неподалеку от площади Мобер, так хорошо ему знакомой, и Конского базара, отнюдь не стала приютом счастья. Уже начало этого брака, совершившегося после стольких препятствий, оказалось неудачным. Видно, он был заключен не на небесах. И не так уже трудно было это предвидеть.

Руссо, вернувшись из Венеции и застав своего друга женатым, не скрывал своего неудовольствия. Вспоминая об этом времени, он через много лет в «Исповеди» писал: «У него была Нанета, у меня была Тереза... Разница была только в том, что моя Тереза, будучи наружностью так же хороша, как его Нанета, обладала кротким нравом и любезным характером, способным вызвать привязанность в честном мужчине, тогда как его Нанета была груба и не обнаруживала никаких качеств, способных искупить пороки ее воспитания. Однако он на ней женился. Он поступил хорошо, если обещал ей это. Что же до меня, не обещавшего ничего подобного, то я не поспешил последовать его примеру».

Трудно удержаться, чтобы не забежать вперед и не сказать, что и Руссо женился на своей Терезе, и брак его тоже оказался неудачным. Разница состояла в том, что Дидро, хотя он и утверждал свободу чувств и право человека оставить женщину, если он ее разлюбил, не бросил своей жены и когда любовь его к ней прошла бесследно, а Руссо свою Терезу, да еще с четырьмя детьми, оставил. Мало того, Дидро всю жизнь помогал оставленным Руссо жене и детям, чего не делал сам Жан Жак. И такому благородному и самоотверженному поведению Дидро нисколько не препятствовала жестокая ссора, в которой

он был с Руссо с 1757 года до самой смерти последнего.

Так понятно, что мадам Вандель, стараясь обелить свою мать, вступила в спор если не с самим Руссо — «Исповедь» вышла в свет после кончины автора, — то с его книгой. В 1812 году она писала Мейстеру: «Страница, где он сравнивает мою мать с этой тварью, привела меня в ярость. Моя мать была ворчунья, но она была дочерью очень доброго разорившегося дворянина. Она воспитывалась в монастыре, была красива и умна, как ангел... Ошибка моего отца была в том, что он не дал ей светской выучки, ибо, будучи ревнив, он не хотел показывать ее свету. Я мысленно сравнивала характер моей матери с неотшлифованным хрусталем... Это была благородная, очень гордая и искренняя душа, не умевшая прикрашиваться вежливостью, набожная без ханжества и достаточно развитая, чтобы читать трагедии, комедии и романы. Одиночество, домашние невзгоды, на которые обрекала ее самая крайняя нужда, огорчения, причиняемые изменами моего отца, и незнание светских манер испортили ее характер...»

Эта защита граничит с обвинением. На самом деле отношения супругов складывались так. Хотя Дидро и говаривал, что хорошей женой может быть хорошая кухарка, а не умная женщина, а его жена обладала достоинствами кухарки, он быстро стал тяготиться ее обществом и изменять ей. Этому не препятствовало, что он и в самом деле был ревнив. Несмотря на крайнюю нужду, испытываемую ими в первые годы брака, запретил Анне Туанете появляться в мастерской ее матери, где бы ее могли видеть посторонние мужчины.

Анна Туанета отличалась той самоотверженностью в мелочах, которая такие натуры, как Дидро, скорее раздражает, чем умиляет. Когда муж ее обедал вне дома, она вместо обеда и ужина довольствовалась сухим хлебом и радовалась, что благодаря этому завтра накормит его лучше обыкновенного. Каждый день она выкраивала для своего Дени несколько мо-

нет, чтобы он мог в кафе «Регентство» выпить чашку-другую кофе и посмотреть, как играют в шахматы. Но он не слишком это ценил.

Анна Туанета не навязывала мужу своих религиозных убеждений и не заставляла его ходить вместе с ней к мессе. Но она не понимала его, не интересовалась его занятиями, а только умилялась, когда он начал получать первые гонорары. Сто крон, полученные им за перевод «Истории Греции», потрясли ее.

Обширность его ума ее пугала.

Раскаивался ли Дидро в том, что женился на Анне Туанете? Скорее всего нет, хотя потом и называл свою жену Ксантиппой. Характер Нанеты с годами стал просто неукротимым, она собственноручно била служанок и устраивала мужу беспрерывные скандалы. Когда их дочь Анжелика вышла замуж, Дидро почувствовал себя дома совсем одиноким.

Однако он женился на своей Тонтон прежде всего потому, что был охвачен страстью, а страсть считал неотъемлемой принадлежностью человеческой натуры. С этого утверждения начинается его первая оригинальная книга «Философские мысли».

У колыбели несчастливого брака Дидро стояла еще и честность. Он обещал Нанете жениться на ней и не мог изменить своему обещанию. Но зато изменять ей он начал вскоре после женитьбы. Завел легкую интрижку с некоей мадемуазель Деформ. Его не остановило и то, что 13 августа 1744 года у них родилась первая дочь, Анжелика.

Из одной квартиры они переезжали в другую. Но на улице Траверсер им жилось нисколько не легче, чем на улице Сен-Виктор, а на улице Муфлетар нисколько не легче, чем на улице Траверсер. Родился еще и второй ребенок.

Правда, литературные заработки Дидро становятся все более и более регулярными. Возможно, что, взявшись в сотрудничестве еще с двумя литераторами за перевод шеститомного медицинского словаря, он уже в 1745-м подумывает об общей энциклопедии.

Потому-то он и возвращается к мысли о примирении с отцом, а проще сказать — о пенсии. Главное

препятствие к примирению — его тайный брак. Чтобы устранить это препятствие, после особенно грозного письма отца Дидро отправляет жену с дочерью к своим родителям в Лангр, а сам пишет им: «Она отправилась вчера, будет у вас через три дня; вы можете сказать ей все, что хотите, и отослать ее обратно, когда она вам надоест».

И свекр и свекровь не только не отослали Анну Туанету с ребенком сразу обратно, а продержали их у себя целых три месяца. Почтительность невестки, ее добронравие, готовность помочь по хозяйству совершенно покорили метра Дидье и матушку Анжелику.

В драме Дени Дидро «Отец семейства» история его женитьбы нашла свое отражение, хотя и весьма отличное от того, как все происходило на самом деле. Прежде всего конфликт смягчался тем, что в пьесе во всем повинен злой дух дома — брат покойной жены отца семейства — командор. На самом деле никакого командора не было, и виноват во всем был злой дух частной собственности.

Продолжение было совсем неожиданным и в пьесу не вошло. Пока Анна Туанета ублажала свекра и свекровь, завоевывая их расположение, ее муж завел уже серьезную интригу с мадам Пюизье.

IV Чудеса на костылях

Анна Туанета еще не ездила в Лангр, когда в конце 1743 года вышли в свет три тома «Истории Греции» Станиана в переводе Дидро.

Нужда заставляла его браться за любую работу. А парижского книгоиздателя Бриассона привлекла эта книга, потому что в Англии она вышла уже вто-

рым изданием и считалась классической. Автор ее — Темпль Станиан, младший брат дипломата Абрагама Станиана, был человеком хорошо образованным и одаренным. Кроме знаменитой «Истории Греции», его перу принадлежало еще написанное по-латыни исследование о статуе Георга II.

Перевод Дидро был готов уже к маю 1742-го, но полтора года ушло на издание. Второй раз он вышел в Гавре. Больше при жизни Дидро его перевод не переиздавался, в полное собрание сочинений 1875 года не вошел, и биографы Дидро обычно этой первой его литературной работой пренебрегают.

Между тем Бриассон был настолько им доволен, что тут же предложил новый перевод, — правда, в сотрудничестве еще с двумя литераторами, — «Медицинский словарь» Роберта Джемса. В Англии этот труд вышел в трех томах в 1743-м. Джемс и сам был врачом, имя его еще до «Словаря» прославили порошки. А Бриассона проявить такую оперативность побудил высокий авторитет английской науки. Надо сказать, что Даламбер и Дидро впоследствии печатали статьи Джемса в своей «Энциклопедии».

Полное название перевода, занявшего шесть томов, звучало так: «Словарь всеобщей медицины, хирургии и химии Джемса, переведенный с английского Дидро, Эду и Тессеном, под редакцией Жюльена Бюффона, иллюстрированный большим количеством листов гравюр».

Если бы Дидро продолжал свои литературные занятия в этом же духе, они если бы и не обогатили его, то уж наверняка не довели бы до Венсеннского замка.

Но уже следующая его книга, тоже перевод с английского, оказалась первым поленом в том костре, на котором позднее сожгли его «Философские мысли».

И книга эта вышла не в Париже, а в Амстердаме, что тоже говорило о многом. Голландия для французов XVIII столетия была примерно тем же, чем Англия и Швейцария для русских второй половины XIX, пристанищем вольной печати.

Вышла книга в 1745 году, и называлась она так: «Принципы нравственной философии, или Опыт милорда Ш. о достоинстве и добродетели в переводе Дени Дидро». «Ш.» означало первую букву фамилии автора.

Это был достаточно вольный перевод четвертой части сочинения английского философа-моралиста Гупера Антони Эслея, третьего графа Шафтсбери, — «Характеристики людей, нравов, мнений».

Любопытны сама личность и биография автора. По своему происхождению он принадлежал к семье еше более привилегированной, чем Станиан. Он родился в 1671-м и не сделал головокружительной карьеры только потому, что, слишком либерально настроенный для Англии того времени, в 1705-м эмигрировал. С тех пор он путешествовал по Голландии, Италии, Франции. Умер в феврале 1715-го, в возрасте сорока двух лет. Как философ был учеником Локка, но многим обязан и Лейбницу и Пепу.

То, что Дидро занялся переводом этой книги, было для него уже не освоением истории Греции в английском толковании или медицинской терминологии, но непосредственным контактом с английской философией. А мы знаем его пристрастие к Локку и другим английским философам.

Кроме того, в отличие от двух предыдущих эта его работа была не только переводом.

Предисловие переводчика, его примечания, дополнения в самом тексте свидетельствовали, что Дидро читал и Монтэня и Паскаля, на него произвел впечатление святой Августин, он по меньшей мере заглядывал в Теренция и Горация, Цицерона и Тацита, но главным образом на него влияла английская философия.

Но глубоко неверно было бы думать, что книги влияют на авторов других книг сами по себе. Вольтер и Дидро сделались вольнодумцами, так же как Гельвеций и Гримм, Гольбах и Ламетри, вовсе не потому, что Бэкон, Гоббс и Локк написали такие-то книги, а они их прочли.

Расточительность двора и нищета народа, губи-

тельность предрассудков и заносчивость духовенства, жестокость зараженных ханжеством судей и тяжесть налогов, алчность откупщиков и повсеместное отсутствие справедливости — вот что прежде всего вывело из себя самых просвещенных людей Франции. Английская же философия только поддерживала их возмущение тем, что они видели вокруг.

Почему Дидро из множества английских авторов, казалось бы в равной мере заслуживающих его внимания, выбрал Шафтсбери?

Не смею утверждать, но предполагаю, что на эту мысль навели его чудеса на могиле янсенистского дьякона Шари. У самого англичанина решение написать очерк «Об энтузиазме» возникло под влиянием сумасбродств французских «пророков». Так называемые севенские фанатики укрылись в Лондоне после отмены Нантского эдикта и в своих пароксизмах религиозной истерии дошли до таких изуверств, что их неистовства вызвали вмешательство английского правительства. Произошло это в 1707 году. Но и тридцать с лишним лет спустя в столице не Англии, а Франции Дидро не мог не быть свидетелем такого же, если не большего, фанатизма янсенистов. Мы знаем, как он был наблюдателен, как интересовался жизнью парижских улиц!

Страшно подумать, до чего доводила толпу вера! Мужчины и женщины подвергали себя истязаниям в надежде, что в награду за это на них снизойдет божественная благодать.

Мало того... В собственной семье Дидро видел, какой урон вера в бога наносит всему человеческому. Его младший брат, едва окончив семинарию, несмотря на молодость, стал в родном Лангре немаловажной духовной персоной, и в нем уже проросли семена фанатизма, которые потом принесли ядовитейшие плоды. Вражда братьев из-за разности убеждений зайдет далеко и не потухнет, как мы знаем из сочинения каноника Марселя, со смертью обоих. Но и теперь, когда Дидье Пьеру всего двадцать три года, старший брат с грустью обнаруживает, что младший, родившийся чувствительным, с душой невыразимо

чистой, загрязнил ее верой в бога. Он был бы умен, но религия сделала его мелочным и малодушным. Вопреки натуре этот уроженец Шампани грустен, молчалив, осмотрителен, редко бывает доволен. В нем уже начали вырабатываться тягостные житейские правила, которым он позже будет подчинять свое и пытаться подчинить чужое поведение. Правда, еще не теперь, а позже Дени со скорбью заметит, что Дидье Пьер был бы хорошим другом и хорошим братом, если бы религия не заставляла его заглушать в себе такие «низкие влечения». С горькой иронией старший брат думает о младшем: «Он — хороший христианин, ежеминутно показывающий, насколько было бы лучше, если бы он был хорошим человеком! На его примере видно, что так называемое евангелическое совершенство есть не что иное, как вредное искусство заглушать природу, которая, вероятно, и в нем заговорила бы так же сильно, как во мне».

Что делает Дени, закончив свой перевод «Принципов нравственной философии»? Он предпосылает ему посвящение брату. Оно предназначено для печати, да и сам Дени не пришел еще к полному отрицанию бога. В этом посвящении автор стремится доказать аббату и ему подобным всего-навсего несовместимость религии с фанатизмом и необходимость быть не только религиозным, а и добродетельным, то есть служить не одному богу, но и людям, и не искажать собственную человеческую природу.

И такое невинное, это посвящение вызвало негодование Дидье Пьера. За него брат аббат называет Дени еретиком.

Это объясняется тем, что посвящение попало не в бровь, а в глаз. Молодой аббат-фанатик и не может не возмущаться изобличением фанатизма.

Пока что Дени Дидро восстает еще только против суеверий и фанатизма, его примечания к очерку «О достоинстве и добродетели» написаны под явным влиянием галльского остроумия французского философа Монтэня. Но пылкость ученика не имеет ничего общего с благоразумием и осторожностью учителя.

Дидро позволяет себе такие возражения против фанатизма, на которые никогда бы не отважился Монтэнь.

Дидро идет дальше, чем другой его духовный отец, английский философ Локк. Локковский принцип здравого смысла, исповедуемый и Шафтсбери, так отточен и служит Дидро таким оружием в борьбе с богословием, каким не служил и не мог служить его английским учителям. Ведь в Англии уже давно отзвучали громы «великого бунта», а во Франции он еще только начинался.

Недаром перевод Дидро наделал много шуму. Упоминания о нем были в обзорах двух периодических изданий — иезуитского «Журналь де Треву» и янсенистского «Журналь де саван». Аббат Дефонтен в VIII томе своих «Разборов нескольких новых книг» высказался о переводчике весьма подробно и проницательно. Обозреватель «Журналь де саван» писал, что переводчик, воспользовавшись критикой религии у Шафтсбери, отдал свои симпатии деизму.

Не приходится удивляться и тому, что Дидро, недовольный порядками на земле — он и на себе испытал эти порядки, — начинает с атаки неба. Как заметил Маркс, критика неба превращалась в критику земли, критика теологии в критику политики.

Много позже, в 1762-м, Дидро напишет своей подруге Софи Волан: главной темой их бесед в салоне барона Гольбаха (постоянном месте сборищ энциклопедистов) служат политика и религия. В 1745-м он думает и пишет еще только о религии, и то пока ограничиваясь критикой суеверий и фанатизма.

Но Дидро, так зло посмеявшийся над верой в проделке с братом Ангелом и в другой — с семинарией святого Сульпиция, вышучивающий совет отца помолиться перед поступлением к прокурору, очень быстро придет к полному неверию. А неверие, в свою очередь, только первый шаг на пути к материалистической философии. Дидро понадобится всего четыре года, чтобы от критики фанатизма перейти к критике идеализма, и от примечаний к переводу сочинения Шафтсбери — к «Письму о слепых в назидание

зрячим». Потому-то эти четыре года и окажутся равными трем лье, отделяющим Париж от Венсенна.

Однако за «Принципами нравственной философии» последует не сразу «Письмо о слепых», а сперва «Философские мысли».

Сомнительно, как утверждают некоторые, и в том числе собственная дочь Дидро, что мысль написать первое самостоятельное произведение ему внушило желание добыть денег для своей любовницы мадам Пюизье. Впрочем, эта дама не лишена была корыстолюбия, у Дидро не было иного способа достать денег, а малые цели, как известно, могут вызвать большие последствия.

Так или иначе, «Философские мысли» явились естественным продолжением и развитием предисловия, примечаний, дополнений к тексту и посвящения брату, сопровождавших перевод четвертой части книги Шафтсбери.

Как утверждали те, кто наблюдал за его работой, Дидро набросал свои «Философские мысли» на бумагу между страстной пятницей и первым днем святой недели, то есть как бы издеваясь над посвященными господу богу днями, и со стремительной быстротой. В этом нет ничего уже такого неправдоподобного, если знать, с какой поспешностью он всегда выполнял задуманное, касалось ли это его страстей, хитроумных проделок, литературных или философских замыслов. И, кроме того, нет никаких сомнений, что мысли эти уже не раз высказывались в дружеских беседах в кафе «Регентство» и кафе «Прокоп», а облечь их в изящную форму не составляло для Дидро особого труда.

Зерна, произраставшие подспудно в годы кажущегося безделия, начали приносить свои плоды. Ведь и тогда достаточно было одной строчки Гомера, алгебраической задачи, романа Дефо, чтобы жажда знания победила минутное малодушие. И не только книги, но и жадное внимание к жизни подготовили его философский дебют.

Если в «Принципах нравственной философии» Дидро скрыл под буквой «Ш.» фамилию Шафтсбери,

то на этот раз он вынужден был скрыть свою собственную фамилию. «Философские мысли» были опубликованы в 1746 году, причем не в Париже, а в Гааге, анонимно.

Это не спасло книги. Хотя автор и здесь не шел еще дальше деизма, его сочинение присудили к сожжению и сожгли на площади вместе с «Естественной историей» Ламетри в 1748-м, точно так же как в 1734-м сожгли «Философские письма» Вольтера.

Оснований к такому приговору было два: книга напечатана без разрешения, и содержание ее посягает на религиозные устои.

Когда Дидро впоследствии арестовали, выяснилось, что полиции превосходно известны все его «литературные грехи», в том числе и авторство «Философских мыслей». Постарались осведомители. Но уже сам трактат выдавал автора.

Казалось бы, не так-то просто понять, как философский труд может быть если не автобиографичен, то автографичен. И все-таки я осмелюсь утверждать, что Дидро-человек виден в «Философских мыслях» не меньше, чем Дидро-мыслитель. То же мы обнаружим и в других его философских сочинениях.

Прогулки Дидро по Новому Мосту и его переписка с родными, его женитьба и его роман с мадам Пюизье сказались на его первом философском трактате. А что говорить о беседах в кафе?!

Уже в коротеньком вступлении Дидро предстает как бунтарь. Коротенький латинский эпиграф «Кто будет это читать?» взят из Персия, «Сатира 1».

Затем идет текст:

«Я пишу о боге, и рассчитываю на немногих читателей, и не ищу признания толпы. Если эти мысли не угодят никому, значит они, наверное, плохи; но они будут в моих глазах презренны, если угодят всем».

Он оказался прав только отчасти: не угодив всем, и в первую очередь власть имущим, «Философские мысли» угодили многим, и чем дальше от времени их написания и ближе к нашим дням, тем больше у них появлялось восторженных поклонников.

Уже первая мысль свидетельствует о редкой целостности Дидро — мыслителя и человека.

«Всегда и всюду ополчаются против страстей; на них возлагают ответственность за все мучения человека, забывая, что они же являются источником всех его удовольствий. Они составляют элемент человеческой натуры, оценку которого нельзя преувеличить ни в хорошую, ни в дурную сторону. Но я не могу видеть без досады, что их всегда рассматривают именно с дурной стороны. Точно боятся оскорбить разум, произнеся хотя бы одно слово в защиту его соперниц; а между тем только страсти и только великие страсти могут поднять душу до великих дел. Без них конец всему возвышенному как в нравственной жизни, так и в творчестве...»

И следующая мысль, развивающая первую, — это кредо Дидро — гражданина, возлюбленного, человека, кредо, которому он не изменял никогда.

«Умеренные страсти, — пишет он, — удел заурядных людей. Если я не устремлюсь на врага, когда дело идет о спасении моей родины, я не гражданин, а обыватель. Моя дружба слишком осмотрительна, если опасность, угрожающая моему другу, не заставит меня забыть об опасности, угрожающей мне самому. Если жизнь мне дороже, чем любимая женщина, я такой же любовник, как все прочие».

Уже в «Философских мыслях» он устремился на врага, угрожающего его родине, потому что религия была страшным врагом Франции, где на одного философа, как писал Вольтер впоследствии, приходилась сотня фанатиков. А каким он был другом и каким возлюбленным, мы узнаем, когда он примет на себя одного удар, направленный на всех его друзей из энциклопедической республики, и тридцать лет больше жизни будет любить Софи Волан.

Он еще не посягает на существование бога, но уже восстает против злоупотреблений религии. Мысль XII гласит: «Да, я утверждаю: это суеверие более оскорбительно для бога, чем атеизм! Я предпочел бы, говорит Плутарх, чтобы думали, что бога вовсе не было на земле, чем чтобы считали его не-

справедливым, гневным, непостоянным, ревнивым, мстительным, — словом, таким, каким ни за что он не хотел бы быть». А именно таким представлялся бог в верованиях фанатиков. Позже Дидро не будет делать разницы между богом злым и добрым, так же как между добрым и злым монахом. Но уже и эта злая сатира на суеверие была очень нужна.

Мысль XIV посвящена тонкой и меткой критике Паскаля, у которого он учился, но которого превзошел. «У Паскаля была честность, но он был боязлив и легковерен», — начинается этот блистательный отрывок.

Приводя доводы атеистов и противоположные им доводы верующих в мысли XV, Дидро много ближе к атеистам. Иначе разве могли бы так страстно звучать знакомые нам первые слова этой мысли: «Я говорю вам, что никакого бога нет, что сотворение мира — пустая фантазия...»?!

Сам он, повторяю, еще деист, то есть признает правильной естественную религию, рассматривающую бога как безличную высшую первопричину, как некий мировой разум, проявляющийся во всех мировых процессах. Родина деизма — Англия, XVII век. Деистом был и Шафтсбери. Дидро не только переводил его, но и находился некоторое время под сильным его влиянием. Шафтсбери доказывал независимость нравственности от религии, истоки морали видел во врожденном нравственном чувстве.

Деистом был и Вольтер. Дидро и его друзья — Гольбах, Гельвеций, Гримм, Нэжон, начав с деизма, пошли дальше Вольтера и дошли до последовательного атеизма и материализма.

Но в «Философских мыслях» Дидро еще деист, и в мысли XXII он делит атеистов на три группы — настоящих атеистов, верящих, что бога нет, атеистов-скептиков, которым только хотелось бы, чтобы бога не было, и фанфаронов атеизма, прикидывающихся убежденными в небытии бога. Он ненавидит фанфаронов, жалеет настоящих атеистов и молит бога за скептиков: они не просвещены светом знания.

В мысли XXVI он еще охраняет то, что ему ка-

жется настоящей верой, от кучи нелепых предрассудков. Так же, как распределяют, когда надо учить ребенка петь, танцевать, читать и когда — преподавать ему латынь и геометрию, нужно задуматься и над тем, когда объяснить ребенку, что такое бог. Оттого, что это делают слишком рано, одновременно с существованием бога ребенок узнает о демонах, привидениях и леших, и происходят все беды.

В мысли XLV он критикует библию, говоря, что если смотреть на нее как на создание человеческого ума — историю еврейского народа, она не выдерживает сравнения с Титом Ливием, Салюстием, Цезарем — историками Рима и Иосифом Флавием — историком Иудеи.

Еще несколько «мыслей» свидетельствуют об его блистательной образованности. А затем Дидро критикует религию, отталкиваясь уже не от книг, а от собственных житейских наблюдений.

В мысли LII мы читаем иронический рассказ о том, как предместье Парижа однажды огласилось восторженными криками. «Прах одного праведника вдруг начал там творить чудеса и сотворил их в большем количестве, чем Иисус Христос за всю свою жизнь». Услышав об этом, Дидро побежал туда и увидел хромого, якобы исцеленного покойным праведником. Хромой этот прогуливался, опираясь на трех или четырех сердобольных. Чудо, иронически замечает автор, заключалось в том, что этот плут одни костыли заменил другими

В «Прибавлениях к философским мыслям», написанных вскоре, но опубликованных только в 1875 году, Дидро идет дальше. Там возникает уже критика самого понятия чуда и главного из чудес по христианской религии — воскресения Иисуса Христа.

В мысли XXIV он спрашивает: «Почему чудеса Иисуса истинны, а чудеса Эскулапа, Аполлония Тианского и Магомета ложны?»

В мыслях XXV и XXVI иронически утверждает, что гораздо большим чудом, чем воскресение Христа, следует признать чудо неверия евреев, которые не только не поверили в спасителя, но и распяли его.



Дени Дидро. Работы Гарана.



Людовик XIV.



Лепесье. «Крестьянка с корзиной».



Печать семьи Дидро.

Дом Дидро в Лангре.

«Выход из коллежа». Гравюра Сент-Обена.



Парадное облачение верховного законодателя.



Парадное облачение духовного сановника.



«Париж». Гравюра Риго.



«Площадь Мобер». Гравюра Альяме по рисунку Жора.

«Уличный карнавал в Париже». Гравюра Левассера по рисунку Жора.





«Книжная лавка». Французская гравюра XVIII века.



«Кафе». Гравюра Сент-Обена.

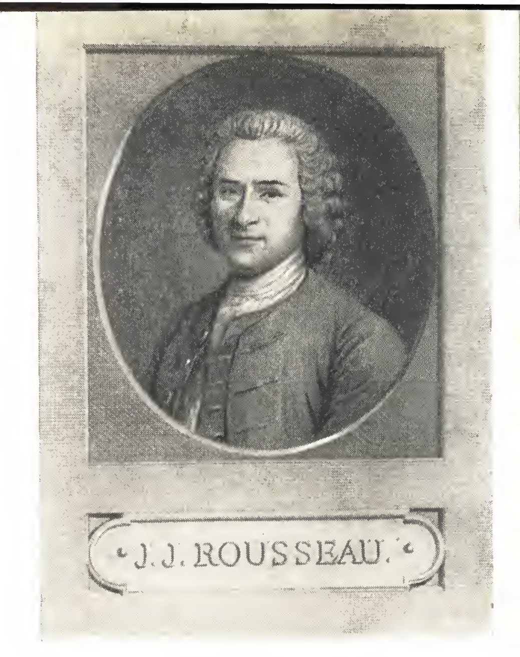
«Новый Мост». Французская карикатура XVIII века.



«Гуляние в саду Тюильри». Гравюра Риго.

«Гуляние в саду Люксембург». Гравюра Риго.





Жан Жак Руссо.

«Концерт». Французская гравюра XVIII века.



LES

BIJOUX

INDISCRETS.

PREMIERE PARTIE.



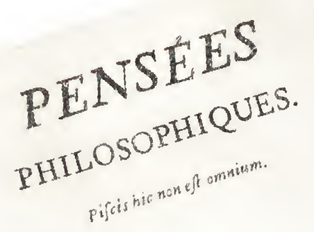
AU MONOMOTAPA.

Дени Дидро. «Нескромные сокровища». Иллюстрации и титульный лист первого издания без фамилии автора.



Маркиза де Помпадур.

Королева Франции Мария Лещинская (справа) и дофина.



PENSÉES
PHILOSOPHIQUES.
Piscis hic non est omnium.



A LA HAYE,
Aux depens de la Compagnie.
M. DCC. XLVI.

UVRES
ILOSOPHIQUES
RAMATIQUES
M. DIDEROT.
E PREMIER,
les Principes de la Phi-
le, ou Essai sur le Mérite
avec des Réflexions.

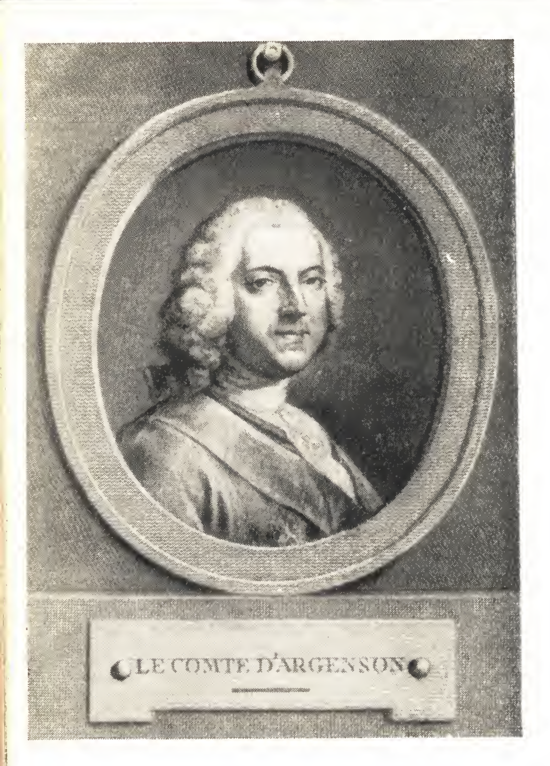


A AMSTERDAM.
M. DCC. LXXII.



PE
L'INTE
DE LA
NATURE
à LONDRES
MDCCLIV.

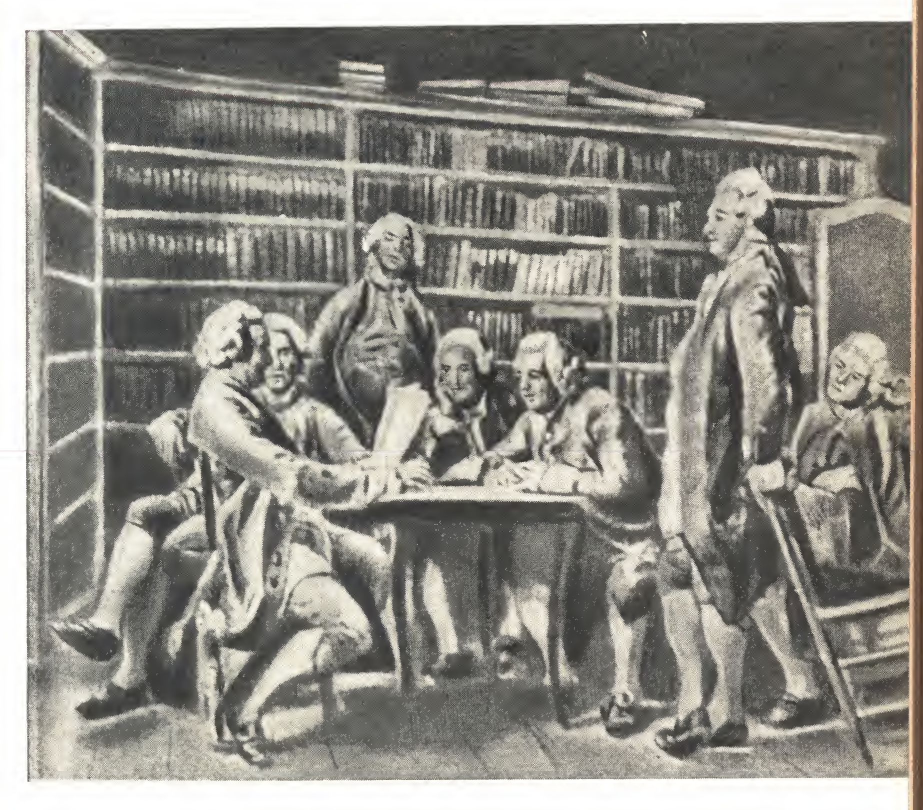
Заграничные бесцензурные издания произведений Дидро.



Военный министр граф Даржансон.

«Венсеннский замок». Гравюра Риго.





«Дидро и энциклопедисты». Картина Месонье.



Фронтиспис к первому тому «Энциклопедии».

ENCYCLOPÉDIE,

OU

DICTIONNAIRE RAISONNÉ DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS,

PAR UNE SOCIETÉ DE GENS DE LETTRES.

Mis en ordre & publié par M. *DIDEROT*, de l'Académie Royale des Sciences & des Belles-Lettres de Prusse; & quant à la PARTIE MATHÉMATIQUE, par M. *D'ALEMBERT*, de l'Académie Royale des Sciences de Paris, de celle de Prusse, & de la Société Royale de Londres.

Tantùm series juncturaque pollet,
Tantùm de medio sumptis accedit honoris! HORAT.

TOME PREMIER.



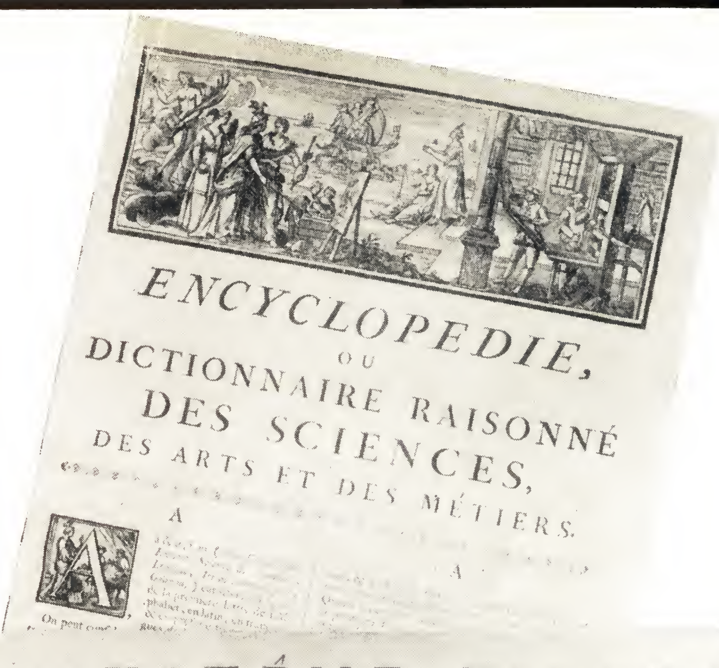
A PARIS,

Chez
BRIASSON, *rue Saint Jacques, à la Science.*
DAVID l'aîné, *rue Saint Jacques, à la Plume d'or.*
LE BRETON, Imprimeur ordinaire du Roy, *rue de la Harpe.*
DURAND, *rue Saint Jacques, à Saint Landry, & au Griffon.*

M. DCC. LI.

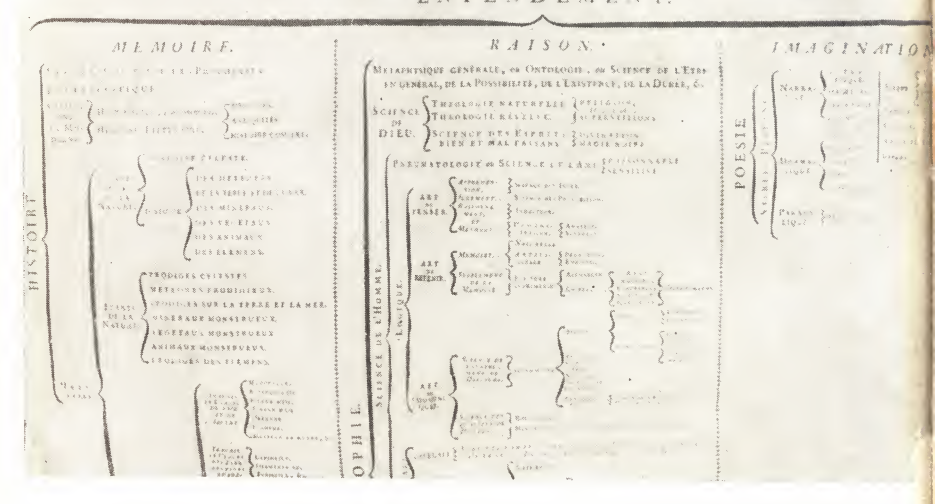
AVEC APPROBATION ET PRIVILEGE DU ROY.

Титульный лист первого тома «Энциклопедии».



ENCYCLOPÉDIE,
OU
DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES,
DES ARTS ET DES MÉTIERS.

A



SYSTÈME FIGURÉ
DES CONNOISSANCES HUMAINES.

ENTENDEMENT.

MÉMOIRE. — RAISON. — IMAGINATIO[N]

HISTOIRE

PRODIGES CÉLESTES
MÉTÉORES PRODIGIEUX.
PRODIGES SUR LA TERRE ET LA MER.
MINÉRAUX MONSTRUEUX.
VÉGÉTAUX MONSTRUEUX.
ANIMAUX MONSTRUEUX.
PRODIGES DES ÉLÉMENS.

DES MÉTÉORES.
DE LA TERRE ET DE LA MER.
DES MINÉRAUX.
DES VÉGÉTAUX.
DES ANIMAUX.
DES ÉLÉMENS.

MÉTAPHYSIQUE GÉNÉRALE, ou ONTOLOGIE, ou SCIENCE DE L'ÊTRE EN GÉNÉRAL, DE LA POSSIBILITÉ, DE L'EXISTENCE, DE LA DURÉE, &c.

SCIENCE DE DIEU.
THÉOLOGIE NATURELLE. — RELIGION.
THÉOLOGIE RÉVÉLÉE. — SUPERSTITION.
SCIENCE DES ESPRITS BIEN ET MAL FAISANS. — DIVINATION. MAGIE NOIRE.

PNEUMATOLOGIE ou SCIENCE DE L'AME. — RAISONNABLE. SENSITIVE.

SCIENCE DE L'HOMME.
LOGIQUE.
ART DE PENSER.
ART DE RETENIR. — MÉMOIRE. — SUPPLÉMENT DE LA MÉMOIRE.

[PHIL]OSOPHIE.

POÉSIE

Первая страница «Предварительного рассуждения» и таблица «Система человеческих знаний».

А он ничего не мог с ними поделать, несмотря на множество чудес, им сотворенных.

В 1747 году Дидро пускается в новую мистификацию, на этот раз литературную. Введение к его следующему сочинению «Прогулка скептика, или Аллеи» начинается так: «Лица, считающие себя знатоками литературы, тщетно будут пытаться раскрыть мое имя. Я не занимаю никакого места среди известных писателей. Случайно взялся я за перо... Я нахожу в положении автора так мало привлекательного, что не собираюсь посвятить себя писательской деятельности».

Чем дальше в лес, тем больше дров. Выдав себя за отставного военного, избравшего эту карьеру, несмотря на прирожденную склонность к занятиям философией и изящной словесностью, участника кампании 1745 года, Дидро выдает собственное оригинальное сочинение за запись речей друга этого военного, некоего Клеобула, человека лет за 50, потерявшего почти все состояние, но довольствующегося тем, что имеет.

Если считать литературную выдумку ложью, единственно правдивое утверждение, содержащееся во введении к «Прогулке скептика», — это то, что Дидро роздал друзьям на хранение несколько копий своей рукописи. Кстати сказать, во введении трактат получает еще и второе название — «Беседа о религии, философии и светской жизни».

В конце введения один из персонажей этого произведения, а именно скептик, советует автору издать свой труд в стране короля философа, Фридриха II, в ту пору заигрывавшего с французскими просветителями. Скептик говорит: «Издайте свою рукопись в его владениях, и пусть себе ханжи кричат, сколько им угодно!»

Этот совет имел своей целью избавить автора от превратностей судьбы, иначе именуемой цензурой. Слишком недавно были сожжены «Философские мысли». Однако, дав самому себе этот совет, Дидро им не воспользовался. Мало того, «Прогулка скептика» не только во Франции, но и за границей при жизни

автора вообще не увидела света. А если бы он не роздал копии друзьям, она не дошла бы до наших дней и никогда не была бы опубликована. Дидро едва успел дописать этот свой трактат, как священник прихода святого Медора, в котором жил тогда философ, донес директору парижской полиции, что в его приходе проживает некий «Дидро, не имеющий никакой профессии и никаких средств к существованию», что «этот молодой человек — вольнодумец и этим гордится. Он написал несколько философских сочинений, в которых нападает на религию. Говорит он в том же тоне, в котором пишет. Теперь он занят новым, очень опасным сочинением».

Директор полиции Беррие был уже наслышан о Дидро: священник только подтвердил и дополнил донос сыщика. Беррие немедленно принял меры. В квартиру Дидро явился полицейский агент, произвел обыск и, найдя рукопись, радостно воскликнул: «Это именно то, что мне нужно!» Хлопоты Дидро, чтобы ему вернули его сочинение, успехом не увенчались. Но зато пригодилось то, что он роздал копии «Прогулки».

Одну из копий «Прогулки» много позже нашел Нэжон. И все-таки полностью «Прогулка скептика» была опубликована после июльской революции 1830 года в «Неизданных произведениях» Дени Дидро.

«Прогулка», написанная в свободной и своеобразной форме, как бы предвосхищает знаменитые диалоги Дидро и служит переходным мостиком между его «Философскими мыслями» и «Письмом о слепых». Спор между деистом, пантеистом, субъективным идеалистом, скептиком и атеистом приводит почти к полной победе последнего. Любопытно, что верующего, тем более фанатика, среди участников спора нет. Состязаются только различные вариации отрицания официальной религии. Пусть эта книга еще фрагментарна, она критикует религиозные догматы, противоречия библии и философско-богословские споры, и критикует их уже жестоко. Дидро очень пригодилась здесь богословская выучка. С точнейшим знанием и

язвительной иронией обличает он нелепость чудес, пророчеств библии, «деяния святых отцов, весьма далекие от святости» сами религиозные устои, лишенные рационального зерна и противоречащие нравственности.

Правда, в «Прогулке» Дидро, невольно признавая доводы атеистов, еще сопротивляется им. Следуя по манере антирелигиозным сатирам Вольтера, пронзительностью иронии, блеском остроумия, неотразимостью насмешек над духовенством, буквально убивая религию смехом, «Прогулка скептика» и кончается по-вольтеровски, парадоксом. Вернувшись с прогулки, атеист находит свой дом разграбленным, а детей убитыми. Это дело рук верующего, которого сам атеист разубедил в существовании бога.

Каков смысл этого конца? Религия нужна для обуздания «злых страстей» и для охраны собственности, но отнюдь не как опора духовенства и знати. Понятно, что такая защита религии и собственности парижскую королевскую полицию не могла удовлетворить.

V

Мадам Пюизье и Кребилион-сын или Лесаж и Свифт?

Так есть и, наверное, так будет. Бывает литература и литература. Тогда тоже был Вольтер и был Кребилион-сын.

Казалось бы, какое отношение имел Кребилион-сын, автор так называемых галантных, а точнее сказать — скабрезных, романов, к Дидро?! Объяснение последует, но не сразу.

Кроме Кребилиона-сына, была еще мадам Пюизье. Мало того: если бы ее не существовало, ее бы, наверное, выдумали. Как же иначе?

Ведь чтобы преподнести ей пятьдесят луидоров, Дидро написал «Философские мысли». Чтобы выиграть пари, которое он держал с ней, сочинил за несколько дней роман «Нескромные сокровища».

Мадам Пюизье не пришлось выдумывать. Она существовала и не то четыре не то пять лет была любовницей Дидро. Его дочь, со слов своей матери, даже утверждает, что все десять.

Если верить, что мадам Пюизье родилась в 1720-м, — а кому и когда бывает точно известен год рождения дамы, — к тому времени, как Дидро, отправив Анну Туанету в Лангр, сошелся с ней, мадам было двадцать шесть. Она была замужем за одним из знакомых Дидро. По одной версии, муж мадам был парламентским адвокатом, по другой — литератором. Но вполне вероятно, что Филипп Пюизье совмещал парламентские занятия с переводами. Бесспорно одно: по части литературного таланта он уступал Дидро, а жена его хотела стать писательницей. Не это ли послужило одной из причин того, что она вступила в связь с приятелем своего мужа?

По дошедшим до нас отзывам, мадам Пюизье была тщеславна, кокетлива, даже фривольна, экстравагантна, безрассудна и постоянно требовала денег. Была ли она хороша собой? Вероятно.

Связь с мадам Пюизье застала Дидро, а главное, его тощий кошелек — он и семью-то содержал еле-еле — врасплох.

То, что он написал «Философские мысли», пытаясь раздобыть для своей любовницы пятьдесят луидоров, придумано мадам Вандель, обиженной за свою мать, — это так понятно. Но то, что любовь мадам Пюизье к Дидро не была вполне бескорыстной, бесспорно.

Почему он после философских трактатов, пусть и изящных и занимательных, в 48-м принялся за «Нескромные сокровища»? Надо думать, потому, что в 46-м по приговору парижского парламента сожгли «Философские мысли», а «Прогулку скептика» и совсем не удалось издать. Вот он и решил прикрыть

свои недозволенные идеи фривольным сюжетом. Для XVIII столетия это было так естественно.

Но вместе с тем у нас нет никаких оснований сомневаться, что пари с мадам Пюизье было заключено.

Кребилиона-сына тоже называют не зря. Дидро не мог не читать романов этого автора — «Софа», «Тансай и Неадарме», — легковесных и сладострастных. Он даже упоминает их во вступлении к своему роману. Да и кто же их тогда не читал?! Они пользовались успехом, не просто успехом, бешеным успехом. Это и навело Дидро на мысль написать книгу в том же духе, с той только разницей, что он спрячет в ней политические намеки и рассуждения, философские размышления, и спрячет как можно глубже, чтобы не угодить за свой роман в Бастилию.

Мадам Пюизье, видимо, не поверила, что он напишет роман так быстро, как обещал. Вот и возникло пари.

Кроме того, сама связь с этой особой могла навести его мысль на сюжет, где бы действовал волшебный перстень, помогающий угадывать самые сокровенные, самые интимные тайны женщины. Если позже, когда Дидро сидел в Венсеннском замке, он, выследив свою любовницу, убедился в ее неверности и порвал с ней, то основания для подозрений могли появиться и раньше.

Существовала, правда, и другая версия причины их разрыва. Она была изложена в журнале, выходившем в те годы в Гааге. Но стоит ли нам так вникать в их отношения?!

Итак, поверим, что пари было заключено, и в то, что это произведение Дидро автографично, как и все остальные. Да и в чьих произведениях нет частички личности автора, даже если нет частички его жизни?!

Что же касается сюжета «Нескромных сокровищ», то я не рискну даже его пересказать. Фривольностью он не уступает романам Кребилиона-сына.

Мало того, в главе XXXIX Дидро даже пародирует литературную манеру этого автора. Вот пародия:

«Я запомнил весь этот вздор от слова до слова, хотя там не было ни тени смысла и ни капли ясности,

и если вы дадите тонкое критическое истолкование его, вы сделаете мне очаровательный подарок, сударыня», — говорит султан Мангогул.

Затем следует весьма значительная реплика фаворитки султана Мирзозы:

«Как вы сказали, государь?.. Пусть я умру, если вы не похитили у кого-то эту фразу!»

И последующая речь Мангогула, приписанная им одному из «сокровищ» — интимных голосов женщин, — уже, бесспорно, похищена у «кого-то», то есть пародирует стиль Кребилиона-сына.

Вот начало этой речи: «Господа! Я не стану выискивать, пренебрегая моим собственным разумом, образцы мышления и выражений. И если мне удастся высказать нечто новое, в этом не будет никакой аффектации; оно явится следствием моей темы; если бы я повторила то, что уже высказывалось по этому поводу, это значило бы, что я мыслю, как другие».

А вот еще отрывок из этой речи: «Я не могу отказаться от замечаний и словесных упражнений, соответствующих моей теме, тем более что сама по себе она чрезвычайно скромна и не разрешит мне напыщенного многословия; но я не стану касаться мелких ничтожных подробностей, которые являются достоянием пустого болтуна; я был бы в отчаянии, если бы меня заподозрили в пустословии».

Но, изобретая свой сюжет, Дидро, конечно же, не стал повторять ни Кребилиона-сына, ни подобных ему романистов. Впрочем, он не затруднял себя и тем, чтобы все придумывать. Зачем? Гораздо проще открыть «Гептамерон» Маргариты Наваррской, басни Лафонтена, старинное фабло. Кое-что позаимствовать у писателя XVII столетия Нажисона. Получается забавно. «Гений» Кукуфа дарит молодому султану чудесное кольцо.

Но разве дело в интимных тайнах женщин, которые благодаря кольцу выдают их «сокровища»? На этот сюжетный стержень Дидро нанизывает картину современных нравов — придворных, великосветских, буржуазных, научных, театральных, литературных,

музыкальных, и картину, надо сказать, весьма сатирическую.

Это ничего не значит, что место действия романа — Конго. Кто из современников не угадывал под Конго Францию?

Имена персонажей самые экзотические, притом не существующие ни в одной стране. Но так ли трудно было угадать в Эргебзеде Людовика XIV, в молодом султане Мангогуле — Людовика XV, в Манимонбанде — его жену Марию Лещинскую, в Селиме — кардинала Ришелье, а в Мирмозе — маркизу де Помпадур?!

Это не точно выписанные портреты — Дидро к этому и не стремился, — он писал не шаржи на отдельных исторических лиц, а сатиру на целое общество, но сходство было вполне достаточным.

Забавными и скабрезными приключениями автор маскировал меткую и глубокую критику нравов двора, света, церкви, науки, искусства. И каждому, кто умел читать, было ясно, что Банза — это Париж, а Брама — бог не языческий, но христиано-католический, брамины — католические кюре и аббаты, африканский автор истории царствующего султана и его отца — Вольтер, Утмиутсоль — композитор Люлли, а Уремифасольлясиутутут — композитор Рамо. А как умные читатели потешались над спародированными в романе спорами между «люллистами» и «рамистами», бушевавшими в музыкальных кругах Парижа сороковых годов XVIII столетия! Кто не узнавал в оперном театре Банзы Парижскую оперу?

Дидро в отличие от Вольтера никогда не был принят при дворе и не добивался этого, не искал великосветских меценатов, как его друг Руссо. И, однако, он достаточно знал и двор и великосветское общество, чтобы в главе VII изобразить интимный ужин у фаворитки султана Мирзозы, очень похожий на интимные ужины у маркизы де Помпадур, а в главе XIX так описать внешний вид парижской дамы: «Прическа в форме пирамиды и светло-серые туфли на высоченных каблуках увеличили ее рост фута на полтора. На ней был белый палантин, оранжевая на-

кидка, бледно-голубое платье из гладкого бархата, зеленого цвета юбка, бледно-желтые чулки и беличья опушка на туфельках. Но что меня особенно поразило (говорит султан. — *А. А.*), это пятиугольные фижмы с выдающимися и вдающимися углами. Можно было подумать, что это ходячая крепость с пятью бастионами».

А кто не потешался над тем, как Дидро в своем романе изобразил петиметров — стиляг XVIII столетия?!

Он до самой смерти так и не был удостоен звания «бессмертного», как по сей день именуют французских академиков, но так знал нравы, бытовавшие во французской науке того времени, что только невежда не угадал бы в изображенной в главе IX распре вихревиков и притяженцев споры картезианцев, последователей Декарта, с последователями Ньютона.

Один из основных принципов системы картезианцев — вихревая форма движения материи, отсюда — *вихревики*. Под геометром Олибри имелся в виду Декарт. Последователи Ньютона в небесной механике исходили из его теории притяжения или тяготения, отсюда — *притяженцы*. Сам Ньютон в романе фигурирует под именем физика Чирчино.

Дидро уважал и тех и других, и обе партии изображены скорее безобидно. Но зато псевдонауке от Дидро в романе досталось по заслугам.

Страсть к карточной игре французской королевы Марии Лещинской, падение нравов, выражавшееся и в том, что муж и жена, проявляя нежность друг к другу, вызывали насмешки, и в том, что не было ни одной замужней женщины и ни одной девушки без грешков, высмеяны Дидро со всем запалом мужа добродетельной Анны Туанеты, сына набожного ножовщика, поклонника Ричардсона, хотя сам автор, как нам известно, отнюдь не был святым.

А как досталось монахиням, грешащим нисколько не меньше, чем светские дамы!

Вот как в главе II спародированы столь частые в те времена панегирики королю. «Частые совещания с министрами, ведение войн, управление делами на-

учили его в короткий срок тому, что ему еще оставалось узнать, выйдя из рук педагогов, а это вещи немаловажные.

Меньше чем в десять лет Мангогул приобрел репутацию великого человека. Он выигрывал сражения, брал города, увеличил свою империю, усмирил провинцию, привел в порядок финансы, содействовал расцвету наук и искусств, воздвигал здания, обессмертил себя полезными учреждениями, утвердил и исправил законы, учредил даже академии и, чего никогда не могли понять ученые его университетов, осуществил все это, не зная ни слова по-латыни». (Мы-то знаем, что на самом деле все обстояло иначе.)

Затем следует исполненная яда фраза: «Мангогул был также любезен в своем серале, как велик на троне... Он раскрыл двери своего дворца, где жили его жены, он выгнал оскорбительных стражей их добродетели; он благоразумно доверил их верность им самим: в их апартаменты был такой же свободный доступ, как в какой-нибудь монастырь фландрских канонисс» (еще одна стрела в адрес монастырей. — *А. А.)*.

В главе XV, где за истолкование «чуда» берутся брамины, то есть духовные лица, католическая церковь и противоречивость ее доктрин подвергаются язвительным насмешкам. Одни брамины утверждают, что изобретение Кукуфы — козни дьявола, а другие — что это кара божья за грехи.

В «Нескромных сокровищах» были уже и зачатки эстетической программы Дидро. В главе о театре он восстает против классицизма, борясь за реалистическое искусство, за правдоподобие и естественность. Достаточно прочесть суждение Мирзозы о французском театре, чтобы убедиться в этом. «Вы восхищаетесь развитием действия? Но оно обычно так сложно, что было бы чудом, если бы столько событий совершилось в столь короткий срок. Крушение или спасение государства, свадьба принцессы, гибель государя — все это совершается как по мановению волшебного жезла. Если речь идет о заговоре, он намечается в первом акте, завязывается и укрепляется

во втором; все меры будут приняты, все препоны преодолены, все заговорщики на местах — в третьем; беспрерывно будут следовать одно за другим восстания, сражения, а может быть, и форменные битвы. И вы скажете, что это — развитие действия, что это интересно, темпераментно, правдоподобно? Я вам этого никогда не прощу, ибо вы отлично знаете, чего стоит иной раз довести до конца какую-нибудь жалкую интригу и сколько времени требуется на всякого рода шаги, переговоры и обсуждения, чтобы могло осуществиться самое незначительное политическое событие».

Эта критика поэтики классицизма, пресловутых трех единств, это требование правдоподобия — Мирзоза, рупор авторских мыслей, поверяет искусство действительностью — так значительны, что Лессинг, немецкий продолжатель Дидро, в этом монологе нашел опору для своего эстетического учения и много лет спустя процитировал его в «Гамбургской драматургии».

Вот и судите сами, был ли Дидро в «Нескромных сокровищах» только последователем Кребилиона-сына. Не было ли у него других учителей?!.

Мы помним, как Лесаж просил Дидро произносить свои монологи в его слуховую трубку. Странно было бы предположить, что Дидро не читал «Хромого беса», где фантастический сюжет служит превосходной рамкой для картины общества, а под Испанией скрывается Франция его времени. Мало того, в числе персонажей «Нескромных сокровищ» мы встречаем Тюркаре, перекочевавшего из одноименной пьесы Лесажа.

Но думается мне, хотя никто из толковавших «Нескромные сокровища» об этом и не заикался, у Дидро был в этом романе еще один литературный образец. Я имею в виду горячо любимого им «Гулливера». Если всеми признано влияние на роман Дидро «Монахиня» Ричардсона (на мой взгляд, оно куда больше в его мещанских драмах), а на «Жака-фаталиста» — Стерна, казалось бы, так естественно предположить, что двуплановый роман Свифта, сатирическое изображение Англии в фантастическом

сюжете, повлияло на такое же изображение Франции его поклонником — Дидро. Почему и этого англичанина, не менее достойного, чем Стерн, не говоря уже о Ричардсоне, не причислить к числу литературных учителей Дидро?!.

Профессор Дедейан в своем курсе лекций, прочитанном в Сорбонне в 1957—1958 годах, возводит к Свифту, но не к бессмертному «Путешествию Гулливера», этого он и не заметил, а к полузабытой «Битве книг» сороковую главу «Нескромных сокровищ» — «Сон Мирзозы». Это получается у профессора и доказательно и интересно. «Битва книг» отражает борьбу между архаистами и новаторами среди английских философов и литераторов конца XVII столетия.

Новаторы объединяются вокруг Тассо, Мильтона и их единомышленников... Архаисты — вокруг Гоббса, Декарта, Гассанди. Кавалерией руководит Вергилий.

Остроумие этого блистательного памфлета не могло не очаровать Дидро. Нисколько не удивительно, что он в «Сне Мирзозы» подражает или следует «Битве книг». После того как фаворитка султана поговорила о Гомере и Вергилии, Пиндаре и Горации, Сократе и Платоне, она обращает свои взоры на бюсты великих предков и современников, украшающие галерею, полную книг. За описанием каждого бюста следует содержательный комментарий, да и само описание красноречиво.

Возьмем хотя бы Сократа. Дидро самого с ним сравнивали. В чертах философа — честность, на устах — правдивость. Комментарий к этому бюсту таков: «Он был другом и жертвой своих добродетелей. Всю свою жизнь он старался просветить своих соотечественников, сделать их добродетельными, а они, неблагодарные, лишили его жизни».

Очень выразителен бюст Вольтера (кстати, ни один из бюстов не назван, читатели угадывали, кто на каждом из них изображен). Этот бюст окружен амурами, при нем два гения — истории и философии. Тут же две армии в боевом порядке.

Есть все основания предполагать, что на автора «Нескромных сокровищ» влияли и философские повести Вольтера и «Персидские письма» Монтескье.

Любопытно, как в «Сне Мирзозы» предстают критики. Это пигмеи, обрушивающие на статуи свои щелчки. «Но меня весьма забавляло, — говорит Мирзоза, а она в этой главе — рупор автора, — что щелчки, даже не коснувшись носа статуй, обращались на носы пигмеев. Рассмотрев их вблизи, я обнаружила, что они почти все курносые».

Впрочем, в галерее присутствуют и люди в черных одеждах, с кадилами и гирляндами, видимо панегиристы.

«Нескромные сокровища» вышли в свет не только без фамилии автора, но и под маркой несуществующего амстердамского издательства, зато с очень изящными иллюстрациями. Так же анонимно они несколько раз переиздавались в Голландии; в том же 1748 году, что говорит о бурном успехе романа, затем в 1753-м, с новыми иллюстрациями, в 1756-м, 1772-м. После смерти Дидро роман дважды издавал во Франции его душеприказчик Нэжон с добавлением трех неопубликованных глав.

Еще раз «Нескромные сокровища» вышли в 1833 году. Затем последовало запрещение переиздавать эту книгу, слишком фривольную для XIX столетия.

После ареста Дидро на первом допросе отрицал свое авторство, спрашивали ли его о «Философских мыслях», «Прогулке скептика», «Письме о слепых» или о «Нескромных сокровищах».

«Не знаю», — неизменно отвечал он и на вопрос, известен ли ему автор названного произведения.

Так же говорил он и когда его допрашивали о «Белой птице, детской сказке» — неопубликованной повести 1748 года.

Допрос происходил в июле. Но не прошло и месяца, как, добиваясь освобождения и изменив свою тактику, Дидро выдвинул новую версию. 13 августа 1749 года он писал военному министру, графу Даржансону: «Что касается «Белой птицы, детской сказ-

ки», она тоже не моя. Она — одной дамы, имя которой я не могу назвать, потому что она его скрывает. Я имел некоторое отношение к этому произведению, то есть я поправлял его орфографию, в части которой женщины, даже с самым сильным умом, слабы».

Нетрудно догадаться, что, приписывая авторство «Белой птицы» некоей анонимной даме, Дидро довольно прозрачно намекал на мадам Пюизье.

В те времена и другие писатели нередко дарили авторство своих произведений дамам, которым хотели сделать приятное. Дидро же в его обстоятельствах прибегнул к этой выдумке, чтобы снять с себя еще одно обвинение.

Повесть написана в той же модной тогда фривольной и ориентальной манере: «Белую птицу» принято считать еще больше, чем «Нескромные сокровища», своего рода белой вороной в его великолепном «птичнике».

Это не совсем верно: и в «Племяннике Рамо» и в «Жаке-фаталисте» Дидро развивает то, что начал в ранних своих памфлетах, в том числе и в этом.

Когда же неопубликованная «Белая птица» ходила по рукам в списках, взрывчатое действие ее было велико. Мангогул перекочевал в «детскую сказку», и здесь он тоже воспринимался современниками как шаржированный портрет Людовика XV.

Главный же криминал «Белой птицы» с точки зрения полиции заключался в реплике султанши: «Принц, воспитанный под наблюдением Истины!.. Это недостаточно нелепо, чтобы насмешить, но слишком несуразно, чтобы поверить... Принц, упорствующий в своем влечении к Истине!..»

Беррие, надо думать, не понравилась и фраза второй одалиски: «Она (истина. — *А. А.*) мало говорит в присутствии государя». Подозрительным могло показаться и следующее рассуждение первого эмира: «В этой семье (имеется в виду династия. — *А. А.*) были также и герои. История Японии повествует об одном, которого чтят до сих пор; его портреты появляются на табакерках, экранах, зонтиках всякий

раз, как народ бывает недоволен царствующим государем: он позволяет себе выражать таким образом свое недовольство». В этом мог быть усмотрен намек на популярность Генриха IV Наваррского, предания о котором, как о справедливом короле, были очень распространены тогда во Франции. Да и самая мысль о том, что народ может быть недоволен своим государем, должна была внушать беспокойство охранителям трона.

Что же касается остального, пафос повести — она не слишком выделялась из общего потока либеральной французской литературы середины XVIII столетия — состоял в поучении, адресованном принцам и королям — они должны придерживаться истины, поскольку это возможно, и не чураться благоразумия и простоты. Увлекаться женской красотой им не возбраняется, но чары прелестниц ни в коем случае не должны подчинять себе государственные интересы.

Фривольности в «Белой птице» было куда меньше, чем в «Нескромных сокровищах», но к романам Кребильона-сына она была ближе. Это-то и позволило Дидро приписать «детскую сказку» мадам Пюизье, чья манера должна была больше напоминать эти галантные, женственные, чтобы не сказать — жеманные, произведения, чем его собственная манера.

Вопрос об авторстве возникал и по поводу сочинений самой мадам Пюизье. Многие современники подозревали, что они написаны при сотрудничестве Дидро. Это насторожило парижскую полицию. Недаром среди полицейских документов тех лет, сохранившихся до наших дней, мы находим запись от 1 января 1749 года: «Мадам Пюизье проживает на улице Сен-Луи... Она сочиняет законспирированную книгу «Советы моего друга». Имеется в виду ее друг Дидро, он дает ей основу для всех ее книг».

В архиве Бастилии и поныне хранится еще один документ — письмо от 23 апреля 1750 года некоего адвоката Моро, впоследствии одного из самых страстных противников «Энциклопедии».

Заглянем в это письмо: «Знаете ли вы книгу, ко-

торая должна выйти под названием «Характеры»? Там говорится о Дидро, и по всему ее тону, знакомому нам по написанному им прежде... это он и выступает под именем дамы. Стиль Дидро, взгляды, которых он придерживается — они-то, как вы знаете, и придают интерес его произведениям, — заставляют говорить о них, обнаруживаются и здесь. Я еще не видел этого произведения, но то, что о нем говорят, выдает его «достоинства».

Обратимся, однако, к сочинениям мадам Пюизье. В «Предварительных соображениях», предпосланных ее книге «Советы моего друга», она воспроизводит свой спор с Дидро и пишет: «...что касается самих максим, написанных якобы с его повторами, его небрежностями, его противоречиями и всеми другими, присущими ему недостатками, я бы предпочла, чтобы это произведение, совершенно оно или несовершенно, не признавалось не чьим иным, как моим».

Естественно, что после их разрыва мадам отстаивает свое авторство еще энергичнее. «Характеры» вышли в прошлом году. Надо закрыть глаза, чтобы не увидеть в них кисти женщины, чтобы приписать их ученому, который живет вдали от света, гордясь тем, что пренебрегает его максимами, и слишком занят своими сочинениями, написанными в манере столь далекой от манеры его друзей и не оставляющими ему свободного времени, чтобы думать о вещах, интересующих нас... Способен ли редактор «Энциклопедии»...? и т. п. и т. п. Это говорится в авторском вступлении ко 2-му изданию книги.

Должны ли мы верить запальчивым утверждениям мадам Пюизье? Единственное, что могло бы заставить нас с ней согласиться, — это фактическая невозможность для Дидро быть по меньшей мере соавтором этой книги. Мы поверили бы мадам, если бы «Характеры» писались или хотя бы задумывались, когда он сидел в одиночке. Ведь уже когда его перевели из тюремной башни в замок, мадам его навещала.

Но книга была начата до ареста Дидро, хотя и вышла в свет после — 10 сентября 1749 года. Если

стиль первого сочинения мадам Пюизье «Советы моего друга» — это еще не стиль Дидро, хотя и там влияние несомненно, то в «Характерах» без труда узнаешь не только его мысли, но и фразы. Критика воспитания того времени, презрение к происхождению, взгляд на собственность как на дело случая, рассуждения о нравственности — это мысли Дидро. А вот не только его мысль, но и его фраза: «Они (молодые люди. — *А. А.*) предпочитали язык, который не служил им ни для чего, принимали догмы религии, от которых к 28 годам тоже ничего не сохраняли».

И на этот раз Дидро готовил «чужие уроки». Не мудрено, что так же, как в латинских стихах сцены искушения Евы змием, учитель узнал перо единственного своего ученика, который мог так написать, хотя урок был задан другому, и в произведениях мадам Пюизье современники угадывали перо Дидро.

Ревнивая подозрительность Анны Туанеты, перешедшая к ее дочери, была направлена не на то, на что следовало бы ее направить. Не деньги, не драгоценности, а ум и талант — вот что в первую очередь дарил своей любовнице Дени Дидро. Жену за писательницу никто бы не принял. Поэтому ее мужу не приходило в голову приписывать Анне Туанете какие бы то ни было из своих сочинений. Но кому мог — он дарил свой талант. Дарил его и мадам Пюизье.

VI Переведите Чамберса!

Странно даже подумать, что если бы сын фермера, к тому же квакера из английского города Мильтона, с квакерским именем Эфраим и фамилией Чамберс, не захотел, чтобы его «Энциклопедический Словарь» был лучше, чем «Энциклопедический Сло-

варь» его бывшего шефа Джона Гарриса, Дидро не удалось бы совершить главного дела его жизни.

Между тем и вправду началось все с того, что Дидро предложили перевести Чамберса. Началось с этого, а кончилось двадцатью восемью томами «Энциклопедии». Нет, это неверно: кончилось Великой французской революцией.

Еще очень долго людям будет нужно то, что писал Дидро о нетерпимости и терпимости, о бессмертии, которые обещают священники, и о бессмертии подлинном, о том, что такое гражданин и что такое человек, что такое мысль и что такое естественное право. И то, что писали его друзья из энциклопедической республики — о вкусе, об уме, о музыке, о воспитании... И в их статьи он, не претендуя ни на гонорар, ни на соавторство, столько вкладывал своего!

Конечно, началось не только с Чамберса — этот квакерский труд был просто толчком.

Но началось-то все-таки с него. И снова подстроенное проказницей историей совпадение. Надо же, чтобы два тома ин-фолио, то есть большого формата, «Всеобщего Словаря искусств и наук» Эфраима Чамберса вышли в Лондоне в том же 1728 году, когда Дидро впервые приехал в Париж, где через семнадцать лет ему предложили заняться этим переводом.

Конечно же, Дидро знал «Энциклопедический Словарь». Он даже высоко ценил этот серьезный, добросовестный труд, что засвидетельствовано в «Проспекте» к «Энциклопедии».

Датированное 1727 годом предисловие Чамберса безукоризненно с точки зрения рекламы и вместе с тем дает представление о затраченном труде. В предисловии перечислено содержание «Словаря» с обещаниями, что в нем будут представлены все науки — точные, естественные, гуманитарные, геология, военное дело, коммерция, учения всех философов, все религии, все математические открытия, древние и новейшие. «Словарь» явит собой как бы экстракт всех словарей, дневников, мемуаров, летописей на всех языках.

Мало того, в предисловии говорится: «Наша цель заключалась в том, чтобы рассмотреть различные предметы не только в отдельности, но и во взаимной их связи, в том, чтобы рассмотреть каждый из них как нечто целое и как часть еще большего целого».

Несмотря на такие серьезные, заслуживающие уважения намерения и столь же почтенное трудолюбие — Чамберс написал все статьи сам, — труд его представлял собой чистейшей воды компиляцию, и компилятору не хватало широты ума. Однако ни это, ни высокая цена — четыре гинеи — не помешали «Словарю» Чамберса выдержать за восемнадцать лет шесть изданий. Первое переиздание вышло в 1738-м, третье, четвертое и пятое в следующем — 1739-м и, наконец, последнее, посмертное — Чамберс скончался в 1741-м, — в 1746-м.

Были у него и другие работы, но он сам придавал им меньшее значение, чем «Всеобщему Энциклопедическому Словарю». Незадолго до смерти у Чамберса возник проект издания более обширного словаря. Он не успел его осуществить. Издатели приняли решение выпустить в 1744-м дополненный «Словарь» Гарриса, в котором должно было быть на сто статей больше, чем у Чамберса. Составители этого дополненного издания должны были использовать еще и «Музыкальный Словарь» Despecино и «Всеобщую историю искусств и наук» — тоже английскую.

Но этому дополненному «Словарю» Гарриса так и не суждено было выйти в свет, благодаря чему труд Чамберса остался новейшей для того времени энциклопедией.

Но было бы глубоко неверным считать только Чамберса и его бывшего шефа Гарриса единственными предшественниками Дидро, как редактора «Энциклопедии». История энциклопедий, то есть сводов всех знаний человечества, восходит к глубокой древности, к Аристотелю. Его продолжателем в древнем Риме был Плиний. Правда, его компиляцию нельзя еще назвать энциклопедией в точном смысле слова.

В конце средних веков предпринимаются новые попытки объединить и популяризовать все человече-

ские знания. В XIII веке Альберт Великий и Фрэнк Венсан де Бове, тоже следуя Аристотелю, составили сборник, объединяющий все знания того времени.

Известны еще три компиляции XIII и XIV веков. Составители их отличались главным образом трудолюбием. Все, на что они были способны, — это распределить собранные ими сведения в надлежащем порядке. Проверить, насколько эти сведения соответствуют истине, компиляторы не могли.

Единственный труд конца XIII столетия, который был близок к энциклопедии в нашем понимании, с поправкой на тогдашнее состояние науки — это «Опус Магнус» Роджэра Бэкона.

Но и он, собственно, служил как бы только подготовкой к более обширной энциклопедии того же автора — «Компендиум философиа», не доведенной им до конца. У Бэкона, едва ли не первого, была уже идея энциклопедии, то есть стремление объединить все знания. Своим обширным умом он понял, что все отделы философии, то есть все науки, связаны между собой, и хотел возвыситься над низким уровнем обособленного знания.

Роджэр Бэкон понял это раньше и лучше других, но по справедливости требует признать, что для XIII столетия вообще характерно энциклопедическое направление умов. Это был век сочинений с названиями — «Summa», «Universitas»[1].

К середине XVI столетия это направление умов возродилось. В 1541 году впервые появилось само название «Энциклопедия». Так была озаглавлена изданная в Базеле книга Рикельберга. С его легкой руки стали издаваться в Западной Европе и другие энциклопедии. В 1620 году вышел труд Альтштеда под латинским названием, означающим «Энциклопедия человеческих знаний». Через много лет Лейбниц, знаменитый немецкий философ, заявил, что стоит труда дополнить и исправить эту книгу. Он написал даже статью, в которой изложил, в чем именно должны выразиться эти дополнения и исправления.

---

[1] «Объединение», «Всеобщности» *(лат.)*.

Однако в XVIII столетии вряд ли имело смысл воскрешать «Энциклопедию» Альтштеда. Написанная по-латыни, как тогда писались все ученые труды, она представляла собой, собственно, несколько отдельных трактатов и лексиконов в нескольких томах.

Тот же Лейбниц, предлагая дополнить и исправить эту «Энциклопедию», говорил, что хотя у Альтштеда хватало ума и прилежания, затеянный им труд не мог удаться, так как в его распоряжении не было должных материалов, и он не имел счастья родиться в более позднее время.

Был у Дидро — редактора «Энциклопедии» — еще один предшественник — Пьер Бейль с его знаменитым «Историческим и Критическим Словарем», опубликованным во Франции в конце XVII века.

Внешне его «Словарь» даже похож на «Энциклопедию» Дидро. Но он совсем на нее не похож по своему содержанию. Бейль не хотел и не мог создать действительно универсальный научный труд, основанный на единстве наук. Он преследовал гораздо более узкую задачу — критический разбор исторических и биографических фактов, религиозных и философских учений разных эпох. К тому же, выступая против религии и церкви, защищая веротерпимость, он, сражаясь с богословами и метафизиками, не мог еще опереться на естествознание, на гиганта младенца — *опыт,* на который опирались впоследствии материалисты, побивая метафизику.

Дидро и его друзья решили задачу, которую пытались решить многие, от Аристотеля до Бейля, но не их и не Альтштеда вспоминает он в своем «Проспекте» к «Энциклопедии» и не Роджэра Бэкона, а великого английского материалиста Френсиса Бэкона.

«Если мы доведем до конца это обширное предприятие, мы будем этим обязаны преимущественно канцлеру Бэкону, который начертил план всеобщего лексикона наук и искусств в такое время, когда, можно сказать, ни наук, ни искусств еще не было».

То же примерно писал и его соредактор Даламбер в их общем «Предварительном рассуждении».

Но не только до «Энциклопедии», а и до «Проспекта» было еще далеко, когда немец Годфрей Селлинг и англичанин Джон Миллс приехали в Париж и предложили издателю «Королевского Альманаха» Андрэ Франсуа Лебретону перевести для него «Словарь» Чамберса. Предложение издателя заинтересовало. «Проспект» был готов, привилегия, то есть разрешение, и патент на издание получены, когда все дело расстроилось. Привилегию Лебретон выправил на свое имя, переводчики в ней и не упоминались. Миллс, обеспокоенный этим, потребовал от издателя гарантийного письма, где бы определялись права его и Селлинга.

Как иностранцы проявляют недоверие?! Лебретон, правда, выдал им письмо, весьма изворотливое, но ему можно было придать и то значение, которого добивался англичанин. Но когда Миллс, получив письмо, пришел к нему и потребовал денег, издатель счел, что это уже слишком. Он высказал Миллсу то, что по этому поводу думал.

Ссора их зашла далеко. Миллс — он был дворянином — схватился за шпагу. Лебретон — он был буржуа, хотя фамилия его и имела приставку «Ле», — ответил ударом кулака в живот и двумя ударами трости по голове строптивца. Англичанин закричал, что убьет его. На крик прибежали соседи. Лебретон удалился с поля сражения, а проще сказать, ушел из конторы во внутренние комнаты, довольный своей безнаказанностью.

Миллс на этом не успокоился. Он написал на Лебретона жалобу в министерство юстиции и был уверен, что его противника засадят в тюрьму. Но так как Лебретон пользовался покровительством министра юстиции, знаменитого законодателя Дагессо, и тот, очевидно, был введен им в заблуждение, дело ограничилось вызовом издателя в суд. А на суде плутом признали не ответчика, хотя к этому были все основания, но истца, то есть Джона Миллса. Привилегия же на издание на французском языке «Словаря» Чамберса была закреплена за Лебретоном. Правда, потом и «Энциклопедия» не стала переводом

«Словаря» Эфраима Чамберса, и Лебретон не остался единственным ее издателем, войдя в компанию еще с тремя книгопродавцами.

С этими переводчиками было покончено. За новым дело тоже не стало. Свои услуги Лебретону предложил, а может быть, тот и сам его пригласил, аббат Гюа де Мальве.

Но вскоре Лебретон захотел отделаться и от него.

В таком положении было это издание, когда к Лебретону в его магазин на улице От-Фей, он же служил и конторой издательства, — тогда книготорговец и книгоиздатель совмещались в одном и том же лице — явился Дени Дидро. Он знал Андрэ Франсуа Лебретона хорошо, хотя и понаслышке: прежде имел дело с другими издателями — Давидом, Лореном, Бриассоном, и они говорили ему о своем коллеге, или, если угодно, конкуренте. Лебретон тоже был о Дидро наслышан, но не имел чести знать его в лицо. Издатель выглянул из-за прилавка. Чего хочет этот посетитель, видимо не собирающийся ничего покупать? Он оглядел странного визитера.

Крупный, высокий, красивый, как говорят, видный, он производил впечатление человека предприимчивого, энергичного и находчивого.

Посетитель объяснил цель своего прихода. Он хотел бы принять участие в каком-нибудь издании хозяина. Попросту говоря, ему нужна работа.

В подобных обстоятельствах выражение лица Лебретона становилось важным и самоуверенным. Но, очевидно, он уже заранее был неплохого мнения о Дидро. «История Греции», «Медицинский Словарь» и особенно перевод Шафтсбери завоевали тому репутацию громкую, хотя и не вполне благонадежную.

Ни слова не говоря, издатель протянул Дидро какую-то бумагу.

Молодому человеку стоило только кинуть на нее взгляд, чтобы понять — перед ним «Проспект» издания «Словаря» Чамберса на французском языке.

— Но мне говорили, — удивленно заметил Дид-

ро, — что ее переводит для вас аббат Гюа де Мальв.

Он достаточно хорошо знал аббата. Это был ученый — математик и геометр — тогда геометрия считалась отдельной наукой, — профессор Коллеж де Франс, автор новых доказательств к теореме Декарта. Притом, будучи действительным членом Академии наук по разряду математики и геометрии, аббат уже без достаточных оснований претендовал на то, чтобы блистать и в политической экономии и в финансовой науке. Это соответствовало традициям его семьи, но не его дарованиям.

— Он сумасшедший, — довольно безапелляционно возразил Лебретон, — я нимало не огорчусь, если мне удастся избавиться от этого аббата. Навязался мне сам, и дай только ему волю, превратит мой словарь — издатель называл словарь своим — в набор сплошных экстравагантностей.

Дидро, нимало не заботясь, повредит ли то, что он скажет, его интересам — возможно, и Мальв говорил что-то в этом роде, — заявил, что «Словарь» Чамберса устарел и вообще нет смысла ограничиваться переводом. «Энциклопедию» почти целиком надо делать заново.

Вряд ли эта мысль возникла у него только теперь. Надо полагать: он давно задумывался над тем, что необходимо не только познакомить человечество с завоеваниями всех наук, но, объединив все отрасли знаний, подчинить их исправлению общества.

Представьте себе, Лебретон согласился с этим дерзким молодым человеком. То, что он предлагает, пахло большими барышами. Конечно, и расходы потребуются куда бóльшие. Ну и что же? Если господа Бриассон, Давид и Лорен согласятся стать его компаньонами... К тому же ему даже не придется рекомендовать им Дидро.

Разговор принимает деловой характер; разумеется, насколько это возможно для Дидро.

— Сколько вы просите? — спрашивает издатель,

привыкший к тому, что все, в том числе и талант и идеи, покупается и продается.

Но Дидро меньше всего думает о своем гонораре. Он уже с головой поглощен «Энциклопедией», рисующейся в его голове. О, она будет очень мало похожа на «Словарь» Чамберса.

Он говорит что-то вроде того, что о вознаграждении они всегда успеют договориться. Трудно пока себе представить, какая потребуется работа. Зато бесспорно, что он не справится с ней один. Нужен соредактор, который лучше его знал бы точные науки и разделил бы с ним весь труд.

Кто знает, имел ли он уже в виду Даламбера, назвал ли его уже тогда Лебретону или сделал это только потом?

Как будто бы под нажимом издателя он назначил все-таки цифру своего редакторского гонорара — сто ливров ежемесячно. Если это так, сумма не может не показаться очень скромной. Но ведь тогда Дидро очень нуждался. Не от большого достатка Анна Туанета, отправляя мужа в кафе, довольствовалась черствым хлебом вместо обеда.

Опять-таки точно не установлено, ходил ли Дидро к Дагессо, — это его покровительство спасло Лебретона от тюрьмы, — чтобы заручиться рекомендацией старика до того, как побывал у издателя, или после того, добиваясь только его поддержки для «Энциклопедии». Но, так или иначе, у историка Франции Мишле мы находим описание этой встречи — он придерживался первой версии. У престарелого ученого, несмотря на некоторые жалкие и дурные свойства характера, были также две возвышенные черты — склонность к реформе законодательства и настоятельное влечение к всеобщности, то есть нечто похожее на энциклопедическое настроение ума. Однажды пришел к нему молодой человек, живущий литературной работой (затем следует такая характеристика книг Дидро, что нам лучше ее опустить, оставив все нелестные эпитеты на совести Мишле. — *А. А.*). Однако этот пришелец с неблагонадежной репутацией совершил чудо. С удивлением слушал старый мудрец,

как молодой человек развивал гигантский план такой книги, которая должна заключать в себе все книги. В его устах наука превращалась в свет и пламень. Это было более, чем изустное изложение, — это было творчество. Он как будто сам создал эти науки и продолжал создавать их, дополняя их, расширяя, как бы вкладывая в них новую жизнь.

Впечатление, которое он произвел на старика, было неотразимо.

Дагессо превзошел самого себя, забыл свои преклонные года, заразился идеей гения и сделался в эту минуту велик чужим величием. Он уверовал в молодого человека и стал покровителем «Энциклопедии».

В этом описании дан как бы экстракт разговора. На самом деле, по другим свидетельствам, все было много сложнее.

Прежде всего Дагессо не мог не усомниться, — как это один человек за отпущенную ему богом коротенькую жизнь собирается узнать и развить всеобщую систему природы, в то время как французские академики шестьдесят лет работали над простым «Словарем», прежде чем выпустить его первое издание.

Стремительный ум Дидро приготовил уже ответ на это возражение: «Энциклопедия» должна быть произведением не только ученых. Французская академия может охватить только языки и обычаи. Что может охватить Академия надписей и литературы, кроме истории древней и новой, хронологии, географии, литературы? Сорбонна — кроме теологии, истории религий и суеверий? Академия наук — кроме математики, естественной истории, физики, химии, медицины, анатомии? Академия хирургии — кроме искусства операций? Академия художеств — кроме живописи, гравюры, рисунка, скульптуры? Университет — кроме гуманитарных наук, педагогики, юриспруденции? А какое множество еще и других предметов должно составить содержание «Энциклопедии»!

Об этом остальном должны написать литераторы

и артисты. Каждый из них свяжет свои пристрастия с интересами человеческого рода.

Дагессо не совсем понимает, зачем это нужно.

Дидро объясняет, что не существует еще такого общества, которое объединяло бы все знания, и задуманный труд не удастся, если его не создать. Но зато создать такое общество можно за несколько часов, в него охотно войдут все, для кого главное — любовь к человечеству.

А эта любовь самая возвышенная, воодушевляющая души самые благородные.

Нетрудно себе представить, что Дагессо посулил Дидро официальную поддержку короля и что тот от нее отказался: если правительство вмешается, из их начинания решительно ничего не выйдет. Король не может ни создать, ни скрепить подобное общество литераторов, а только его разрушить.

Дидро еще не знал, как будет распределена работа, но принципы «Энциклопедии» ему были ясны. Он сказал Дагессо то же, что Лебретону. Ни в коем случае это не будет перевод Чамберса: статьи англичанина как нельзя более добросовестны, но пусты.

Как ни был ошеломлен Дагессо всем, что он услышал, как ни устал от этого разговора, старик не мог не обеспокоиться. Что он слышит? От добропорядочного Чамберса ничего не останется? И потом Дидро слишком много говорил о *человеке,* отведя ему в «Энциклопедии» господствующее место и утверждая, что точно так обстоит дело в действительности... А где же место *бога* в этом труде?

Дагессо тем не менее обещал будущему редактору свою поддержку и согласился быть цензором «Энциклопедии», но потребовал некоторых гарантий для бога и для короля. Больше всего его беспокоили уже сейчас статьи по философии. И что тут удивительного? В самом деле, это должен быть самый взрывчатый материал.

До философских статей «Энциклопедии», во всяком случае — до выхода их в свет, еще далеко. Но основательность беспокойства подтверждается судьбой философских сочинений Дидро.

VII. Прозревший о слепых

Кто бы не зачитывался философскими трактатами, если бы все философы придавали своим трудам форму такую изящную, остроумную, художественную, как умел это делать Дени Дидро?

Он излагал свои философские мысли то в форме кратких, блистательных афоризмов, то — непринужденного рассказа, пересыпая рассуждения занимательными историями, то в форме диалогов, то в форме писем, — кстати сказать, и письма его близким и друзьям, не предназначенные для печати, полны интереснейших наблюдений и заключений. В жизни, как заметил однажды его старший друг Вольтер, он был скорее мастером монолога, но как автор особенно отличался в диалогах.

И, однако, философские монологи его — трактаты в форме писем — тоже образец совершенства. В них так же трудно провести границу между философией и литературой, между теорией и практическими наблюдениями, как в его диалогах.

И Дидро-человек так же неотделим от Дидро-мыслителя, как в «Письме о слепых в назидание зрячим», так и в написанных позже «Письме о глухих и немых в назидание тем, кто слышит и говорит», «Разговоре с Даламбером», «Сне Даламбера», «Племяннике Рамо», «Жаке-фаталисте» и написанных раньше «Философских мыслях» и «Прогулке скептика».

Кто не знает термометра Реомюра, но всем ли известно, кто такой сам Рене Антуан Реомюр? Между тем это был современник и соотечественник Дидро. Известный физик и натуралист, действительный член Парижской академии наук, он занимался и окулистическими операциями. Операция, произведенная им над слепорожденным, которому он вернул зрение, сняв с его глаз катаракту, и послужила непо-

средственным поводом для «Письма о слепых в назидание зрячим», написанного и анонимно изданного Дидро.

А «Сударыня», к которой обращается автор в начале своего письма, — это наша добрая знакомая, мадам Пюизье. На самом деле он обращался не к ней, а к широкому кругу читателей. И вовсе не досада на то, что ему с подругой не удалось присутствовать при операции, побудила его написать «Письмо». Если хотите, эта мотивировка была своего рода литературной мистификацией, как и то, что в «Письме» Дидро вкладывает в уста слепого англичанина, математика Саундерсона, бывшего всего-навсего ученым-скептиком, собственные атеистические идеи. Саундерсон высказывает мысль, до которой только теперь дошел сам Дидро: «Идея бога — это всего лишь иллюзорное отвлечение от материи и ее движения». Реальный Саундерсон и не помышлял об этом, но Саундерсон в «Письме» не допускает существования бога, потому что не может его осязать, он не желает основываться на чудесах, ибо они всего лишь плод воображения.

В «Письме» Дидро в своей распре с богом зашел куда дальше, чем в «Философских мыслях» и «Прогулке скептика». На этот раз богу уже просто не остается места в картине мира, созданной Дидро. Определяя мир как составное сложное тело, подверженное бурным переменам, он восклицает устами Саундерсона: «Разве похож этот изменчивый, подвижный мир на тот незыблемый порядок, который якобы был некогда заведен богом и строго охранялся церковью?»

Найден ли с тех пор более разительный довод против религии, чем то, что уже в 1749 году писал Дени Дидро в своем «Письме о слепых в назидание зрячим»: «Сама идея развития мира глубоко чужда религиозному сознанию»?!

Задолго до Чарлза Дарвина — даже его предшественник Ламарк был тогда еще маленьким ребенком — Дидро материалистически осмысляет происхождение и развитие жизни на Земле. Он вклады-

вает в уста Саундерсона в его предсмертном споре со священником Холмсом слова: «Сколько исчезло изувеченных неудачных миров, сколько их преобразовывается и, может быть, исчезает в каждый момент в отдаленных пространствах, которых я не достигаю своим осязанием, а вы своим зрением, но в которых движение продолжает и будет продолжать комбинировать массы материи, пока из них не получится какая-нибудь жизнеспособная комбинация?»

Дидро пишет о слепых в назидание зрячим для того, чтобы подчеркнуть преимущества чувства даже менее совершенного, чем зрение, — осязания — перед умозрительностью. У слепого душа на кончиках пальцев, ибо он пальцами познает мир. К материалистической концепции развития мира, изложенной в «Письме о слепых», в той же остроумной и занимательной форме, присоединяется материалистическая теория познания. И Дидро ни в чем не умозрителен. Сама история действительно существовавшего английского математика Саундерсона — Дидро передал ему свои идеи, но ничего не примыслил к его биографии — доказательнейший пример приспособляемости живого организма. Будучи слепым от рождения, этот человек блестяще преподавал не только геометрию, но и оптику, толковал цвет и свет, никогда их не видев, объяснял механизм зрения, которого был лишен. И, кроме того, история его жизни, как ее написал Дидро, — это история «чуда», созданного человеческим умом, упорством, мужеством, трудолюбием, без всякого содействия бога. Мало того, все, чего достиг слепец, — вызов богу. Если бы бог существовал, он бы только его обездолил, лишив зрения.

Дидро противопоставляет этого зрячего слепца слепым зрячим. Он высмеивает в «Письме» абсурдность идеалистических систем.

И его критику идеализма цитирует в «Материализме и эмпириокритицизме» В. И. Ленин: «*Идеалистами* называют философов, которые, признавая известными только свое существование и существование ощущений, сменяющихся внутри нас, не допускают ничего другого. Экстравагантная система, кото-

рую, на мой взгляд, могли бы создать только слепые!»

Вот для чего понадобились Дидро все приведенные им факты и рассуждения о психологии слепых, которой он якобы придает такое значение, полемически утверждая, что гораздо полезнее поговорить с одним слепым, чем присутствовать при возвращении другому слепому зрения.

В начале «Письма» есть фраза, которая, как полагали тогда многие, во всяком случае эту версию распространяли сплетники, и послужила причиной ареста Дидро. Вот эта фраза: «Одним словом, он пожелал посвятить в дело только несколько ничего не говорящих глаз». Речь шла якобы о том, что Реомюр, отказав в разрешении присутствовать на операции философам, пригласил на нее мадам Дюпре де Сен-Мор. Дама же эта, будучи обижена намеком, пожаловалась на Дидро своему любовнику, военному министру графу Даржансону. Досужие умы словно бы были правы. В самом деле, мадам Дюпре де Сен-Мор присутствовала на операции, в чем было отказано тем, кого это действительно интересовало. Соответствовало истине и то, что она была любовницей военного министра.

Но смысл этой фразы, как бы второй план ее, был гораздо глубже. «Ничего не говорящие глаза» относились не только к глазкам красотки, но и к «слепым зрячим», к верующим, к идеалистам.

И, конечно же, не обида, нанесенная любовнице военного министра послужила главной причиной ареста обидчика, но материалистическое содержание «Письма». Слепые зрячие на него ополчились за то, что он написал о зрячих слепых, за то, что, прозрев сам, хотел помочь прозреть другим. Недаром Ламетри однажды заметил, что Дидро достаточно было одного слепого, чтобы просветить вселенную, а самому отправиться в Венсенн.

«Письмо о слепых» содержит и критику взглядов тех, кто еще недавно был единомышленником Дидро, в том числе и близкого его друга, члена триумвирата — аббата Кандильяка. Удивляться этому не при-

ходится, единым не было третье сословие, единства не могло быть и среди его идеологов. «Письмо» и начинает размежевание. Более взрывчатого произведения в такой невинной и изящной оболочке, пожалуй, еще не было. Можно сказать, с него начинается французский материализм.

Могло ли правительство не быть недовольным Дидро?! К тому же не им одним было оно недовольно. Еще бы: оппозиционные настроения почти всех слоев общества усилились. Это было вызвано тем, что духовенство отказалось платить налоги, возложенные на французский народ, чтобы покрыть издержки разорительной войны 1741—1748 годов.

В июле — августе 1749 года — а Дидро был арестован 24 июля — оппозиция приняла угрожающие размеры. Соответственно усилилась и реакция. Влияние иезуитов на управление королевством еще увеличилось.

Но пострадал не он один. Еще многих литераторов и ученых обвинили в сочинении произведений, направленных против религии и существующего порядка.

Но что касается Дидро, не одним тюремным заключением был наказан он за это взрывчатое сочинение. За то, что он наделил англичанина, члена Королевского общества, атеистическими идеями, его до самой смерти не приняли в это общество.

VIII До Венсенна три лье

Старинную поговорку «Никто не врет так, как очевидцы», можно дополнить еще тремя словами: «и как биографы».

Как только не толковали арест Дидро! Эдуард

Шерер так, Жозеф Рейнах иначе. Луи Дюкро утверждал, что правительство, возмущенное скабрезностью «Нескромных сокровищ», преследуя их автора, всего-навсего хотело уберечь общество от развращающего влияния романа. Мы между тем знаем, что произведения Кребилиона-сына, Дюкло и им подобных отличались не бо́льшей нравственностью, а их авторов не преследовали.

Если прочесть те же документы без предвзятости, не решая задачи с готовым ответом, а мы располагаем еще и другими документами, обнаруженными позже, можно представить себе довольно точно всю историю и предысторию трехмесячного пребывания Дидро в Венсеннском замке. Мало того, мы знаем и то, чего не знал и не мог знать он сам, то есть закулисную сторону дела, хотя, разумеется, многие подробности, прекрасно известные ему, до нас не дошли или дошли как анекдоты, и степень достоверности их не установлена.

Итак, представим себе прекрасное парижское летнее утро 24 июля 1749 года. Надо полагать, так же, как всегда, поют птицы в садах, щебечут дети, зазывают покупателей уличные торговцы. Звонят к мессе у Сент-Этьена-грека и у другого святого, Этьена де Монт, у урсулинок и у Сен-Женевьев.

Семь часов утра. Допоздна работая вчера, Дидро лег на рассвете, поэтому он еще спит.

Его заставляет открыть глаза решительный стук.

— Именем короля, откройте! — кричит кто-то по ту сторону парадной двери.

Дидро набрасывает халат, шлепанцы и, не причесавшись, идет открывать непрошеным посетителям. Несколько субъектов с достаточно мрачными лицами сопровождают метра Адама Филиппа, Мише де Рошбрюна, адвоката парламента, королевского советника, комиссара шателе Парижа.

Комиссар предъявляет подписанный директором парижской полиции генерал-лейтенантом Беррие ордер на обыск и изъятие всех бумаг, которые он, Рошбрюн, сочтет нужным изъять. Некоторые из них, впрочем, в ордере перечислены. Это «Письмо о сле-

пых», «Белая птица», «Философские мысли», «Прогулка скептика».

Дидро тревожно оглядывает штук двадцать папок, в которых хранятся копии статей для «Энциклопедии», и пытается скрыть от взоров комиссара рукописи, разбросанные по столу.

Если бы Дидро не дал для издания это фатальное «Письмо о слепых»! Но он дал. И Рошбрюн прячет в глубоком кармане своего помощника два обнаруженных им экземпляра. Дидро скорее всего этого и не заметил. Иначе он на допросе не стал бы утверждать, что не только не писал этого произведения и не знает, кто его написал, кто его напечатал, но и что не имел у себя ни одного экземпляра его ни до, ни после напечатания.

Зато Дидро очень обрадован тем, что комиссар не трогает статей «Энциклопедии»! Ну и счастливый же у философа характер! Как он быстро успокаивается и даже улыбается мосье Рошбрюну!

Радость, однако, оказывается преждевременной. Комиссар предлагает мосье Дидро одеться. Вот ордер на его арест.

Бедный философ продолжает держаться так, словно ничего неприятного не происходит.

— Не разрешите ли вы мне предупредить жену? — спрашивает он так, словно речь идет о непредвиденной прогулке.

Мадам Дидро одевает сына на антресолях. Она ничего не знает.

— Я ухожу, — говорит ей муж, ничем не выказывая своего беспокойства. — По делам «Энциклопедии». К обеду меня не жди. Если хочешь, мы можем вечером встретиться у Лебретона.

Хитрость его поначалу удается. Жена не догадывается, куда он на самом деле уезжает. Но окно открыто, и фиакр у их дома в столь ранний час заставляет ее насторожиться. К Лебретону или одному из своих авторов он отправился бы пешком.

Анна Туанета продолжает смотреть в окно. Она видит ученика Лебретона с папкой корректур. Дидро протягивает руку за папкой, но какой-то мужчи-

на — он вышел вместе с ее мужем на улицу — отстраняет его руку и выхватывает корректуры у мальчика. Они тоже арестованы.

Мадам Дидро падает без чувств на пол.

А карета увозит ее мужа далеко от дома на улице Вье Эстрапад. Карета проезжает улицы Фоссе-Сан-Марсель и Кортрекарп, сворачивая к воротам Сент-Антуан. Она не останавливается у Бастилии, но только потому, что Бастилия полна.

Маркиз Даржансон, старший брат военного министра, записал в своем дневнике: «В эти дни арестовали множество аббатов, ученых, светлых умов, таких, как Дидро, несколько университетских профессоров, докторов Сорбонны... и так далее, и тому подобное...»

Девять квадратных башен с зубцами наверху, высотой в пятьдесят метров каждая, придают Венсеннскому замку вид достаточно грозный.

Дидро не испугался бы и этого, но, войдя сюда, он лишится всего, что так любит, — прогулок, разговоров с друзьями!

Рошбрюн с рук на руки передает Дидро коменданту Венсенна мосье де Шатле.

Узника ведут в старинную башню Карла V. Дидро не может сосчитать, сколько маршей лестницы приходится ему пройти, прежде чем перед ним открывается дверь камеры, и поэтому не знает, на каком он этаже. Трудно решить, что было здесь раньше — комната или бельевой склад.

Один из младших энциклопедистов, Кондорсе, наверно со слов Дидро, рассказывал, что, опустившись на кушетку, бедный узник потерял сознание.

А бедная жена его, едва очнувшись от обморока, бежит к директору полиции.

— Вы сможете облегчить участь вашего мужа и даже принести ему свободу, если скажете нам, где его сочинения, к примеру «Белая птица», — говорит ей мосье Никола Рене Беррие. — В этой сказке содержатся намеки на короля, на мадам Помпадур, на министров, и она переходит из уст в уста.

Заливаясь слезами, Анна Туанета отвечает, что

она и в глаза не видела этих проклятых сочинений, никогда не вмешиваясь в научные занятия своего мужа, понятия не имеет ни о белой, ни о черной птице, но она совершенно уверена — его сочинения должны соответствовать его поведению. Он дорожит честью в тысячу раз больше, чем жизнью, и его труды должны отличаться добродетелями, какими обладает он сам.

Беррие знает об ее муже гораздо больше, чем бедная женщина. Мадам Пюизье могла бы ему рассказать об этих преступных сочинениях то, о чем и не подозревает мадам Дидро. Но он не говорит этого жене арестанта. Он обещает ей свидание с мужем и на этом ее отпускает.

Что мы знаем о пребывании Дидро в одиночке, где его продержали целых двадцать восемь дней? Не слишком много. К тому же мы должны отделить бесспорные факты от слухов и анекдотов.

Среди слухов — а их распространяли в изобилии — самый популярный был такой.

Дидро арестовали столь стремительно, что он не успел захватить с собой ни книг, ни чистой бумаги. А может быть, комиссар ему и не разрешил захватить. Но, так или иначе, в кармане камзола Дидро оказался «Потерянный рай» Мильтона. Любимый поэт стал единственным собеседником заключенного. Кроме того, в книге было несколько белых листов: на них можно писать. Но чем? Дидро соскабливает с оконной решетки немного свинца и растворяет его в стакане вина: вот у него и чернила. А перо — ведь тогда писали гусиными — можно превосходно заменить зубочисткой. Говорили, что на белых листках «Потерянного рая» Дидро написал «Проспект» к «Энциклопедии» и свою часть «Предварительного рассуждения» к ней. Нэжон — он рассказывает эту историю в своих мемуарах — утверждает, что белые страницы книги Дидро исписал переводом «Апологов» Сократа, а стены испещрил геометрическими чертежами. Сам Дидро вспоминает томик Платона.

Кроме того, ходили слухи, что над дверью камеры Дидро оставил для будущих ее обитателей рецепт

изготовления пера и чернил тем же способом, каким изготовил сам.

Если это все и неправда, то придумано очень правдоподобно, в полном соответствии с характером Дени: в любых условиях он работал и всегда думал о других.

Зато достоверна другая подробность жизни Дидро в тюрьме. На его содержание в Венсеннском замке отпускалось четыре ливра согласно инструкции о содержании узников.

Инструкция эта весьма любопытна тем, как последовательно в ней проведен сословный принцип.

На содержание принцев и кардиналов отпускалось пятьдесят ливров в неделю.

На содержание маршалов Франции, герцогов, пэров, епископов, президентов парламентов — тридцать шесть ливров.

Министров, наместников, духовных сановников — двадцать пять ливров.

Советники парламента и маршалы армии не стоили согласно инструкции больше пятнадцати ливров.

От десяти до пяти ливров отпускалось на содержание судей, рядовых священников и финансистов.

От пяти до трех — на буржуа и адвокатов.

И всего два ливра на лиц, не принадлежащих ни к одной из перечисленных категорий.

Дидро, как мы видим, приравняли к буржуа или адвокату. Это отнюдь не свидетельствовало о чрезмерном уважении к нему со стороны тюремщиков. Но в этом заключалась и глубокая аллегория. Тюремщики скорее всего ее не заметили. Дидро и в самом деле был адвокатом своего сословия и, не будучи ни торговцем, ни цеховым мастером и отличаясь редким равнодушием к деньгам, был буржуа в том смысле, что выражал интересы буржуазии.

Хорошо еще, что четырех ливров хватало и на бутылку вина. Иначе Дидро не смог бы изготовить чернила, и, обязательное в рационе каждого француза, вино хоть немножко скрашивало его жизнь.

По четвергам и воскресеньям меню украшалось фруктами и скромным десертом. Но зато в точном

соответствии с требованиями религии в постные дни узника кормили овощами и рыбой, селедкой или скатом.

Вероятно, Дидро не так уж жаловался на тюремный рацион. Вряд ли Анна Туанета могла кормить его много лучше. Гораздо больше он страдал от вынужденной неподвижности.

Через пять дней после своего водворения в башне Карла V Дидро добился разрешения выходить если не на круговую дорогу или в парк, то хотя бы в большой зал на том же этаже.

Беррие знал, что делал, когда содержал Дидро так строго. Недаром заслуги директора полиции были впоследствии оценены столь высоко, что его пожаловали званием хранителя королевской печати. И было за что.

Показав Дидро, как приятно сидеть в тюрьме, 31 июля Беррие вызвал его на допрос в зал Советов Венсеннского замка.

Протокол допроса сохранился, сейчас мы его прочтем и убедимся, что отнюдь не обида министра за свою любовницу послужила главной причиной заключения Дидро, хотя в те времена летр де каше, то есть тайные предписания на арест, нередко выдавались, если было лично затронуто то или иное высокопоставленное лицо.

Итак, читаем протокол допроса:

«Спрошенный об имени, возрасте, состоянии, месте рождения, месте жительства, занятии и религии, назвался — Дени Дидро, из Лангра, 36 лет, проживающим постоянно в Париже, в момент ареста на улице Вье Эстрапад, в приходе святого Стефана, религии католической, апостольской и римской. (О занятии и состоянии, очевидно, предпочел умолчать. — *А. А.*)

Спрошенный, не он ли написал «Письмо о слепых в назидание зрячим», отвечал:

— Не он.

Спрошенный, кто для него отпечатал названное произведение, отвечал:

— Никогда не давал означенного произведения в печать.

Спрошенный, не продавал ли или не отдавал ли кому-нибудь рукописи «Письма о слепых» прежде ее напечатания, отвечал:

— Нет.

Спрошенный, не знает ли в таком случае имени автора названного произведения, отвечал:

— Не знает.

Спрошенный, не имел ли у себя этой рукописи прежде ее напечатания, отвечал:

— Не имел ни до, ни после ее напечатания.

Спрошенный, не давал ли или не посылал ли различным лицам названного произведения, отвечал:

— Никому не давал и никому не посылал.

Спрошенный, не он ли написал произведение, появившееся около двух лет тому назад под названием «Заколдованные сокровища» (вместо «Нескромные сокровища». — *А. А.*), отвечал:

— Не он.

Спрошенный, не продавал ли или давал кому-нибудь это произведение для печати или иной цели, отвечал:

— Нет.

Спрошенный, не он ли автор произведения, появившегося несколько лет тому назад под названием «Философские мысли», отвечал:

— Не он.

Спрошенный, не знает ли он автора этого произведения, отвечал:

— Не знает.

Спрошенный, не он ли автор произведения под названием «Скептик или аллея аллей» (вместо «Прогулка скептика, или Аллеи». — *А. А.*), отвечал:

— Он.

Спрошенный, где рукопись этого произведения, отвечал:

— Ее не существует, так как он ее сжег.

Спрошенный, он ли автор произведения под названием «Белая птица, детская сказка», отвечал:

— Не он.

Спрошенный, не работал ли он по крайней мере над исправлением данного произведения, отвечал:

— Нет.

По прочтении этого протокола допрошенному последний заявил, что ответы, данные им, вполне согласны с истиной и что он подтверждает их своей подписью».

И действительно, под протоколом стоят две подписи: Беррие и Дидро.

Почему Дидро говорил заведомую неправду? Признание ухудшило бы его положение. И, главное, он боялся повредить издателям своих произведений. Их бы отправили на галеры.

Но несомненно и другое: он не стал бы так упорно почти все отрицать, если бы знал, какие поступали доносы к Беррие на него уже два года. Но зато они были прекрасно известны директору полиции.

Сыщик лейтенант Перрольт еще в начале июня 1747-го доносил на Дидро главному директору полиции в секретном письме: «Не щадя ни других, ни самого себя, он рассеивает на все четыре стороны свои фантазии, свои парадоксы, свои вздорные идеи, расточая свое время и свой труд, доверяя ушам первого встречного свои измышления, так же как он записывает их, без отбора и удержу. Все это дает пищу полиции... А в своих «Философских мыслях» он позволил себе такие намеки, что это сочинение было присуждено «парламентом к сожжению».

Не ограничившись этим доносом, Перрольт 20 июня 1747 года написал и второй:

«Мосье, я уже имел честь предупредить вас о некоем человеке по фамилии Дидро и его сочинении «Философские мысли», об аморальности его души...»

Затем следует аттестация Дидро:

«Это очень опасный человек, он презрительно отзывается о святых таинствах нашей церкви...» Перечисляются и другие прегрешения Дидро против бога, и, для того чтобы его нетрудно было найти, указывается адрес опасного человека — он жил тогда еще на улице Муфран у сьера Гийо. (Кстати сказать, в перечислении примет Дидро за словами: «рост

высокий и лицо чистое» следует: «весьма опасен. — *А. А.)*

К Перрольту, как мы уже знаем, присоединяется и священник прихода святого Мэрля, Гарди де Лавар. Двумя днями позже он пишет директору полиции:

«Это молодой человек, который провел свою юность в распутстве. Потом он привязался к довольно хорошей девушке, но женился на ней без разрешения отца. После свадьбы он снял квартиру в моем приходе у сьера Гийо. Жену его не зовут иначе, как ее девичьей фамилией. Фамилия Дидро не может служить не чем иным, как маской, под которой прячется он сам.

Он мастер богохульствовать против Иисуса Христа и девы Марии в таких выражениях, которые я не смею и привести».

Кюре доносил на Дидро и предшественнику мосье Беррие в парижской полиции, мосье Марвилю, и тот «соглашался, что нужно действовать поскорее, хотя и осторожно».

Если бы и не нашлось таких наблюдателей, как сыщик Перрольт и кюре Гарди де Лавар, — впрочем, слежка за вольнодумцем и богохульцем входила в профессиональные обязанности обоих, — полиции все равно был бы известен каждый шаг Дидро. Нет ничего удивительного в том, что она знала содержимое письменного стола достаточно уже известного литератора. Население Парижа не превышало тогда восьмисот тысяч, это был по теперешним представлениям всего-навсего средней руки провинциальный город.

Дидро же своим открытым характером, доверием, оказываемым им каждому встречному-поперечному — об этом говорит и Перрольт, — невольно упрощал задачу полиции.

Естественно, что вопреки его ожиданиям такое поведение на допросе не могло облегчить участи узника. Как вырваться из одиночки, вернуться к работе над «Энциклопедией», увидеть любовницу и друзей?

Дидро принимается за перо, благо он сделал его

из зубочистки. Он пишет Беррие, пишет военному министру, графу Даржансону. Мы уже знаем, что он кое в чем меняет свои показания. Вероятно, в облегчении условий его заключения сыграло роль и то, что губернатор Венсенна, де Шатле, был родственником божественной Эмилии, возлюбленной старшего друга Дидро — Вольтера. Но в документах, дошедших до нас, это не отражено. Зато мы можем прочесть письмо директора полиции губернатору замка, где он сообщает о распоряжении Даржансона перевести Дидро из тюремной башни в замок, разрешить ему прогулки по парку и свидания с близкими.

Нельзя забывать, что не дремали и издатели «Энциклопедии». До нас дошли два их ходатайства об освобождении Дидро. Вот выдержка из первого: «Этот труд, который должен нам стоить по меньшей мере двести пятьдесят тысяч ливров, — мы уже авансировали сто тысяч — на пороге катастрофы. Дидро — единственный литератор, которого мы признали способным вести такое дело, почему и назначили его главным руководителем всего предприятия. Мы надеемся, что ваше сиятельство войдет в наше положение и освободит его».

То ли издатели верили в версию прекрасных, но неосведомленных глаз мадам Дюпре де ла Мор, то ли делали вид, что верят, но, явно намекая на этот инцидент, они пишут:

«После тщательной проверки его бумаг не было найдено ничего, что могло бы отягчить проступок, которым он имел несчастье прогневить ваше сиятельство.

Но мы верим, если он и совершил ошибку, то больше ее не повторит», — довольно опрометчиво поручились за Дидро Лебретон и другие.

Не получив на эту петицию ответа от графа Даржансона, издатели двумя неделями позже написали Беррие.

Через двадцать восемь дней Дидро, правда, не освободили, но перевели в замок. Как выражается один из новейших биографов Дидро — Андрэ Бии, новое его жилище тоже не напоминало ни апарта-

ментов короля, ни апартаментов королевы-матери. Но что значило это для философа, которому вернули солнце, деревья, небо?! Взяв с него честное слово, что он не сбежит, Дидро предоставили относительную свободу: он мог гулять по парку и принимать посетителей.

Дидро не замедлил воспользоваться разрешением и отправился гулять по парку. Как он наслаждался прогулкой! Но кто эта дама с ребенком в конце аллеи? Это мадам Дидро и сын! А мужчина, что деликатно держится поодаль? Ба, это же Даламбер!

Жена бросается Дидро на шею, мальчик тянется к отцу, друг его обнимает. Он так боялся, что после месяца одиночки Дени выглядит еще хуже.

Как может Дидро не поблагодарить мосье де Шатле, наблюдающего трогательную сцену издали?

В свою очередь, не замедлили явиться с визитом и издатели. Им ли было не радоваться? Двести пятьдесят тысяч ливров воплотились для них в Дидро, который больше не сидел в одиночке, но прогуливался по парку. Конечно, он еще не освобожден, но, находясь в замке, сможет продолжать работу над «Энциклопедией». Так же думал и он сам. Только потом выяснится, что редактировать статьи вдали от авторов и не выходя за пределы Венсеннского малого парка трудно, почти невозможно.

А сейчас он тоже радуется. Но тут же спрашивает:

— А Руссо? Увижу ли я и его тоже?

И это его желание исполняется. Руссо в «Исповеди» описал их первое свидание в Венсеннском парке. Как не понять бурной радости, охватившей обоих при встрече? Как не простить Руссо столь понятных и совершенно искренних преувеличений, к тому же так ему свойственных?

«После трех или четырех веков ожидания я бросился в объятия моего друга. О невыразимо счастливое мгновение! Он был не один. С ним были Даламбер и казначей святой капеллы...»

Но Руссо не видел никого, кроме Дидро. С криком радости бросился он к своему другу, обнял его

и, задыхаясь от волнения и от восторга, слезами и рыданиями выразил то, что чувствовал.

После этого он бывал в замке два или три раза в неделю. Чаще всего один, и почти всегда пешком. От Парижа до Венсенна ведь всего три лье, расстояние такое же коротенькое, как от вольнодумных сочинений до тюрьмы.

И в замке Дидро продолжал готовить чужие уроки или по меньшей мере помогал их готовить. Помог он и Жан Жаку.

Чтобы не идти слишком быстро и не очень уставать, Руссо обычно брал с собой что-нибудь почитать по дороге в Венсенн. На этот раз он взял свежий номер «Меркюр де Франс», превосходно уместившийся в его кармане.

Сделав привал, он открыл газету, машинально перелистал ее. Взгляд его остановила объявленная Дижонской академией тема конкурса на приз морали.

«Влияние наук и искусств на нравы» — вот какая тема была предложена Клодом Гело на сессии 1 августа.

Голова у Руссо закружилась, сердце стало биться сильней, и он упал в забытьи у подножия дерева, где присел отдохнуть. Обморок его продолжался с полчаса. Очнулся он весь в слезах. Мир как будто осветился для него новым светом. Ему словно открылась тайна всех бедствий, принесенных человечеству цивилизацией. Он тут же набросал свой ответ на вопрос академии.

В таком состоянии Жан Жак пришел в Венсенн. Дидро сразу заметил, как Руссо возбужден, и спросил его, чем это вызвано. Руссо прочел ему то, что написал. Дидро горячо поддержал его намерение предоставить свои соображения на конкурс Дижонской академии.

Так рассказывает в «Исповеди» историю возникновения главной своей идеи сам Руссо.

Версия Дидро, засвидетельствованная Мармонтелем и Морелле, иная. В ней его роль куда больше.

Прогуливаясь с ним в Венсеннском парке, Руссо рассказал своему другу о вопросе, предложенном Дижонской академией, и о принятом им решении участвовать в конкурсе. Очевидно, это было в тот день, когда Руссо прочел объявление в «Меркюр де Франс».

— И чью же сторону вы примете? — спросил Дени.

— Сторону тех, кто отвечает на этот вопрос утвердительно.

— Но это дорога для ослов. Пусть по ней идут посредственности. Ответив так, вы только повторите общее место. Если же вы займете противоположную позицию, это выведет нашу философию на новую, богатую, плодотворную ниву.

— Вы правы, — согласился Руссо, — я посчитаюсь с вашим мнением.

* * *

И все-таки это не было еще свободой. Пусть Дидро и гулял, и работал, и виделся с друзьями, и готовил чужие уроки... Пусть его навещала и мадам Пюизье...

Однажды ночью тюремщики хватились своего узника. Дидро не было ни в его комнате, ни в парке. Они обшарили все аллеи, все закоулки. Как он мог исчезнуть? Большой парк, Венсеннский лес, где парижане гуляют и сейчас, не был огорожен. Но маленький парк, где ему дозволялось гулять, был опоясан высокой стеной.

Ночь прошла в тревоге. Только утром Дидро вернулся сам и покаялся мосье де Шатле в совершенном им проступке. Он перелез через ограду и пешком сходил в соседнюю деревню Шампиньи. Что побудило его так поступить? Ревность. Оказывается, он и прежде подозревал свою любовницу в слабости к одному судейскому крючку. Такой соперник был ему особенно неприятен.

В тот вечер мадам Пюизье приехала его навестить в туалете куда более изысканном, чем обычно.

— Почему вы так нарядились? — спросил встревоженный любовник. — Куда вы собираетесь отсюда?

— В Шампиньи, там сегодня праздник.

— Ваш друг там будет?

— Нет.

— Вы говорите правду?

— Я вас заверяю.

И все-таки он ей не поверил. Как только наступила ночь, Дидро перелез через стенку парка и отправился на розыски своей любовницы. Опасения и подозрения его оправдались. Мадам Пюизье лежала на траве в объятиях судейского крючка.

Комендант Венсенна простил Дидро его самовольную отлучку, но зато Дидро не простил мадам Пюизье ее измены. Он вырвал эту страсть из своего сердца. Анна Туанета могла быть довольна.

Но в остальном Дидро вышел из тюрьмы таким же, каким вошел туда. И его отношение к суевериям, хотя и подверглось серьезному испытанию, осталось таким же. Много позже он писал своей подруге, Софи Волан, не щадя и самого себя для истины: «Не замечали вы, кстати, что некоторые жизненные обстоятельства делают нас до некоторой степени суеверными? Не понимая иногда причины тех или иных явлений, мы выдвигаем нарочно самые странные объяснения для того, чтобы получилось желанное действие, и проделываем опыты, за которые стоило бы засадить нас в дом умалишенных.

Девушка срывает в поле чертополох и дует на него, чтобы узнать, любима ли она. Другая вопрошает карты о том, что сулит ей судьба. Я видел и таких, которые отрывали лепестки у всех цветов, попадавшихся им на дороге, и приговаривали: «любит, не любит», пока не доходили до последнего пророческого лепестка. (До чего, оказывается, древний этот обычай, доживший и до наших дней! — *А. А.)* В счастье девушки смеются над пророчеством, если оно неблагоприятно, в горе придают ему веру. «Лепесток сказал правду», — говорят они тогда.

Я сам однажды гадал по-платоновски. Просидев

месяцы в Венсеннской тюрьме, я стал применять способы гадания древних. (И этот способ гадания поныне применяется! — *А. А.*) В кармане у меня был томик Платона; я открыл его наугад, чтобы по первой бросившейся мне в глаза фразе узнать, как продолжительно будет мое заключение. Открыв книжку, я прочел на верху страницы: «Делу сему скоро предстоит окончание». Я улыбнулся, а четверть часа спустя услышал звон ключа, открывавшего дверь моей темницы: то был начальник полиции Беррие, известивший меня, что завтра я буду освобожден».

Очевидно, он рассказывает здесь о переводе из башни в замок.

Между тем прошел сентябрь, кончался и октябрь, а Дидро все еще держали в замке. Только 21 октября издатели, наконец, узнали, что Даржансон подписал приказ об освобождении редактора их «Энциклопедии».

Выпустили его 3 ноября. Вряд ли он был обязан своим освобождением только хлопотам Лебретона и его компаньонов. Но, во всяком случае, их петиции ему не повредили. Не вышел в свет еще и первый том «Энциклопедии». Она не успела еще ни прославить своего редактора, ни укрепить его репутацию опасного человека. Своим освобождением Дидро был обязан главным образом перемене в общественной атмосфере. Миновал правительственный кризис.

Наступила уже поздняя осень. Листья на деревьях опали, усыпав своим золотом аллеи парка, дорогу, улицы Парижа. Но в сердце Дидро была не осень, а весна, когда он в таком же фиакре проделал тот же круг по Парижу и увидел, наконец, свой стол и на нем стопу чистой бумаги. Он вернулся домой, на улицу Вье Эстрапад, вернулся к «Энциклопедии», к «Прокопу» и к кафе «Регентство».

Но своей тюрьмы он не забудет никогда, и черная тень Венсеннского замка не раз еще упадет на него.

По возвращении Дидро постигло еще и тяжелое горе: умер сын.

IX

Мы из литературной республики

Аббат Куртенэ обозначается буквой «С», Гуссэр — «Д», де Кастийон-сын — «F. D. С.», де Кастийон-отец — «D. С.», Руссо — «S», Даламбер — «О»... Буквы стоят в начале и конце статей, за ними скрываются их авторы... Расшифровка буквенных обозначений — это и есть список авторов первого тома, он помещен в начале книги. Дидро в списке нет. Правда, его фамилия стоит на титуле — «Энциклопедия. Толковый словарь наук, искусств и ремесел. Составители и редакторы — Дидро и в части математической — Даламбер».

Авторов этой *Книги всех книг* очень много, и очень разных. Одни, как Монтескье, написавшие для «Энциклопедии» статью «Вкус», донесли свою славу до наших дней. Другие, как тот же аббат Куртенэ, забыты. Руссо писал о музыке, но и о политической экономии, Мармонтель — о литературе, он же и редактировал этот отдел. Постоянными сотрудниками «Энциклопедии» были знаменитый натуралист Бюффон и не менее знаменитый экономист Тюрго. Гольбах, прозванный «личным врагом бога», и Гельвеций утверждали материализм. Даламбер был скептиком. Вольтер — деистом.

Самый старший сотрудник «Энциклопедии» Лапгле де Франсуа родился в 1674-м, он годился бы Дидро в деды. Самый младший, Кондорсе, — в 1743-м, он мог бы быть сыном Дидро. Этот маркиз участвовал в революции 1789-го—1793-го, стал жертвой террора. Аббат Андре Морелле, самый долговечный, он умер в 1819-м, пережил и Священный союз и Ватерлоо, сменив прогрессивные убеждения на реакционные.

Но самое главное — в начале столетия револю-

цию умов начали великие одиночки — Вольтер, Монтескье. Теперь же одиночек сменило *общество,* в него вошли и те, кто прежде был одиночкой. Недаром на титуле «Энциклопедии» значилось, что «Словарь» выпускает общество литераторов. Это и было выполнением плана, который Дидро развивал Дагессо. Одиночкой оставался разве только Ламетри.

«Энциклопедия» завоевывала все большую и большую популярность, и приток людей, желавших стать ее авторами, возрастал. В предисловии к шестому тому редакторы писали об этих добровольцах: «Чем более мы продвигаемся вперед, тем более замечаем приращение как в содержании, так в числе тех, кто любезно предлагает нам услуги».

Каждый, у кого возникала какая-нибудь идея, излагал ее в статье и присылал редакторам.

Значение «Энциклопедии» было быстро понято. После выхода двух первых томов Вольтер заявил, что «это предприятие будет славой для Франции и позором для ее хулителей. Дидро и Даламбер воздвигают бессмертное здание, и он будет доставлять им время от времени мелкие камешки. Среди этих «камешков» была его знаменитая статья «Ум». Позже он сказал, что «Дидро и Даламбер готовят себе крылья, чтобы перелететь в потомство, они — Атлас и Геркулес, несущие мир на своих плечах. Их «Энциклопедия» — величайшее произведение мира, великолепная пирамида. Их типография — бюро для поучения человеческого рода».

Но тот же Вольтер высмеивал жеманство и легкомыслие некоторых статей «Энциклопедии». Писал Даламберу, что у него и Дидро есть и плохие помощники: «Это дурные солдаты в армии великого генерала».

Редакторы *Книги всех книг* были вынуждены прибегать к помощи тех, кого их старший друг называл дурными солдатами, и защищаясь от цензуры, и для того, чтобы создать единый фронт. Речь об этом еще впереди. Но и эти авторы если не стреляли сами, то подавали снаряды для гигантской осадной машины, как называли «Энциклопедию».

Однако, если продолжить эту военную метафору, у главнокомандующего Дидро был не только деливший с ним командование Даламбер, но и маршалы, генералы, старшие офицеры. За ними-то история и сохранила название «энциклопедисты». Они говорили о себе: «Мы из энциклопедической республики», или: «Мы из литературной республики».

В наше время «мы» вместо «я» в статьях стало уже дурным штампом. Все чаще и чаще «мы» заменяют честным авторским «я».

Но впервые «мы» появилось в статьях «Энциклопедии», и тогда оно имело глубокий смысл, подчеркивая единство тех, кто осаждал старый порядок, приводя в движение умы человечества.

Это было высокое духовное братство. На первой линии его стояли «старшие братья» — Дидро, Даламбер, Гольбах, Гельвеций и Гримм. За ними шли младшие — литератор, одним из первых откликнувшийся на призыв Дидро принять участие в «Энциклопедии», Жан-Франсуа Мармонтель, другой литератор, близкий энциклопедистам Антуан Тома, Морелле, Кондорсе и другие.

Однажды Гримм в шуточной проповеди назвал и «сестер» — мадам Неккер и мадемуазель Леспинас и «мать» — мадам Жофрен, хозяек парижских салонов, где собирались энциклопедисты.

«Республику», «братство» объединяла общая программа действий буржуазии, стоявшей во главе третьего сословия. Эта программа опиралась на все, чего достигло к той поре человечество — в науках, искусстве, технике.

Территорией республики была не одна «Энциклопедия». В ней Дидро использовал все возможности легальной пропаганды, оберегая свою осадную машину от полного крушения, стараясь сохранить авторов-попутчиков, «подносчиков снарядов». И то последние десять томов текста и одиннадцать томов иллюстраций и таблиц ему пришлось готовить подпольно.

Полностью же энциклопедисты высказывали свои взгляды в собственных произведениях. Это и печатные, а еще больше — распространявшиеся в списках

и изданные посмертно сочинения самого Дидро, и атеистические памфлеты, и «Система природы» Гольбаха, и трактаты Гельвеция...

А как им приходилось изворачиваться, публикуя свои сочинения! Да еще и не всегда удавалось их опубликовать. Гельвеций пострадал уже за свою первую книгу — «Об уме», вторая — «О человеке» вышла после смерти автора, и то не на родине, а в Голландии. Гольбах издавался тоже в Голландии — у Марка Мишеля Рея. Да еще, чтобы замести следы, на титульном листе вместо «Гааги» ставили «Лондон», а вместо «Гольбах» — фамилии истинного автора — фамилию автора подставного. Так «Система природы», оказывается, была написана покойным к тому времени секретарем Академии наук Мирабо.

Величайшим мастером, как никто умевшим подпольно, бесцензурно издавать книги, которые иначе никогда бы не напечатали, был Нэжон, помощник Гольбаха, а затем друг и душеприказчик Дидро.

Недаром ученик Дидро и последователь Руссо Луи Себастьян Мерсье — драматург, романист, автор социальных трактатов — в своих знаменитых «Картинах Парижа» так отозвался о королевских цензорах: «Это самые полезные для заграничных типографов люди. Они обогащают Голландию, Швейцарию, Нидерланды и прочие страны. Они так трусливы, так мелочны, так робки, что решаются давать свое одобрение только самым незначительным произведениям. И кто сможет их за это осудить, раз они несут личную ответственность за все, что ими одобрено?»

Что может быть точнее и убийственнее этой иронии?

Энциклопедисты вправе были говорить о себе «мы», потому что их философия создавалась если не в прямом соавторстве, как это было с «Системой природы», то, во всяком случае, в ходе товарищеских бесед. Дидро был и застрельщиком и главным оратором в этих разговорах, пожалуй не менее важных для подготовки революции, чем сочинения энциклопедистов. Он направлял и как бы кристаллизовал мысли своих друзей.

Дидро не был одинок в борьбе со старым порядком, являясь как бы президентом, главой литературной республики. Его кружок, или так называемое общество барона Гольбаха, представлял собой один из самых разительных примеров близкого и длительного содружества мыслителей-литераторов.

X. Начало

Внимание к «Энциклопедии» было привлечено уже «Предварительным рассуждением». Широкий взгляд на происхождение и развитие всех наук вызвал сочувствие даже противного лагеря, по крайней мере видимость сочувствия. Хорошо было и что две первые его части принадлежали Даламберу: он был под меньшим подозрением у правительства, чем Дидро.

Обстановка, в которой должен был появиться первый том, складывалась чуть ли не идиллическая. «Извлечение из Проспекта», хотя его и написал Дидро, напечатали во втором томе журнала иезуитов «Журналь де Треву». Пусть это и было сделано в пику журналу янсенистов, но к «Извлечению» редактор аббат Бертье присовокупил похвальный отзыв о первом томе, еще не вышедшем в свет.

Дидро в своем первом, опубликованном в первом же томе «Энциклопедии» в качестве предисловия к его статье «Искусство» («Art»), письме к Д. О. Бертье, иезуиту, благодарит аббата за похвалы безвестным авторам.

Было ли это тактическим приемом со стороны редактора «Энциклопедии»? Разумеется. Так же, как тактическим приемом были и похвалы иезуита. «Проспект» высоко оценили в ученом мире, о чем он сам пишет.

Перед выпуском первого тома были обнародованы условия для подписчиков. Предполагалось выпустить восемь томов текста ин-фолио, то есть крупного формата, по двести сорок страниц и два тома объяснительных таблиц и иллюстраций. Подписаться нужно не позже чем 1 мая 1751 года. При подписке надо внести шестьдесят ливров, в июне 1751 года при выходе первого тома (он вышел в октябре) — тридцать шесть ливров, в декабре следующего года — двадцать четыре ливра за второй том и по двадцать четыре ливра за каждый следующий том, кончая седьмым. Затем полагалось внести сорок ливров за восьмой том и за шестьсот таблиц и гравюр в девятом и десятом томах, всего двести восемьдесят ливров. Подписчикам тома будут доставляться по мере выхода.

«Условия» эти претерпели в ходе издания «Энциклопедии» большие изменения.

Сенсация, произведенная выходом первого тома «Энциклопедии», сопровождалась и вызывалась не только положительной, но и отрицательной критикой. Заигрывание одних противников дополнялось насмешками и эпиграммами других. Аббат Рейналь в своей «Корреспонденции» уже по первому тому назвал «Энциклопедию» одним из самых последовательных, наиболее философских, наиболее светлых, точных, сжатых и отлично написанных произведений из всего, что имелось на французском языке». Но и он поддался влиянию тех статей, где «Энциклопедию» обзывали *«счастьем для невежд»,* характеризовали «главного издателя» Дидро как «хорошего писателя, но плохого верующего». Подвергалась в этих статьях сомнению и преданность Дидро престолу. В следующем номере «Корреспонденции» тот же Рейналь отзывается об «Энциклопедии» уже так: «Произведение похвально по философскому духу, но достойно порицания за те бесполезности, которые там встречаются».

А Рейналь и тогда и потом был близок Дидро.

Но вместе с преследованиями и травлей «Энциклопедии» ее ожидал блистательный, неслыханный успех.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ





I

Книга всех книг

Вот один из тех колосков, которые остаются после жатвы на поле истории, — анекдот, рассказанный не кем иным, как Вольтером — автором этого меткого определения.

Вольтер пишет в своих воспоминаниях:

«Один из лакеев Людовика XV рассказал мне, что однажды, в то время, как король ужинал в Трианоне в немногочисленном обществе, разговор зашел сперва об охоте, а потом о порохе. Кто-то из присутствующих сказал, что лучший порох делается из равного количества селитры, серы и древесного угля. Герцог де Вальер, лучше других знакомый с этим предметом, стал утверждать, что в состав хорошего пороха входит только одна часть серы и одна часть древесного угля на пять частей селитры.

— Странно, — сказал герцог Ниверну а, — что мы каждый день забавляемся в Версале убийством куропаток, а иногда занимаемся тем, что убиваем людей или даем себя убивать, а не знаем, из чего составляется порох.

Мадам де Помпадур тут же негодующе заметила, что в таком положении оказываются все, о чем бы ни зашла речь. Она, например, не знает, из чего составляются румяна, которые она наклады-

вает на свои щеки, и как делаются ее шелковые чулки.

— Поэтому очень жаль, — сказал де Вальер, — что ваше величество приказало отобрать у нас «Энциклопедию»... Там мы сейчас бы нашли ответы на все, что нам нужно.

На это король ответил, что, как он слышал, двадцать один том «Энциклопедии», которые можно найти на бюро каждой знатной дамы, самая опасная вещь для королевства и он сам хотел бы проверить, так ли это.

За томами были посланы три лакея. Перелистав их, гости короля узнали из статьи о порохе, что прав в споре был де Вальер. А маркиза де Помпадур из соответствующей статьи узнала, какая разница между старыми испанскими румянами и румянами парижских дам, греческие и римские прелестницы пользовались пурпуром, узнала также, из чего и как ткутся ее чулки, и пришла в восторг от описания ткацкого станка.

Все бросились на эти тома с такой же жадностью, как дочери Ликомеда на украшения Улисса, и всякий тотчас находил то, что ему было нужно. Те, которые занимались законоведением, к удивлению своему, нашли там разрешение всех мучивших их вопросов. Король прочел то, что касалось его короны, и выразил удивление, почему же ему так дурно отзывались об этой книге. Тогда герцог Ниверну а заметил, что это-то и служит доказательством, что книга очень хороша. Люди не бранят того, что заурядно или дурно. Если женщины поднимают на смех вновь прибывшую даму, можно быть уверенными, что она красивее всех остальных.

Граф С. пошел в восхвалении «Энциклопедии» еще дальше. Он громко сказал:

— Как вы счастливы, ваше величество, что в ваше царствование нашлись люди, способные изучить все отрасли знания и передать их потомству. Здесь можно найти все, начиная со способа делать булавки и кончая искусством лить и наводить пушки, от бесконечно малого до бесконечно великого.

Граф вознес хваление богу за то, что он сотворил в их королевстве людей, способных совершить дело, полезное для всего мира. Другие нации вынуждены или покупать «Энциклопедию», или похищать ее. Сам же он согласен, чтобы король, если его величеству угодно, отобрал у него все имущество, но вернул его экземпляр «Энциклопедии».

На это король возразил — его уверяют, что, хотя это произведение полезно и достойно уважения, в нем много недостатков.

Граф С. и тут не потерялся, заметив, что «за сегодняшним королевским ужином подавали два неудачных рагу. Сотрапезники оставили их нетронутыми, но тем не менее они прекрасно поужинали. Неужели из-за этих двух рагу король приказал бы выбросить за окно весь ужин?»

Многое в этом рассказе неточно, на то он и анекдот. Мадам де Помпадур не было уже в живых, когда вышли в свет тома «Энциклопедии» со статьями о порохе и румянах. О румянах и чулках, очевидно, говорила другая фаворитка короля, или маркиза упоминала другие статьи. Неточно и число томов «Энциклопедии». Но весь рассказ, очевидно, не вымышлен и очень красочно передает не только отношение к «Энциклопедии» высшего света, но и то, каким источником сведений была она для всего общества Франции.

Оценили ли высокопоставленные подписчики и поклонники «Энциклопедии» то, что редакторы ее не ограничились простым изложением разнообразных сведений, размещенных в алфавитном порядке, как это было у Чамберса да и в других предыдущих и последующих энциклопедических словарях? Вряд ли. Между тем Дидро и Даламбер, следуя принципу Бюффона — природа едина, а следовательно, и наука тоже должна быть единой, стремились сделать все отдельные науки частями единой науки, тем самым заставив читателя осознать связи между членами общества и предметами, составляющими природу. Они шли, как мы знаем, и от классификации наук канцлера Бэкона. Это отражено и в фронтисписе к «Энциклопедии».

Заключительная часть «Проспекта» к «Энциклопедии», почти целиком написанного Дидро, называется «Подробное изложение системы человеческих знаний». Вот ее начало: «Физические вещи воздействуют на чувства. Впечатления от этих вещей вызывают их перцепции в сознании. Сознание оперирует этими перцепциями тремя способами, соответственно своим трем главным способностям: памяти, разуму и воображению».

Отсюда следует общее разделение человеческих знаний на *историю,* основанную на *памяти, философию,* исходящую из *разума,* и на *поэзию,* порождаемую *воображением.*

История, что для нас столь же странно, сколь понятно для того времени, подразделяется на *священную* — факты, исходящие от бога, *гражданскую* — факты, исходящие от человека, и *естественную* — факты, исходящие от природы.

Философия, или та часть человеческих знаний, которые следует отнести к разуму, иначе ее именуют наукой, в свою очередь, разбивается на: I. Науку о боге. II. Науку о человеке. III. Науку о природе. В первую часть входит собственно *философия,* точнее — наука о познании. Во вторую — *логика* и *мораль,* два ракурса искусства сообщать мысли: наука об орудиях речи — *грамматика* и наука о качествах речи — *риторика.* К ним примыкают *критика, педагогика, филология. Стихосложение* как механика поэзии тоже относится сюда, так как его надлежит причислить к искусству украшения речи.

В науку о человеке входят еще и *естественное право* и *юриспруденция общества, политика общества.* (Мы говорим просто: «юриспруденция», «политика», но тогда выражались так.)

Что же касается науки о природе, она делится на *физику* и *математику.* Сюда вынесены обобщения, которым нет места в естественной истории, занимающейся только явлениями и состояниями природы без объяснения и гипотез.

Любопытно, что ко второму разделу философии отнесены *медицина* и *гигиена.*

Что же касается *поэзии,* порождаемой, как сказано, воображением, в «Проспекте» сказано, что она относится и к одному из разделов истории, потому что ее предмет — подражание историческим фактам. Затем различие сюжетов разбивает поэзию на *светскую* и *духовную.*

И еще одно деление: «Поэт либо рассказывает о минувших событиях — это поэзия *повествовательная,* либо переносит их в настоящее — это поэзия *драматическая,* либо воплощает предметы отвлеченные и интеллектуальные — это поэзия *параболическая».*

Дидро относит к поэзии все, что тогда именовалось свободными искусствами, — *архитектуру, музыку, живопись, скульптуру, гравирование* и т. п., утверждая: «Поэт, музыкант, живописец, скульптор, гравер и пр. подражают природе или подделывают ее, но один пользуется для этого речью, другой — красками, третий — мрамором или медью, последний — инструментом или голосом».

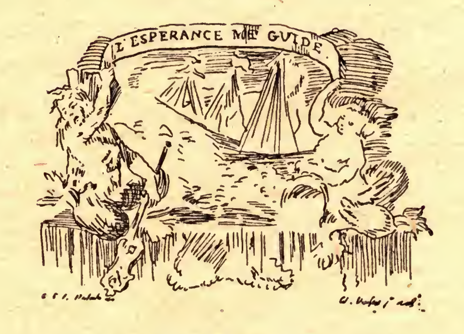
Очень любопытно замечание, сделанное Дидро в «Проспекте»: «У поэзии, как и у природы, есть свои уродства. Нужно отнести к их числу все произведения распущенного воображения».

Не менее важно и соображение, что *архитектуру* — гражданскую, военную, морскую, — относя к поэзии, в то же время можно было отнести и к отделу математики, которая трактует об их принципах, то есть расчетах, и к естественной истории, которая содержит в себе способы использования природы, так же как и *пиротехнику* можно отнести к химии или соединить архитектуру с живописью, скульптурой и т. п.

Конечно же, эта система классификации весьма несовершенна, но, отвергая ее, мы можем легко уподобиться пионеру, считающему себя умнее Канта, между тем как его преимущество перед великим философом объясняется всего лишь тем, что он родился двумя с лишним столетиями позже. Для того же времени самая мысль — «создать генеалогическое древо всех наук и искусств, которое указывает происхождение каждой ветви наших знаний и связи их

LETTRES
ECRITES DE LONDRES
SUR LES
ANGLOIS,
ET
AUTRES SUJETS.

Par M. DE VOLTAIRE.



Suivant la Copie imprimée à Londres.

Se vend A AMSTERDAM,

Chez ETIENNE LEDET, ET COMPAGNIE.

MDCCXXXV.

Титульный лист книги Вольтера «Письма из Англии».

между собой и общим стволом, из чего будет ясно, что есть в природе и чего нет в ней», — была глубоко прогрессивной. И это генеалогическое древо было не только начерчено в первом томе «Энциклопедии», но и произросло во всех семнадцати томах ее статей и одиннадцати томах иллюстраций и таблиц к ним.

«Энциклопедия» действительно стала *Книгой всех книг,* сводом всех знаний, накопленных человечеством, последним словом философии и всех наук.

В области точных наук, как они были представлены в «Словаре», переход от Декарта к Ньютону обозначал окончательную замену гипотез выводами из наблюдений, торжество младенца-гиганта — опыта. И такую же роль играли утверждаемые в статьях «Энциклопедии» идеи Бэкона, заменившего сверхъестественные толкования толкованиями, основанными на опыте.

Статьи «Энциклопедии» развивали и психологию Локка. Она не была еще материалистической, но уже опиралась на изучение естественных явлений, которым люди дают объяснение. Энциклопедисты пошли куда дальше.

Очень большое место в «Словаре» занимали статьи по экономике. И не меньшее — о политике, способах правления. Для того чтобы возбудить общественное мнение против злоупотреблений тиранической системы в метрополии, и особенно в колониях, надо было дать точное представление об этих злоупотреблениях, и «Энциклопедия» его давала.

Важным отделом был отдел *юриспруденции,* опиравшийся на самые по тому времени прогрессивные правовые установления и с этих позиций горячо нападавший на жестокости устаревшего уголовного законодательства Франции.

Огромное значение придавалось в «Энциклопедии» *естественным наукам,* она пропагандировала все новейшие европейские открытия и тех наук, которые в самой Франции были развиты еще слабо: химии, минералогии, геологии.

А теология! Сколько ученых аббатов-вольнодум-

цев, но и знатоков религиозных догматов и нравов участвовало в этом отделе!

А география, история, история литературы и искусств! Эстетика! Этика! Статьи самого Дидро, статья Монтескье о вкусе, Руссо — о музыке, Мармонтеля — о литературе и так далее и тому подобное.

II

Франция... XVIII столетие... Старый порядок

Жизнь еще больше, чем книги, служила источником статей «Энциклопедии». Для того чтобы заменить новым старый порядок, недостаточно было просто его осудить. Его надо было изучить во всех подробностях, показать их читателям, чтобы они могли судить, может ли такое положение вещей продолжаться дальше.

И ни в каких книгах нельзя было вычитать того, что составляло полностью содержание одних статей «Энциклопедии», вкрапливалось в другие. Того, из чего складывалась широкая картина жизни королевства Людовика XV с Версалем, Фонтенбло, Трианоном и «версалями» вельмож, богатейшими монастырями вперемежку с жалкими лачугами крестьян; необъятными светскими и духовными поместьями и крохотными мужичьими наделами, урожая с которых едва хватало, чтобы уплатить талью королю, десятину церкви, чинчи, шампары и другие бесчисленные повинности барину; с изысканнейшей поэзией, живописью, скульптурой, архитектурой, театром для верхов и почти поголовной неграмотностью низов; с головокружительными доходами откупщиков и владельцев мануфактур и скудными заработками подмастерьев.

Дидро знал о жизни королевства много. Он был сыном ремесленника, но и зажиточного человека,

близко знавал арендаторов и подмастерьев отца, был учеником иезуитского коллежа и племянником двух каноников, живал в мансардах жалких трактиров, давал уроки в богатых домах, был завсегдатаем парижских кафе, встречаясь там с учеными, артистами. И у него были осведомленнейшие помощники, знатоки экономики и финансов, административных ухищрений старого порядка, системы образования, искусств, литературы.

Мы еще познакомимся с Дидро как с автором «Энциклопедии», но пока нет нужды разграничивать написанное им и написанное другими. Мы уже знаем, что без его участия, гласного и негласного, в набор не сдавалась ни одна строчка семнадцати томов статей, ни одна гравюра одиннадцати томов объяснительных рисунков и таблиц.

Статьи о земледелии: большая статья самого Дидро под этим названием, его же статья «Поденщик», статья главы физиократов Кенэ — «Фермеры» и другие очень точно рисовали состояние сельского хозяйства Франции. Несмотря на идиллический местами тон этих статей, они принесли стране огромную пользу, познакомив ее с фактами: из пятидесяти миллионов десятин пахотной земли королевства более четверти никогда не обрабатывалось или было заброшено. Эту четверть по нашей терминологии можно назвать целинными или залежными землями, но никаких надежд не было на то, что старый порядок их засеет. Назывались и причины упадка — стеснение хлебной торговли, налоги, переселение деревенских жителей, гонимых нуждой, в большие города. В противовес приводился пример благодетельного влияния на английское земледелие свободы английской внешней торговли.

Конечно, крестьяне знали, что земли их зарастают сорняками: они умирают от этого с голоду. Горожане видели толпы нищих мужиков, наводняющих города. Но только «Энциклопедия» объяснила причины чудовищного неблагополучия в сельском хозяйстве, а объяснив, тем самым и обвинила тех, кто вызвал это неблагополучие.

«Энциклопедия» знакомила своих подписчиков с налогами, ложившимися тяжким бременем на неимущих. Уже одно описание беззаконных и бессмысленных способов взимания самого тяжкого из косвенных налогов, налога на соль, красноречиво рисовало положение низших слоев. Автор статьи *о налогах* физиократ Тюрго объяснял, что само обилие и разнообразие налогов и податей — их было несколько десятков — вызывалось хроническим дефицитом бюджета королевства. Налоги и подати должны были этот дефицит покрывать. Должны были, но не покрывали.

Другая статья «Энциклопедии» — «Барщина» («Corvée») рассказывала о разорявшей крестьян барщине на дорогах. Автором этой статьи был инженер дорог и мостов в Турском округе. Редактором — Дидро.

После налогов и дорожной барщины самое сильное недовольство возбуждала в третьем сословии система вербовки в милицию. Забирали даже единственного сына земледельца. Об этом рассказывалось в статье «Милиция».

Положение торговли точно и красноречиво характеризовалось в статье Тюрго «Ярмарка». Он обрушивается на «злополучный принцип», который при всех правительствах так вреден торговле. «Я имею в виду, — пишет он, — манию всем руководить, все регулировать, никогда не полагаться на людей в том, что касается их собственного интереса». Как характерно для буржуазного экономиста противопоставление Франции как идеала Голландии, где нет ярмарок, но зато есть «беспрерывная ярмарка, потому-то в стране и процветает свободная торговля».

И как нужна была эта статья французским купцам! Как защищала она их интересы!

Читатель не купец узнавал все о *гильдиях,* и если он сам не был заинтересован в сохранении гильдий, не мог не согласиться с автором статьи о них, что они приносят своими разграничениями вред торговле.

Среди других язв общества «Энциклопедия» обнажала и язву проституции. В статье, написанной са-

мим Дидро, речь шла не только о продажных женщинах, но и о критиках, проституирующих свое перо из-за денег, из-за милостей вышестоящих, поступая так, как не должен поступать честный человек.

Таким образом, «Энциклопедия» служила *объединению общества:* горожане узнавали из ее статей о земледелии и положении в сельском хозяйстве, сельские жители — о мануфактурах, торговцы — о покупателях, покупатели — о торговых гильдиях, учителя — о врачах, врачи — о системе народного образования...

III ...и ремесел...

Впервые в титуле «Энциклопедического Словаря» к наукам и искусствам добавлены ремесла. Слово было емким: оно вмещало не только собственно ремесла, но и фабричную промышленность и, более того, производство всех материальных благ. Ремесла назывались еще и иначе: механическими искусствами.

Добавление надо было отстаивать. Многие читатели из высших слоев общества к появлению ремесел в «Энциклопедии» относились как к вторжению мужика в светскую гостиную. Поэтому Даламбер в предисловии ко второму тому вынужден был разъяснить, что подробности, касающиеся государственного хозяйства, ремесел и торговли, имеют не меньше права на внимание подписчиков, чем схоластическая философия, какая-нибудь не вышедшая из употребления риторическая фигура или тайны геральдики. В остром полемическом тоне он высмеял ученых педантов, которые не согласятся с ним, считая интересными и полезными диссертации о поварском искусстве, прическах древних, имени, данном при крещении малоизвестному писателю X столетия...

Дидро еще в первом томе «Энциклопедии» в статье «Искусство» («Art») отстаивал искусства, связанные с техникой, — граверов, скульпторов. А в статье «Ремесленник» — от того же корня — по-французски «Артизан» («Artisen») писал, что те французы, которые привозили из Англии машины для производства чулок, генуэзского бархата, венецианского стекла, не менее почтенны в глазах философа, чем те, которые пишут или гравируют битвы Александра. Он восклицает в той же статье: «Сравните, с одной стороны, реальную выгоду от наук, наиболее уважаемых, и искусств, наиболее почитаемых, с пользой от механических искусств, и вы найдете, что умеренный успех первых уступает пользе, которую приносят лица, занятые вторыми!..»

Он иронизировал, подчеркивая этим свою правоту: «Какая странность в наших рассуждениях! Мы отдаем предпочтение тем, кто занимается полезным делом, и мы выказываем неприязнь тем, кто занимается бесполезностями».

Мы видели Дидро в книжных лавках и библиотеках, за письменным столом, наблюдающим жизнь Парижа на Новом Мосту, в спорах за столиком кафе, не прекращающим своих занятий и в Венсеннском замке. Последуем же теперь за ним в ткацкую мастерскую мануфактуры, к печи стеклодува, к кругу гончара.

Для чего он это делает?

Откроем «Проспект» к «Энциклопедии» и найдем там объяснение.

Изложив все, что он хотел сообщить читателям о подготовке отделов наук и искусств, Дидро пишет: «Отдел механических искусств потребовал не меньшего внимания и не меньших забот.

Быть может, никогда и нигде не встречалось такого количества трудностей и так мало средств для преодоления их. Очень много писалось о науках, недостаточно хорошо писалось о большинстве свободных искусств и почти ничего не писалось о механических искусствах, ибо чего стоит то немногое, что встречается у авторов по сравнению с обширностью

LETTRE

SVR

LES AVEUGLES,

A L'VSAGE

DE CEUX QUI VOYENT.

Poſſunt, nec *poſſe videntur*.

Virg.

A LONDRES.

M. DCC. XLIX.

Титульный лист книги Дидро «Письмо о слепых в назидание зрячим», Бесцензурное заграничное издание.

и богатством этого предмета? Из тех, кто о нем писал, *один* недостаточно сведущ в том, о чем ему надлежало говорить, и не столько справился со своей задачей, сколько показал необходимость лучшего труда; *другой* лишь слегка коснулся материала, трактуя его скорее как грамматик и как литератор, нежели как мастер; *третий* действительно более богат сведениями и более ремесленник, но вместе с тем настолько краток, что приемы мастеров и описания их машин — предмет, который может послужить материалом для обширных трудов, занимает лишь весьма малую часть его сочинения».

Опять-таки достается Чамберсу, который «не прибавил почти ничего к тому, что он перевел из наших (французских. — *А. А.*) авторов».

За этим следует признание: «Все это побудило нас обратиться к ремесленникам».

Впервые в истории человечества Дидро поступил так, как постоянно поступаем мы — привлекая к содружеству с литераторами бывалых людей, практиков.

В «Проспекте» говорится:

«Обращались к наиболее искусным мастерам Парижа и королевства. Брали на себя труд ходить в их мастерские, расспрашивать их, делать записи под их диктовку, развивать их мысли, выпытывать термины, свойственные их профессиям, составлять из них таблицы, определять и сопоставлять их с теми, которые записывались по памяти, и (предосторожность почти необходимая) исправлять в длительных и частых беседах с одними то, что другие объясняли недостаточно полно, не отчетливо, а иногда и неверно. Есть мастера, которые являются в то же время и людьми образованными, мы могли бы назвать их здесь, но число их весьма невелико: большинство занимающихся механическими искусствами посвятило себя этому делу по необходимости, и деятельность их основана на инстинкте. Из тысячи их вряд ли найдется десяток таких, которые были бы в состоянии дать удовлетворительные объяснения своих инструментов и изделий. Мы видели ремесленников, которые работали лет

по сорок и ничего не понимали в своих машинах. Нам пришлось исполнять при них функцию, которой хвалился Сократ, трудную и тонкую функцию повитух умов».

«Но есть ремесла,—говорится в «Проспекте» дальше, — столь особенные и операции столь сложные, что если не работать самому, не двигать машину собственными руками и не видеть образования изделий собственными глазами, то трудно и описать их точно. Поэтому нередко нам приходилось доставать себе машины... становиться, так сказать, учениками и изготовлять плохие модели, чтоб научить других делать хорошие».

Дидро везде пишет «мы». Но нам уже известно, что ни Даламбер, ни Мармонтель, ни Руссо, ни Гольбах и никто другой не ходил в мастерские, не расспрашивал рабочих, не составлял таблиц и тем более не садился сам за станок. Все это делал один Дидро. «Мы» же, как и во всех других случаях, подчеркивало общность цели энциклопедистов, коллегиальность в создании всего гигантского труда.

Близкое знакомство с механическими искусствами убедило Дидро «во всеобщем неведении относительно большинства обиходных предметов и необходимости выйти из этого неведения». Он получил возможность показать и показал в своих статьях о механических искусствах, что «человек образованный, лучше всех знающий свой язык, не знает и двадцатой части его слов; хотя каждое искусство имеет свой язык, но этот язык еще очень несовершенен...»

«Энциклопедия», и это, бесспорно, заслуга Дидро, обогатила французский язык множеством вновь созданных и уточненных технических терминов. Уже одно это, не говоря об обогащении и пополнении технических наук, было грандиозным вкладом в познание мира и развитие общества.

В «Проспекте» дан и метод, или, если хотите, план, схема описания каждого ремесла или отрасли промышленности.

Но одних слов было недостаточно. Возникла, как говорится в «Проспекте», необходимость в фигурах.

«Один взгляд на предмет или его изображение говорит больше, нежели страница рассуждений».

Почти тридцать лет Дидро занимался подготовкой и выпуском одиннадцати томов объяснительных рисунков и гравюр, в отдельных случаях не менее, а может быть, и более важных, чем статьи.

Разумеется, гравюры объясняли и науки и «свободные искусства».

Дидро сам не был ни художником, ни резчиком, ни гравером, ни рабочим типографии. Но не он ли собрал, сколотил эти категории сотрудников «Энциклопедии»? Не он ли так дорожил ими, что одной из причин его отказа перевести издание «Словаря» в Берлин или Петербург было справедливое опасение, что, потеряв этих пятьдесят человек, он не найдет ни в столице Пруссии, ни в столице России им равных?

Если все гравюры «Энциклопедии» для того времени были поразительны по богатству деталей, точности, наглядности, во всех отношениях превосходны, то гравюры к статьям о механических искусствах не только давали полное и часто первое представление о той или иной отрасли промышленности, той или иной профессии, но и вызывали в читателе преклонение перед трудом. Не случайно в «Проспекте» сказано: «Только труд создает мастера; по одним книгам нельзя научиться трудовым приемам». В этих гравюрах наряду с техническими подробностями было и то, что делало их живой и поэтической картиной человеческой жизни. Они вызывали сочувствие к тем, кто трудится, и осуждение тех, кто пользуется их трудом.

На гравюре XIV «Пахота. Землеобрабатывающие и посевные орудия» мы видим не только сами орудия, но и крестьян за ними, а вдали барский замок.

На гравюре XV — схемы землеобрабатывающих орудий, гравюре XVI — пропалывание и вспашку земли, гравюре XVII — сеялку Туаля, гравюре XVIII — ее же в продольном разрезе.

И так везде — не только техника, но и люди.

Статья «Земледелие», иллюстрированная этими гравюрами, принадлежала перу Дидро.

Первые тринадцать гравюр иллюстрировали и поясняли его же статью для первого тома — «Сталь». И можно ли было при тогдашнем уровне техники рассказать о стали точнее, чем это сделал он?

И так все. Ни одна отрасль народного хозяйства, ни одна профессия не были обойдены ни в статьях, ни в гравюрах. Живость, ловкость, проворность рабочих в плавильне, у печи, где льют стекло, на пороховом заводе, на фабрике шелковых тканей изображены с таким же искусством, как более спокойные занятия молочницы, наборщика, аптекаря, чеканщика.

Самый мелкий рабочий инструмент, узелок на нитке, сгиб на веревке, изгиб кисти руки, а то и пальца рабочего воспроизведены так скрупулезно, что тому, кто их рассматривал, казалось — он сам если не работал на этом станке, то долго, столько же, сколько Дидро, наблюдал за мастеровым, на нем работавшим.

Мы теперь многое можем счесть излишним. Хотя бы полный набор выкроек портного. Но ведь тогда они были обнародованы *впервые*. Для полноты картины жизни общества Дидро считал выкройки портного не менее важными, чем точное изображение набора всех хирургических инструментов. Положение рабочего у станка надо было показать так же точно, как положение больного на операционном столе.

Приходится ли этому удивляться? Сын ножовщика, хотя и не унаследовал ремесла отца, вынес из его мастерской любовь к технике и уважение к труду.

Среди многих статей Дидро для «Энциклопедии» была и статья «Трудолюбивый». В других статьях он связывает трудолюбие со свободой, с высоким и прочным уровнем народного благосостояния, с добрыми нравами. «Если поденщик в нищете, и вся нация бедна!» — восклицает он в статье «Поденщик».

Идеальная организация человеческого общества для Дидро такая, которая основана на совместном *труде* его членов. И это теоретическое положение Дидро подкреплял тем, что труд в его разнообразных воплощениях был так полно и широко представлен в «Энциклопедии».



Иллюстрация к «Письму о слепых».

Дидро не понимал еще и не мог понять в полной мере, что такое капитал и капитализм в их враждебности трудящимся, он считал, что и купец труженик, а не тунеядец. Но его отношение к труду и трудящимся, мечта о народном счастье как высшей цели поднимали его над интересами буржуазии, приближая к нам.

Без статей о ремеслах в узком и широком смысле этого слова «Энциклопедия» не стала бы *Книгой всех книг,* зеркалом жизни Франции того времени и осадной машиной, штурмующей старый порядок. Значение этого отдела для развития производительных сил Франции было огромно.

Анатоль Франс воздал дань этой заслуге Дидро в речи, посвященной ему, воскликнув: «И вот мы видим в XVIII веке прославление ремесел — вещь странная, небывалая, чудесная!»

IV

Арсенал, а не склад

Но «Энциклопедия» была не только *Книгой всех книг,* не только зеркалом жизни, не только источником практических знаний и сведений. Она служила не только складским помещением, в котором ученые могли обозревать накопленные ими сокровища, а мастера механических искусств делиться своим опытом, но и осадной машиной — арсеналом с заготовленным для нападения на старый порядок оружием.

По старому порядку била уже статья «Власть» («Autoritet politique»), напечатанная в первом томе и содержащая взгляды более радикальные и демократичные, чем вышедший десятью годами позже «Общественный договор» Жан Жака Руссо.

Дидро писал в ней: «Правление, которое наследуется от предков, не более как частное благо, оно никогда не будет восхищать народ... Государство принадлежит принцу, но и принц принадлежит государству, потому что оно выбрало его для себя, пригласив от имени народа управлять делами, и он со своей стороны обязался подчиняться соответствующим законам. Тот, кто носит корону, легко может ее снять, если захочет, но не может водрузить ее на голову другого без согласия народа, который водрузил ее на его собственную голову. Правление, корона и власть существуют, только если их признала главная часть нации. Руководители общества-государства не более чем члены этого общества, подданные этого государства...»

«Скипетр Людовика XV по наследству перейдет к его старшему сыну. Это не более как возможность, которой не будет сопротивляться ни нация, потому что это условие договора, ни сам отец наследника престола по той же причине...»

Очевидно, для смягчения цензуры идет успокоительное заверение. «Если это произойдет во Франции, это будет большим несчастьем, старшая ветвь царствующей фамилии будет истреблена для младших отпрысков, и скипетр и корона вернутся к нации...»

И все равно статья о власти заставила тех, кто не мог не стать противниками «Энциклопедии» — иезуитов, содрогнуться. Тот же аббат Бертье, который недавно расточал комплименты «Проспекту», теперь вооружился тройными очками, вчитываясь не только в первые статьи тома, но и в «Предварительное рассуждение». Он разразился длиннейшей статьей, полной нападок на сенсуализм, который усмотрел в «Рассуждении». Проэкзаменовал статьи первого тома и обнаружил, что религия не окружена в них должным почтением.

Редакторы «Энциклопедии» тем самым были призваны к осторожности, атака «Журналь де Треву» вынуждала их еще больше заботиться о маскировке своих взрывчатых взглядов.

Жан Франсуа Бое, епископ Морена, воспитатель

дофина, член Французской академии, член Академии надписей, директор духовных учреждений, бенефиций и прочая, и прочая, и прочая, отправился к своему сыну Мальзербу, недавно назначенному директором управления книжной торговли.

Едва выйдя из кареты, Бое заявил Мальзербу, что цензоры, предложенные покровителем «Энциклопедии» Дагессо, были обмануты. Им показали статьи по медицине, физике и другим наукам, а статьи, в которых не мог не быть обнаружен криминал, — по теологии — от них скрыли.

Надо сказать, что «Энциклопедия» была первым делом, которым пришлось заняться новому директору книжной торговли, и этот визит был первым препятствием на пути великого труда, которое Мальзерб помог устранить. Все его симпатии, взгляды, убеждения были на стороне новых идей и их проповедников — энциклопедистов.

Историческая правота Дидро и его единомышленников подтверждалась тем, что и в лагере врагов у них нашлись друзья. Одним из этих друзей был Мальзерб.

Директор книжной торговли ответил своему отцу, что у редакторов «Энциклопедии», несомненно, были ошибки, заслуживающие осуждения, — мог ли он ответить иначе? — и предложил ему, как директору духовных учреждений, назвать цензоров, через которых должны пройти все статьи по теологии. Бое назвал аббатов Коссуля, Тампонье и Миле и, удовлетворенный, уехал. Делом Мальзерба было провести второй том через горнило духовной цензуры.

Он провел его, и второй том вышел из-под пресса цензуры в самом начале 1752 года не только лучше, основательнее подготовленным, чем первый, но и более радикальным и заставил противников энциклопедистов еще больше насторожиться и перейти в прямое наступление.

Повод для этого нашелся. Некий аббат де Прад, один из ученых богословов, деятельно сотрудничавших в «Энциклопедии», автор статьи «Достоверность», 18 ноября 1751 года представил в Сорбонну тезисы

своей докторской диссертации «Иерусалим небесный» по-французски и по-латыни. По решению синдика университета защита должна была состояться 27 января 1752 года на богословском факультете; присудить аббату степень доктора теологических наук должны были восемьдесят два голоса против пятидесяти четырех, а двумя днями позже их решение должно было быть утверждено архиепископом парижским. Но разразился грандиозный скандал. Официальный диспут превратился в сражение, парламент приговорил диссертацию к сожжению. Парижский архиепископ под влиянием насевших на него иезуитов разразился «пасторским посланием», расцвеченным духовным красноречием, где метал громы и молнии против своего подчиненного, осуждая его за еретические мысли, проливая слезы мнимой скорби, в которую он якобы впал, и глухо намекал на какие-то книги, сеющие неверие и заблуждения.

Еще дальше, чем глава парижского духовенства, пошел янсенист, епископ Окзеррский. Этот в своем послании прямо выступил против «Энциклопедии» и заодно задел Монтескье и Бюффона.

Казалось бы, какое отношение имели «Энциклопедия», Монтескье и Бюффон к богословской диссертации! Имели. И не только в представлении иезуитов, янсенистов и прочих противников энциклопедистов.

Аббат де Прад изучал теологию в семинарии святого Сульпиция, той самой, куда якобы собирался поступить Дидро. Это не помешало де Праду подпасть под влияние английских сенсуалистов и их французских продолжателей.

Стремился ли он к опровержению религии или употребленные им сравнения и доказательства имели целью всего лишь удостоверить истинность книг Нового завета и подкрепить их библейскими преданиями? Кто знает! Но рациональное объяснение чудес, данное им, было очень дурно встречено богословским факультетом Парижского университета. Де Прад позволил себе сравнивать чудесные исцеления, описанные в евангелии, с чудесами Эскулапа. Так или иначе, эти сравнения и аргументы, а еще больше — выска-

занные де Прадом мысли об естественном состоянии общества и то, что он, следуя Локку, отрицал врожденные идеи, отдавало духом «Энциклопедии» и не могло не привести диссертацию на костер, а ее автора в ряды записных безбожников.

Если бы на этом кончилось! Мракобесы — иезуиты и янсенисты, как можно убедиться из послания епископа Окзеррского, метили в мишень гораздо более значительную, чем де Прад и его диссертация. В авторстве злополучного сочинения обвинили Дидро. А тут уже было рукой подать до требования запретить «Энциклопедию». Посыпалась серия новых доносов на Дидро, они не уступали тем, которые привели его в Венсеннский замок. Дидро забрасывали грязью в пасквилях.

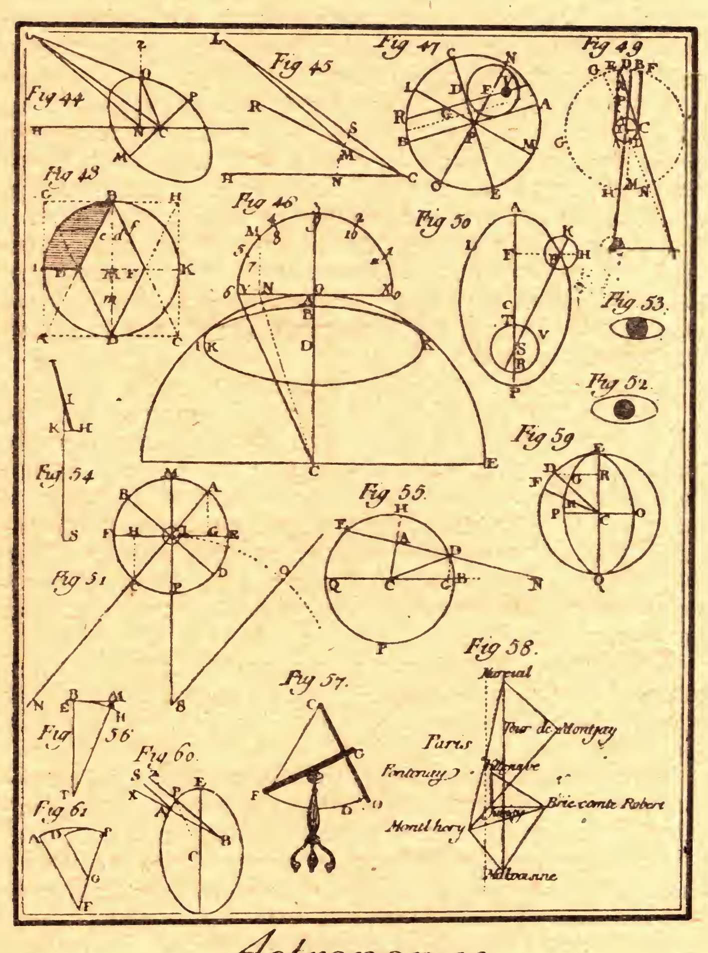
Появился даже пасквиль-эстамп.

На нем дата — 1752. Из тучи выходит рука монаха в широкой манжете, его кулак, вооруженный орденской лентой святого Франциска, разит коленопреклоненного человека с пером в руке, до смерти напуганного. Рядом с ним на земле распластана большая книга, открытая на странице, где написано «Христианство». По этим признакам можно узнать в человеке Дидро. Поодаль две другие фигуры, одна из них — аббат де Прад.

Старания мракобесов увенчались успехом. Едва успел выйти в свет второй том «Энциклопедии», как 7 февраля 1752 года королевский совет запретил оба вышедших тома.

«Его величество,— говорилось в решении совета,— признал, что в этих двух томах есть много положений, стремящихся уничтожить королевскую власть, укрепить дух независимости и возмущения и своими темными и двусмысленными выражениями заложить основы заблуждений, порчи нравов и неверия».

Де Прад бежал в Голландию. Потом Даламбер рекомендовал его Вольтеру, жившему в то время в Берлине. Фридрих II был в отлучке, и до его возвращения Вольтер оказывал беглецу покровительство. Вернувшись в свою столицу, король продолжил начатое Вольтером и назначил де Прада чтецом при



Astronomie

Иллюстрация к разделу «Энциклопедии» — «Астрономия».

своей особе. Аббат, впрочем, оказался не созданным для роли мученика и борца, он отрекся от своих «еретических» взглядов и получил бенефицию. Показал он себя и неблагодарным по отношению к своему царственному покровителю, выдал своим соотечественникам какие-то военные тайны Фридриха II и был за это заключен в тюрьму.

Все это не имело уже никакого отношения к борьбе вокруг его диссертации, которая продолжалась во Франции. Огонек разжег большой пожар. Подписавшись именем беглеца, Дидро пустился в полемику с епископом Окзеррским. Он выступил не только в защиту диссертации, но и в защиту разума, правды, справедливости, свободы. И его доказательства до сих пор не потеряли своей силы, так как внешняя модернизация церкви — пишущие машинки, телевидение, футбол — мало что изменила в ее сущности и в методах, ею применяемых в борьбе с противниками. Любви к ближнему у современных сановников церкви вряд ли больше, чем у епископа Окзеррского.

Дидро писал ему: «Я не знаю ничего более непристойного и более оскорбительного для религии, чем эта туманная декламация теологов против разума. Слушая их, можно подумать, что люди должны вступать в лоно христианства, как стадо рогатого скота входит в свое стойло, и что, вступая в вашу веру или оставаясь в ней, нам надлежит отречься от здравого смысла».

В заключение Дидро заставил де Прада, от имени которого выступил, обвинить янсенистского пастыря в постигших верующих смутах, явившихся следствием раздоров между янсенистами и иезуитами.

«Если достоверность чудес была ниспровергнута, этому виной отвратительная достоверность ваших конвульсий; если достоверность существования мучеников за веру уничтожена, этому виной глупая отвага, с которой ваши фанатики шли навстречу угнетениям. Если духовенство, алтари и самая вера покрыты позором, этому виной ваши нападки на первосвященников, епископов, всю церковную иерархию. Если презрение стало уделом папы, епископов, духовенства,

простых верующих, всей церкви с ее мистериями, таинствами, храмами и церемониями — все это дело ваших рук».

Дидро от имени аббата де Прада забивал клин между янсенистами и их противниками — иезуитами и господствующей церковью. Он нанес тяжелый удар янсенистам. Но это не улучшило положения «Энциклопедии». За запрещением двух первых томов последовало распоряжение о передаче издания иезуитам, которые на этом настаивали.

Можно себе представить, с какой радостью схватились иезуиты за рукописи и корректуры «Энциклопедии». Но их ожидания были обмануты. Они ничего не могли поделать с материалами, поступившими в их распоряжение. По меткому определению Гримма, им забыли передать голову и гений Дидро, то есть ключ к статьям, которых они не могли расшифровать. Не менее суров к иезуитам был и либеральный вельможа, маркиз Даржансон. «Никто не сомневался, — вспоминает он, — что иезуиты не продолжат дела так, чтобы удовлетворить подписчиков».

По словам историка «Энциклопедии» Барбье, правительство не без некоторой доли смущения было вынуждено предложить Дидро и Даламберу продолжить издание. Правда, это произошло только осенью 1753 года. Но осадная машина была снова приведена в действие значительно раньше, несмотря на то, что декрет еще висел над головами редакторов. И на этот раз не обошлось без помощи Мальзерба. Он спрятал бумаги, которые должен был конфисковать. Портфель Дидро теперь снова вернулся к владельцу. Под плохо прилаженным париком, над жабо, усыпанным табаком, улыбалось доброе лицо Мальзерба.

Но он был французом, а во Франции очень сильно уважение к законам. Поэтому, не ограничившись помощью нелегальной, директор управления книжной торговли постарался дать и легальное разрешение на продолжение издания «Энциклопедии» с прежними редакторами.

Для этого мало было влияния и доброй воли его одного. Понадобилась еще и помощь вельмож и мар-

кизы де Помпадур, которая благоволила к Вольтеру, Монтескье, Даламберу, а точнее — с ними заигрывала, показывая свое свободомыслие.

Пока шли все эти хлопоты, Дидро было не по себе. И все равно он не хотел, как ему уже тогда советовал Вольтер, перенести издание «Энциклопедии» в Берлин. И когда запрещение еще не было отменено и даже до того, как Мальзерб вернул ему бумаги, Дидро верил, что поворот не может не произойти. Успех первых двух томов, рост числа подписчиков, достигшего двух тысяч — число по тем временам астрономическое, потом оно удвоилось, — поддерживали в нем эту уверенность. Кроме того, уроженец Шампани, он был прирожденным оптимистом.

Наконец все словно бы наладилось. Даже Бое вынужден был предать забвению оскорбления, нанесенные «Энциклопедией» религии.

Однако от пристального наблюдения цензуры «Энциклопедию» не освободили. Напротив, было решено, что цензоры должны визировать не только рукописи, но и оттиски статей.

И при подготовке третьего тома осторожность Даламбера чуть ли не целых шесть месяцев сопротивлялась энтузиазму Дидро.

К этому тому Даламбер написал предисловие. Оно начиналось так: «Что могла бы еще выдумать злоба против двух литераторов, которые давно путем размышлений дошли до того, что не страшатся ни несправедливости, ни бедности, и научились после долгого и печального опыта хотя не презирать людей, но не доверять им... благоразумно их избегать?!.

После того как настоящий труд служил бурным и тяжелым занятием самой дорогой поры нашей жизни, может быть, он станет отрадой наших последних лет? Когда не будет на свете ни нас, ни наших врагов, да послужит он долговечным свидетельством добрых намерений со стороны одних и несправедливости со стороны других...»

Дальше он напоминает содержание одной из басен Бонплини:

«Некоему путешественнику очень докучали своим

щебетанием кузнечики. Он вздумал перебить их всех до одного, но был застигнут из-за этого наступлением ночи и сбился с дороги. Если бы он спокойно продолжал свой путь, кузнечики сами бы перемерли к концу недели».

Вывод применительно к противникам «Энциклопедии», если сопоставить изложение басни с тем, что написано выше, ясен. Противникам Дидро и Даламбера следовало бы оставить их в покое. Если допустить, что «Энциклопедия» не приносит пользы, время это покажет.

А Дидро тем не менее говаривал впоследствии, что эта вынужденная остановка «далеко не повредила делу, способствовав даже его усовершенствованию».

В самом деле, третий том был еще богаче и серьезнее двух первых. В нем появились новые отделы: *юриспруденция,* которую вели Буше, Даржи, *химия, фармакология, медицина,* где сотрудничали Венден-младший и Гольбах.

И дальше, невзирая на все препятствия, каждый год выходило по тому.

А препятствия возникали, как грибы после дождя.

В четвертом томе цензуре не понравилась статья «Constitution uniguntum». Дидро вынужден был обратиться за заступничеством к Мальзербу. 11 июля 1754 года он отправил этому другу среди врагов письмо, жалуясь на цензора, разразившегося целой диссертацией против статьи:

«Поскольку статья выдержала экзамен у богословов, назначенных мосье шателе (министром юстиции. — *А. А.),* я убежден, что она не содержит ничего направленного против законов Церкви и Государства. Иначе было бы неосторожно и мало уместно помещать в «Энциклопедии» трактат, посвященный предмету столь важному и деликатному...»

Дидро просит Мальзерба внимательно прочитать в четвертом томе эту статью и убедиться, что в ней нет ничего не соответствующего программе всеобщего словаря.

«Constitution uniguntum» называлась булла папы Клемента XI, изданная против еретиков 8 сентября

1713 года. В статье же отношение к еретикам было иным. Четвертый том тем не менее в свет вышел, а за ним и пятый, и шестой, и седьмой.

«Энциклопедия» пользовалась все большим и большим успехом. Росло число подписчиков, особенно между 52-м и 57-м годами. К четвертому тому их уже было три тысячи, к седьмому — четыре.

Росло и число томов. Первоначально — мы знаем — было обещано всего восемь томов текста. Но седьмой том, вышедший в 1757-м, закончился буквой «g», а сколько их еще осталось во французском алфавите!

Мы уже знаем, как приходилось ухищряться редакторам, на какие они должны были идти уступки, чтобы издание снова не закрыли. Даламбер 13 декабря 1756 года писал Вольтеру: «Дидро не всегда волен не принять или переделать доставленную ему статью». И примерно то же писал он раньше, в апреле того же года.

В письме своему старшему другу 21 июня 1757 года он дает еще более пространное объяснение того, что у них «встречаются слабые статьи по части богословия и метафизики».

«Но вы и сами, — пишет он, — не сделали бы их лучше, если бы вашими цензорами были богословы...»

Затем следует очень важное признание, проливающее свет на ухищрения, к которым прибегали редакторы: «Есть другие статьи, менее бросающиеся в глаза, в них все исправлено как следует. Время научит людей отличать то, что мы думали, от того, что мы говорили».

Дидро на страницах самой «Энциклопедии» в статье «Энциклопедия» объяснял подписчикам приемы маскировки. «Во всех тех случаях, — писал он, — когда какой-нибудь национальный предрассудок кажется заслуживающим уважения, соответствующая статья должна отзываться о нем почтительно и излагать все, что в нем есть привлекательного и правдоподобного».

Однако за этим следовал призыв, хотя и замаскированный, но достаточно прозрачный, к уничтожению

старого порядка: «Но глиняное здание должно быть разрушено, а ни на что не годная куча мусора должна быть развеяна по ветру в таких статьях, в которых противоречащие предрассудкам истины имеют в основе солидные принципы. Такой способ выводить людей из заблуждения быстро действует на умы хорошего закала, а на всякие другие умы тоже действует без вредных последствий, незаметно и без шума».

Один из младших энциклопедистов, Кондорсе, писал впоследствии, что, если им и приходилось лицемерить, ответственность за этот позор лежала не на писателях, которым приходилось выбирать между таким образом действий и поддержанием застоя молчанием. И самое главное, справедливо замечал Кондорсе, покрывало, наброшенное, по сути дела, не авторами и редакторами, а властями, ничего не утаивало. Каждый читатель узнавал настоящие мнения писателей из колких фраз, ловких сопоставлений, прозрачных намеков и двусмысленных похвал.

Если реакция не могла добиться нового запрета, она действовала зловредными слухами, клеветническими статьями, которые должны были всячески компрометировать энциклопедистов эпиграммами, памфлетами, пасквилями.

«Энциклопедию» сравнивали с финансовой реформой Лоу, ставшей нарицательным именем беспочвенной авантюры, — попытки выпуском бумажных денег спасти Францию от разорения.

В одной из инспирированных иезуитами эпиграмм на энциклопедиста говорилось:

«Я хороший энциклопедист,
Я знаю зло и добро,
Я следую Дидро,
Я являюсь всем, и я не верю ни во что».

Самый большой шум разгорелся вокруг комедии-пасквиля Палиссо. В третьем акте автор объявлял, что сейчас появится гражданин Женевы. Затем тот вползал на четвереньках — имелся в виду Руссо. Так высмеивалось естественное состояние человека, к которому призывал философ.

Был выведен в этом пасквиле под именем Дирто-

диуса и Дидро. Автор третировал его нисколько не меньше, чем Руссо, вложив в уста этого персонажа пропаганду антипатриотических чувств. Не обошел автор и Вольтера и других философов. Первое представление комедии произвело огромный эффект. Вышло двадцать брошюр «за» и «против» пьесы. Среди противников ее главными были Морелле и Вольтер. Последний выступил под псевдонимом Мордсте и жестоко расправился с пасквилянтом, нанеся ему не менее жестокую рану, чем тот нанес энциклопедистам.

Когда через несколько лет комедию Палиссо попробовали возобновить, публика была уже так воспитана в духе энциклопедистов и симпатии и антипатии ее так определились, что появление актера, изображавшего Руссо, на четвереньках было встречено свистом, и актеру пришлось встать на ноги.

Но это было потом, а пока чем большее число подписчиков привлекала «Энциклопедия», чем больше была ее популярность, тем больше распалялись изуверы. Не было той клеветы, которую они сочли бы для себя слишком низкой или нелепой.

Впрочем, не во всем они были неправы. Так, утверждая, что Дидро, Даламбер, Вольтер, Руссо и Бюффон организовали союз писателей с сознательным намерением нарушить общественное спокойствие и ниспровергнуть существующий порядок, они отклонялись от истины, пожалуй, только в перечне имен — не были названы Гольбах, Гельвеций, Гримм. Указывая на группу литераторов, как на зачинщиков настоящего заговора, создателей тайного общества, противники тоже не слишком заблуждались. Даже то, что они именовали общество литераторов, выпускавших «Энциклопедию», шайкой разбойников, хотя и было грубой бранью, заключало в себе зерно правды, потому что «разбойники эти», по словам авторов памфлетов и слухов, виновны были не в чем ином, как в распространении пагубных идей, а идеи Дидро и его единомышленников и в самом деле были пагубны для старого порядка и религии.

Однако, поднимая против себя тучи эпиграмм, стишков, листков и брошюр вроде «Размышлений

францисканца», «Маленьких писем о больших философах», «Энциклопедия» парировала эти удары очередными «залпами». В пятом томе таким залпом была статья Дидро об *естественном* праве, в шестом — статья Дейлера о *фанатизме.*

Но еще более серьезное, решающее сражение связано с выходом в 1757 году седьмого тома.

Недовольство реакции было вызвано и статьями Дидро о греческих философах. Ортодоксы католической церкви не одобряли этих язычников. Но главной мишенью в этом томе оказалась статья Даламбера под невиннейшим названием «Женева».

Вот история статьи. Даламбер незадолго до того побывал в гостях у Вольтера в Фернее, а оттуда несколько раз ездил в близлежащую Женеву. В знаменитом швейцарском городе он познакомился с протестантскими пасторами и нашел, что отличия их религии от католичества: неверие в божественность спасителя, в таинства и вечные мучения — сочетаются с достойной удивления простотой, нравственной чистотой и терпимостью.

Он написал об этом в статье «Женева», и в каждой фразе его похвал женевским пасторам проглядывало порицание жестокосердия, мракобесия, нетерпимости французского духовенства и неприязнь к ним.

Это противопоставление, это осуждение касалось в равной мере иезуитов и янсенистов, сановников церкви и ее рядовых служителей, ветреных аббатов и распутных прелатов, маскирующихся ханжеством. Могли ли они все не быть затронуты за живое, прочтя в статье Даламбера, что женевские пасторы нравственны на деле, а не на словах, не проводят жизнь в яростных спорах друг с другом о том, чего даже нельзя объяснить, и не обращаются в суд с непристойными и вздорными обвинениями друг против друга? Это задевало французских церковников нисколько не меньше, чем то, что Даламбер одобрял принадлежность женевских пасторов к социанству, то есть отрицанию тройничности бога, а отсюда было уже рукой подать и до деизма.

Не меньшим криминалом было восхваление авто-

ром женевской консистории за то, что она не выходит за пределы своих прямых обязанностей и первая подает пример покорности судьям и законам. Конечно же, он метил этой похвалой в парижское духовенство, постоянно вмешивавшееся в мирские дела, и в парижский парламент, терпящий это положение вещей.

Удар достиг цели и должен был быть отражен.

А какой взрыв негодования католических ханжей вызвало следующее рассуждение: «Ад, составляющий один из главных пунктов в наших верованиях, перестал быть таковым и для многих женевских пасторов; по их мнению, люди оскорбили бы божество, допустив, что высшее существо, полное справедливости и благости, способно наказывать нас за наши прегрешения вечными мучениями; они стараются объяснить, насколько это возможно, согласно со здравым смыслом, те места священного писания, которые противоречат их мнениям и утверждают, что не должно в священных книгах принимать в буквальном смысле то, что оскорбляет человеческие чувства и рассудок». Это было прямым выпадом против нетерпимости католического духовенства и прямой проповедью терпимости.

Удар Даламбера и в этом рассуждении попадал не в бровь, а в глаз.

Вольтер с восторгом принял эту статью, много раз ее перечитывал. Он написал Даламберу 24 мая 1757 года, что «здешний мир — это настоящий ад». Это земное толкование ада, содержащееся в статье, было понято апостолами нетерпимости.

У них были все основания ополчиться на статью. Еще бы! Ведь через пять лет возникло громкое дело Каласа, крестьянина-протестанта, ложно обвиненного в убийстве сына, якобы решившего перейти в католичество и убитого приверженцами ортодоксальной религии. В это дело вмешался Вольтер, а Дидро одобрял выступление своего учителя.

На статью ополчились не только противники «Энциклопедии». Сами женевские пасторы были недовольны тем, что Даламбер причислил их к социанству.

Даже среди энциклопедистов нашлись противники

статьи. Гримм считал, что она неуместная и слишком смелая.

Из-за книги Гельвеция «Об уме» все силы реакции ополчились не только на него, но на весь лагерь энциклопедистов. В первую очередь ополчились на Дидро. Его, хотя и без всяких доказательств, обвинили в соавторстве, а «Энциклопедию» запретили, хотя Гельвеций в ней почти не сотрудничал.

Можно себе представить, как трудно пришлось Дидро. Затишье, которым он хотел воспользоваться для издания своей драмы «Отец семейства», было нарушено. Какое там затишье?! В 1758-м Дидро выпускает брошюру с объяснением причин задержки издания «Энциклопедии». Он категорически отрицает существование организованного сообщества философов. Отрицает их регулярные встречи и тем паче вокруг издания «Энциклопедии». Ему не верят, имея к тому, прямо скажем, все основания. Враги просвещения единодушно твердят об организации «злонамеренных ниспровергателей основ, проповедников материализма».

Именно это утверждал и королевский прокурор Омер Жюли де Флери в январе 1759-го, громя «Энциклопедию» вместе с книгой Гельвеция. Трактат «Об уме» он аттестовал как извлечение из «Энциклопедии», а «Энциклопедию» назвал «позором для нации» ввиду ее нечестивых принципов и ущерба, который она наносит нравственности и религии.

Суд поручил десяти комиссарам рассмотреть все семь томов, а пока запретил их распространение.

Любопытно, что рецензия Дидро на этот трактат, написанная, очевидно, в 1758 году, не только лишена столь присущего Дидро энтузиазма, но, напротив, отличается столь несвойственными ему двойственностью и недоговоренностью. Критика его направлена главным образом на стиль книги, ее структуру, приемы авторской аргументации, а не на выводы или исходные положения. Конечно же, это тактические приемы. Хотя нигде в рецензии книга прямо не одобряется, но Дидро нигде от нее и не отмежевывается.

И вместе с тем за подцензурной эквилибристи-

кой — а ее было столько, что трудно понять, почему рецензия не была напечатана, — содержались и подлинные расхождения. Многое в книге Гельвеция действительно не вызывало сочувствия Дидро — человека, философа, писателя.

Между тем после выступления королевского прокурора события развернулись быстрее, чем можно было ожидать. Новые цензоры не успели еще рассмотреть крамольные книги, а следовательно, и суд не успел вынести своего решения, как в дело вмешался Государственный совет и в марте 1759 года отменил привилегию на издание «Энциклопедии», запретил продажу выпущенных томов и издание последующих под страхом строгого наказания. И тогда и потом в ходу были различные версии, по-своему объяснявшие эту незаконную акцию. Несомненно одно: она была связана с новым правительственным кризисом.

Но, так или иначе, действие осадной машины захотели навсегда остановить. Перед «Энциклопедией» возникли новые, еще более серьезные, чем прежде, препятствия. И кто знает, было бы завершено издание, если бы не редчайшее мужество Дидро, поддержанное далеко не всеми его товарищами?!

Но об этом речь впереди. Пока познакомимся с тем, что делал Дидро в «Энциклопедии» как автор.

V Автор

Если не находилось никого, кто хотел бы написать о том или ином слове, занятии, предмете или понятии, писал сам Дидро. Отличие его от других авторов состояло еще в том, что Дидро очень

часто писал если не за других, то по меньшей мере с другими, не ставя порой и своего редакторского значка. А с ним не писал никто, у него не было ни негласных соавторов, ни редакторов.

Это отнюдь не значит, что Дидро не считался ни с чьим мнением. Отвечая на вопрос Екатерины II, как он работает, Дидро, между прочим, рассказывает: «Я читаю то, что другие думали по этому же предмету, только когда моя работа закончена. Если чтение выводит меня из заблуждения, я рву написанное. Если я нахожу у других что-либо, что соответствует моему мнению, я пользуюсь им. Если это чтение внушает мне какую-нибудь новую мысль, я добавляю ее на полях, ибо, ленясь переписывать, я всегда оставляю большие поля».

И только после того, как работа была закончена, он советовался с друзьями, равнодушными и даже врагами.

Эта система последующих советов относилась, разумеется, к мыслям, а не к фактам. То, что говорится в «Проспекте» об источниках «Энциклопедии», конечно же, справедливо и для Дидро-автора. Благодаря хранителя королевской библиотеки — аббата Салье за помощь, оказанную «Энциклопедии», Дидро делал это, очевидно, не только как редактор, но и как автор.

Предсказывая в «Проспекте», что потомство, раскрыв их «Словарь», скажет: «Таково было состояние наук и искусств в то время», — Дидро мог с полным правом отнести это к собственным статьям. Пусть многое в них теперь кажется наивным, тогда это было последним словом в самых различных науках, искусствах, технике, морали.

Даже если бы среди его статей не было бы таких, которые подкладывали мины материализма и революционности под старый порядок и его идеологию, уже одного этого было бы достаточно, чтобы обессмертить его имя, как автора «Словаря».

Подсчитали, что Дидро принадлежит 1 269 статей «Энциклопедии». Вполне вероятно, что их было больше. Ни в коем случае не меньше. Плодовитее

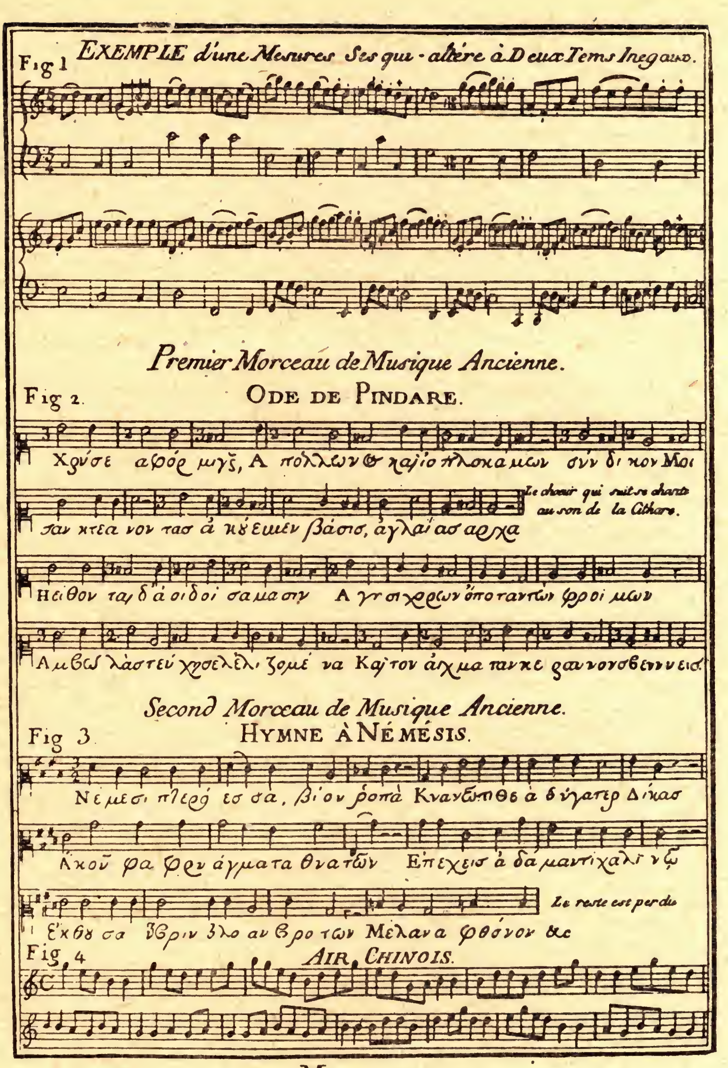
его был один шевалье де Жокур. Но кто, кроме специалистов, знает теперь имя бедного кавалера?

И чего только не писал Дидро, если этого требовало дело и не находилось желающих! Огромные статьи в сто сорок страниц, как «Энциклопедия», и крохотные заметки в три строки, как «Véritique» — правдолюбец. Главнокомандующий великой армии, он не гнушался и черной работой рядового солдата, а то и подносчика снарядов.

Вот перечень разделов «Энциклопедии», в которых Дидро выступил как автор: Земледелие и сельскохозяйственная экономика, Архитектура, Астрономия, Ботаника, Химия и Физика, Коммерция, География древняя и современная, Грамматика (точнее — лингвистика), Древняя история и античность, Новая история, История религии, Естественная история, Юриспруденция, Литература и искусства, Логика, Магия и гадания, Медицина, Метафизика (сюда входили теория познания, эстетика), Минералогия и Металлургия, Мораль (Этика), Философия, Теология.

Естественно, что все это шло вперемежку, соседствуя со статьями других авторов, а порой и противореча им. Слова в «Энциклопедии» расположены по алфавиту, а не по образу мыслей. Кроме того, все науки, искусства, ремесла нужно было объединить, историю заставить служить современности, философией подкреплять свою политическую программу, разбивать теологию на ее собственной территории, но создавать также видимость благонамеренности, благонравия и благочестия для цензуры. Впрочем, от тома к тому и особенно в последних десяти томах, изданных подпольно, маскировки было все меньше и меньше.

Строгой систематичности в том, что писал для «Энциклопедии» Дидро, искать не приходится и потому, что не систематичность являлась главным его достоинством, и потому, что «Словарь» был коллективным трудом и план этой гигантской постройки Дидро составлял в расчете не на одного себя. Да и сама бэконовская система — классификация, принятая



MUSIQUE

Иллюстрация к разделу «Энциклопедии» — «Музыка».

в «Энциклопедии», несовершенна. Об этом уже говорилось.

И тем не менее из его статей для философского раздела «Энциклопедии» вырастают как бы очерки истории философии от древних времен до непосредственных предшественников самого Дидро и гольбахианцев. Он писал об Аристотеле, Платоне, Сократе, Гераклите, Пифагоре и их школах, о стоиках, циниках, схоластах, о Спинозе, о своем обожаемом Локке... Большую статью о логике, статьи о философских категориях — воле, ощущении и других.

Иное дело, что его классификация далеко не всегда совпадает с нашей. «Качество», «необходимость», «возможность» он зачислил по разделу «Метафизика», а «Психологию» и «Политику» по разделу «Философия».

Листаешь тома «Энциклопедии», эти переплетенные в кожу фолианты с их мелким убористым шрифтом, и находишь большие статьи Дидро на такие важные и такие разнообразные темы, как: «Свобода», «Гражданин», «Государи», «Тиран», «Общество», «Собственность», «Деньги» (слово «Argent» по-французски значит и «серебро»), «Искусство», «Земледелие», «Архитектура», «Красота», «Добро», «Милосердие», «Нужда», «Терпимость», «Нетерпимость», «Наука», «Бог», «Естественное право», «Академия», «Авторитет», «Священники», «Макиавеллизм», «Человек» по разделу «Естественная история» и «Человек» по подразделу «Политика или философия общества», «Нравы», «Коммерция», «Фантазия», «Комедия», «Комедиографы», точнее — драматурги, «Сказка»... Статьи об «Одиссее» Гомера и о «Генриаде» Вольтера, о шаманах и сектах.

Но, еще не дойдя до них, мы читаем: «А» (Грамматика) — первая буква алфавита во всех известных языках, кроме эфиопского, где она всего лишь третья». Ею открывается первый том и, следовательно, вся «Энциклопедия». Она служит как бы символом. Разве ее автор не был первой буквой в блистательном алфавите энциклопедистов?! И вместе с тем разве она не символизирует и его скромность?

Главному ли редактору было объяснять, что такое буква «А»?

На ту же букву «А» вперемежку с уже названными статьями и статьями «Африка», «Анархия» идут его маленькие заметки — «Абиен» о малоизвестном народе древности и «Anominable» — «мерзкий, отвратительный, гнусный».

А сколько труда должен был положить Дидро, чтобы для статьи «Сокращения» выписать и строго по алфавиту расположить сокращения, встречающиеся у древних латинских авторов, в древних надписях и медалях! Правда, он знал и любил латынь. И одно из латинских изречений, сокращение которого он привел — «Дружба создает памятники», — Дидро мог бы сделать своим девизом.

Он еще в лангрском коллеже мечтал о путешествиях, но до тех пор, кроме Лангра и Парижа с его предместьями, не побывал нигде, Венсенн тоже только в трех лье от Парижа.

Но когда он писал заметку о египетской траве «Абисус», он словно бы жил на берегах Нила. Когда писал об «Акара» (Акараль) — местности в Парагвае, застроенной иезуитами, он восторгался пышной природой Центральной Америки, но совсем бы не хотел жить под эгидой святых отцов из ордена Иисуса.

Дидро знал все и о бразильском растении «Акарижилаб», хотя и написал о нем всего несколько строк.

Интересно было писать и о чужом, далеком Африканском материке, изучать карты, читать записки путешественников.

От географии он бросался к мифологии, объяснял, что такое «Ашор».

А значение слов! Он очень радовался, когда ему удавалось объяснить разницу между тремя словно бы очень близкими понятиями: «старое», «старинное» и «античное» (древнее), объяснить так, чтобы поняли не только читатели, но и читательницы. «Мода стара, когда она только вышла из употребления. Она становится старинной, когда проходит много

времени с тех пор, как она была в ходу, и античной, когда времени проходит еще больше».

Он умел писать изящно о серьезном, в духе своего галантного века и вместе с тем так, чтобы его рассуждения не казались нам старомодными. Вот хотя бы заметка «Любовник» («Amant»). Дидро противопоставляет любовника влюбленному («Amoureux»). «Нередко встречается влюбленный, не смеющий превратиться в любовника, но бывает и так: человек объявляет себя любовником или становится им, не будучи влюбленным».

Этого не надо было нигде вычитывать: он сам так думал и так чувствовал.

Но и знания, почерпнутые из книг, он направлял на современность.

Для того чтобы написать статью о *манерах,* конечно же, надо было немало прочесть о Китае, о Германии, это нужно было ему не само по себе, а для того, чтобы утвердить сегодня, сейчас, здесь, в Париже, те манеры, которые он считал наиболее правильными. «Что такое манеры, как не выражение нравов, или, проще сказать, результат подчинения принятому?! По отношению к нравам они то же, что культ по отношению к религии. Поэтому-то при анализе состояния общества для моралиста так важны манеры!»

Среди аристократии в странах, где нет общественной свободы, где малую роль играют законы и их подменяет управление одного человека, придают слишком большое значение манерам и светским условностям.

В этих странах угодить — удача, не угодить — несчастье. Здесь заботятся о приятности, а не о добродетели, и отсюда манеры любезные и внешне благородные. Между тем граждане нуждаются друг в друге, чтобы друг друга охранять, поддерживать, учить или развлекать. А за одинаковыми манерами исчезает разность характеров.

Явно симпатия Дидро на стороне тех государств, где управляющие особы окружены меньшей роскошью, народ занят свободной коммерцией и культурной об-

работкой земли, где людьми движут интересы первой необходимости больше, чем амбиция и вкус к развлечениям, а от этого люди просты и честны, и манеры более строги, чем изысканны. Здесь заботятся не о внешней красоте, а о справедливости.

А когда Дидро писал статью «Лангр», конечно же, он добросовестно изучил все доступные ему источники, но разве его пером не водило и сердце уроженца этого города!

Он советует управлениям других городов брать пример с Лангра в его отношении к памятникам старины.

Но и в этой статье он верен себе в главном. Без особого почтения сообщив читателю все, что требовалось, о римских завоевателях, бургундских и французских суверенах, об епископах Лангра, бывших и его герцогами, Дидро обращается к обнаруженным при раскопках древностям и откровенно признается, что они интересуют его больше, чем епископство.

В многие статьи и заметки он вносит свое личное, свой опыт, свои страсти, свои симпатии и антипатии.

Вот как он толкует слово «Издатель» («Editeur») в применении не к книгоиздателю-предпринимателю, а к издателю как редактору (заметка идет по разделу «Литература»): «Это имя дают литератору, который принимает участие в публикации произведений другого литератора». И как пример Дидро приводит издателей «Энциклопедии», авторитет которых основан на произведениях их коллег, и было бы дурно их хулить за то, что они подмечают слабости этих произведений.

В крохотной же заметке «Редактор» («Rédacteur») он говорит только о том, что это занятие будет существовать, пока есть нужда в редакторах и редактуре.

Зато слово «Корректор» он толкует не просто как корректора издательства, но в двух смыслах: как исправителя ошибок и как человека, который меняет зло на добро в обычаях, сердцах и умах.

В огромной статье «Энциклопедия», помимо множества сведений и рассуждений, содержатся и про-

граммные заявления редактора той «Энциклопедии», где напечатана эта статья.

Вот каким он хотел бы видеть цензора — знающим предмет, уважающим то, что заслуживает уважения, бережно и почтительно относящимся к каждому человеку и предмету.

Он требует от цензора, чтобы тот не пугался ни цинизма Диогена, ни технических терминов Уислоу, ни силлогизмов Анаксагора, любил бы больше всего правду, добродетель, прогресс человеческих познаний, чтобы ему была всего дороже честь его нации и он не обращал внимания на мелочи.

Автор же должен быть образован, честен, правдив, нужно, чтобы он не принадлежал бы только одной стране, одной секте, одной профессии, рассказывал бы о самых, казалось бы, далеких от него предметах, видя то, что было за 2 000 лет и за 2 000 лье.

Сам он как автор этим требованиям отвечал.

В конце же статьи он, намекая на условия, в которых издается «Энциклопедия», говорит, что остается еще многое, о чем должно бы быть сказано, но не сказано, и что во множестве недостатков издатели неповинны.

Вот один из примеров ухищрений, к которым Дидро вынужден был прибегать. Он написал две статьи «Свобода», одну по разделу «Мораль», вторую — «Свобода гражданская». Но ни в одной из этих статей на столь взрывчатую тему Дидро, прекрасно понимая, что они привлекут пристальное внимание цензоров, духовных и светских, не говорит ничего, что могло бы навлечь на «Энциклопедию» репрессии.

Вот как он определяет, что такое свобода в начале первой статьи: «Свобода состоит в возможности поступать так, как ты хочешь, зависеть только от себя». «Вместе с тем, — продолжает Дидро, — наша природа заставит нас, хотя мы этого и не осознаем, поступать так, чтобы принести себе добро, и не поступать так, чтобы этим причинить себе зло. Существует множество доказательств того, что свобода — естественная прерогатива человека, но не все из них доста-

точно сильны. Тюлерен, например, утверждает, что без свободы люди превращаются в совершеннейших автоматов».

Ни словом он не заикается в этой статье о свободе политической и отходит в ней от материалистического толкования свободы как философской категории. Он, который множество раз в письмах и произведениях, предназначенных не для печати, повторял, что «свобода воли — бессмысленное выражение», в этой статье «сдавленным голосом пытается доказать, что мышление и волнение не могут быть свойствами материи, и восстает против детерминизма Спинозы».

Зато в небольшой статье на невиннейшую тему «Охота» («Chasse») по разделу «Сельскохозяйственная экономика» Дидро, описывая охоту как барское развлечение, обрушивается на вред, который она приносит земледелию и крестьянам.

Объясняют, что она произошла из жизненной необходимости для человека обезопасить себя от хищных животных и снискать себе пропитание. Человек был самым мужественным животным среди всех остальных.

Но мы не наблюдаем прогресса в этом занятии с самых отдаленных времен до наших. Напротив, мы скорее наблюдаем регресс. Чем менее цивилизован народ, тем выше у него искусство охоты. «Наши отцы были гораздо более искусными охотниками, чем мы», — утверждает Дидро.

Все это и еще несколько исторических справок нужны ему для того, чтобы в конце заметки заявить, что охота теперь — привилегия знати, пренебрегающей всеми прочими занятиями и не знающей ничего, кроме лошадей, собак, птиц, с помощью которых она охотится. От охоты страдает сельское хозяйство.

Олени, лани, птицы уничтожают посевы, губят урожай. А во Франции крестьянина приговаривают к смертной казни, если он посягнет на жизнь оленя, нарушив привилегию знати.

«Если человек нечто более ценное, чем жизнь оленя, зачем его убивать? Если жизнь человека сто-

ит больше, чем жизнь всех оленей, зачем убивать человека, чтобы сохранить жизнь оленя?»

Излюбленное занятие знати разоряет и губит простых людей.

Законы, защищающие такой порядок вещей, беззаконны.

И так множество раз, особенно в первых двух томах, оберегая от разрушения свою осадную машину, Дидро в статьях с самыми взрывчатыми названиями не говорит ничего, что могло бы раздразнить гусей, а в маленьких скромных заметках о предметах самых невинных высказывается решительно.

Во многих статьях Дидро агитирует фактами. Факты сами становятся обвинительным приговором существующему порядку вещей.

Вот хотя бы статья «Привилегии». В ней Дидро приводит факты злоупотреблений. Система налогов приносит вред не только тем, кто их платит. Беднейшие слои населения — самые полезные для государства, ибо они обрабатывают землю и доставляют пропитание высшим классам, обременены налогами и разорены, это во-первых. И, во-вторых, образованные и талантливые люди из-за этой системы вынуждены испытывать отвращение к занятиям и должностям, требующим трудолюбия, и предпочитать им ничтожные занятия и праздные должности.

Познавательно интересна и статья «Fondateur», где Дидро характеризует сильные и слабые стороны стипендий, фондов.

К политическим выводам его приводит само толкование слов. Вот хотя бы слово «Авторитет». «Ни один человек от природы не получает права распоряжаться другими. Свобода — подарок неба, и каждый индивидуум от рождения получает право действовать по своему желанию». Так начинается рассуждение об авторитете политическом — власти, — который не может быть навязан народу.

Что же касается авторитета в спорах и писаниях, он определяется знаниями и правотой.

Правда, в этой статье для мимикрии Дидро ссылается еще на авторитет религии. Статья эта для

первого тома, гораздо менее решительного, чем другие.

И слово «Происхождение» (Origine) Дидро толкует опять-таки со своей политической позиции, решительно осуждая привилегии происхождения.

Но большая группа его статей — многие из них переведены на русский язык и вошли в седьмой том собрания сочинений Дидро — непосредственно трактует основные проблемы материалистического мировоззрения, теории познания, философии общества, политики.

Другой вопрос, что в естественнонаучных статьях Дидро наряду с добросовестным анализом опытов и разумными теоретическими построениями встречается еще много наивного, это так же понятно, как то, что он не мог подняться до исторического материализма.

Дидро серьезно рассуждает, например, о животных духах, движущихся по каналам тела. Объяснение опять же — в состоянии наук в то время — господстве физиологических теорий Декарта — флогистонной теории, теории теплорода, не поколебленном еще авторитете физиолога Галлера и биолога Линнея.

И вместе с тем Дидро опирается на Бюффона с его критикой системы Линнея, его учением об изменчивости видов под влиянием внешней среды и идет еще дальше на пути к эволюционной теории, к пониманию единства природы. В его статьях немало гениальных догадок, предвосхищающих не только Ламарка, но и Дарвина. Пусть он еще серьезно обсуждает различные теории местонахождения — седалища души, но, рассматривая теорию Бюффона о границах животного, растительного и минерального царств, он не может найти никаких заметных границ, и вся природа представляется ему лестницей существ от простейшего минерального образования к сложнейшему организму — человеческому телу.

Дидро не может еще отмахнуться от понятия души и негласно соавторствует с аббатом Ивоном

в статье «Душа» («Âme»), но зато он приходит к пониманию единства духа и тела.

А в статье «Природа» («Nature») он пишет: «Природа означает иногда систему мира, машину вселенной, собрание всех сотворенных существ». Пусть здесь еще встречается слово «сотворенных», но есть уже представление об единой системе.

Очень важна первая из его статей «Человек», отнесенная к естественной истории, но, по сути дела, закладывающая основы общего материалистического мировоззрения. «Человек с телесной стороны имеет сходство с животным, и если можем охватить его в перечислении всех существ природы, то будем вынуждены отнести его к классу животных. Он — самое лучшее и самое дурное из всех животных, и за этот двойной титул достоин быть их главой».

Другой вопрос, что отличительным признаком человеческого рода Дидро считает речь, не заикаясь о труде, и наивно заявляет: «Рождаясь, человек переходит из одной стихии в другую (из воды в воздух)».

Зато другое его заявление: «До трех лет жизнь человека весьма ненадежна» для того времени было совершенно правильным. Из шестерых братьев и сестер Дидро трое умерли в младенчестве, умирали и его собственные дети.

Любопытно еще и такое рассуждение, направленное, очевидно, против Руссо и руссоизма: «Естественный человек, которому природа старалась придать наиболее совершенные формы, ничем не превосходит общественного человека».

В философских и естественнонаучных статьях Дидро не могло не быть противоречий, и они были. Но была в них, как и во всей ведомой им «Энциклопедии», одна главная линия, главная цель. Он сам определил ее так: «Указать фанатизму его пределы, доказать несостоятельность теологических представлений перед научными воззрениями на природу и бесплодность сопротивления метафизики гиганту-младенцу — опыту». И он это делает даже в тех статьях, которые на первый взгляд укрепляют кано-

ны религии. В одних как автор, в других как редактор или негласный соавтор, к примеру, в дополнениях к статье «Душа».

Очень важно было разбить один из оплотов теологии — учение о врожденных идеях, прочно державшееся и в философии со времен Декарта. Врожденным идеям противостоит ощущение как первоисточник представлений о внешнем мире, а первопричина ощущений — материя.

Ощущение открыл не Дидро, но от английского сенсуализма (сенсе — чувство) ответвились различные направления. Юм пришел к скептицизму, Беркли к спиритуализму, камнем преткновения для него оказалась проблема существования тел независимо от воспринимающего субъекта. До последовательного материализма не поднялся и Даламбер, он не признал материю способной мыслить и желать и оставил за душой нематериальность.

Последовательнее всех оказался Дидро, опередив и своего друга Кандильяка.

Одна из самых важных статей «Энциклопедии» — статья Дидро «Ощущение».

Она наносит неотразимый удар субъективизму и спиритуализму, рассматривая душу — то, что мы называем сознанием, «как предмет воздействия, а материю, как всеобщую причину наших ощущений, одновременно являющуюся их предметом».

Прямыми попаданиями в старый порядок были статьи Дидро откровенно революционизирующего действия, те, что шли по разделам философии общества и политики.

Если бы во второй его статье «Человек» не было ничего, кроме утверждения «Трудолюбивыми люди могут быть лишь, когда они свободны», и то она бы оказывала революционизирующее действие. Но в этой статье есть и программные заявления буржуазии, восстающей против политических и экономических препон абсолютизма. «Самое плохое управление, какое только можно вообразить, то, при котором из-за отсутствия свободной торговли изобилие становится иногда для края таким же бичом,

как и оскудение». Дидро требует в этой статье: «Нужно сократить число производителей предметов роскоши и челядь!»

В статье «Гражданин» («Citoyen») — она идет по разделам древней и новой истории и общественного права — Дидро указывает гражданам их права и обязанности. Вот как он определяет, что такое гражданин: «Это тот, кто является членом объединения многих людей, кто разделяет его права и выполняет его обязанности».

В большой статье «Законодатель» — по разделу «Политика» — Дидро декларирует: «Всякий законодатель должен стремиться к укреплению государства и счастью граждан». Он приводит примеры различных государств. «Во Франции законодателем является король; в Женеве — народ; в Венеции и Генуе — дворянство; в Англии — обе палаты и король», словно бы не показывая своего отношения к ним. Но его позиция ясна из того, что говорится потом. Беспомощность людей в естественном состоянии заставляет их соединиться в общество, жертвуя некоторой долей равенства и свободы, которыми они пользовались. А «законодатель выполняет свою функцию, когда он насколько возможно меньше умаляет равенство и свободу людей, доставляет им насколько возможно больше спокойствия и счастья».

Правда, в этой статье Дидро рекомендует республиканский образ правления только небольшим государствам, а большим — монархический, противопоставляет южные народы, которые могут нуждаться лишь в развлечениях, северным, поглощенным заботами о необходимом. Но для того чтобы люди возможно меньше чувствовали утрату преимуществ естественного состояния, он считает обязательным для законодателей всех стран «при всех климатических условиях, при всех обстоятельствах, при всех видах правления ставить своей целью изменить дух собственности на дух всеобщности».

Дидро утверждает, что «законодатель увеличивает авторитет, приданный ему законами, авторитетом мнения (общественного. — *А. А.*), а единственно проч-

ным является мнение, основанное на счастье и одобрении граждан... При плохом управлении лучшие законы не спасут государство от упадка, а народы — от разорения».

Он предостерегает законодателя от всего, что отдает тиранией. «Нечего ждать добра ни для государства, ни для его граждан, если законодатель не уважает общего желания, заставляет чувствовать собственную власть больше, нежели власть закона, проявляет надменность, приносит своих подданных в жертву своей семье, финансы — своей прихоти, благоволит к человеку, который нравится больше, нежели к человеку, который может принести пользу, если почести и должности добываются с помощью услуги». И читатель без труда догадывался, что все эти злоупотребления имели место во Франции того времени.

Очевидно, для цензуры Дидро говорит, что законодатель должен любить и уважать религию и внушать к ней любовь и уважение. Однако законы и их исполнение должны быть независимы от культа и религиозных догм.

Не случайно так часто в этой статье встречаются ссылки на Монтескье. Его «Дух законов», так же как «Общественный договор» Руссо, «Кодекс природы», (Морелли, очевидно, псевдоним одного из друзей Дидро), содержали теоретические предпосылки, на которых основывалась критика общественного и политического строя энциклопедистами. Естественным продолжением этих трудов и в первую очередь политических статей Дидро в «Энциклопедии» явились декреты революционных правительств и Декларация прав человека и гражданина.

Но совершенно естественны в этой статье положительные примеры благожелательных отношений законодателя с его народом; уже встречавшийся нам французский король Генрих IV и датский король Канут Добрый, живший со своим народом, как отец с детьми.

На тех же идейных дрожжах заквашены и статьи

Дидро «Государи» и «Тираны». В первой статье, исторически обусловив возникновение государства и избранных народом государей, Дидро предостерегает монархов от злоупотреблений властью, от заблуждений, пагубных для счастья народа.

Как положительный пример он приводит слова английского короля Карла II: «Я хочу быть гражданином своего народа».

С большой страстью и политической заостренностью написана маленькая статья «Тираны». Прежде этим словом греки называли гражданина, захватившего верховную власть над свободным государством, теперь же «тираном зовут и законного государя, злоупотребляющего своей властью, попирая законы, делая своих подданных жертвами своих страстей и несправедливых притязаний, которыми он подменяет законы».

Дидро в этой статье — недаром она была напечатана в одном из последних, самых радикальных томов, — решительно заявляет: «Из всех бичей, терзающих человечество, *тираны* являются самым пагубным».

Грозным предостережением царствующим тиранам, и в том числе Людовику XV, звучат его слова: «Если мир и знает несколько счастливых тиранов, наслаждавшихся плодами своих злодеяний, то таких примеров немного, и нет ничего более удивительного, нежели тиран, умирающий в своей постели».

Атакуя властителей земли, Дидро не забывал и о властителях неба. И он не только материализмом побивал религиозные догматы, но штурмовал своими статьями и губительную власть духовенства, его реакционность, жестокость, его нетерпимость.

Свою ненависть к церкви и ее слугам Дидро вынужден был порой прикрывать фиговыми листочками заверений в любви и уважении к религии. Но иногда ему удавалось обходиться и без листочков.

Умело пользуясь тем, что по-французски «prêtre» значит не только священник, но и вообще служитель культа, жрец, он сравнивает католического аббата или кюре с египетским или мексиканским жрецом.

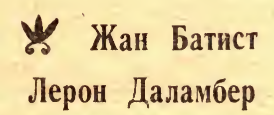
И в статье под этим названием доказывает, что власть священников держится только на суеверии и обмане, и говорит об их честолюбии, жестокости, жадности. Он сравнивает костры инквизиции с мексиканскими жертвоприношениями.

Одной из самых боевых и программных статей Дидро для «Энциклопедии» была «Нетерпимость». Умело пользуясь эзоповым языком, ссылаясь на Священное писание, на авторитеты святых отцов, маскируя ими от цензуры собственные убеждения, он наносит неотразимый удар и религии, и церкви, и государству, поддерживающему религиозную нетерпимость.

Везде и всегда Дидро противопоставлял принуждению убеждение.

На то он и был просветителем и верил, что, если люди поймут, что так дальше жить нельзя, они упразднят старый порядок.

VI



Жан Батист Лерон Даламбер

Кондорсе однажды сказал: «Настоящие предки великого человека — его великие наставники, родившиеся раньше, чем он, а настоящие потомки — ученики его достойные». Как не вспомнить этот афоризм, прежде чем приступить к рассказу о происхождении Даламбера?

И как не вспомнить слова Дидро: «Кому придет в голову спрашивать у Даламбера, есть ли у него отец? Разве его будут меньше уважать, если узнают случайно, что у него нет отца?»

Так рассуждал Дидро после многих лет знакомства и дружбы с Даламбером. Но мог ли он предвидеть, какое место в науке, в общественной жизни

и жизни его собственной займет один из товарищей его молодости — Жан Батист Лерон, когда тот приносил ему в 1737 году свои математические книги, вняв увещеваниям родных не заниматься больше этой наукой, «пагубной» для его карьеры?!

Даламбер был незаконнорожденным сыном не то генерала, не то артиллерийского офицера, шевалье Детуш, и писательницы, мадемуазель Тансен. Об отце Даламбера мы знаем мало. О матери — больше. Биография маркизы Клодины де Тансен любопытна. Родители заставили ее постричься в монахини. Не выдержав тягот монастырской жизни, девушка бежала в Париж и через влиятельного покровителя добилась разрешения папы нарушить данный богу обет.

Длинный список возлюбленных бывшей монахини очень разнообразен. Он начинается регентом Франции и кончается ее домашним врачом, в чью пользу она составила завещание, не оспоренное ее благородным сыном. Отец Даламбера занимает в списке четвертое место, но далеко его не завершает. Тансен пренебрегла Детушем. Наряду с боязнью огласки — вероятно, ей хотелось скрыть, что у нее незаконнорожденный ребенок, — это послужило причиной полного ее равнодушия, чтобы не сказать — неприязни, к сыну.

Исторические романы мадемуазель Тансен пользовались успехом. Она была хороша собой, умна, остроумна. Салон ее стал одним из самых популярных в Париже. Его посещали писатели, ученые, высокопоставленные особы. Словечки хозяйки повторялись. Так, ей принадлежало следующее остроумное изречение — оно и теперь не устарело — «Ремесло писателя заслуживает сожаления. Всякий сапожник, когда шьет сапоги, знает, что его работа наверняка сойдет с рук. Писатель же никогда не может ожидать этого от своей книги, как бы она ни была хороша».

Современники, однако, свидетельствуют, что мадемуазель Тансен отличалась редким бессердечьем, замаскированным мягкостью манер, чтобы не ска-

зать — вкрадчивостью, и умела расположить к себе всякого, кто был ей нужен.

Нам не трудно будет убедиться, что, унаследовав от матери ум и талант, Даламбер не перенял ее дурных нравственных качеств.

Общество, у нее собиравшееся, мадемуазель называла своим зверинцем, дарила гостям, а точнее — гостьям, принадлежности своего туалета, называла их ласковыми, уменьшительными именами. Но многие говорили, если ей понадобится кого-нибудь отравить, мадемуазель нисколько не задумается, только яд выберет самый тонкий и нежный.

Приходится ли удивляться, что ее только что родившийся сын, хилый и слабенький, был найден на ступеньках маленькой церковки Сен-Жан-Лерон, в переводе — святого Иоанна Круглого?! А было это в промозглое осеннее утро, 7 ноября 1717 года. Ребенка и окрестили в честь этого святого — Жаном, добавив еще одно имя — Батист, а фамилию дали тоже по этому святому — Лерон. Даламбером он стал называть себя позже.

К счастью, шевалье Детуш оказался несравненно более нежным отцом, чем мадемуазель Тансен матерью. Вернувшись в Париж после отлучки по делам службы, он с большим трудом вырвал у бывшей любовницы сведения, без которых не смог бы разыскать сына.

Мальчик был у кормилицы в деревне. Комиссар полиции не рискнул отдать его в приют для подкидышей, где он вряд ли выжил бы.

Мадам Сюар, жена близкого к энциклопедистам литератора, в своих «Воспоминаниях», со слов самого Даламбера, рассказывает, что шевалье разъезжал по всему Парижу с чуть живым младенцем, кутая его в свой плащ. Ни одна женщина не решалась взять ребенка, боясь, чтобы он тут же не испустил дух.

Наконец нашлась одна добрая душа, жена стекольщика, матушка Руссо. Самоотверженность встречается у бедных гораздо чаще, чем у богатых, — Даламбер понял это очень рано. Она взяла его на свое попечение, когда голова мальчика была не боль-

ше обыкновенного яблока, руки висели, как плети, пальцы были тонки, как спицы.

Для Даламбера обернулось большой удачей, что он вырос в этой трудовой, неприхотливой, дружной, доброй семье.

Он получал здесь уроки не менее важные, чем в пансионе, коллеже, академии, научился уважать труд, понимать нужду и горе простых людей, быть скромным и человечным. Навсегда сохранил Даламбер нежную привязанность к своей второй матери, продолжая жить у нее и когда стал знаменитым. Она же любила его больше, чем собственных детей.

Но Жан Батист не позволял себе осуждать и родную мать, постоянно им пренебрегавшую.

Матушка Руссо превосходно знала душу своего воспитанника, хотя и мало разбиралась в том, чем он занимался. Часто она говорила посмеиваясь:

— Ну, уж, видно, вы всю свою жизнь проживете философом!

Как-то Даламбер попросил свою кормилицу объяснить, что она имеет в виду под словом «философ». Матушка Руссо простодушно ответила:

— Философ — это такой странный человек, который лишает себя при жизни всего самого необходимого, работает с утра до вечера, и все для того только, чтобы о нем говорили после его смерти.

Даламбер уже тогда пользовался громкой славой, но держался так просто, что она этого и не подозревала. И не для признания, прижизненного или посмертного, он столько работал. Но о житейских благах он и в самом деле не думал, зимой ходил в осеннем пальто, летом в зимнем камзоле.

Однако вернемся к детству великого человека. Отец нежно о нем заботился, постоянно навещал его у кормилицы. В четыре года отдал сына в пансион. Способности к наукам и усердие Жана Батиста были таковы, что, едва ему исполнилось тринадцать лет, содержатель пансиона сказал родным: он передал ученику все, что знал сам, мальчика нужно отдать в коллеж, его примут сразу во второй класс. Ше-

валье к тому времени успел уже умереть, завещав сыну пожизненную ренту в триста франков, что потом избавило Даламбера от необходимости заниматься поделками, как приходилось Дидро.

Три года Даламбер пробыл в коллеже Мазарини, как почти все энциклопедисты, он учился у янсенистов. Один из профессоров коллежа старался отвлечь его от литературы, уверяя, что «поэзия сушит сердце». Усилия его оказались тщетными. Зато у другого профессора Даламбер два года слушал философию Декарта. Больше же всего он был обязан профессору математики Карону. Математика стала, как выразился сам Даламбер, его первой возлюбленной.

Из коллежа он вышел и превосходным оратором: в то время на красноречие обращали большое внимание. Этот дар ему очень пригодился впоследствии.

Затем он выдержал экзамен на степень бакалавра искусств, два года посещал Академию юридических наук и вышел оттуда лиценциатом права. Совесть не позволила ему стать адвокатом: слишком мало встречалось дел, где обвиняемый был бы действительно невиновен.

За юриспруденцией последовала медицина. Недаром слово «энциклопедист» имеет второй смысл: «человек, знающий все».

Математикой он занимается пока для собственного удовольствия, но все больше и больше увлекается ею. Родные, заботам которых поручил его отец, убеждают юношу оставить математику: с ней далеко не уйдешь — хорошо нам знакомая, традиционная история! Он поначалу внимает увещеваниям и тогда-то и относит все свои математические книги Дидро.

Но задачи продолжают носиться в его голове, не давая ни минуты покоя. Решение всякий раз нужно было проверить. Тогда он шел за той или другой своей книгой к Дидро и постепенно перетащил их все обратно.

Математика победила. В двадцать лет Даламбер забросил ради нее медицину, а в двадцать четыре был уже светилом математических наук.

Изменив медицине, он снова поселился у мадам Руссо, радуясь тому, что к скромным достаткам семьи прибавит свою ренту. И теперь каждое утро он вскакивал с постели в своей маленькой душной комнате и, едва умывшись и одевшись, садился за труд, прерванный накануне.

Жизнь ученого внешне однообразна, но каждый день приносит ему новые, скрытые от других радости.

Вечерами он ходил в театр, наслаждался искусством актеров, но в антрактах думал о еще большем наслаждении, которое утром принесут ему занятия.

Даламбер сам, без излишней скромности, но достаточно беспристрастно набросал свой литературный портрет. Вот как он начинается: «Во внешности Даламбера нет ничего особо примечательного — ни хорошего, ни дурного, обычное выражение его лица ироническое и насмешливое. Говорит неровно — то чересчур весело, то слишком серьезно, смотря по настроению, часто речь его бывает отрывиста, но никогда она не способна утомить и наскучить. Веселость его иногда переходит в школярство, это мальчишество представляет поразительный контраст с солидной репутацией, приобретенной им в ученом мире, и располагает к нему всех; он нравится всем, хотя нисколько об этом не заботится. Он редко спорит, хотя и стоит за свои убеждения, ему нет необходимости насильно заставлять других разделять его мысли. Последнее, впрочем, объясняется тем, что он только в области точных наук признает существование абсолютных истин; все же остальное кажется ему относительным и условным, он думает — обо всем остальном можно говорить все что угодно».

Одно признание завершает этот мастерский автопортрет, исповедь души: «...не удивительно, что он в молодости своей был доступен самой живой, нежной и сладостной из всех страстей. Долгое время, однако, вследствие уединения, это чувство таилось в глубине его души, погруженное в глубокий сон; но пробуждение было ужасно: любовь дала Даламберу одно только горе, и оно надолго внушило ему

равнодушие ко всему на свете: к людям, к жизни, к науке...»

Действительно, женщина, которую он любил самозабвенно, «сестра» энциклопедистов — мадемуазель Леспинас принесла ему, подобно родной матери, много горя. Покончив жизнь самоубийством, она сделала его своим душеприказчиком и заставила разбирать письма, содержавшие доказательство того, что была ему не верна и в те восемь лет, когда он считал себя единственным предметом ее любви. Мало того, она завещала своему последнему возлюбленному Жиберу, пренебрегшему ею, сочинения, которые писала вместе с Даламбером, и тому пришлось расстаться с рукописями, составлявшими часть его самого.

Даламбер отнюдь не был сколком с Дидро и во многом являл ему полную противоположность. Он отступил, когда тот остался непреклонен. Но в них было много и общего. Познакомившись с Гольбахом, Гельвецием и другими членами братства энциклопедистов, мы поймем, что это не случайное сходство, но общность психологического склада людей, отдавших свою жизнь служению человечеству. И вместе с тем эти люди были сама жизнь.

Среди посетителей салона мадам Жофрен самым веселым, самым воодушевленным, самым занимательным в своей веселости считался Даламбер.

Мармонтель пишет в своих мемуарах: «Проведя утро за алгеброй и решением проблем динамики и астрономии, он выходил от своей кормилицы, как школьник, вырвавшийся из коллежа, не помышляя ни о чем, кроме развлечений, и принося с собой манеры такие живые и приятные, ум такой светлый, глубокий, основательный, что заставлял забывать о себе, как ученом, и видеть в нем только любезного человека.

Между тем, когда Даламбер сделал в академии 19 июля 1739 года свое первое сообщение, удостоившись похвалы математика Клеро, ему был всего двадцать один год. Через год юный ученый представил академии свои исследования по механике жидко-

стей — они отличались большой оригинальностью и смелостью. Его зачислили адъюнктом академии — первая ступень ее иерархии — по секции астрономии.

В 1743-м он издал трактат о динамике, который поставил его в ряд с крупнейшими учеными Европы. Один из его преемников, великий математик Лагранж, через пятьдесят лет написавший историю механики, говорил об этой книге Даламбера, что она сразу положила конец путанице и хаосу, до него господствовавшим в данной отрасли науки.

А биограф Даламбера, известный математик Бетран, прибавил к этому отзывы, что во вступлении к трактату он в первый раз показал свои дарования писателя и философа.

И все-таки академическая карьера Даламбера не получалась. В 1756 году король передал через графа Даржансона пожелание, чтобы Даламбера зачислили во внештатные пенсионеры академии — одни пенсионеры пользовались там полными правами. И с этим не посчитались. На одной чаше весов карьеры Даламбера лежала его гениальность, на другой — независимость права. Независимость долго перетягивала. Только в 1765 году Даламберу присвоили звание титулованного или ординарного академика. И как же торжествовал Дидро, когда его друга, наконец, избрали!

Не меньшие, чем в математике, заслуги Даламбера и в астрономии. Одной теории предварения равноденствия было бы достаточно, чтобы обессмертить его имя. А ему принадлежат еще и сочинения о системе мира, теория движения Луны.

Продолжив своими трудами открытия Ньютона, он подготовил ими своего преемника Лапласа.

Нужно ли объяснять, какое значение имело для того времени развитие точных и естественных наук? И пусть сам Даламбер не поднялся до философского материализма, он много для него сделал.

А с другой стороны, не знаешь, кому из двух Даламберов отдать предпочтение: Даламберу-ученому или Даламберу-человеку, и как отделить одного от другого.

Очень характерна сама история знакомства Даламбера с Лапласом. Талантливый самоучка, деревенский парень, Лаплас приехал в Париж с рекомендацией какого-то важного лица, адресованной Даламберу. Но, получив рекомендательное письмо, академик юношу не принял. Тогда Лапласу пришла в голову счастливая мысль — самому написать Даламберу, изложив свои взгляды на общие законы механики.

Тот ответил ему на следующий же день. Знаменитый ученый писал безвестному молодому человеку: «Милостивый государь! Вы имели случай убедиться, как мало я обращаю внимания на рекомендации. Но вам они были совершенно не нужны, вы *зарекомендовали себя сами,* и мне этого совершенно достаточно, моя помощь к вашим услугам. Приходите же, я жду вас!»

И действительно, через несколько дней благодаря содействию Даламбера Лаплас получил место профессора математики в «Коллеж милитэр».

С тех пор Даламбер никогда не терял Лапласа из виду и всегда о нем заботился. Так он относился ко всем талантливым людям. Великодушие и широту души Даламбера характеризует следующий случай. Лагранж опровергал некоторые его математические теории, а он доставил своему оппоненту место и средства существования в Берлине.

Но от помощи бездарностям он отказывался куда решительнее, чем Дидро. Кстати сказать, Даламбер никогда не был профессором коллежа или университета и даже в молодости не давал уроков, довольствуясь своей скромной рентой.

Много лет он был постоянным секретарем Французской академии, отнюдь не скрывая неприязни, которую вызывали в нем многие академики.

Собрание похвальных речей Даламбера, произнесенных в честь академиков, скончавшихся с 1700 по 1772 годы, — это и содержательные очерки истории науки, литературы, общественной мысли и блистательные памфлеты на дутых знаменитостей.

Труды его невероятно разнообразны, а многие и огромны по своему значению. Открытый им закон движения несвободных тел носит имя закона Даламбера, и можно ли изучать математику без его теории движения?! Взыскательный Вольтер назвал его первым писателем своего века, а историк французской литературы Лагарп включил в число пятерых замечательных литераторов, оказавших огромные услуги истинной философии. Даламбер написал и «Элементы философии» и «Начала музыки»! Издал два тома «Смеси литературы, истории, философии».

Огромный интерес по сей день представляет его переписка с Вольтером, она длилась десятилетиями и охватывала решительно все.

Но, отдавая дань разносторонней одаренности Даламбера и широте его знаний, мы ко многому из того, что он сделал, не можем не отнестись критически. Так, высоко оценивая его как писателя и философа, Вольтер, Лагарп и многие другие допускали явные преувеличения. Значительно трезвее был Дидро; в одном из его писем мы читаем: «Даламбер в день закрытия Французской академии произнес речь по поводу поэзии [1]. Мне сказывали, что «Илиада» и «Энеида» трактуются в этой речи как невыносимо скучные произведения, а «Освобожденный Иерусалим» и «Генриада» превозносятся как единственные эпические поэмы, какие можно прочитать от начала до конца. Вот что значит говорить о том, что плохо знаешь. Трудно тогда не наболтать глупостей. Человек этот ничего не смыслит в языке Гомера... Лучше бы сидел он на своих уравнениях. Вот его удел».

Конечно же, Дидро прав. «Илиада» Гомера и «Энеида» Вергилия — вершины античной эпической поэзии, доставляют нам огромное эстетическое наслаждение и сейчас. А «Освобожденный Иерусалим» итальянского поэта Торквато Тассо и эпическая поэ-

[1] Речь, произнесенная в 1760 году, напечатана в собрании сочинений Даламбера под названием «Размышление о поэзии».

ма Вольтера «Генриада» сохранили только историческое значение. Правда, Даламбер, в свою очередь, подтрунивал над занятиями Дидро математикой.

История внесла еще более существенные поправки в оценку трудов Даламбера. В то время вершиной всего сделанного им представлялись первые части «Предварительного рассуждения» к «Энциклопедии». (Третью часть — объяснение к родословному древу знания — написал Дидро.)

«Предварительное рассуждение» и в самом деле начинало новую эпоху умственной жизни Франции. Современники особенно высоко оценили две части «рассуждения», написанные Даламбером: «только истинно гениальному человеку подвластны все науки: он может быть одновременно писателем, великим математиком, глубоким философом и со всеми редкими способностями соединять красоту, благородство, силу и изящество слога, которые придают всем его разнообразным трудам какую-то особенную привлекательность».

Другой современник писал, что «в любом веке найдется не более двух-трех человек, которые могли бы выполнить такой труд».

Что же представляли собой две части «Предварительного рассуждения», если посмотреть на них вашими глазами? Это была история и критический разбор всего накопленного к тому времени запаса человеческих знаний, как бы квинтэссенция наук, философских учений, литературных направлений. Первая из двух частей содержала историю возникновения человеческих знаний, вторая — историческую картину успехов науки, начиная с Возрождения. Это было очень много и очень важно.

Но, подытоживая знания, достигнутые к середине XVIII века, написанное Даламбером было только взглядом назад и не вело вперед, не предвосхищало содержания последующих томов «Энциклопедии» и тем менее последующего развития материализма. Дидро и другие материалисты очень быстро пошли дальше.

Между тем труды Даламбера по математике и астрономии выдержали проверку временем и сохранили непосредственное значение для современной науки. Для нас Даламбер прежде всего математик.

Но это нисколько не умаляет его исторической заслуги как соредактора «Энциклопедии», хотя он и перестал им быть после седьмого тома: испугавшись преследований и нападок, ретировался с поля битвы. Но даже это не позволяет забыть, как непреклонно он держался в других случаях. С редким чувством независимости, отсутствием мелкого тщеславия, равнодушием к чинам и богатству Даламбер пренебрегал предложениями коронованных особ, заигрывавших с ним, как и с другими французскими философами, учеными, художниками. Соблюдая справедливость, мы не можем не отдать ему предпочтения перед Вольтером, несколько лет прожившим при дворе Фридриха II, перед Гриммом, окончившим свою жизнь послом Екатерины II. Даламбер отказался заменить скончавшегося к тому времени Мопертюи в должности президента Берлинской академии наук, что вызвало восхищение Дидро. А десятью годами позже — от предложения Екатерины II стать воспитателем ее сына и от ста тысяч ежегодного вознаграждения.

Подобно Дидро, он не нажил своим гением богатства, довольствуясь всю жизнь скромными пенсиями.

Вот кредо Даламбера, изложенное в его «Эссе об обществе литераторов и о великих»: «Счастливы те литераторы, которые пришли к выводу, что самый верный способ заставить себя уважать заключается в том, чтобы жить в согласии между собой и совершенно в стороне от великих... что благодаря взаимному согласию они без большого труда дойдут до того, что будут предписывать всей нации законы в вопросах вкуса и философии, что настоящее уважение есть то, которое оказывается нам по приговору тех людей, которые сами достойны уважения».

Умер Даламбер только годом раньше Дидро — в 1783-м.

VII



Барон Гольбах

Полное имя гражданина литературной республики Гольбаха звучало так: Поль Анри Тири (Пауль Генрих Дитрих) Гольбах, барон де Шесс, сеньор Ланда, Вольберга и других мест.

Он не был ни сыном ножовых дел мастера, как Дидро, ни сыном часовщика, как Руссо, ни незаконнорожденным, как Даламбер. И, однако, эта титулованная персона, богач сделал для материализма и социальной философии, подготовивших революцию, больше многих выходцев из третьего сословия, а в разоблачении религии не только оставил вопреки общепринятому мнению далеко позади Вольтера, но пошел дальше всех своих современников.

Родившись в Гейдельберге в 1723-м, он был моложе и Дидро и Даламбера. Немец по происхождению, он получил образование сперва во Франции, а затем в Нидерландах, в Лейденском университете. В конце сороковых годов поселился в Париже, на французской почве завершив свое духовное развитие и до самого конца жизни не покидая своей второй родины.

Аббат-вольнодумец Гальяни, итальянский дипломат, экономист, не менее прославившийся своими остроумными побасенками, прозвал его метрдотелем философии. Барон и в самом деле давал обеды для друзей-энциклопедистов в своем парижском особняке на улице Рояль-Сен-Рош, и они постоянно гащивали в имении его тещи Гранвале. Но прозвище имело и более глубокий смысл: барон был метрдотелем и духовной кухни «Энциклопедии».

С полным правом можно его назвать и ее библиотекарем, библиографом и ученым консультантом. «Какие бы системы ни породило мое воображение, — говаривал Дидро, — я уверен, что мой друг Гольбах подберет к ним факты и аргументы». Его дом на ули-

це Рояль-Сен-Рош справедливо называли «вспомогательной конторой «Энциклопедии».

Барон был энциклопедистом из энциклопедистов, просветителем из просветителей. Соредактор Гримма по рукописному журналу «Корреспонденция» Мейстер писал о нем: «Я не встречал человека более ученого и универсально образованного. Никто не передавал другим свои знания с меньшей амбицией». Это в равной мере справедливо и по отношению к легальным статьям Гольбаха для «Энциклопедии» и к «Карманному богословию» — антирелигиозному памфлету, понятному самому неподготовленному читателю, и к советам и справкам, которые Гольбах давал друзьям.

Барона можно назвать и хранителем музея «Энциклопедии»: у него была интереснейшая коллекция естественноисторических курьезов, превосходная картинная галерея, а по воскресеньям он давал обеды для художников.

Внешность и манеры барона соответствовали его уму и таланту. Даже длинный нос и густые брови не портили его, а только придавали правильным чертам лица естественную прелесть.

Столько же естественной прелести было в его манере держаться.

«Наш барон был неподражаемо весел, — писал Дидро 10 мая 1759 года Софи Волан. — Представьте себе сатира, веселого, остроумного, непристойного и нервного, среди группы целомудренных, вялых и изнеженных людей. Таким он был среди нас».

Это не значит, что таким барон был всегда. Мы встретим и совсем иные отзывы у Дидро, нередко досадовавшего на своего друга. Но люди не часы, они не могут всегда показывать одно и то же время суток, и само время не могло не изменить Гольбаха, как изменяет оно всех.

У барона было шестьдесят тысяч ливров годового дохода. Но никто так благородно не пользовался своим богатством. Он говорил Гельвецию: «Вы поссорились со всеми, кому оказали услугу. Я сохранил всех моих друзей». И говорил чистую правду. Аристократ

и богач, он был удивительно демократичен не только по своим убеждениям, но и по своей натуре.

«Человек наиболее просто простой», — говорила о нем баронесса Гольбах. (После смерти первой жены, урожденной Дэн, он женился на ее сестре, по-французски Шарлотте, или, на немецкий лад, Каролине.)

Вот случай, как нельзя лучше характеризующий барона. Прочтем о нем в письме Дидро из Гранваля. «Последние известия, полученные нами из Парижа, встревожили барона. У него имеются значительные суммы, помещенные в королевских бумагах... «Послушайте, жена моя, — сказал он своей супруге, — если так будет продолжаться, я ликвидирую все наше имущество, куплю вам красивый плащ и хорошенький зонтик, и мы всю жизнь нашу будем благодарить мосье де Силуэтт (главного контролера. — *А. А.*) за то, что он избавил нас от лошадей, лакеев, кучеров, горничных, поваров, званых обедов, фальшивых друзей, докучливых посетителей и прочих привилегий богатства».

Были у него и слабости. Современники замечали, что он любил посудачить. Дидро подшучивал над склонностью барона читать всем свои произведения, жаловался на его мучительный характер, называл его странным существом, огорчался тем, что этот человек, у которого, казалось бы, имелось все, чтобы быть счастливым, постоянно страдал.

Дидро рассказывает о впечатлениях, вынесенных Гольбахом из путешествия в Англию. Он сам изменил свое отношение к ней со времен Габриель Бабюти. «...когда барон туда уезжал, у него было предубеждение против этой страны; он встретил там наилюбезнейший прием, пользовался превосходным здоровьем и тем не менее остался недоволен; не понравился ему край; он нашел его ни столь населенным, ни столь возделанным, как говорили; не понравились здания, почти все старинные и необычной архитектуры, не понравились сады, в которых чрезмерное подражание природе не лучше однообразной искусственной симметрии; не понравились безвкусица, с какой в пре-

красном дворце нагромождены в одну кучу и превосходные, и хорошие, и плохие, и отвратительные вещи...

Не понравились развлечения, похожие на религиозные обряды; не понравились люди, чьи лица не выражают ни доверия, ни веселости, ни общительности и как будто спрашивают у вас, что между нами общего?.. Не понравились дружеские обеды, где каждый занимает место по рангу, где гости соблюдают чинность и церемонии, не понравились и обеды на постоялых дворах, где подают хорошо и быстро, но не ласково».

Единственное, что он похвалил, — это удобство передвижения...

«Во время путешествия по Англии барон весьма приохотился к жизни во Франции; он сознался нам, что каждую минуту ловил себя на мысли о Париже».

В следующем письме к своей подруге, продолжая сообщать ей рассуждения барона об Англии, Дидро переходит к самому главному для Гольбаха и для него самого. «Не думайте, что неравный раздел богатства существует только во Франции. В Англии насчитывается сотни две вельмож, имеющих по шестьсот, семьсот, восемьсот, девятьсот и более тысяч ливров годового дохода; многочисленное духовенство, как и у нас, владеет четвертой частью государственных угодий, правда, оно пропорционально платит налог, чего нет у нас; судите сами, много ли остается на долю остальных граждан».

Английский двор развращает подданных, а это не лучше тирании. Общественного воспитания в Англии нет совершенно.

Высмеивает барон такую же, как у французов, страсть обращать в свою веру неверных. Христианская вера угасла в Англии почти совершенно, но что для атеиста Гольбаха особенно важно, хотя деистов там великое множество, атеистов почти нет, а те, что есть, скрывают свой атеизм. «Атеист и злодей означают для англичан почти одно и то же», — с возмущением отмечает он. И сразу же за этими словами следует рассказ, как, в первый раз обедая у барона,

английский философ Юм вздумал сказать хозяину, что не верит в существование атеистов, ибо никогда их не видал. «Сосчитайте, сколько нас народу за столом», — ответил барон. Нас было восемнадцать человек. «Мне лестно, что я могу на первый же раз показать вам пятнадцать атеистов: остальные трое не имеют на этот счет твердых убеждений», — добавил барон.

Не вдаваясь в обсуждение того, насколько справедлив Гольбах к Англии и англичанам, отметим, что главный удар своей критики он направляет на три важнейшие мишени: социальное неравенство, несовершенство управления, религию.

Не извиним ли мы за это его слабостей?

По свидетельству все тех же современников, единственной страстью его была ненависть к священникам. За нее мы тем более не осудим барона. Ей мы обязаны его антирелигиозным памфлетам.

«Бойкая, живая, талантливая, остроумно и открыто нападающая на господствующую поповщину, публицистика старых атеистов XVIII века», — писал В. И. Ленин в первые годы советской власти, имея в виду прежде всего атеистическую публицистику Дидро и Гольбаха, указывая, что они способны принести немалую пользу в борьбе с религиозными предрассудками.

До сих пор его памфлеты приносят нам пользу. «Карманное богословие», к примеру сказать, вышло в Москве в 1959 году тиражом в 200 тысяч экземпляров.

А штурмовать небо даже больше, чем землю, Гольбаха побуждали те же причины, что и Дидро. Церковь была главной силой, поддерживавшей старый порядок.

Вот почему он получил прозвище «личного врага бога».

Его атеизм вырос не на голой почве. Он опирался на вольнодумцев французского Возрождения — Франсуа Рабле, Бонавентура Деперье и казненного инквизиторами Этьена Доле, печатавшего в своей типографии собственные сочинения и сочинения других

гуманистов. И на атеистически направленный философский скептицизм «Опытов» Монтэня и на других передовых французских мыслителей прошлых веков — достаточно назвать прославившегося в XVII веке своими памфлетами, оказывавшими огромное влияние на умы современников, Сент-Эвремона. Чаще всего Гольбах ссылался на Пьера Бейля — он первый решительно размежевал религию и нравственность, а Дидро и Гольбах продолжили и укрепили это размежевание.

Но учителями и предшественниками Гольбаха были не одни французы. И значение того, что он делал, далеко выходило за границы Франции. Иначе и быть не могло. Труды французских энциклопедистов XVIII столетия, объединявшихся вокруг Дидро и Гольбаха, были для того времени высшей ступенью европейской материалистической философии. Они были и самым решительным выводом из предшествовавшей критики религии и церкви, из завоеваний естественных наук, обогатившихся к середине XVIII века важными открытиями и наблюдениями. А расцвет естествознания отвечал потребностям развивающейся промышленности.

Монументальная «Система природы» — труд не одного Гольбаха, но в большой степени и его труд, эта «библия атеизма» явилась словно бы итогом западноевропейской материалистической философии и критики религии почти за три века.

Однако сам Гольбах пришел к атеизму и материализму не только от проштудированных им философских сочинений, но и от естественных наук, которые знал всесторонне. Барон и литературные свои занятия начал с переводов на французский язык книг по физике, минералогии, геологии, физиологии, металлургии. Большей частью это и были те науки, в которых Германия опередила Францию.

В «Энциклопедии» Гольбах вел некоторые естественнонаучные разделы. Раздел «Химия», к примеру сказать, состоял целиком из его собственных статей и заметок.

Этим его участие в постройке осадной машины против старого порядка не ограничилось. Он делил

с Дидро невзгоды, которыми так щедро был усыпан путь редактора «Энциклопедии», не только не оставил его, но вместе с ним вел все сражения.

Знаменитый гольбаховский салон служил как бы идейной лабораторией энциклопедистов, где оттачивалась и проверялась их теория.

Но дом его на улице Рояль-Сен-Рош с полным правом можно назвать и литературным цехом, где неутомимо работал сам хозяин, заражая своей энергией и других. Филиалом «лаборатории» и «цеха» было поместье его тещи, Гранваль.

Гольбах больше всего сделал в годы 1766—1772-й, когда «Энциклопедия» была в основном уже завершена. В эти шесть лет написаны почти все его антирелигиозные памфлеты и «Система природы». Барону помогали и с ним сотрудничали Нэжон и другие. Гольбах переделал несколько книг французских и английских материалистов — Фрере, Толанда, Гоббса, Коллинза. Из них составилась своего рода популярная атеистическая библиотека, а жемчужиной ее был гольбаховский перевод замечательного памятника материализма и атеизма древних — поэмы Лукреция «О природе вещей».

По поводу этой атаки твердынь религии Дидро в 1767 году писал: «Не знаю, что случится с нашей бедной церковью Христовой и пророчеством, которое гласит, что врата адовы не одолеют ее». И годом позже — «Бомбы градом сыплются на божий дом...»

Первой такой бомбой, сброшенной Гольбахом на «божий дом», был напечатанный в 1761 году памфлет «Разоблачение христианства».

В 1766-м с помощью Нэжона и других участников кружка он составил уже упоминавшееся «Карманное богословие». Вот несколько выдержек из этой блистательной сатиры на богословскую премудрость, написанной в форме словаря:

«Бессмертие»... «Церкви необходимо, чтобы наши души были бессмертны, — иначе мы могли бы обойтись без духовенства, и оно потерпело бы полный крах».

«Благодать — дар, которым бог награждает, ко-

го ему вздумается, оставляя за собой право наказывать тех, кого он не пожелает этим даром осчастливить».

«Папские доходы» — «Католические государи весьма мудро разрешают одному иностранному князю грабить духовенство своих стран, иначе эти последние не могли бы законно использовать божественное право грабить своих сограждан».

«Помазанники божие» — это люди весьма жирные или имеющие право на жирные приношения. Во все времена священники проявляли любовь к салу; повсюду питаются они салом, падающим с неба, благодаря их молитвам...»

В 1768-м, кроме переделок и переводов, выходят «Священная зараза, или Естественная история суеверия» и «Письма к Евгении, или Предупреждение против предрассудков» — оригинальные произведения Гольбаха.

Больше всего шуму наделал «Здравый смысл». Одно за другим выходят в 1772 году издания этого памфлета. Он понятен всем. Он убеждает всех железной логикой своих доказательств.

Вот наудачу выхваченное название одного из параграфов этого памфлета — § 168: «Никакая мораль несовместима с религиозными принципами». А вот коротенькая выдержка из этого параграфа: «Подражайте богу!» — кричат нам то и дело. Нечего сказать, хороша была бы наша мораль, если бы мы подражали богу! И какому богу должны мы подражать? Уж не богу ли деистов? Но ведь даже этот бог не может служить нам неизменным образцом добродетели: если он творец всего сущего, значит, он в равной мере повинен и в добре и в зле, наблюдаемых нами в мире; если он творец гармонии, он одновременно и виновник хаоса и беспорядка, которые не имели бы места без его дозволения...»

Гольбах критиковал не одну католическую религию и все прочие религии, но и деизм.

Его занимало не только небо, но и земля. В те же семидесятые годы он опубликовал несколько книг по теории общества и государства. Их можно счесть

наиболее систематическим изложением социальной философии энциклопедистов.

«Здравая политика, — пишет Гольбах во введении к «Естественной политике», — не имеет в себе ничего таинственного и сверхъестественного. Из природы человек может вывести политическую систему, принципы которой столь же достоверны, как принципы других человеческих знаний». Народ может жить счастливо лишь тогда, когда его управление согласно с законами его природы».

Те же принципы материалистической социальной философии развиваются и в «Системе природы». «Природа, — говорится там, — дала человеку способность к ощущениям и любовь к самому себе. Из этих свойств человека вытекает его стремление к удовольствиям и его страх перед страданиями. Его образ мыслей определяется его способом бытия... Цель человека в занимаемой им сфере бытия — существовать и сделать свое существование счастливым... Страсти необходимы для существования человека. Но они подчинены в нем господству разума».

«Система природы, или О законах мира физического и духовного» вышла в свет в 1770-м. И какие же вокруг нее разгорелись баталии! Бушевали не только противники. Раскол произошел и внутри лагеря просветителей. Дидро написал к «Системе природы» заключительную главу, отметив в ней, за что он ценит произведения Гольбаха — разумеется, не разглашая его псевдонима и не открывая своего соавторства.

«Я предпочитаю ясную, свободную философию, как она изложена в «Системе природы» и еще более в «Здравом смысле»... Автор «Системы природы» не является атеистом на одной странице, деистом на другой, его философия монолитна...»

Половинчато отнесся к «Системе природы» Вольтер. Он принял то, что касалось критики христианства и церкви, но воинствующий атеизм книги его напугал и заставил отмежеваться от кружка Дидро и Гольбаха. Резко отрицательно отозвался о ней Руссо.

Некоторые просветители встретили появление этой книги настороженно, опасаясь, что она навлечет реп-

рессии, губительные для всего движения. Повторялась история с трактатом Гельвеция «Об уме». В своих опасениях они оказались не так уж не правы. Другой вопрос: следовало ли из-за возможных репрессий отказываться от борьбы? В августе 1770 года, едва успев выйти, «Система природы» была сожжена по приговору парижского парламента.

Это не первый костер галантного XVIII века, на котором сжигают вольнодумные книги. Но чем ярче горят эти костры, тем дальше разносится пламя свободной мысли.

Хорошо еще, что автор «мятежного», как выразился прокурор Сегье, сочинения был ему и парламенту не известен. Иначе несдобровать бы этому автору!

Подробно изложив содержание «Системы природы» — он прочел ее внимательно и в совершенстве понял, — прокурор заявил, что «ее сочинитель превосходит своей дерзостью Эпикура, Спинозу и всех философов, точнее — всех атеистов прошлых веков, что в глазах этого святотатца вера — вредный предрассудок, лица, стоявшие во главе нации... узурпаторы, присвоившие себе пышный титул представителей бога только для того, чтобы безнаказанно распоряжаться страной». Оберегая трон и алтарь от посягательств этого разрушителя всякой веры, «страха божьего», прокурор призывал к «спасительной строгости» и прямому походу против дерзкой книги.

И поход начался. Более того, он еще не кончился и до сих пор. И сейчас «Система природы» значится в «Индексе запрещенных книг», куда ее внесли духовные власти сразу же после того, как она была осуждена и сожжена властью светской.

Выступили против нее уже знакомый нам враг энциклопедистов, доктор теологических наук иезуит Бертье, редактор «Журналь де Треву», и их «друг» «философ на троне» Фридрих II.

Но никакие репрессии, никакая контрпропаганда не помогли властям светским и духовным в их борьбе с революцией идей. А уж власти ли не старались!

Сожженная и проклятая «Система природы», подобно фениксу, возродилась из пепла.

Правительственный декрет 1759 года под страхом смертной казни запрещал «сочинять, печатать и издавать сочинения, направленные против религии, королевской власти и общественного спокойствия». Десять лет спустя снова предписывается «полное молчание относительно всего, что касается религии».

К счастью, законы эти не всегда применялись во всей строгости, и у просветителей в лагере их противников были влиятельные покровители, как наш старый знакомый, комиссар по делам печати или директор книжной торговли, Мальзерб.

И тем не менее у энциклопедистов были веские причины для самой строгой конспирации и до сожжения «Системы природы».

Это и не забытый ими арест Дидро, и длинный список запрещенных сожженных книг, и обыски у редакторов «Энциклопедии», и передача изъятых у Дидро рукописей и корректур иезуитам, и строжайшая цензура парижского парламента, Сорбонны, католической церкви, лично короля. Приходится ли удивляться, что *ни одно* прижизненное издание сочинений Гольбаха не вышло под его именем и не печаталось во Франции?! В этом смысле он превзошел даже Дидро. И к каким только ухищрениям не прибегал Гольбах, скрывая свое авторство! «Разоблачение христианства» приписал умершему за два года до того сотруднику «Энциклопедии» философу Буланже, «Священную заразу» — английским деистам XVII века Трэнчерду и Гордону.

Если бы все тот же верный Нэжон не опубликовал в 1798 году списка сочинений барона Гольбаха, авторство или соавторство его во многих случаях осталось бы неизвестным. В том числе и авторам «Системы природы» до сих пор числился бы Мирабо. Да и теперь изжиты далеко не все сомнения относительно принадлежности Гольбаху тех или иных изданий энциклопедистов или его в них участия.

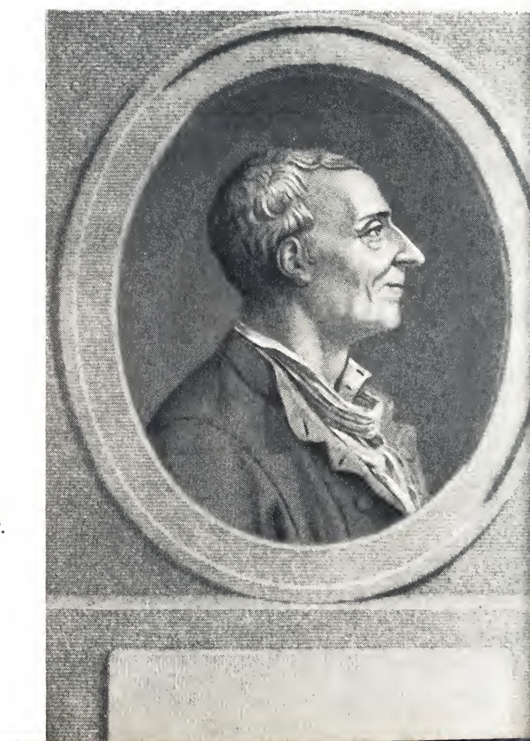
Тому три причины. Строгая конспирация — первая. Коллегиальность работы — вторая. И не менее



Даламбер.



Вольтер.



Монтескье.



Бюффон.



Тюрго.



Мармонтель.



Кондорсе.

Людовик XV.



Книга из библиотеки маркизы де Помпадур.



Нищенка.

«На улице». Французская гравюра XVIII века.



Вельможа.



Буржуазка.



Придворный.



Дама высшего общества.



«Мастерская сапожника». Французская гравюра XVIII века.

Черепичный завод. Иллюстрация к разделу «Энциклопедии» — «Механические искусства», или «Ремесла».



Иллюстрация к разделу «Энциклопедии» — «Хирургия».



Иллюстрация к разделу «Энциклопедии» — «Химия».

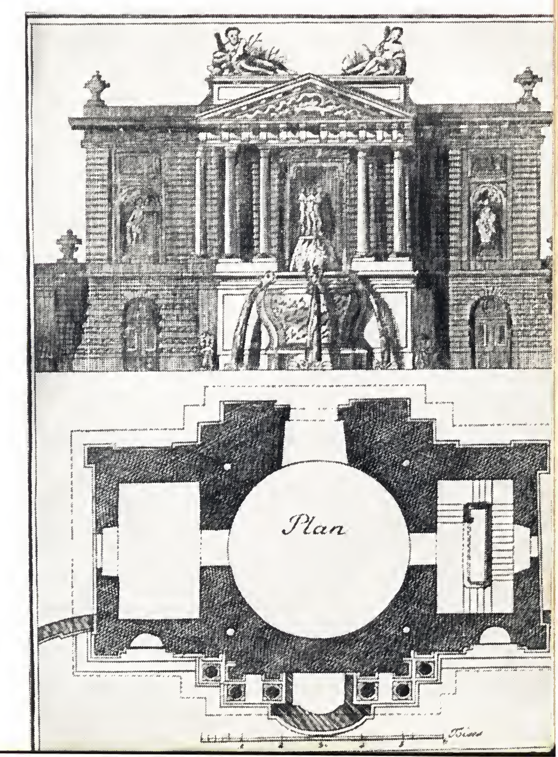


Иллюстрация к разделу «Энциклопедии» — «Архитектура».

Дагессо.



Мальзерб.

JOLY DE FLEURY.

Прокурор
Жоли де Флери.



DE L'ESPRIT.

. . . . . *Unde animi constet natura videndum,*
Qua fiant ratione & qua vi quæque gerantur
In terris.

LUCRET. De rerum natura. Lib. I.

A PARIS,
CHEZ DURAND, LIBRAIRE, RUE DU FOIN.

M. DCC. LVIII.

Титульный лист первого издания
трактата Гельвеция «О уме».



«Дени Дидро». Работы Фрагонара.



Салон мадам Жофрен.



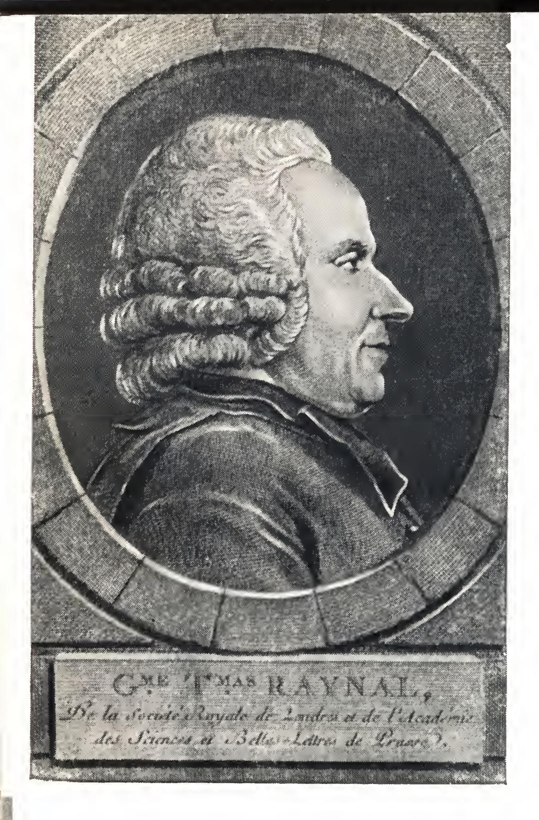
Гольбах.



Гельвеций.



Гримм.



Рейналь.



Гальяни.



важная, третья — его личная скромность. Барон был начисто лишен авторского тщеславия. Это, как и многое, роднит его с Дидро. Он тоже всегда готов был готовить чужие, а точнее — общие уроки и жечь свечу для всех.

На пять лет пережив Дидро, Гольбах дожил до самой революции. Но письма его старшего друга полны были беспокойства о здоровье барона. В 1777-м Дидро пишет Софи Волан: «Мы думали уже, что теряем барона», — и настаивает на ее приезде: «Поторопитесь, если хотите застать кого-нибудь», напоминает, что их кружок потерял уже мадемуазель Леспинас, завтра может не стать мадам Жофрен, а ему самому скоро стукнет шестьдесят три, шестьдесят четыре, шестьдесят пять...

Они с бароном познакомились, когда Дидро был молод, а Гольбах совсем еще юн, продолжали дружить, когда возраст заставлял уже считать годы, и дружба их сохранилась навечно.

VIII Клод Анри Гельвеций

«Гельвеций, нахлобучив на голову колпак... пытается доказать, что его ловчий мог бы написать такую же книгу «Об уме», как он сам». Это Дидро в письме к Софи от 1 сентября 1767 года подтрунивает над своим другом, вышучивая его утверждение, что все люди рождаются с одинаковыми умственными способностями.

Мы, разумеется, примем сторону Дидро и тоже сочтем, что это явное преувеличение. Но главное положение социальной философии Гельвеция — природное равенство людей (а он защищал его с редкой энергией и последовательностью) стало одним из

краеугольных камней буржуазно-революционной идеологии.

Гельвеций отталкивался в своем учении от Монтескье, с которым был лично близок. Но общность научных интересов и родство философских и политических воззрений сдружили его с Дидро и Гольбахом и сделали деятельнейшим членом общества барона, постоянным участником его «четвергов» — «дней синагоги».

Для «Энциклопедии» Гельвеций написал сравнительно мало, много меньше других, но вклад его во французский материализм XVIII столетия очень значителен, и он с полным правом должен быть причислен к числу граждан энциклопедической республики.

Достаточно вспомнить — книга «Об уме» стала одной из причин того, что 8 марта 1759 года отобрали привилегию на «Энциклопедию». Еще полнее и отчетливее его философские и социально-политические взгляды были изложены в трактате «О человеке».

Воззрения его и в самом деле были таковы, что не приходится удивляться ни ухищрениям, которых требовала их публикация, ни вызванным ими репрессиям. Он опровергал самые устои религии и общества, зиждившегося на сословных привилегиях.

Основное жизненное начало человека, утверждал Гельвеций, как и Гольбах и Дидро, — его физическая способность к ощущению. Из нее вырастают и любовь к удовольствиям и ненависть к страданиям. Это и есть то, что мы называем любовью к себе. А она порождает и властолюбие, и зависть, и все прочие страсти человека. Осуждать людей за это не следует, надо брать их такими, какие они есть. «... раздражаться следствиями их себялюбия, значит жаловаться на весенние бури, летнюю жару, осенние дожди и зимние стужи». Страсти необходимы для деятельности человека. (Вспомним, что писал о страстях Дидро!) Человек по природе не добр и не зол. Врожденных идей не существует. Все наши идеи мы получаем через ощущения. Мораль — продукт воспитания и подражания. «Люди не рождаются, а становятся такими, какие они есть».

Определяющее значение среды — очень важный прогрессивный тезис учения Гельвеция.

Идеи и поведение человека зависят от его потребностей. Голод и нужда делают человека трудолюбивым и мудрым, заставляют его совершенствовать орудия труда.

Зато рассуждения Гельвеция о человеческом обществе сложились под влиянием господствовавших в XVIII веке индивидуалистических представлений. Он утверждает, что в природе людей нет взаимного притяжения. Только интересы и потребности заставляют их заключать между собой соглашения. (Здесь он близок и к Гольбаху и к Тюрго.) Человек — слабое животное, поэтому он и объединяется с другими людьми, чтобы защищаться от более сильных животных и обеспечить себе пропитание.

Проследив различные стадии развития человечества, Гельвеций приходит к выводу, столь естественному для глашатая буржуазии (но он пойдет потом и дальше), утверждая, что самый священный принцип жизни, пригодный для всех формаций, — это обеспечение *собственности* каждого члена общества. Собственность утверждает *справедливость,* то есть основу всех общественных добродетелей человека. Каждый должен получать то, что ему надлежит. Справедлив тот, кто соблюдает соглашение, и несправедлив тот, кто его нарушает.

Стремление людей к справедливости Гельвеций объясняет материалистически. Оно основано на благах, которые приносит справедливость, и на боязни бедствий, которые влечет за собой несправедливость.

З А К О Н возникает как средство закрепить соглашения между людьми, и в первую очередь соглашение о собственности. А для того чтобы охранять закон, возникает Г О С У Д А Р С Т В О.

Принцип справедливости действует и в отношениях между обществами. Международное право возникает тоже в силу необходимости, и соглашение не нарушается, пока сохраняется равновесие сил. Если один народ становится сильнее другого, он может быть несправедливым безнаказанно. Гельвеций не ог-

раничивается объяснением причин войн и агрессий, но резко выступает против насилий и грабежей, чинимых европейцами в Индии, Африке, Америке, и обличает позорную роль церкви. Она освящает своим авторитетом нарушение правил, запечатленных, по ее словам, богом во всех сердцах.

Нравственность, в учении Гельвеция, тесно связана с общественным порядком и тем же принципом справедливости. *Добродетельно* то, что полезно для общества, *порочно* то, что для него вредно.

Но и мораль восходит к физическим ощущениям. Основа добродетели — разумно понятый собственный интерес. (Вспомним «разумный эгоизм» Чернышевского и Добролюбова!) Он побуждает человека жертвовать временной личной выгодой для выгоды общей. Высшая добродетель — *гуманизм.* Но Гельвеций еще не понимает того, что поняли позже марксисты: связи моральных инстинктов с процессом развития человечества.

Общественное благо — высший закон, одинаково обязательный для всех людей, каково бы ни было их общественное положение. Этот демократический принцип — один из главных в социальных взглядах Гельвеция. Отсюда и его точка зрения на власть. Носитель верховной власти — лишь доверенное лицо нации. «Воплощенная в государстве сила есть лишь сила его народа».

Гельвеций отдает предпочтение республиканской форме правления, выступает против единовластия, не отграничивая его от деспотизма. Считает, что власть должна быть выборной, хотя выборность представляет себе еще наивно.

И он отдает дань тому же заблуждению, что Вольтер и Дидро. Верит, что власть может оказаться в руках просвещенного и добродетельного государя. Такие монархи, как Генрих IV, Фридрих II, Екатерина II, способны, по его мнению, просветить мир.

А *просвещение,* развитие человеческого разума Гельвеций, как и все его собратья по энциклопедической республике, считает важнейшим условием благополучия человеческого общества.

Вместе с тем он вслед за Вольтером и Монтескье представляет как самый совершенный английский политический строй, расходясь в этом с Гольбахом.

Роскошь отдельных лиц, утверждает Гельвеций, знаменует собой разделение общества на воров и обворовываемых. Сосредоточие богатства в одних руках ведет к разрыву между частными и общественными интересами, между отдельными классами. Нация как бы распадается на много наций с противоположными интересами, наций, вооруженных одна против другой.

Не нужно, однако, думать, что классы современного Гельвецию общества охарактеризованы у него отчетливо и всегда одинаково. Иногда он делит общество Франции на два класса: низший, обремененный непосильным трудом и лишенный самого необходимого, и высший — состоящий из людей просвещенных и пользующихся досугом. Иногда называет классами богатых и бедных, иногда — собственников, купцов.

И, однако, его симпатия на стороне бедных, обремененных непосильным трудом. Для того чтобы сделать людей счастливыми, нужно увеличить богатство одних и уменьшить богатство других.

«Цель общества — наибольшее благо наибольшего количества людей».

То, что Гельвеций сумел подняться над интересами буржуазии, над богом собственности, позволило Марксу и Энгельсу отнести его к тому направлению французского материализма XVIII века, которое вело прямо к социализму и коммунизму.

Это делает ему тем более чести, что по происхождению Клод Анри Гельвеций отнюдь не принадлежал к низшему классу. Сын придворного врача жены Людовика XV, Марии Лещинской, он родился в 1715-м, а уже в двадцать три года благодаря покровительству королевы был назначен генеральным откупщиком с годовым доходом в сто тысяч экю. К тому времени он успел получить основательное философское и юридическое образование.

Одаренный множеством достоинств, молодой

человек проводил большую часть времени в удовольствиях и развлечениях, не слишком отдаваясь должностным обязанностям. Великодушный, доброжелательный, он давал не считая. Как мы знаем из отзыва Гольбаха, щедрость Гельвеция нередко лишала его друзей. Точнее, он не всегда правильно выбирал тех, на кого распространял свои благодеяния, почему и становился жертвой черной неблагодарности. Дидро в «Племяннике Рамо» рассказал, как поступил с Гельвецием Палиссо, обвиняя в происшедшем своего излишне доверчивого друга, а не этого печально известного клеветника, злостного мистификатора, пасквилянта. «Пусть Гельвеций рвет и мечет, потому что Палиссо вывел его на сцене в роли бесчестного человека (имеется в виду та же комедия «Философы». — *А. А.*), хотя Гельвеций дал ему взаймы, чтобы он поправил свое здоровье, не голодал, не ходил оборванцем. Но разве мог Гельвеций ожидать чего-нибудь другого от человека, запятнанного всевозможными грязными делами?.. Следовательно, виноват не Палиссо, а Гельвеций».

Кстати, как нам придется убедиться, сам Дидро тоже становился жертвой своей доверчивости и тоже распространял свою доброту и щедрость и на заведомых негодяев.

Принято было считать, что общество литераторов породило в Гельвеции стремление к славе, и поэтому он к тридцати пяти годам перестал быть откупщиком, решительно изменил образ жизни и отдался целиком науке и литературным занятиям. Ближе к истине, что им руководили иные причины — философский склад ума, обобщения, которые он должен был сделать из обширных жизненных наблюдений, а его должность представляла для них большие возможности.

Но, так или иначе, женившись на мадемуазель Линглевиль, целиком посвятил себя философии, в 1751 году уехал в красивое имение Воррее, где с тех пор жил постоянно, проводя вместе с тем много времени в Париже и однажды побывав в Англии. Умер Гельвеций в 1771 году.

IX

Битвы жизни

Но вернемся к Дидро. Мы были свидетелями сражений, которые вел он с идейными противниками. Но, кроме этих битв, ему приходилось выдерживать и битвы жизни. Сколько страданий принесли ему дружба, сыновняя любовь, любовь брата, отношения с женой, любовь к женщине, ставшей его подругой на много-много лет!

Очень тяжело переживал Дидро ссору с Жан Жаком Руссо. Кроме статьи Даламбера «Женева», причиной ссоры послужил еще отказ Руссо сопровождать больную мадам Эпинэ, подругу Гримма, в Женеву. Он не хотел разлучаться с ее невесткой мадам Удето, пылая к ней неудержимой страстью. Дидро осудил его поступок, и между ними произошел окончательный разрыв, так и не завершившийся примирением. В октябре или ноябре 1757 года Дидро писал Гримму о Руссо: «Этот человек бешеный... Со всей силой, какую внушает честность и некоторый интерес, оставшийся в глубине души друга, преданного ему с давних пор, я стал попрекать его чудовищным поведением и рыданиями у ног мадам Эпинэ, между тем как в разговоре со мной он возводил на нее самые тяжелые обвинения...»

Впрочем, и Руссо этот разрыв дался совсем не так легко. Перед нами его письмо к бывшему другу, отправленное 2 марта 1758 года: «Нужно, дорогой Дидро, чтобы я написал вам еще раз в жизни. Вы считаете, что я лишился разума, но наибольшее преступление, совершенное человеком, которому вы приписываете душу столь странную, — это странная манера, которая не могла не отдалить его от вас...

Я злой человек, не правда ли? Вы представляете доказательства этого самые убедительные; это хоро-

шо вас аттестует. Но вы стали это утверждать через шестнадцать лет после того, как начали меня считать хорошим человеком, и через сорок лет после того, как я родился.

Я хотел бы, чтобы вы задумались над самим собой. Вы нам доказываете вашу природную доброту, но знаете ли вы, что какой-нибудь ужасный случай может ее испортить? Уверены ли вы, что никогда не впадете в незаконный адюльтер?»

В каждой ссоре очень трудно разобраться людям, даже хорошо знающим тех, кто поссорился. В ссоре Дидро и Руссо не могли разобраться их знакомые. Как же нам через двести лет решить, кто из них был прав, кто виноват? Но есть один неопровержимый довод в пользу Дидро: Руссо был в ссоре с очень многими бывшими друзьями и единомышленниками, Дидро ни с одним. Кроме того, мы знаем, как благородно он вел себя по отношению к брошенным Руссо жене и детям. Об идейных их расхождениях речь впереди. Конечно же, они всего важнее.

Заставлял страдать даже Гримм. Дидро так любил друга, что мучительно переносил каждую разлуку с «белокурым тираном», а тот часто уезжал то в Женеву, то в Германию. Недаром Гримма окрестили послом «Энциклопедии» при дворах немецких князей. И отношения их складывались непросто. Еще будет подробно рассказано о дружбе Дидро с Гриммом. Пока же скажу только, что на протяжении многих лет Гримм был его неизменным поверенным. Дидро считал друга много выше себя и из-за этого себя презирал.

А как заставила страдать Дидро болезнь его отца! Он не мог быть подле старика, предчувствуя, что тот умрет без него, как умерла мать. Гримм должен был заехать в Лангр, и Дидро поручил ему принять последний поцелуй метра Дидье. Примирение отца и сына уже давно состоялось, и в последние годы не «Дидро лангрский» воспитывал «Дидро парижского», это не удавалось ему и прежде, но «Дидро парижский» влиял на «Дидро лангрского» и томами «Энциклопедии», которые неизменно высылал родным,

и в письмах, уговаривая отца не увлекаться молитвами в ущерб своему здоровью и заботе о несчастных.

Разумеется, когда отец заболел, сын его больше не занимался увещеваниями: тревога за старика вытеснила все несогласия.

В конце мая 1759 года метр Дидье поехал лечиться на воды в Бурбон. И сын с нетерпением ждал вестей от сестры, не слишком надеясь, что они окажутся благоприятными.

Худшим его опасениям суждено было сбыться. 9 июня он писал из Парижа Гримму: «Вот последний удар, который мне оставалось перенести: умер мой отец... Он обещал мне, когда мы с ним виделись в последний раз, вызвать меня перед концом. Я уверен, что он думал об этом, но времени у него не хватило. Итак, меня не было, когда умирали и отец и мать моя. Не стану скрывать от вас, что я это считаю проклятьем небес. Прощайте же, друг мой! Не это вы мне сулили».

О том, как Дидро комментировал завещание отца, рассказывалось в первой главе.

Распря с братом, начавшаяся из-за посвящения к «Письму о слепых», возобновилась позже. Сейчас же Дидро выступает в роли миротворца, сблизив аббата и сестру. Он пишет об этом Гримму из Лангра. Пишет и о том, что питает надежду — вернее, старается убедить себя, что они сделают друг друга счастливыми.

Наследство делится так, что брат будет самым богатым, а философ наименее состоятельным из всех троих, и это в порядке вещей. Итак, у него будет тысяча пятьсот ливров ренты, унаследованной от отца, и тысяча от издателей. Да еще и Аристотель, Гомер, Платон, Бэкон и другие, от которых он отделается в конце того же 1759 года, дадут ему пятьсот ливров. Всего получится от трех до четырех тысяч ренты, на которую можно жить хорошо, если не лишиться разума. А он не считает еще остальных своих работ.

Но и обеспеченность оказалась кажущейся, и спокойствия в собственном доме она не принесла. Какое там спокойствие?!

В конце 1756 года Дидро на сорок третьем году жизни обрел, наконец, настоящую подругу. Он познакомился с Софи Волан. Любовь Дидро! Мы еще прикоснемся к ней. Но, чтобы понять постоянные ссылки на письма Дидро к Софи, читатель уже сейчас должен узнать, что это было самое сильное его чувство; со временем любовь перешла в нежную дружбу, продолжавшуюся до самой смерти обоих. Дидро пережил свою возлюбленную только на пять месяцев. Письма к Софи еще более неотделимы от него, чем его произведения. Недаром их назвали зеркалом его души. «Всегда прижимаешь к груди того, кого любишь, а искусство писать письма есть лишь искусство удлинить руку», — говорил Дидро.

Если Софи не было в Париже или ему нельзя было прийти к ней, он писал ей в то же дообеденное время четверга или воскресенья, часы, в которые он постоянно бывал в доме Волан, на улице Старых Августинцев. Писал и в каждую свою отлучку из Парижа. Только в последние десять лет они не переписывались, вероятно, потому, что постоянно виделись. А может быть, письма не сохранились.

Кто же была эта женщина, о которой Дидро писал своему другу скульптору, автору «Медного всадника» Фальконе: «Я мог бы видеть, как мой дом рассыпается в прах, и сохранить спокойствие, мою свободу под угрозой, мою жизнь скомпрометированной, всякого рода несчастья, обрушившиеся на меня, лишь бы она осталась моей. Если бы она мне сказала: «Дай мне свою кровь, мне хочется пить», я отдал бы ей всего себя, лишь бы утолить ее жажду».

Портрет ее — Дидро с ним не расставался — был на оборотной стороне титульного листа томика Горация. Вместе со всей библиотекой Дидро и эта книга после его смерти была переслана в Петербург. Она до сих пор не обнаружена в Государственной публичной библиотеке имени Салтыкова-Щедрина. Мы знаем только, что у Софи были маленькие руки, она носила очки и отличалась слабым здоровьем.

Она была всего на три года моложе Дидро, так что и ей было сорок или под сорок, когда зародилась

их любовь. Звали ее Луиза Генриетта; «Софи» было всего-навсего семейным прозвищем, но так называл ее и Дидро, и под этим именем она вошла в историю. Семья ее была семьей средней руки служащего дворянина. Ко времени знакомства Дидро с Софи отец ее умер, и благосостояние вдовы Анны Елизаветы Франсуазы Волан и трех ее дочерей, замужних — старшей и младшей — и оставшейся в девицах средней — Софи, сильно пошатнулось.

Скорее всего Дидро познакомился с Софи в доме ее старшей сестры и зятя — Салиньяков. Во всяком случае, в первые годы они часто встречались там, и Дидро не раз с восторгом упоминает в своих письмах о «маленьком зеленом столе». Очень дружен был Дидро с младшей сестрой Софи, мадам Лежандр, прозванной им Уранией, а значительно позже и с матерью, которую он назвал Морфизой. Очевидно, прозвища в этой семье были в ходу.

Софи не была вхожа в общество барона Гольбаха, не посещала и других парижских салонов. Но, конечно, она была под стать подругам других энциклопедистов. Не только Дидро поражался, что в его Софи соединялись прелесть женщины и ум мужчины, но и более беспристрастный Гримм в дошедшем до нас письме 1763 года спрашивал: «Откуда пришли к вам, Софи, эта страсть к философии, неизвестная у лиц вашего пола и возраста? Если верно, как говорит Троншен (тот же известный врач. — *А. А.*), что природа, создавшая вас, сочла за благо поместить душу орла в эфемерное обиталище, позаботьтесь по крайней мере... сохранить это произведение».

Но как часто любовь Дидро оборачивалась страданием, облачившимся в одежду наслаждения! Мать Софи вначале препятствовала их любви, и это неизменно заставляло Дидро страдать.

Тяжело было ему и дома. Дурной характер его жены стал совершенно невыносим, когда она убедилась в любви мужа к Софи.

Как это произошло, рассказал сам Дидро в письме к Гримму от 1 мая 1759 года. Однажды вечером глаза у него были воспалены, голова отяжелела, его

кидало то в озноб, то в жар — словом, он расхворался. Утром Софи и ее сестра, снедаемые беспокойством, якобы от имени мосье Лежандра послали узнать, как он себя чувствует.

Подозрения, видимо, были у мадам Дидро и раньше. Записка попала в руки к ней. Она опознала почерк, опознала лакея. И, как выражается Дидро, «разгорелся семейный пожар, от которого еще по сию пору искры летят. У этой женщины поистине свирепая душа. Чем она только не пользуется, чтобы мучить меня. Если она сделает мой дом невыносимым для меня, где же мне приклонить голову?»

Нисколько не помогло Дидро и то, что он обратился за помощью к духовнику своей жены. Недаром он иронически советует Гримму: «Женитесь, а потом, когда вы будете недовольны своей дорогой половиной, обращайтесь к ее духовнику».

Но надо понять и Анну Туанету. Могло ли это известие не напугать и не озлобить ее гораздо больше, чем связь Дени с мадам Пюизье или его скоропроходящие интрижки?!

А оставить жену Дидро не мог.

X

Он не отступил ни на шаг

Итак, после выхода седьмого тома Руссо был для Дидро и «Энциклопедии» потерян. Отныне Жан Жак называет энциклопедистов не иначе, как «гольбахиен», намекая на немецкое происхождение Гольбаха и Гримма, и отзывается о своих бывших друзьях как о распространителях самых вредных идей.

Если бы разрывом с Руссо исчерпались все беды! Любопытнейший парадокс: из «Энциклопедии» бежит и сам автор статьи «Женева», соредактор Дид-

ро — Даламбер. Он объясняет свое бегство в письме к Вольтеру: «Я измучен оскорблениями и придирками всякого рода, которые навлекло на нас это предприятие. Злобные и гнусные сатиры, которые печатаются против нас, не только дозволяются, но поощряются, одобряются и даже заказываются теми, у кого в руках власть... Проповеди, или, вернее сказать, удары в набат, раздающиеся против нас в Версале в присутствии короля, без протеста с чьей-либо стороны, новые невыносимые притеснения, налагаемые на «Энциклопедию» с назначением таких новых цензоров, которые еще более нелепы и несговорчивы... Все эти причины вместе с некоторыми другими вынуждают меня навсегда отказаться от этого предприятия».

Даламбер ничего не искажает и ничего не преувеличивает. В самом деле, после выхода седьмого тома издан декрет с прямым запрещением дальше издавать «Энциклопедию». А если бы и удалось добиться отмены декрета, разве бесчисленные нападки и уколы не делали продолжение предприятия невозможным?!

Вольтер сначала уговаривал Даламбера не отступать. Мы знаем, как фернейский старец ценил «Энциклопедию». Но потом и он согласился с доводами своего младшего друга Даламбера, что литераторы покрыли бы себя позором, если бы преклонили головы перед унизительным игом министров, духовенства, полиции.

И теперь Вольтер пишет Дидро: «Прежде всего нужно смотреть в глаза противнику; было бы отвратительным слабодушием продолжать дело после ухода Даламбера, было бы просто нелепостью, если бы такой гениальный человек, как вы, сделал из себя жертву книгопродавцев и фанатиков. Разве этот «Словарь», в сто раз более полезный, чем «Словарь» Бейля, может стеснить себя всеми предрассудками, которые он должен уничтожить?! Разве можно вступать в сделку с негодяями, которые никогда не исполняют того, что условлено?»

Затем идут две фразы, не имеющие прямого от-

ношения к тому, что написано выше, и даже ему противоречащие: «Разве в такой век, как наш, могут возвышать свой голос враги разума, преследователи философов?! Человечество находится накануне великого переворота, и этим оно обязано прежде всего вам».

На Дидро письмо его учителя произвело очень большое впечатление. Он упоминает о нем в письмах к своей подруге трижды — 11 и 20 января 1758 года и чуть ли не через два года — 11 октября 1759 года.

Вольтер вносит предложение, которое, казалось, могло бы примирить Даламбера, настаивающего на прекращении издания, и Дидро, желающего вопреки всему его продолжать, усматривая слабодушие и покорность противникам «Энциклопедии» в том, чтобы ее прикончить. Вольтер уговаривает Дидро, если он не хочет прикрыть свое предприятие совсем, перевести его в другое государство — в Пруссию или Россию. Дидро не соглашается и на это.

Не соглашается, несмотря на то, что ему очень трудно. Ведь ему уже за сорок, и он очень устал от дрязг и преследований, от битв жизни. Если говорить откровенно, больше всего он ищет спокойствия, и нет дня, когда этот неутомимый борец не мечтал бы окончить свою жизнь в безвестности и тихо умереть у себя на родине, быть похороненным на том же кладбище, где его мать.

Но он побеждает эти настроения, понимая, что в них больше сплина, чем здравого смысла. Среди обширной почты Вольтера в Ферней приходит письмо Дидро от 19 февраля 1758 года. Старик читает: «Оставить «Энциклопедию» — это значило бы покинуть поле битвы и поступить так, как желают преследующие нас негодяи. Если бы вы знали, с какой радостью они встретили весть об удалении Даламбера! Что же остается нам делать? То, что прилично мужественным людям, — презирать наших врагов, бороться с ними и пользоваться, как мы пользовались ею прежде, глупостью наших цензоров... Разве мы недостаточно отомстим за себя, если уговорим

Даламбера снова приняться за дело и довести это дело до конца?..»

Дидро еще не представляет себе, что уговорить Даламбера окажется невозможным.

Время идет. Конец апреля 1759 года. Представьте себе столовую в доме Лебретона, обставленную скорее всего мебелью стиля Буль под дворянский особняк. К нему собрались пообедать, а затем обсудить «большое дело» — дальнейшую судьбу «Энциклопедии» — барон Гольбах, шевалье де Жокур — он станет отныне главным помощником Дидро, сам Дидро, Даламбер и трое остальных издателей.

Мы можем считать, что сами были приглашены к Лебретону и его жена потчевала нас, так же как и остальных гостей, потому что Дидро подробно описал все, что в этот день там происходило, в письме к Гримму, а мы прочли это письмо.

Несмотря на то, что день обеда был назначен им самим, Даламбер неизвестно по какому недоразумению, причуде, капризу чуть было не остался дома.

За стол сели часа в четыре. Было весело, ели, пили, смеялись, и веселье это нисколько не напоминало пир во время чумы.

Обед закончился. Перешли в гостиную. Дидро изложил план по комплектованию рукописей. «Не могу вам описать, с каким удивлением и даже нетерпением слушал меня мой товарищ. Он выступил с известной вам мальчишеской горячностью, третировал издателей, как каких-нибудь лакеев, утверждал, что продолжение издания — безумие, попутно обращаясь ко мне со словами, которые неприятно было слушать, но которые я счел нужным молча проглотить. У «Энциклопедии» нет более отъявленного врага, чем этот человек», — пишет он о Даламбере.

Дидро был очень горяч, ему свойственно было преувеличивать. Но не было ли у него оснований для подобных выводов? Даламбера и не собирались «снова запрячь в издательскую работу». Но он упорно отказывался и от скромного дела, о котором его просили. Большого труда стоило добиться от Да-

ламбера обещания представить его часть рукописи — скорее рукописей — через два года.

И все-таки в судьбе «Энциклопедии» это не могло ничего изменить. Дидро больше всего беспокоился, чтобы «глупые выпады» Даламбера не вывели из себя вспыльчивого барона и чтобы Гольбах на него не накинулся. Этого не произошло. Барон только все время ерзал на стуле, но пересилил себя, и Дидро остался очень доволен его сдержанностью. Ни слова не произнес и шевалье. Даламбер же вдоволь накричался, наругался, то и дело противореча самому себе, и, наконец, ушел.

Тогда Дидро казалось, что разрыв между ним и Даламбером, между Даламбером и «Энциклопедией» произошел окончательный и бесповоротный. Он ошибался. Однако отношения с бывшим товарищем мучили его еще долго, не оборвавшись в тот день у Лебретона, но и не налаживаясь. Даламбер продолжал вести переговоры с издателями. Тому были веские причины. Доходы его резко уменьшились: Французская академия не выдавала больше жетонов, и он даже, прежде чем отказаться, подумывал, не принять ли предложение Фридриха II занять место скончавшегося Мопертюи и стать президентом Берлинской академии наук.

Видя вину издателей перед Даламбером, которого те обсчитывали, так же как и его самого, Дидро не хотел закрывать глаза и на вину бывшего своего соредактора перед ними. Они ведь не его друзья, и, значит, он не вправе им ставить ничего в укор.

Но дело было, конечно, не в расчетах. Им Даламбер, как и он сам, большого значения не придавал.

Вернемся, однако, в гостиную Лебретона. Когда «сумасшедший» Даламбер ушел, семеро оставшихся снова вернулись к делу и обсудили его со всех сторон.

«Подбадривая друг друга, мы приняли определенные решения, поклявшись довести издание до конца... составлять дальнейшие тома с той же свободой, в какой составлялись уже выпущенные, и в случае необходимости перевести печатание в Голлан-

дию», — читаем мы в том же письме Гримму от 1 мая 1759 года.

Барон был в восхищении от издателей, и Дидро разделял его восхищение, не придавая значения тому, что их мужество и решительность были заквашены на дрожжах наживы. Слишком большие прибыли приносила «Энциклопедия», чтобы эти коммерсанты могли себе позволить их лишиться. Конечно же, Дидро это понимал, но все равно он был благодарен Лебретону и его компаньонам за их решение — вопреки всем препятствиям продолжать издание.

Как показало время, доходы от «Энциклопедии» были в самом деле огромны. Несмотря на то, что вместо обещанных восьми томов статей и двух томов таблиц и гравюр вышло семнадцать томов статей и одиннадцать иллюстраций, на издание было истрачено всего миллион сто сорок тысяч ливров вместо предполагавшихся двух миллионов. Между тем подписная цена достигла девятисот восьмидесяти ливров. Доход издателей вдвое превысил сумму, ими истраченную, выражаясь в весьма круглой цифре. Опасная игра стоила свеч.

Что же касается вознаграждения Дидро — при всем своем бескорыстии он не мог о нем не заботиться, — вот что говорится по этому поводу в том же письме к Гримму: «Однако об условиях моей работы не было принято никакого решения. Издатели только поручили Давиду (одному из них. — *А. А.)* столковаться со мной, обязавшись без оговорок одобрить то, на чем мы согласимся. Давид заставил прождать себя семь или восемь дней, по истечении которых явился ко мне утром, и мы пришли к следующему соглашению». Было решено, что выйдет еще семь томов «Энциклопедии» (вышло десять), и за каждый том Дидро будет уплачено по две тысячи пятьсот ливров. За первый том был выдан прежде аванс, и поэтому получить ему оставалось только за шесть томов. Пятнадцать тысяч ливров, причитавшихся Дидро по этому соглашению, должны были быть разделены по числу оставшихся букв «Словаря» на шестнадцать частей. По предыдущему до-

говору ему полагалось еще десять тысяч, эту сумму Давид разбил на семь частей с тем, что каждая из них будет выплачена по сдаче группы букв.

Дидро был этим расчетом очень доволен. А ведь после бегства Даламбера на его плечи легла поистине гигантская работа, осложнившаяся тем, что «Энциклопедия» выходила теперь подпольно.

По свидетельству Гримма — а уж он-то был в курсе дел своего друга, — общая сумма вознаграждения Дидро за двадцать пять лет работы достигла всего шестидесяти тысяч ливров. Почти в десять раз меньше прибыли каждого из издателей.

Вольтер, узнав, как скромно был вознагражден Дидро, воскликнул: «Какой-нибудь поставщик военного ведомства наживает за день двадцать тысяч ливров!»

И, несмотря на это, Дидро, защищая Лебретона от упреков Софи, писал ей: «Не говорите ничего дурного о моих издателях. Они сделали все, что я от них требовал. Нужно знать, чего можно требовать от каждого человека на его посту, от купца за его счетами, прокурора за его делами, книгопродавца в его лавке... Лучшее, чего они могут добиться, это чтобы о них говорили: «хороший коммерсант», «хороший прокурор», «хороший издатель».

И не раз еще он заступался за своих издателей, понимая, чего можно от них требовать, и будучи благодарен им за главное: за то, что «Энциклопедия» будет закончена и рано или поздно дойдет до подписчиков. Это не значит, что он временами не жаловался на скудость своего вознаграждения. Больше всего Дидро беспокоило — работа дала ему так мало, что у него нет и надежды приготовить приданое дочери. Забота о приданом Анжелике сыграет большую роль в жизни Дидро и даже сделает его библиотекарем ее императорского величества Екатерины II. Но об этом речь еще впереди.

Обидно было и то, что за том гравюр и таблиц он получал меньше, чем ежегодная премия газеты «Меркюр де Франс» за одну статью, — всего пятьсот пятьдесят франков. А мы знаем, сколько труда вкла-

дывал он не то что в каждый том — в каждую гравюру. Не мудрено, что однажды у Дидро вырвалась такая фраза: «Мы помогли издателям составить состояние, а они предоставили нам жевать листья от лавровых венков».

Но и это ничего не меняло и не могло изменить. Решения, принятые в конце апреля 1759 года у Лебретона, выполнялись. Работа над «Энциклопедией» была на полном ходу. Барон перелистывал свои книги. Расширенный штат переписчиков стонал под игом шевалье де Жокура. Дверь квартиры Дидро была закрыта для всех с 6 утра до 2 часов пополудни. А когда дело требовало, то и больше.

Зато в октябре того же 1759 года Дидро мог сказать, что его философские статьи — а они отнюдь не принадлежали к числу самых легких и коротких — готовы; остальные же к тому времени имелись в набросках. Много успел он за это время и как редактор.

Работа перемежалась с тревогами. То Мальзерб предупреждал Дидро, что отдал приказ о конфискации у него рукописей и типографских оттисков, и бедняга вынужден был ночью бежать из собственного дома со всем своим «арсеналом» искать убежище, раздобывать место в почтовой карете и отправляться куда глаза глядят. То какой-то безрассудный или очень жестокий недруг публиковал жалкий памфлетик «Мемуар для Авраама Шоммекса против пресловутых философов Дидро и Даламбера». И сколько же это повлекло хлопот! Дидро должен был мчаться к начальнику полиции, главному прокурору и его помощникам, писать объяснения, протестовать, опровергать да еще и разыскивать анонимного автора памфлета. И все-таки вопреки предсказаниям барона Тюрго, Даламбера, Морелле, Мальзерба Дидро удалось избежать уголовного дела. Но как дорого обходились ему с его чувствительностью эти неприятности! Он был совершенно изможден хлопотами, тревогами, усталостью. Недаром он обмолвился в письме к Гримму: «Я энциклопедирую, как каторжник».

Еще бы не каторжник! Радуясь редким успехам, чаще приходя в отчаяние от непрекращающихся нападок, много лет он почти один ведет огромное предприятие. Пишет статьи о самых скучнейших предметах, от которых отказываются другие. Редактирует рукописи, правит корректуры, следит за изготовлением гравюр, пишет к ним объяснения.

И все это среди опасений и тревог. Ему очень трудно. Но имеет ли он право думать о себе? Надо торопиться. Нельзя откладывать разрушение старого порядка и подготовку нового.

А «Энциклопедия», несмотря на все его усилия, движется медленно. Вернее, ему так кажется: за семь лет было подготовлено окончательно и напечатано десять томов статей — больше, чем прежде.

Дидро жалуется Софи Волан: «Мои товарищи бесят меня своей медлительностью». Тремя днями позже: «Мои коллеги меня оставили, они не дают ничего, и я почти не работаю». Но есть у Дидро один настоящий помощник. В следующем письме читаем: «Мои коллеги почти ничего не делают. Не знаю, когда сойду с этой галеры. Если я доверюсь шевалье де Жокуру, его проект поможет мне продержаться еще год. Этот человек на протяжении шести или семи лет, окруженный шестью или семью секретарями, читает, диктует, работая по тринадцать-четырнадцать часов в сутки, не уставая при этом».

И еще о шевалье: «Пусть вас не тревожит мысль о том, что ему скучно строчить статьи: господь бог для того только и сотворил его. Хотелось бы мне, чтобы вы увидели, как вытягивается его физиономия, когда его предупреждают о том, что работа подходит к концу, — вернее, о необходимости закончить ее. Лицо его выражает истинное огорчение».

Мы знаем, что Дидро склонен был преувеличивать в людях хорошее. С восторгом рассказывает он своей подруге еще о Жокуре, на этот раз даже не подшучивая над ним: «Во времена своей молодости он интересовался всеми отраслями человеческих знаний. Он работал в Женеве, Англии, Голландии, изу-

чил медицину под руководством Бергазе и получил диплом доктора в тот же день, что Трошен».

Роль Жокура в подготовке последних десяти томов статей была, разумеется, несравнима с ролью Дидро. Не мог шевалье заменить и Даламбера. И, однако, бесспорно, что этот человек сделал для «Энциклопедии» очень много. До сорока шести лет шевалье накапливал знания, теперь же щедро отдавал их. Де Жокур был истинным энциклопедистом. Он тем более заслуживает похвалы, что другие сотрудники продолжали огорчать Дидро своей нерадивостью. Ушли Морелле и Бюффон.

Он жаловался своей возлюбленной: «Я буду оставлен своей работой после пасхи или умру. Вы можете этому не поверить, но это будет та́к. У меня забирает очень много времени писание писем моим ленивым коллегам, чтобы их поторопить. У этих ослов такая жесткая кожа, что хоть с обеих сторон коли, скорее не почешутся, а перестань их пришпоривать, и вовсе встанут». Жаловался и Гримму: «Мне приходится тащить за собой паралитиков» (письмо от 5 июня 1759 года).

Месяцем раньше в том же письме, где он описывает совещание у Лебретона, Дидро возмущается гнусным заговором «всех этих Тюрго, Даламберов, Морелле и Бурджала», беспокоится, кто напишет ему статью «Опера». А «Интермедия», а «Лирика»?!

И что уж говорить о других сотрудниках «Энциклопедии», если Вольтер, которого Дидро постоянно называет «дорогим учителем и обожаемым другом», а тот — его, в свою очередь, «почитаемым учителем», тоже запаздывает и отлынивает? 29 декабря 1757 года он пишет: «Вы мне поручили статью «Историография», но я не имел и минуты свободной от статьи «История». Я думал, что сделаю ее быстрее, но исправлял слишком скоро и слишком плохо. Если у вас есть пятнадцать дней, увольте меня от «Истории». Это смешно, я сам понимаю, но я буду еще более смешон, дав плохую статью».

Правда, позже, в письме от 26 июня 1758 года, он снова заверяет Дидро: «Вы не представляете, мосье,

какое удовольствие мне доставляет класть один, другой камушек в вашу великую пирамиду. Очень жаль, что обо всем касающемся метафизики и истории нельзя иной раз говорить правду...»

И все-таки он старается это делать и просит Дидро не лишать его возможности участвовать своими статьями в «экзамене» у богословов, которые должны были разрешить публикацию.

Дидро обойдется без этого «экзамена» и без этого разрешения.

Как ему ни было трудно, в середине сентября 1761 года он «покончил» с текстами «Энциклопедии», за двадцать пять дней собрал и расположил все статьи, работая по десять часов в сутки. Другой бы и за год не управился.

И, наконец, эта огромная масса исписанной бумаги в руках «корсаров», как теперь Дидро называет издателей.

Не защищая их, как прежде, он пишет своей подруге: «Если бы у них возникло желание, как должно оплатить эту работу, они бы ее принизили. Я уверен в своей правоте, не ожидая ничего, абсолютно ничего. Если окажется, что я случайно ошибся, я даже не покраснею... но я не ошибаюсь».

В конце 1762 года был готов восьмой том. Дидро отзывается о нем так: «Он полон прекрасных вещей, расцвечен всеми красками, я уверен, что со временем он произведет революцию в умах, и надеюсь, что тираны, угнетатели, фанатики не останутся в выигрыше. Мы служим человечеству, но пройдет много времени, пока нас перестанет обдувать холодными ветрами». Но, казалось бы, наконец, подул теплый ветер. На престол Российской империи восходит Екатерина II.

Она царствует всего только несколько дней, а граф Шувалов уже 20 августа 1762 года пишет Дидро:

«Мосье,

Поскольку ваша репутация, так же как репутация литературной республики, общеизвестна и не вызывает ничего, кроме всеобщего поклонения, заслуженного в полном смысле этого слова, императрица, по-

кровительница искусств и наук, давно уже задумывалась над способами помочь знаменитому труду, которому вы отдаете столько времени. Это по ее приказанию, мосье, я имею честь писать вам, чтобы предложить все виды помощи, которые вы сочтете необходимым принять для ускорения эффекта. В случае, если возникнут еще препятствия, ваше дело можно будет завершить в Риге или еще каком-нибудь ином городе империи. «Энциклопедия» встретит здесь поддержку против всех демаршей... Если понадобятся деньги... скажите без стеснения, мосье. С нетерпением ожидаю вашего ответа, чтобы доложить моей повелительнице. Мне очень приятно служить органом ее чувств.

Имею честь быть вашим...»

Посредником Екатерины II служит и русский посол в Париже князь Голицын.

Чего только не сулит Дидро северная Семирамида! Полную свободу, покровительство, славу, чины, деньги — одним словом, «все, что могло бы соблазнить людей, недовольных своим отечеством и мало привязанных к своим друзьям, покинуть родину и уехать», — говорит зеркало души Дидро — письмо его к Софи.

Вольтер ликует. «Ну, прославленный философ, что скажете вы об императрице России? Не находите ли вы, что ее предложение наносит удар Омеру де Флери?» — пишет он 20 сентября 1762 года.

Придется отказать и обожаемому учителю. Дидро непримирим. Через девять дней в Ферней приходит его ответ: «Нет, мой дорогой и очень знаменитый брат, мы ни в Берлине, ни в Петербурге не будем кончать «Энциклопедию»... Наш девиз — никакой пощады суеверным, фанатикам, равнодушным, сумасшедшим, тиранам, и, я надеюсь, вы к нему присоединитесь».

Хорошо еще, что к этому времени и во Франции происходят некоторые благодетельные перемены. Клерикальная партия получает тяжелый удар. Состоящий из янсенистов парламент и философы, действуя хотя и несогласованно, но в одном направле-

нии, одерживают важную победу: орден иезуитов запрещен. Расстояние от алтаря до трона несколько увеличивается. Можно ли этому не радоваться? Падение иезуитов вызывает у Дидро крик триумфа: «Вот мы избавились от большого числа врагов!»

На руку энциклопедистам было и «португальское дело» — покушение иезуитов на короля.

Но падение иезуитов и урок, нанесенный их падением клерикальной партии, не позволили «Энциклопедии» вернуться на легальное положение.

Конечно же, в Берлине, и особенно в Петербурге, Дидро избежал бы тревог, которые продолжают его преследовать. По крайней мере он так думает. Но Дидро тверд в своем решении не уступать противникам поля боя даже в чисто территориальном смысле. И, кроме того, разве он найдет в России или Пруссии такие машины и приспособления, разве он сможет перевезти туда пятьдесят своих искуснейших наборщиков, печатников, резчиков или заменить их подобными мастерами?!

Есть еще одно обстоятельство, которое помешало бы перенести издание, даже если бы Дидро не был так предан своей Софи, своим друзьям и своему отечеству. Те, кто делает ему это лестное предложение, и не догадываются, что ни он, ни его коллеги не являются владельцами своих рукописей, их сочинения принадлежат издателям, и авторы и редактор не могут воспользоваться ни одной страницей. «И это, — не без иронии восклицает Дидро, — во Франции, в стране вежливости, науки, искусства, хорошего вкуса и философии, нас так преследуют! А из варварской, холодной, северной страны нам протягивают руку! Если описать этот случай в истории, что подумают об этом наши потомки!»

Он, если бы и мог, не отступил ни на шаг от Парижа, но оттого, что он в плену у издателей, ему еще тяжелей.

И даже, когда все идет сравнительно хорошо, Дидро навещают приступы меланхолии.

А тут еще его постигает удар, самый жестокий из всех ударов. Когда было решено выпустить

в свет сразу все десять томов, компания поручила выпуск их Лебретону. Он начинал предприятие, ему надлежало его и кончить. В 1764 году, когда печатание было закончено, Дидро понадобилось для какой-то справки заглянуть в одну из статей на букву «S». И тут-то он обнаружил, что статья искажена. Это не могло его не обеспокоить. Он перечитал в отпечатанном виде все статьи, над которыми больше всего трудился, то есть самые важные. И нашел в них опустошение и хаос.

Гримм был с ним в это время. Гримм описал всю эту историю в своей «Корреспонденции» в январе 1771 года: «Это открытие повергло его в такое отчаяние и бешенство, что я никогда их не позабуду. Он от скорби рыдал в присутствии самого преступника, его жены и детей и сочувствовавшей Дидро прислуги».

Мы можем прочесть и гневное письмо, отправленное Дидро Лебретону 12 ноября 1764 года. Оно, правда, на русский язык полностью не переведено. Дидро писал: «Не по своей воле, мосье, я к вам обращаюсь. Вы пронзили мое сердце; кинжал не мог бы проникнуть глубже. ...Вы меня обманывали на протяжении нескольких лет. Вникните в то, что я вам скажу. Вы будете наказаны, те, кто сочинял свои статьи с чистой душой, поднимут громкие крики проклятия за то, что вы с ними сделали. Это будут крики Дидро, Сен-Ламбера, Тюрго, Жокура, Гольбаха и других.

Ваши подписчики скажут, что они подписывались на мой труд, а тот, который вы им предложите, почти ваш. Друзья, враги, помощники поднимут свой голос против вас...

Эту книгу сочтут плоской пародией. Вольтер, который прежде вас искал и вас находил, его корреспонденты, которые не хотят ничего иного, как вас заслуженно опозорить, обесславить, разнесут по столице, по провинции, по чужеземным странам, что эта многотомная компиляция, которая так дорого обходится публике, не что иное, как беспорядочная груда набросков. Меньшая часть вашего издания

вышла прежде, остальное может быть отправлено в макулатуру...»

Письмо занимает шесть страниц печатного текста. Все его привести невозможно. Вот еще одна выдержка:

«Вы уничтожили или поручили какой-то низкой твари уничтожить труд двадцати хороших людей, посвятивших вам в свое время свои способности, часы своих бдений, из любви к правде, истине, удовлетворяясь одной надеждой, что их идеи будут переданы публике и что они будут вознаграждены за это заслуженным уважением, которое теперь отняли от них ваша несправедливость и ваша неблагодарность. Вас и вашу книгу будут теперь топтать в грязь, впредь на вас будут указывать как на человека, провинившегося в таком обмане, в таком бесстыдстве, которым не было еще подобных. Тогда вы будете вынуждены осудить ваш панический страх и подлые советы варварских остготов и глупых вандалов, которые помогли вам совершить ваш разбой!»

Лебретон и в самом деле поступил в духе злейших противников «Энциклопедии» — иезуитов. Ни слова не говоря Дидро, он правил сам или поручал это гнусное дело своим помощникам наиболее действенные и поэтому наиболее опасные статьи, выбрасывая из них все, что могло бы не понравиться духовенству, парламенту, полиции, министрам, королю, и нимало не заботясь о сохранении логической связи, стройности композиции.

При этом трусливый издатель предусмотрительно уничтожил и отредактированные Дидро оригиналы статей и выправленные им корректуры, чтобы, обнаружив эту «правку», тот ничего не мог восстановить.

А до того Дидро, не числя, разумеется, Лебретона в числе своих друзей, все же считал его добрым знакомым, соратником и незадолго до этого разоблачения недели три гостил на его загородной даче.

Несколько дней бедняга не мог ни есть, ни пить, ни спать. Он хотел отказаться от всего предприятия и известить весь мир о поступке Лебретона. Но потом передумал: понял, что это привело бы к торже-

ству врагов и что «Энциклопедия» даже в изуродованном виде свое дело сделает.

Прошел еще год. И вот в 1765-м появилось объявление: «Самуэль Фиш, книгоиздатель из Невшателя — Швейцария, — извещает, что он окончил издание «Энциклопедии», начатое семью томами, вышедшими в Париже. Обладатели этих томов пусть соблаговолят к нему обратиться и ему же доплатить двести ливров за новые десять томов».

Соответственно изменилось и название издания на титульном листе. Теперь оно выглядело так: «Энциклопедия, или Толковый Словарь наук, искусств и ремесел. Издается в Невшателе у Самуэля Фиша и компании книготорговцев и книгоиздателей».

Маскировка никого не обманула. Слишком велико было впечатление, произведенное на подписчиков, получивших в том же 1765 году сразу все десять томов. Они отличались еще большей свободой, чем первые семь. (Одиннадцать томов таблиц и гравюр, подготовленных под руководством Дидро, были готовы только в 1772 году, когда их и получили подписчики. Дополнительные тома выпускались уже без участия Дидро.)

И после падения ордена иезуитов и ослабления клерикальной партии духовенство не сложило оружия. Оно требовало декрета об уничтожении новых томов «Энциклопедии». Из ненависти к ортодоксальному духовенству янсенистский парламент поначалу воспротивился. Правительство распорядилось, чтобы подписчики представили полученные ими десять томов в полицию. Но полиция вернула тома с совсем незначительными купюрами. Последовательность отнюдь не отличала правление Людовика XV, и как мы должны быть этой непоследовательности благодарны!

Однако торжествовать было еще рано. Летом 1766-го ассамблея священников, поддержанная на этот раз парламентом, осудила «Энциклопедию» вместе с «Эмилем» и «Общественным договором» Жан Жака Руссо. Несмотря на их личную вражду, в глазах

противников Дидро и Руссо принадлежали к одной партии.

Лебретону угрожала Бастилия — не помогла и гнусная проделка, леттр де каше (тайный приказ об аресте) было уже подписано. Спасая в первую очередь себя, а не «Энциклопедию», издатель разослал двадцать или тридцать экземпляров влиятельным особам и добился поддержки министра де Флорентена.

В конце концов «Энциклопедия» восторжествовала. Торжество ее не сопровождалось ни фейерверками, ни звоном фанфар. Пышность и торжественность Дидро оставлял своим противникам.

XI «Энциклопедия в разговорах»

Все эти годы вплоть до 65-го до подписчиков доходили преимущественно слухи. То, что Дидро и один из издателей, Давид, бежали в Голландию, то чтонибудь еще столь же достоверное и вместе с тем вполне правдоподобное. Ничто из написанного или отредактированного Дидро света не видело. Осадная машина заряжалась в глубоком подполье.

Правда, в августе 1761 года Дидро обратился к читателям с письмом, объясняя, почему выпуск томов, следующих за седьмым, прекратился, и уведомляя, что работа продолжается. Он писал: «Поскольку мы начали заниматься этим предприятием, самым сложным, которое когда-либо знала литература, мы столкнулись с трудностями... Свет, постарев, не изменился, бывает, что индивидуумы совершенствуются, но природа в массе не становится ни лучше, ни хуже, дурные страсти остаются теми же, всякого рода враги всего хорошего и полезного бесчисленны, как и преж-

де». Дальше говорилось о том, что не исчезли те суеверия, которые заставляли страдать во все времена все народы, о том, как опасно ставить свои имена в числе благожелателей человеческого рода, воздавалась похвала (уже не в частных письмах, а публично) шевалье де Жокуру: «Как мы ему обязаны! Чего он не делал для нас в последние годы?! Никогда никто не жертвовал так своим отдыхом, своими интересами и здоровьем...»

Читатели могли представить себе жертвы, которые приносили «Энциклопедии» сам Дидро и его товарищи, так как в обращении были и такие слова: «Если принять во внимание наш возраст, когда мы начали этот труд, и то, что мы в него вложили, легко заключить, что мы прожили больше, чем нам осталось».

И все-таки было совершенно ясно, что они не отказались от своего дела.

«Публика судила первые семь томов, — писал Дидро, — мы не просим большей индульгенции для остальных».

Однако готовились или не готовились остальные тома «Словаря», до читателей они пока не доходили.

Это отнюдь не означало, что воздействие на умы было на восемь лет отложено. Существовало устное слово, оно во все времена было и есть орудие пропаганды не менее действенное, чем книги. И Дидро пользовался этим орудием более чем когда-либо.

Крылатые слова Мармонтеля: «Кто знает Дидро только по его произведениям, тот совершенно не знает его», — не раз подвергались кривотолкам. У Дидро были не только друзья и не только открытые враги, но и полувраги, притворявшиеся полудрузьями, среди современников и среди потомков. И они-то и придавали этим словам смысл, о котором сам Мармонтель, вероятно, не подозревал, оборачивая действительные достоинства философа его мнимыми недостатками. Эти полувраги-полудрузья утверждали, что Дидро не способен был создать какое-нибудь великое произведение и гений его проявлялся только в разговорах.

Нет нужды доказывать, насколько это неверно. Но настолько же верно то, что Дидро недостаточно знать по одним его произведениям. Недаром одним из его многочисленных прозвищ было «энциклопедия в действии и разговорах».

Мы уже познакомились с Дидро как с «энциклопедией в действии». Пришла пора познакомиться не с ним одним, но и с его коллегами, как с «энциклопедией в разговорах».

И здесь его роль была главенствующей. Кто из слышавших его не согласился бы с аббатом Морелле, сказавшим: «Беседа Дидро отличалась громадной силой и большим очарованием. Его речь была одушевлена полной искренностью; тонкая и разнообразная по форме, блещущая образами и богатая мыслями, она пробуждала мысль у других».

Где же можно было услышать «энциклопедию в разговорах», временно заменявшую «Энциклопедию» в больших кожаных фолиантах? Время, которое Дидро проводил не в своем кабинете, не в мастерских, не у резчиков или в типографии, не отдавал встречам с Софи или письмам к ней, Гримму и другим своим корреспондентам, он дарил парижским салонам.

Мадемуазель Леспинас, не слишком симпатизируя Дидро, не могла не признать: он был создан для того, чтобы быть главой какой-нибудь секты или греческим философом, поучающим юношество. На самом же деле Дидро был главой великого содружества передовых умов и поучал все современное ему общество.

Тогда не существовало ни политических партий, ни политических, литературных, художественных клубов. И салоны фрондирующих дворян и богатых буржуа служили своего рода клубами.

Салоны эти были центром умственной жизни Парижа, более того — Франции, и еще более — Европы, лабораторией, где выращивалось революционное мировоззрение и вырабатывалась программа действий французской буржуазии и всего третьего сословия. Не поняв этого, мы не поймем и значения тех

бесед о политике, философии, религии, науках, литературе и искусствах, которые там велись.

Посетим же вместе с Дидро салоны, которые посещал он. Конечно же, мы услышим в них разноречивые разговоры, даже если встретим почти однородное общество. И может ли быть иначе, если литературная республика объединяла широкий фронт всех недовольных старым порядком?!

Начнем с первого дня недели — понедельника. Именно в этот день давала у себя обеды для художников матушка братьев-энциклопедистов, как в шуточной проповеди назвал мадам Жофрен Гримм. Ее дом, по остроумному выражению одного современника, был первым из вторых домов Дидро. После смерти мадемуазель Тансен ее общество перешло к мадам Жофрен, достаточно богатой, чтобы предоставить свой дом искусству и литературе и благодаря этому в старости наслаждаться занимательной беседой и пользоваться почтением достойных людей. Побывав у нее в понедельник, вы неизменно встретили бы за ее обильным столом Ватто, Буше, Грёза, Латура, Ленуа и других более или менее известных художников.

Получив приглашение на среду, когда у нее собирались литераторы и философы, вы имели бы своими сотрапезниками и собеседниками Даламбера, Гальяни, Гельвеция, Сен-Ламбера, аббатов Рейналя и Морелле, иногда Дидро.

Словом, по средам у матушки собиралось общество такое же, как по четвергам у Гольбахов, а по понедельникам такое же, как у них по воскресеньям. Оба салона служили как бы продолжением один другого. Но только *как бы*.

Что же касается самой хозяйки, то, не обладая особыми познаниями ни в литературе, ни в искусстве, ни тем более в философии и политике, она чувствовала себя одинаково хорошо среди посетителей своих понедельников и своих сред. У нее хватало ума не говорить о том, чего она не знала, хватало такта, чтобы, не сказав ничего по существу, поддерживать умный разговор.

Это можно поставить ей в заслугу, потому что дочь придворного лакея, Мария Тереза, не получила решительно никакого образования. Она не пополнила его и выйдя замуж за богатого фабриканта зеркал. Правда, она могла пообтесаться, когда была подругой графа Понятовского, впоследствии польского короля.

К тому времени, как мадам открыла салон на улице Сент-Оноре, она успела уже овдоветь и, достигнув достаточно преклонного возраста — она родилась в 1699 году, — вряд ли пользовалась милостями своего августейшего друга. Зато с ней переписывалась Екатерина II, ее салон посещала маркиза де Помпадур.

В этом салоне все оборачивалось милой шуткой. Грёз говаривал: «Клянусь богом, если она на меня рассердится, я ее напишу». Это звучало угрозой, но угрозой нисколько не страшной: матушка Жофрен скрашивала свою дурноту и свой возраст тем, что одевалась с изысканной простотой. Матушка была образцом хорошего вкуса.

И в то же время она позволяла себе порой разговаривать со своими друзьями нетерпеливо и несдержанно, вмешиваться в их дела, без должных оснований претендуя на то, чтобы быть их поверенной, их советчицей, их наставницей.

Дидро с явным неудовольствием рассказывал Софи Волан, как однажды нанес мадам Жофрен визит, а она третировала его, как животное, и советовала Анне Туанете поступать так же, а до того пыталась настроить против отца и дочь.

Но не только это удерживало Дидро от частых посещений сред матушки, хотя он и был с мадам Жофрен в дружеских отношениях, постоянно встречаясь с ней в Гранвале у Гольбахов. Важнее было другое. Если верить Мармонтелю, а какие у нас причины сомневаться в истинности его слов и осведомленности постоянного посетителя сред: «Мадам Жофрен уважала Гольбаха и любила Дидро, но под сурдинку, не компрометируя себя ради них». Объяснение этому простое. Она принимала у се-

бя энциклопедистов, но стоило ли матушке навлекать на себя подозрение в чрезмерном радикализме?

Удивительно ли, что в ее салоне нужно было держаться осторожно, нельзя было высказываться сколько-нибудь откровенно и решительно?!

Различие между ее салоном и салоном барона Гольбаха очевидно из той же шуточной проповеди Гримма. Вот что он говорил: «Матушка Жофрен сообщает, что у нее не дозволено будет, как и прежде, говорить ни о внутренних делах, ни о внешних, ни о придворных делах, ни о событиях на севере, ни о событиях на юге, ни о делах на западе, ни о делах на востоке, ни о политике, ни о финансах, ни о войне, ни о мире, ни о религии, ни о правительстве, ни о теологии, ни о метафизике, ни о математике, ни о чем бы то ни было».

Конечно, это заострено до гротеска, но если в каждой шутке есть доля правды, то здесь эта доля велика.

Из этого перечня можно без труда заключить, что обо всем этом без оглядок и реверансов разговаривали по «дням синагоги» — четвергам у барона Гольбаха в его особняке на улице Рояль-Сен-Рош. Здесь неизменно бывали те же Мармонтель, Гельвеций, Гримм, Нэжон, Дидро, но здесь все они были иными, чем у мадам Жофрен.

Естественным продолжением кабинета Дидро, его гостиной и его столовой служила гостиная и столовая барона, особенно по четвергам, когда там собиралась вся группа материалистов.

Гости приходили по четвергам на улицу Рояль-Сен-Рош часа в два и проводили время за беседой — ее не прерывал и обед — до семи-восьми. Вы застали бы здесь и аббатов-вольнодумцев — Рейналя, автора рецензии на первый том «Энциклопедии» и куда больше прославившей его «Истории двух Индий», Морелле, Гальяни — последнего сделало известным рассуждение о торговле хлебом. И писателей — того же Мармонтеля, автора «Велизария» и редактора отдела литературы «Энциклопедии», Сен-Лам-

бера, Дюкло. Постоянным посетителем четвергов был и Даламбер.

Однако разговор не всегда касался высоких материй. Барон, как мы знаем, любил посудачить. Один из четвергов почти сплошь проговорили о том, что Гримм, недавно страдавший от несчастной любви к немецкой принцессе, был снова влюблен. И кто же была его избранница?! Девица из оперы, мадемуазель Фель, она пользовалась успехом в «Титане и Авроре».

В письмах Дидро встречается эта фамилия, как встречаются фамилии всех, с кем он так или иначе общался. Он не осуждал Гримма за любовь к актрисе, как не осуждали его и другие. Осудил Гримма один Руссо, не позабыв высказать свое неодобрение и в «Исповеди».

В другой четверг «философ горы» — так прозвали Дидро, потому что он жил тогда на холме святой Женевьевы, рассказал, что встретил в Люксембургском саду старого знакомого, профессора философии коллежа Даркур аббата Бассе, в сопровождении молодого поэта кюре Пти. Последний пожаловался Дидро, что не смог написать мадригала о том, как его лакей сделал ребенка его служанке. Дидро посоветовал Пти написать трагедию и сам стал жертвой своего совета. Теперь он вынужден был готовить и этот «чужой урок» — помогать Пти сочинять трагедию.

Нередко разговор касался искусства. Барон был горячим противником французской музыки, считая ее слащавой и искусственной. Но зато в его картинной галерее были блестяще представлены французские художники.

Не обходили и естественную историю. Незадолго до того у материалистов произошел разрыв с Бюффоном, и Гольбах не упускал случая что-нибудь нелестное отпустить по адресу знаменитого натуралиста.

Особую прелесть четвергам придавала любезность хозяйки. Обеды ее мужа позволяли Шарлотте проявить природную заботливость.

У Гримма салона в Париже не было. У Гельвеция собирались сравнительно редко; только после смерти хозяина салон его вдовы приобрел популярность.

Зато к концу этого семилетия, в 64-м, открылся новый салон — подруги Даламбера. Жюли Жанна Элеонора де Леспинас не была богата, как мадам Жофрен и Гольбахи. Она могла прельщать своих посетителей соблазнами только духовной кухни. Мы знакомы с мадемуазель. К тому, что уже говорилось, можно добавить отзыв о хозяйке этого скромного салона того же Мармонтеля (его мемуары — богатый источник сведений об «энциклопедии в разговорах»): «Она имела голову самую живую, воображение самое пламенное, какое существовало после Сафо».

Сам он бывал у нее постоянно. Посещали этот салон Сен-Ламбер, Морелле, участник триумвирата времен молодости Дидро, аббат Кандильяк, Тюрго. Заглядывали сюда материалисты.

Примерно тогда же открыла свой салон и другая «сестра» энциклопедистов, жена прославленного впоследствии министра финансов Неккера. Личность хозяина в соединении с любезностью хозяйки и ее симпатиями к энциклопедистам завоевали салону мадам Неккер популярность и влияние в парижском обществе. Правда, это было позже, в 1770-м, но не случайно именно здесь возникла мысль заказать скульптору Пигалю статую Вольтера, обратившись ко всем гражданам литературной республики с предложением организовать подписку для сбора средств на памятник фернейскому патриарху еще при его жизни.

Разумеется, Дидро и его ближайшие друзья — Гримм, Гольбах, Гельвеций были участниками этого собрания.

Так разговоры переходили уже в действие. Да и само слово, разносившееся далеко и кристаллизовавшееся в сочинениях участников бесед, было действием.

XII «Энциклопедия» и «Сокоплия»

Если бы вы спросили Дидро, какого он мнения о мадам Дэн, теще барона Гольбаха и владелице Гранваля, он отозвался бы так: «Мадам Дэн — прекраснейшая в мире женщина, но безбожно коверкает слова: «химика» называет «химистом», перегонные колбы — «перегонками», «Энциклопедию» — «Сокоплией».

Это нисколько не мешало тому, что Гранваль, где Дидро ежегодно гостил недель шесть, был для него не только «энциклопедией в разговорах», но и «энциклопедией в действии», или, проще сказать, не только его гостиной, но и его кабинетом.

Но, гостя у своих друзей, он и отдыхал, совершая длительные прогулки. Прекрасные окрестности Гранваля с успехом заменяли ему Тюильри и Люксембург. Отдыхал и за партией шахмат, триктрака или пикета и, не будучи нисколько ханжой, развлекался фривольными шутками дам и гривуазными проделками самой из них легкомысленной, самой большой проказницы, хотя отнюдь и не самой молодой, мадам Дэн.

Поистине здесь сожительствовали «Энциклопедия» и «Сокоплия». «Явочная квартира» энциклопедистов — а ею по праву можно назвать Гранваль — нисколько не походила на явочные квартиры русских революционеров XX столетия, где собрания только маскировались вечеринками. Но ведь это была Франция и XVIII век!

Первое из дошедших до нас писем Дидро к Софи Волан из Гранваля было написано в начале октября 1759 года. Очевидно, в нем идет речь и о первой поездке его в имение своих друзей.

Прочтем его, как и все остальные. Вот это пись-

мо: «Что вы думаете о моем молчании? Считаете его добровольным? Итак, я отправился в среду утром. В начале двенадцатого багаж еще не был готов, и у меня еще не было кареты. Жена слегка удивилась количеству книг, платья и белья, какое я брал с собой. Она не допускает, чтобы я мог пробыть вдали от вас больше недели. Приехал за полчаса до обеда. Меня ждали. Мы расцеловались с бароном, как будто между нами ничего и не произошло. Никаких объяснений не последовало. (Видимо, до того они поссорились. — *А. А.*) Мадам Дэн и мадам Гольбах встретились со мной с величайшим удовольствием, особенно последняя — кажется, она питает ко мне дружеские чувства. Меня поместили в отдельной комнате, весьма покойной, уютной и теплой. Здесь, в обществе Горация и Гомера, перед портретом моей подруги я провожу время в чтении, мечтаниях, писании и воздыханиях. Это мои занятия с шести утра до часу дня. В половине второго я одет и спускаюсь в гостиную, где нахожу все общество в сборе. Иногда меня навещает барон. Он великолепно держит себя. Если я занят, он посылает мне рукой приветствие и уходит. Если находит меня праздным, то садится и беседует. Хозяйка дома визитов не делает и не требует их от других. Чувствуешь себя как дома, а не как в гостях у нее.

Есть здесь некая мадам де Сент-Обен, когда-то обладавшая довольно красивыми глазами. Это прекраснейшая в мире женщина. Обычно мы играем с ней партию в триктрак либо до, либо после обеда. Она играет лучше меня; она любит выигрывать, а я не слишком боюсь много проиграть... Обедаем мы вкусно и долго. Стол сервирован, как в городе, пожалуй, даже пышнее и как нельзя более умерен и полезен для здоровья. После обеда дамы беседуют; барон дремлет на кушетке, а я делаю, что мне заблагорассудится. Между тремя и четырьмя часами мы берем трости и отправляемся гулять — дамы идут своей дорогой, а я и барон — своей. Мы совершаем весьма обширные прогулки. Ничто нас не останавливает: ни холмы, ни леса, ни болота, ни пашни. Зре-

лище природы приятно нам обоим. По дороге мы говорим либо об истории, либо о политике, о химии или о литературе, обо всем физическом, обо всем духовном. Заход солнца и вечерняя прохлада гонят нас домой, куда мы возвращаемся, однако, не раньше семи часов. Женщины уже дома и успели переодеться. На одном из столов приготовлены свечи и карты. Минутку отдыхаем, затем принимаемся играть в пикет. Барон идет один против всех. Он играет неумело, но весело. Обычно ужин прерывает игру. Мы ужинаем, а отужинавши, кончаем партию. Половина одиннадцатого. До одиннадцати беседуем, в половине двенадцатого все спят или должны по крайней мере спать. На следующий день повторяется то же самое».

Бывали и вариации более или менее значительные. 15 октября ветер и холод принудили хозяев и гостей сидеть дома. Общество пополнилось еще одним мужчиной, хирургом шотландцем, за его старческий, сухой и сморщенный вид прозванным дядюшкой Упом. Дядюшка Уп, барон и Дидро уселись у камина, где пылали большие поленья, и принялись философствовать о радости и печали, о хороших и дурных сторонах жизни. Разговор коснулся и того, что значит жить, не исчезнув и после смерти.

Началось с рассуждений о некоем господине Сен-Жермене. (Мы с вами знаем этого знаменитого авантюриста, выдававшего себя за изобретателя жизненного эликсира, по пушкинской «Пиковой даме».)

Ходили слухи, что ему не то сто пятьдесят, не то сто шестьдесят лет и он омолаживается, как только чувствует, что постарел.

— Говорят, что, зная, как помолодеть на один час, он может удвоить дозу, помолодеть на год, на десять лет, и таким образом вернуться в чрево матери, — заметил Дидро, протягивая ноги поближе к камину.

— Если бы я вернулся в чрево матери, меня никакими силами не вытащили бы оттуда, — мрачно сказал дядюшка Уп.

И вот тут-то Дидро вспомнил свой парадокс, который однажды уже высказал сестре Софи:

— Худшее не в том, что существуешь, а в том, что будешь существовать вечно.

Затем он принялся рассуждать о том, что такое бессмертие, и ход его мысли не имел ничего общего с религиозной догмой о бессмертии человеческой души.

— Что наделено известными качествами, то было и всегда будет наделено ими. Чувство и жизнь вечны. То, что живет, жило и всегда будет жить бесконечно. Единственное различие между смертью и жизнью в том, что в данную минуту вы живете целиком, а через двадцать лет, растворившись, раздробившись на молекулы, будете жить частично. — То, что говорил Дидро дальше, тоже исходило из его учения об единстве материи.

Остаток вечера прошел в том, что все принялись подтрунивать над его парадоксом. Ему предлагали прекрасные груши, которые жили, виноград, который мыслил.

А он, обращаясь мыслью к своей Софи, — разлука с ней всегда была для него мучительна — тешил себя сладостной химерой: если существует закон духовного сродства, если им суждено в течение веков составлять одно целое, растворившиеся молекулы его самого, придя в движение, станут искать разбросанные в природе молекулы его возлюбленной.

Говорили в Гранвале в этот вечер и о так называемой английской экспедиции — Франция была втянута в войну, и двадцать две тысячи несчастных французов были отправлены в Англию. О них мадам Удегэ, тревожившейся за своего возлюбленного Сен-Ламбера, напомнил ветер, отдалявший англичан от пролива. К Сен-Ламберу хорошо относился и Дидро. Но он любил ветер.

Вернулся слуга, посланный на почту, и письмо из Лиссабона, полученное соседом Гольбахов мосье де Сюсси, известило присутствующих, что король португальский в годовщину покушения на него иезуитов предложил иезуитам секуляризироваться, пятьдесят

человек согласились, сто пятьдесят посадили на корабли, и никто не знает, куда их отправят и какая их ожидает судьба; четверо содержащихся в тюрьме будут казнены.

Но Дидро мало трогают и короли и иезуиты, пусть одни безнаказанно убивают других. Он предпочел бы получить весточку от своей подруги.

Зато он охотно беседовал с крестьянами — от них всегда можно чему-нибудь научиться — и никогда не упускал момента, когда сады Гранваля наполнялись поденщиками, разделывавшими клумбы и лужайки, сажавшими деревья.

С раннего утра, едва забрезжит день, они с лопатами в руках копают землю и отвозят ее в тачках, и так до позднего вечера. Они едят черный хлеб, пьют воду из ручья, в полдень отдыхают тут же на земле и потом снова принимаются за работу. И притом они веселы, поют, обмениваются грубыми шутками, смеются. А вернувшись домой, бедняки видят вокруг дымного очага кучу голых ребятишек, отвратительно неопрятную крестьянку, спят на постели из сухих листьев.

И при всем этом удел их нисколько не хуже и не лучше, чем его собственный.

Эти размышления изложены в том же письме Софи, где Дидро рассказывает, как Гольбах отнесся к вести об его возможном разорении. Передав слова барона, Дидро пишет уже от себя: «А я подумал, что для человека, не имеющего ни жены, ни детей, ни других привязанностей, заставляющих его желать богатства и не оставляющих ему никаких излишков, почти безразлично — быть богатым или бедным. Бедняк покинет родину, покоряясь вечному проклятию, каким природа отягчает род человеческий, и будет добывать себе хлеб в поте лица своего. Это парадоксальное положение проистекает от равенства, которое я устанавливаю между званиями, и от малого, как мне кажется, различия между хозяином дома и его привратником».

Демократизм, органическое ощущение равенства людей — в самой природе Дидро. Но столь же свой-

ственно было ему и понимание того, что равные от рождения люди совсем не равны по своему положению в обществе. Не оттого ли наблюдения за поденщиками и размышления над их жизнью навеяли на него печаль и презрение к житейским благам?! Он спрашивает у Софи: «Вы испытали всякие превратности судьбы: скажите, кажется ли вам настоящее более жестоким, чем прошедшее?.. Нынче я провел все утро в погоне за идеей, ускользавшей от меня... Спустившись вниз, я был печален; услышав разговор об общественном бедствии, без всякого аппетита сел за пышно накрытый стол; желудок мой обременен был вчерашней пищей; обременил его еще более множеством блюд; затем уселся за игорный стол, дабы убить тягостные часы...»

А ведь он прежде хвалил умеренность обедов в Гранвале, с удовольствием рассказывал о партиях в пикет... Но в этот день им овладевает тоска.

Это так понятно. У него есть друг, но от друга нет известий. Подруга, по которой он так скучает, далеко. И ему кажется, что в деревне, в городе — везде тоска. Впрочем, тут же он замечает: кто не знает тоски, тот не принадлежит к роду сынов человеческих.

Однако, время от времени тоскуя, этот уроженец Шампани умел и радоваться всему, чему только можно радоваться.

Какое наслаждение доставляла Дидро красота окрестностей усадьбы! В прекрасное воскресенье конца октября 1759 года гости и хозяева отправились гулять по берегу Марны и от подножия холмов дошли до Шампани.

«Никакое воображение не в силах представить нам столько богатства и разнообразия, сколько здесь предоставляет в наше распоряжение природа!» — воскликнул Дидро, обращая внимание спутников на вид, который открывался их взорам. Деревня расположилась на возвышенности амфитеатра. Внизу ложе Марны, разбиваясь на множество рукавов, образовало группы островков, поросших камышом. Вода устремлялась в узкие проходы между островами и

низвергалась водопадами. Крестьяне устроили здесь тони. Поэтический пейзаж дополняли виноградники, леса, луга.

Разве Дидро был не прав? Какое воображение могло превзойти в изобразительности природу?

Вернувшись в гостиную, общество провело остаток воскресного дня так, что ни «Энциклопедия», ни «Сокоплия» не имели никаких оснований обидеться.

Все очень устали и поэтому сидели молча. Но, едва отдышавшись, мадам Гольбах обратилась к матери:

— Маменька, что же вы не составляете партии?

— Я предпочитаю отдохнуть и поболтать.

— Как вам угодно, — согласилась послушная дочь.

И тогда мадам Дэн обратилась к Дидро с вопросом:

— Итак, философ, как далеко вы продвинулись в вашем труде?

— Я остановился на арабах и сарацинах.

— На Магомете, лучшем друге женщин?

— Да, и злейшем враге разума.

— Вот дерзкое замечание.

— Сударыня, это не замечание, а факт.

— Опять дерзость, нечего сказать, галантный тон у наших мужчин! — последовала еще одна реплика.

Но Дидро, не вступая больше в пререкания с мадам, начал читать отрывки из своей статьи.

Едва успел он прочесть первую фразу: «Народы эти узнали письменность незадолго до геждры», как мадам Дэн его перебила:

— Геждра — что это за зверь?

— Сударыня, геждра — это великая эпоха для мусульман, — ответил философ, не объясняя, что так называется бегство Магомета из Мекки в Медину, с которой начинается летосчисление мусульман.

Естественно, что дама осталась недовольна его объяснением:

— Ничуть не поумнела! Мне столько же говорит «великая эпоха», сколько «геждра», а «геждра» —

сколько «великая эпоха». Вот уж любители говорить по-китайски!

Не отвечая ей, Дидро продолжал читать:

— «В предшествовавшую эпоху там существовало лишь грубое идолопоклонничество; тот, кого природа наделила кой-каким красноречием, был всемогущ. Люди, которых племена эти называли почетным именем «шатед», были пастырями и астрологами, музыкантами, поэтами, законодателями и священниками, — лишь у диких варварских народов могли сочетаться в одном лице столь разнообразные знания».

— Это верно, — последовала реплика одного из мужчин.

Кто-то — скорее всего барон — заметил:

— Таков был Орфей у греков, Моисей у евреев, Нума у римлян.

Но и после этого Дидро не удалось вернуться к чтению, так как старшая хозяйка отвлеклась, вспомнив о своем саде. Отправленный в Париж управляющий имением Берлиз вместо полутораста пучков цветов прислал всего восемьдесят, и цветочные надписи на клумбах не удастся посадить этой осенью. Противореча самой себе, мадам Дэн тут же спросила:

— Не правда ли, клумбы получатся очень красивые, как вы думаете?

Кто-то из гостей ответил:

— Замечательные.

И довольная хозяйка сказала:

— Хотелось бы мне, чтобы Шарон (это был прежний владелец Гранваля) посмотрел на свой сад теперь!

И только после этого обмена мнениями о саде Дидро удалось возобновить чтение статьи.

Но и потом оно не раз еще прерывалось.

Таковы уж были нравы того времени. Приходится ли удивляться, что написанное Дидро вытеснялось надписями на клумбах и не меньшее место, чем критика религии, в беседах обитателей Гранваля занимали шутки и пересуды о знакомых?

Как раз последним и занялась сейчас мадам Дэн.

Гольбах попробовал было остановить свою тещу. Не тут-то было. Она безапелляционно заявила:

— Бог с вами, зятек, дайте нам позлословить насчет ближнего. Я уверена, что про нас говорят не меньше, и нимало этим не огорчена, — и продолжала перемывать косточки.

Гольбах, в свою очередь, не сдавался. В пику теще он попросил жену взять свою мандору и сыграть несколько пьес.

— Звук этот будет менее неприятен и более пристоен.

Но не отступала и мадам Дэн. Отозвавшись о зяте как о самом надоедливом человеке, когда ему нездоровится, она попросила дочь не исполнять его приказания и заявила:

— Да и в конце концов чешите себе языки насчет вашей философии и не вмешивайтесь в наши разговоры! Вы были в серале, возвращайтесь туда. Коротко и ясно!

Мужчины и мадам Гольбах вернулись к магометанству, к его сектам и другим вероисповеданиям, и Дидро заметил, что, когда в какой-нибудь столице существует ежегодный религиозный праздник, это можно рассматривать как вполне очевидную меру, приводящую к безверию, испорченности нравов и упадку народных суеверий. Даже экскурс в историю магометанства приводил его к обоснованию любимой идеи — религия враждебна нравственности.

Почти так же протекала жизнь и в Шевретте, когда Дидро гащивал у Гримма и мадам Эпинэ: беседы, то шутливые, то серьезные, небольшие прогулки вместе или врозь; много чтения, размышлений.

Часть четвертая





I

Истина и добродетель, или Дидро — преобразователь драмы

Словно бы мы уже прожили с Дидро целых пятьдесят два года, да еще и перезнакомились с его родителями, братом, сестрой, родственниками, земляками, проследили его родословную. Проучились с ним четыре года в лангрском иезуитском коллеже и пять лет в коллеже Даркур. Сопротивлялись пандектам и зачитывались сочинениями Локка, Гоббса, Ньютона, по англо-латинскому словарю изучая английский язык. Делили с ним убогий кров трактирных мансард, отказывались от выгодных уроков и облапошивали брата Ангела. Посещали его излюбленные кафе и совершали излюбленные им прогулки. Вместе с ним сочиняли «Философские мысли», «Прогулку скептика», «Письмо о слепых в назидание зрячим», «Нескромные сокровища», «Белую птицу». Просидели двадцать восемь дней в одиночке башни Венсенна и два месяца в Венсеннском замке. Готовили с Дидро семнадцать томов статей «Энциклопедии» и одиннадцать томов таблиц и гравюр, часами просиживая в мастерских. Писали о Платоне и о модах, об Африке и о Лангре. Обедали по понедельникам и средам у матушки Жофрен и по «дням синагоги» — у Гольбахов. Гащивали в Гранвале и в Шевретте... Свели близкое знакомство с его «старшими» и «млад-

шими братьями» по литературной республике. Оборонялись от декретов, запрещавших «Энциклопедию», и от пасквилей Палиссо.

Незримо присутствовали на его свадьбе в церковке «Петр на быках», не предполагая, что прекрасная, как ангел, Нанета уподобится сварливой жене Сократа — Ксантипе.

Заглядывали через плечо Дидро, когда он писал своей Софи и другу Гримму. Плакали вместе с ним, обнаружив чудовищные разрушения, произведенные Лебретоном в последних томах «Энциклопедии».

И все-таки смеем ли мы сказать, что знаем все о Дидро даже за эти пятьдесят два года?! Ведь он делал одновременно столько дел и жил такой богатой разнообразной жизнью!..

Если мы получили уже некоторое представление о Дидро как «энциклопедии в действии» и «энциклопедии в разговорах», не пора ли нам узнать о нем еще много такого, что выходит за рамки обеих «Энциклопедий» и что, мне кажется, правильнее всего было бы назвать, хотя так не выражался еще никто, «Человеком-Энциклопедией»?!

Прежде всего после тех его сочинений сороковых годов, на которых мы с вами остановились, он, кроме статей для «Энциклопедии», написал еще очень много, особенно в годы 1755—1773-й. Именно в эти восемнадцать лет из-под его пера вышло лучшее из всего им написанного, хотя почти ничего тогда не было напечатано.

К счастью, все его сочинения были опубликованы потом, большей частью, увы, посмертно. Это дает нам возможность все им написанное прочесть если не по-русски, то по-французски, а следовательно, не только полнее и лучше узнать Дидро-философа, Дидро-политика, Дидро-ученого, но и познакомиться с еще неизвестным нам Дидро-драматургом, Дидро—театральным критиком и Дидро — критиком художественным, Дидро — законодателем реалистического искусства и Дидро — автором реалистического романа «Монахиня», Дидро — сочинителем гениальных диалогов «Племянник Рамо» и «Жак-фаталист и его хозяин»

и автором диалогов, менее известных и менее совершенных.

И, однако, это еще не все главы энциклопедии «Дидро». Она не будет ни полной, ни всеобщей, если в нее не войдут статьи «Дидро-отец», «Дидро-друг», «Дидро-возлюбленный» и, наконец, «Дидро-человек», самая из всех главная.

Приступим же к чтению этой энциклопедии!

* * *

Еще не разгорелись споры вокруг статьи Даламбера в седьмом томе, автор ее даже не успел съездить в Женеву, а Дидро сразу после выхода предыдущего, шестого тома «Энциклопедии» занялся преобразованием театра, начав с самой основы его — драматургии.

И мог ли он не заняться этим? Что пользы опровергать метафизику философских трактатов, если со сцены Французской комедии утверждается метафизическое разделение материального и разумного?! Ниспровергать тиранов в статьях, если торжеством тирании, иначе именуемой долгом, над человеческой природой, иначе именуемой чувством, кончается каждая трагедия?! И если прежде даже в античных и библейских сюжетах выражалось гражданское содержание, развивались большие идеи, господствовали сильные страсти, то теперь, когда на смену Корнелю и Расину пришли Кребилион-отец, Прадон, Лошепьер, те же царственные герои, изъясняющиеся тем же александрийским стихом, безнадежно измельчали. И к каким бы ухищрениям ни прибегали их авторы, как бы ни усложняли они интригу, каких бы ни нагромождали ужасов и кошмаров, ничего, кроме пустой условности, «не имеющей никаких прообразов в природе», как однажды выразился друг Дидро Гримм, в этих трагедиях и черных мелодрамах не получалось.

Уже знакомый нам Луи Себастьян Мерсье в «Картинах Парижа» так высмеивает современные трагедии: «Все согласны с тем, что *применение одного и*

того же драматического шаблона ко всем народам, правительствам, всем событиям — потрясающим или трогательным, простым или сложным — представляет собой ребяческий прием. Его могли санкционировать только подражатели, у которых не хватало таланта видоизменять искусство, только лишенные всякой фантазии раболепные поклонники того, что было создано до них.

В очерке «Актеры» он пишет: «Людовик XIV принимал на сцену только актеров высокого роста и с благородными чертами лица. Государственный театр, на сцене которого оживают герои древности, требует строгого подбора. Среди современных актеров слишком мало хорошо сложенных мужчин, что не может внушить иностранцу выгодное мнение о нашей любви к красоте. Когда он видит людей маленького роста, изображающих величественных и прекрасных исторических лиц, он, естественно, составляет себе крайне неблагоприятное представление о природных данных нашей нации и увозит это впечатление с собой на родину».

Только ли рост актеров имел Себастьян Мерсье в виду?! Вряд ли.

Претензии Дидро к театру начались много раньше. Еще в пародийной сцене «Нескромных сокровищ» издевательски вопрошалось: «Говорят ли люди когда-нибудь так, как мы декламируем? Ходят ли принцы и короли иначе, чем всякий другой человек, имеющий нормальную походку? И принцессы испускают ли, разговаривая, острый свист?»

Но даже если бы принцы и короли не декламировали и походка у них была бы нормальной, мог ли бы Дидро примириться с тем, чтобы только высокие особы имели право быть героями трагедий?! Да еще и столь измельчавшие высокие особы!

Не радовало его и то, что в последнее время античные сюжеты уступали свою монополию на театре сюжетам из «обычного порядка жизни». И эти сюжеты были такими же условными.

А комедия? Разве здесь дело обстояло лучше? Как ни остроумны и ни блестящи были комедии Рень-

яра, что несли они зрителю, кроме пустого развлечения?! Но мог ли Дидро отдать предпочтение таким современным комедиографам, как Детуш, Грессе, с их ложной чувствительностью, докучливыми поучениями, никого не трогающей трогательностью?! Конечно же, он соглашался с Руссо, однажды воскликнувшим: «Эти пьесы премного поучают, если хотите, но еще больше они нагоняют скуку. С тем же успехом можно пойти на проповедь».

И это была еще не последняя степень падения. А «слезные комедии» Нивеля де Лашоссе! Недаром Вольтер назвал их «позором нашей нации», пришедшим на смену «подлинному комическому жанру, доведенному до совершенства неподражаемым Мольером». И в самом деле, в комедии Лашоссе «Гувернантка» добродетельная графиня совершает самоотверженные поступки, несправедливый судья раскаивается в судебной ошибке, растроганная баронесса дарит несметное состояние бедной воспитаннице. Часто ли можно было увидеть таких графинь, таких судей, таких баронесс?!

Это было не обличением, а оправданием старого порядка в им же утвержденной форме обветшавшего классицизма.

Но и Кребилион своими нагромождениями и Лашоссе своим умилением — как все прекрасно во Франции Людовика XV! — воздействовали на зрителя. Театр был трибуной. И трибуну эту надо было отобрать у реакционеров для пропаганды своих идей. Об этом заботился Дидро, и не он один.

Руссо, правда, с водой выплескивал из ванны и ребенка. Театр безнравствен, и его надо закрыть!

Но зато Вольтер вливал в старые мехи новое вино. Не нарушая канонов классицизма, он вкладывал в свои трагедии и комизм и современное содержание. Пушкин называл это «применениями», мы бы назвали модернизацией истории.

Дидро считал, что необходимо обновить и мехи. Но ему не на что было опереться. В Англии был автор «Лондонского купца» Лило, в Италии — Голь-

дони. Во Франции же он искал и не находил драматургов, которые воспроизводили бы жизненную правду, не стремясь к несуществующей абсолютной красоте, не будучи стеснены правилами и предписаниями нормативной эстетики Буало, не разделяя зрелищ на «низкие» и «высокие».

Сколько он ни прочел современных французских пьес, сколько ни пересмотрел их, разве что только одна могла удовлетворить его требованиям, и то наполовину. Это была «серьезная драма» Поля Ландуа «Сильвия» в прозе, а не в стихах, и в одном акте, что уже само по себе являлось нарушением канонов. В прологе один из персонажей раскрывал намерения автора. Он объяснял, что в этой пьесе «люди выходят на сцену, чтобы говорить о своих делах и... во имя этого вещи названы своими именами, речь идет о том, чтобы пить, есть, об одежде и мебели, наконец, о внутренности дома, где они живут... люди волнуемы страстями, выражаются соответственно своему положению и вмешиваются только в то, что их касается. Они никогда не покидают главного интереса, чтобы выходить на авансцену и декламировать общие места морали и героического бахвальства...». Уже сама по себе эта декларация попадала не в бровь, а в глаз авторам трагедий и комедий.

Но могла ли и «Сильвия» удовлетворить Дидро полностью, если драматическая коллизия ее повторяла «черные мелодрамы» кребилионовской школы?! Что говорила уму и сердцу философа измена жены, покушение на жизнь мужа, какое дело было ему до этих мнимых преступлений, прикрытых мелочным правдоподобием?

И точно так же, как он становился к станку, пусть плохо выполняя сложную операцию, чтобы научить мастеровых выполнять ее хорошо, Дидро сам принялся за сочинение пьес. В 1757 году, едва вышел в свет шестой том «Энциклопедии», редактор отправился в деревню — он сам рассказывал об этом во введении к своей первой пьесе «Побочный сын» — якобы в поисках отдыха и здоровья, а на-

самом деле — сюжета для драмы, которая показала бы, какими они должны быть.

Не случайно Дидро сообщает будущему зрителю, что событие, положенное им в основу сюжета, вызвало изумление во всей округе, следовательно, действительно произошло. Условности сюжетов эпигонских трагедий, «черных мелодрам», «слезливых комедий» Лашоссе он противопоставляет подлинность своего, взятого из жизни сюжета. Это первое утвержденное им правило реализма. Но мы-то знаем, что так поступали и поступают все реалисты всех времен и народов. Многому научившийся у Дидро, Александр Николаевич Островский даже сказал: дело драматурга не придумывать, *что* произошло, но объяснить, *как* произошло, и признался: он никогда не придумывает сюжетов своих пьес, их дают ему рассказ знакомого, газетная заметка.

Каково же было то происшествие, которое Дидро положил в основу сюжета своей пьесы? «Все только и говорили, — пишет он во введении, — что о диковинном человеке, который в один и тот же день имел счастье рисковать за друга жизнью и мужественно пожертвовал для него счастьем, свободой, состоянием».

Итак, сюжет найден. И в этом сюжете для Дидро особенно важно, что герой жертвует для друга не только жизнью — подобное встречалось на сцене часто, — но и счастьем, свободой и — это наиболее полемически заострено — своим состоянием.

Герой, Дорваль, не только действует в пьесе, но является как бы ее автором, удостоверяя подлинность всего в ней заключенного, и прежде всего не чувств и мыслей, а событий.

Обстоятельства властвуют над человеком — вот та посылка, из которой исходит Дидро, и тот вывод, к которому он хочет привести публику. Он развивает это положение в своих теоретических рассуждениях подробно и, надо признать, весьма доказательно. Но убеждает ли в этом его произведение?

Не опасался ли автор, что сами по себе его пьесы, и эта и вторая — «Отец семейства», не смогут про-

извести реалистический переворот в драме? Не поэтому ли он при издании объединил обе с теоретическими комментариями, более того, с трактатами о драме, о театре, об искусстве вообще?

Три «Беседы о «Побочном сыне» занимают в книге даже на семнадцать страниц больше места, чем сама пьеса. Ведут их Дорваль и автор, названный, как обычно в диалогах Дидро, «Я», но здесь выступающий сторонником классицизма, чтобы собеседник мог опровергать его доводы.

История показала, что опасения Дидро были справедливы. «Беседы о «Побочном сыне», и особенно блистательный трактат «О драматической поэзии», приложенный к «Отцу семейства», и тогда оказали на умы гораздо большее воздействие, чем обе его «мещанские драмы», хотя и вокруг драм было много шуму. Трактаты эти стали художественным манифестом революционной буржуазии, и вклад, внесенный ими в теорию реализма, не потерял своего значения до сих пор. А обе пьесы Дидро давно уже никто не ставит и не слишком часто читают.

Но сам Дидро очень заботился о постановке «Побочного сына». Зачем бы иначе, выпуская ее в свет, он наметил актеров и актрис, которые лучше всего могли бы исполнить главные роли?! За последними фразами введения, где Дидро уверяет, что, спрятанный Дорвалем в углу гостиной, он, никем не увиденный и не услышанный, все увидел и услышал, кроме последней сцены, вместо обычного перечня персонажей идут «Имена действующих лиц и актеров, которые могли бы их заменить». Не сыграть, а заменить! В этом представлении, где все якобы происходит на самом деле и просто убрана четвертая стена (как видите, это придумал Дидро, до Станиславского!), актеры призваны были не сыграть роли, а *заменить* реальных действующих лиц. С этой задачей — полагал Дидро — могли справиться не просто хорошие, но лучшие актеры французской сцены.

Лизимона, отца Дорваля и Розалии, должен был заменить Соразен; Дорваля, побочного сына Лизимона и друга Клервиля, — Гранваль, Розалию,

дочь Лизимона, — прославленная исполнительница вольтеровской Заиры м-ль Госсен, Констанцию — знаменитая мадемуазель Клерон, приятельница Дидро и других энциклопедистов, и так далее.

Указаны были и актеры, которым надлежало заменить горничную Розалии — Жюстину, слугу Дорваля — Шарля и тем более слугу Лизимона — Андре. И не случайно Дидро утверждал, что слуги и другие эпизодические персонажи должны занимать в пьесах несравненно большее, чем прежде, место. Это способствовало бы демократизации действующих лиц — «разве оттого, что они наши слуги, они перестают быть людьми?» — спрашивает Дорваль в «Беседе первой». Это приводило бы к полноте и естественности воспроизведения жизни, где случайности играют такую большую роль.

Вернемся, однако, к актерам. Пятнадцать лет, несмотря на все усилия автора, «Побочный сын» оставался пьесой только для чтения. Но и когда она, наконец, в 1771 году была впервые сыграна на сцене Французской комедии, *один раз* при жизни Дидро, никто из предложенных им актеров и актрис в ней не участвовал. Не захотели. Единственным известным актером, занятым в спектакле, был Моле, блиставший в «мещанских драмах». По его настоянию «Побочный сын» и был поставлен. Остальная же труппа была так недовольна, что пьесу тут же сняли с репертуара. Так как это произошло уже после блистательного успеха «Отца семейства» на той же сцене, в 1769 году, основной причиной неприязни надо считать слабость пьесы.

Другой вопрос, что прежде актеры участвовали, и весьма энергично, в клеветнической кампании, поднятой аристократической партией против «Побочного сына». Пьесу не только ругали, но и объявили плагиатом с «Истинного друга» Гольдони. Дидро опровергал это лживое обвинение в трактате «О драматической поэзии», и сам Гольдони, хотя и не сразу, подтвердил его правоту.

И тем не менее пьеса, бесспорно, была уязвима. Как ни горько, надо признать, что она ненамного пре-

восходила плохую работу Дидро на ткацком или каком-либо ином станке.

Знакомый нам наемный убийца Палиссо — увы, такие были и есть во все времена и у всех народов! — не так уже был не прав, когда в памфлете «Маленькие письма о больших философах» упрекал «Побочного сына» в драматургической рыхлости.

Даже знаменитый немецкий продолжатель Дидро, Лессинг, вынужден был признать, что его учитель подал Палиссо «много поводов для нападок на «Побочного сына». «Чрезвычайно однообразные характеры, романтичность самих этих характеров, сухой и надуманный диалог, педантичный звон новомодных философских сентенций — все это облегчало нападки порицателей. Особенно много смеялись над торжественной Терезией (или Констанцией...), так философски ловящей женихов и так мудро рассуждающей с человеком, которому она не нравится, о добродетельных детях, которых надеется иметь от него. Нельзя отрицать и того, что форма, приданная Дидро его диалогам, тон, каким он в них выражается, были немного суетны и напыщенны...»

Казалось бы, это трудно объяснить. Дидро даже философские трактаты писал в форме блестящих диалогов. Кто мог сомневаться в том, что он прирожденный драматург? А пьеса его была так назидательно скучна и суха. В чем тут разгадка? А вот в чем. Чего Дидро добивался? «Истина и добродетель — две невредимые статуи среди гибели и опустошения», — провозглашал он. Истину и добродетель он хотел воздвигнуть в своей пьесе. Но на самом деле истина в действительности того времени никак не совмещалась с добродетелью. Дидро хотел правдиво показать третьесословного героя и в то же время превознести его добродетели. А реальный буржуа и его реальная деятельность тогда, как и прежде и потом, никак не могли служить образцом добродетели. Отсюда и умозрительность пьесы и искусственность ее ситуаций и диалогов.

Критик того времени Лагарп остроумно заметил: «Драматург должен перевоплощаться в любого из

своих персонажей, а Дидро, напротив, превратил всех действующих лиц в самого себя: все они обладают его умом и стилем. Мужчины, женщины, слуги — все у него философы».

Теоретически Дидро превосходно это понимал и того же, чего требовал от него Лагарп, спрашивал с других драматургов. Но в собственной пьесе действие и раскрытие характеров он заменил декларациями, живых людей — различными вариациями умозрительной добродетели.

Пружиной действия Дидро захотел сделать обстоятельства, противопоставляя их заданным характерам и справедливо утверждая: «проявления зависят от обстоятельств», «чтобы показать сложность и изменчивость характеров, надо ставить героев в самые великие стеснения, в какие только можно». Основой сюжета «Побочного сына» должно было стать внебрачное рождение Дорваля. По авторскому замыслу, это *обстоятельство* объясняло и бегство его отца на Антильские острова и то, что Дорваль не знает о существовании у него сестры, в нее влюбляется и становится соперником своего друга Клервиля, жениха Розалии. И все остальное. Но замысел не воплощен: в пьесе положение Дорваля как побочного ребенка не раскрывается. Это с огромной силой сделает Дидро четырьмя годами позже в «Монахине». Дорваль же богат, никем не отвергнут, не изгнан из общества, любим даже двумя женщинами. Это те наличествующие в самой пьесе обстоятельства, которые, хотел этого или не хотел автор, опровергают мизантропический монолог Дорваля: «Когда я, покинутый почти с рождения где-то на грани между одиночеством и обществом, открыл глаза, чтобы разыскать узы, которые могли бы связать меня с людьми, я едва нашел обрывки этих уз. Тридцать лет бродил я среди людей одинокий, неизвестный, заброшенный, не испытав ничьей любви, не встретив никого, кто искал бы моей любви. Мне ненавистно общение с людьми, и я чувствую, что покой я обрету лишь вдали от тех, кто мне дорог».

Констанция разрушает его мизантропию, заяв-

ляя: «Рождение, титулы, богатство, положение — ничто перед сладостным дыханием добродетели».

И Дорваль, движимый добродетелью, убеждает Розалию отказаться от любви к нему и анонимно отдает ей половину своего состояния.

Страсть побеждена добродетелью, к чему и стремился автор. Но жертва оказалась не столь велика, потому что появление отца, открывшего Дорвалю тайну его рождения и то, что он и Розалия — брат и сестра, все равно сделало их любовь невозможной.

А сила их чувств, их любовь друг к другу, опять-таки вопреки авторскому замыслу, уничтожены тем, что, как только тайна выяснилась, Розалия немедленно соглашается выйти замуж за Клервиля, а Дорваль — жениться на Констанции, и обе четы, благословляемые старцем, разделившим между ними свое честно нажитое состояние, объявляются счастливыми.

Однако слабость пьесы не помешала ее воздействию на умы. Казалось бы, недоразумение, положенное в основу сюжета, — брат, полюбивший сестру, не подозревая об их родственных отношениях, много раз встречалось и до Дидро. Новой была только мотивировка неузнавания — то, что Дорваль побочный сын. Но уже этого и того, что герои — буржуа, наделенные столькими добродетелями, оказалось достаточным, чтобы буржуазия, недовольная старым порядком, признала «Побочного сына» своей программной пьесой. Ведь у нее было еще и второе название — «Испытание добродетели», и местом действия был так подробно описанный Дидро в первой ремарке скромный буржуазный интерьер. Этого же было достаточно для того, чтобы вызвать ожесточеннейшие нападки сторонников классицизма в искусстве и старого порядка в политике.

Страсти побеждались и в трагедиях классицизма, но там это происходило во имя долга, то есть государственных, а точнее — родовых, интересов, а здесь, во имя добродетели, чужой аристократической среде, что было истиной, и якобы присущей среде буржуазной, что было иллюзией.

Сам Дидро считал сюжет «Побочного сына» ес-

ли не уязвимым, то не обязательным; в одной из «Бесед» даже предлагаются два других варианта того же сюжета: один трагический, а другой комический.

Но зато обязательным для Дидро было многое другое, декларированное в «Беседах», хотя и слабо намеченное или просто отсутствующее в самой пьесе. Прежде всего общая мораль: побеждая заблуждения своего сердца, поступая согласно разуму, выполняя свои обязанности перед другими людьми, герои достигают гармонии, всеобщего счастья и сами вкушают услады собственной добродетели. Для Дидро и других просветителей, семейные отношения — а вся коллизия «Побочного сына» развивается в сфере семейных отношений — тождественны общественным, следовательно, на этих же началах должны развиваться и общественные отношения. Буржуазия здесь выступает как защитница всеобщих интересов, в чем была доля исторической истины, но далеко не вся истина. И как далек Дидро в «Побочном сыне» от своего учения о страстях!

И в то же время, добиваясь естественности, точного воспроизведения жизни, Дидро восстает против того, чтобы в пьесах все выражалось гладкими тирадами. «Что волнует нас в зрелище человека, охваченного какой-нибудь большой страстью? Его слова? Иногда. Но что нас трогает всегда — это выкрики, невнятные слова, разбитый голос, вырывающиеся по временам односложные восклицания, какие-то горловые хрипы, бормотание сквозь зубы». Он замечает: «Мы слишком много говорим в наших драмах, и поэтому актеры недостаточно в них играют», тут же упоминая об утраченном искусстве древних — пантомиме, изображавшей когда-то все общественные положения.

Это было настолько ново и непривычно, так противоречило всему принятому на театре, что Дидро высмеивали за провозглашаемую им «неартикулированную поэтику, пригодную для дикарей из Конго». Но в реалистическое театральное искусство это вошло неотъемлемой частью.

В самом же «Побочном сыне» нередко произноси-

лись те же тирады, и только в скобках стояли отвлеченные ремарки: вроде — «Дорваль отвечает ей лишь жестом сострадания». В театре классицизма, кстати сказать, были раз навсегда отработанные жесты, выражавшие все психологические состояния.

Порой, правда, обозначено в ремарках и то, что потом получило название физических действий: «В промежутках Жюстина то оставляет работу, то снова за нее принимается».

А кое-где встречается и та самая «неартикулированная поэтика», на которой так настаивал Дидро и за которую ему так попадало. Так, например, Дорваль *прерывающимся голосом* перечитывает некоторые слова из письма Розалии. Но, увы, эта обрывочная речь так не похожа на то, как действительно говорят люди в минуты больших потрясений. Она больше напоминает так называемую «рваную речь» мелодрамы, этой побочной дочери реализма.

Уже в «Беседе первой» Дидро ратует за реалистические, как он выражается, материальные, мотивировки, и в самом деле мотивировка, то есть объяснение, обоснование всего происходящего, краеугольный камень драмы, романа. Но соблюдены ли реалистические мотивировки в самой пьесе?

Только о Лизимоне известно, что он честный коммерсант, «состояния» остальных действующих лиц даже не названы. Это противоречит тому, что Дорваль, то есть сам Дидро, провозглашает в «Беседе третьей»: «До сих пор в комедии характеры были главным предметом, а общественные состояния — аксессуаром. Нужно, чтобы общественные состояния стали теперь главным предметом, а характеры — аксессуаром. Прежде из характера извлекали всю интригу. Искали обстоятельств, которые бы его обнаружили и связывали эти обстоятельства. Но именно общественные состояния героя, его обязанности, его преимущества, его затруднения должны служить основой драматургического произведения. Мне кажется, что этот источник более богат, обширен и полезен, чем источник характеров». Нужно знать, что Дидро под «характерами» имеет в виду отвлеченные, при-

данные автором герою психологические черты, а он добивался социальной обусловленности поведения, судьбы, внутреннего мира действующих лиц.

«Состояния» — термин у него постоянный и очень важный. «Состояния» — это писатель, философ, коммерсант, судья, адвокат, политик, гражданин, владетельный сеньер, интендант. По сути, все эти «состояния», включающие и профессии и сословия и служащие основой жанра, сводились к *гражданину,* противопоставленному *владетельному сеньору*. Дидро настаивал на том, что характеры не только определялись своим «состоянием», но и сознавали обязанности своего состояния. В этом и заключался гражданский пафос, которого Дидро требовал от драматургов. Правда, он пришел к этому не сразу.

«Состояния», согласно теории Дидро, переходят в «отношения» — имелось в виду положение в семье — отец семейства, супруг, братья, сестры. Положение в обществе приравнивалось к положению в семье. Гармонию легче доказать в рамках семьи, поэтому-то «отношения» и становятся прообразом «состояний», «семья» — прообразом вызревающего нового общества, противопоставленного старому порядку. Поэтому-то следующей пьесой Дидро будет «Отец семейства», и об этом говорится уже в третьей «Беседе о «Побочном сыне».

Хотя в «Отца семейства» в отличие от «Побочного сына» войдут и элементы комического, пьесе предназначено опровергнуть традицию, изображавшую отцов семейства всегда в виде комических персонажей. Этот отец семейства будет наделен всеми добродетелями, тем самым являясь прообразом отца общества, идеального правителя.

Противоречиями самого общества объясняется, что драматическая теория Дидро не только противоречила его практике, но и сама полна была противоречий. Так, он не только в «Побочном сыне» соблюдает три единства классицизма, но и защищает их в «Беседе первой». А годом позже он выступит против единств, как и против всех других ограничений нормативной поэтики классицизма. «Из ткани отдель-

ных частных законов сделали общие правила. Таким образом, искусства перегружались правилами и авторы подчинялись им рабски, употребляя много труда, чтобы творить хуже».

Не следует упрекать Дидро в том, что он менял свои убеждения. Ведь он менял их, как су меняют на франк.

Развивая в «Беседе третьей» и особенно в рассуждении «О драматической поэзии» учение о жанрах, Дидро отрицает установленную в поэтике классицизма незыблемость границ между жанрами и предлагает их усовершенствовать. «Чтобы сделать патетическими образы людей высокого общественного положения, надо придать силу психологическим коллизиям», — пишет он. Это, собственно, делал уже любимый Дидро Расин. Недаром его упрекали в нарушении приличий между монархами и подданными.

Но много важнее, чем придать патетичность герою высокого общественного положения, было для Дидро защитить «права на патетичность героя, низкого по общественному состоянию». Гримм, разделяя эту заботу своего друга, писал: «Самая трудная задача в этом сюжете — сохранить за своим героем тон, нравы и, так сказать, низость его общественного состояния и, однако, сделать его трогательным и патетическим».

Очень важным требованием была и замена стиха в драме прозой. «Истина сюжета и сила интереса должна отбросить симметризованный язык».

Отсюда и предпочтение, которое Дидро отдавал «серьезному жанру», стоящему как бы между трагедией и комедией, и разработанная им поэтика «серьезного жанра», из которого вырастет бытовая реалистическая драма XIX столетия.

Дидро говорит устами Дорваля: «Поэтику комического и трагического излагали уже сотни раз. У серьезного жанра есть своя поэтика. О ней тоже можно было много сказать, но я остановлюсь лишь на том, на что наталкивалась моя мысль, пока я работал над этой пьесой. Так как этот жанр лишен яркости красок крайних жанров, между которыми он находится,

не следует пренебрегать ничем, что может придать ему силу. Сюжеты его должны быть значительны, а интрига должна быть проста, близка к нашему быту, к действительной жизни». «...Когда новый жанр будет установлен, не останется таких общественных состояний и значительных действий в жизни, которые нельзя было бы с той или иной стороны ввести в драматическую систему». Это можно отнести не столько к этому жанру, сколько к методу реализма.

Но, пожалуй, самая замечательная из сентенций Дорваля, так похожая на Дидро: «И особенно запомните, что нет никаких общих правил. Я не знаю ни одного из указанных мной правил, которые гениальный человек не мог бы нарушить с успехом».

Настолько же, насколько пьеса «Отец семейства» сильнее «Побочного сына», настолько в трактате «О драматической поэзии» Дидро последовательнее в своей реалистической программе, чем в «Беседах о «Побочном сыне». Ту же проблему характеров и общественных состояний он здесь решает с точки зрения объективного содержания драмы, то есть не того, чего хотел автор, а того, что получилось. Теперь Дидро требует не только, чтобы характер вступал в драматическую борьбу как персонаж своего общественного состояния, то есть как коммерсант или адвокат, чиновник, сеньор, но чтобы действительность, стоящая за характерами, не была скрыта от зрителя. В «Побочном сыне» она скрыта.

Замечательна его критика с этих позиций Мольерова «Мизантропа». «Сюжет комедии, — утверждает он, — неопределенен. Альцест ли прав, Филинт ли прав, остается непонятным. Все дело в том, что один защищает свое дело хорошо, другой плохо».

Противоречия, однако, не сняты. Дидро требует, чтобы автор не стоял за спиной персонажа. А как же тогда быть с морализмом, от которого Дидро еще не может отказаться?!

Но и при этом все больше и больше он добивается сложности характеров. «Драматурги желают, чтобы характеры были едиными. Эта фальшь, замаскированная короткой длительностью драмы, ибо сколько

в жизни есть обстоятельств, когда человек отделяется от своего характера», а «короткая длительность действия маскирует абстрактное единство персонажа».

Дорваль в конце третьей «Беседы» точно устанавливает, когда должен быть написан «Отец семейства».

— Возвращайтесь в Париж... — говорит он автору. — Выпускайте седьмой том «Энциклопедии»... Приезжайте сюда на отдых, и либо «Отец семейства» совсем не будет написан, либо он будет готов до конца ваших каникул.

И в самом деле «Отец семейства» был написан год спустя после «Побочного сына» и в том же 1758 году издан.

В 1760-м он был впервые поставлен на сцене Марсельского театра, а в 1761-м во Французской комедии.

Это была уже настоящая пьеса с крепко слаженной драматической интригой, напряженным действием, хотя и довольно традиционными эффектами, в виде ночного появления Сент-Альбена, принятого отцом сперва за неизвестного. На этот раз Дидро не так абстрагировал сюжет, взятый из жизни.

К тому же сюжет «Отца семейства» был заимствован из истории собственной его семьи. В нем нашли, хотя и преображенное, отражение перипетии его собственной женитьбы, и действующие лица — отец, сын, дочь, возлюбленная сына имели гораздо более близких автору прототипов — метра Дидье, Денизу, Анну Туанету, его самого. Правда, и отец и Анна Туанета чрезмерно идеализированы. Не было в новом сюжете и никаких Антильских островов, кораблекрушений, корсаров, и, напротив, была попытка точнее обозначить не только «отношения», но и «состояния» персонажей, охарактеризовать буржуазную среду.

Но и «слезливости», выспренности — они-то и должны были передать патетичность — в диалогах пьесы было более чем достаточно. Вот образчик одного из диалогов, в основу которого положена знакомая нам жизненная ситуация: отец Дидро против его брака, и Анна Туанета отказывает ему поэтому в своей руке.

«Софи. Я подчиняюсь вашим родным. Да пошлет

вам небо когда-нибудь жену, которая была бы достойна вас и любила бы вас так, как любит Софи.

Сент-Альбен. Я бы этого не желал.

Софи. Я должна.

Сент-Альбен. Горе, горе тому, кто вас знал и может быть счастлив без вас!

Софи. Вы будете счастливы. Вы насладитесь всеми радостями, возвещенными детям, которые чтут волю родителей. Я унесу с собой благословение вашего отца, а вы вспоминайте обо мне.

Сент-Альбен. Я умру от горя — и по вашей вине. *(Печально смотрит на нее.)* Софи...

Софи. Я чувствую, какое горе вам причинила.

Сент-Альбен *(по-прежнему смотрит на нее)*. Софи...

Софи *(госпоже Эбер, рыдая)*. О няня, какую боль мне причиняют его слезы! Сержи (Софи зовет его именем, которым Сент-Альбен себя называл, скрывая, кто он на самом деле. — *А. А.*), не угнетайте мою слабую душу... она и без того переполнена горем... *(Закрывает лицо руками.)* Прощайте, Сержи...»

Мы хорошо знаем, как это происходило на самом деле, и нам легко судить, что в этом диалоге от истины и что от заданной добродетели.

В пьесе не выявлено настоящее основание для конфликта. Истинная причина противодействия отца браку сына с бедной девушкой — власть денег — скрыта. Отец семейства выступает здесь как глашатай нового общества в предельно идеализированном виде, как воплощенная добродетель. Единственная мотивировка его поведения, данная автором, — «что скажут в свете» — мелка и не отражает реального положения вещей. О том, что злой дух семьи, брат покойной жены отца семейства, заменил злого духа частной собственности, уже говорилось. К этому надо добавить, что автор не сумел сделать д'Овиле и глашатаем старого порядка, дав ему от старого порядка всего только чин командора и приставку «де».

И эта пьеса не смогла сочетать истину и добро-

детель. Потому что Дидро, воспевая собственное примирение с отцом, хотел воспеть и гармонию в обществе, не таком, какое было, но какое должно быть, и развивал ложную идею «врожденной доброты» буржуа. «Отец семейства» был основан на той же химере XVIII столетия, очень быстро разбитой историей. Ведь во главе третьего сословия Франции стояла та же буржуазия, которая потом будет расстреливать парижские рабочие предместья. Но до взятия Бастилии оставалось тридцать лет, и пока буржуазия выступала еще под флагом защиты общих интересов третьего сословия, более того, человечества, что и отражено в «Отце семейства».

В пьесе было еще одно противоречие: массовое движение к революции, крестьянские восстания, бунты подмастерьев, податные бунты, влияние «Энциклопедии» Дидро снова пытался втиснуть в семейный «мещанский» сюжет.

Не случайно в 1811 году, когда вера в добрую природу человека была утрачена, публика освистала спектакль «Отец семейства» во Французской комедии. И эта пьеса Дидро не перешагнула по ту сторону «Декларации прав человека и гражданина», как перешагнула его драматическая теория.

Но до «Декларации» было еще далеко, и «Отец семейства» пользовался большим успехом и в чтении и на сцене, особенно после возобновления в 1769 году на сцене той же Французской комедии. Спектакль понравился даже мадам Дидро. Тогда же пьеса прекрасно прошла и в Берлинском театре, о чем автор узнал от Гримма. Но еще до того в короткий срок «Отец семейства» был переведен на английский, немецкий, голландский и русский языки и везде пользовался успехом. В России он в XVIII веке был переведен под названием «Чадолюбивый отец». Сразу после ее появления драму приветствовал со свойственной ему экспансивностью Вольтер: «О дорогой мой Дидро, я уступаю вам место от всего сердца и хотел бы увенчать вас лаврами». В письме к Дамилавиллю Вольтер писал: «Я рассматриваю успех «Отца семейства» как победу, одержанную добродетелью, и

L E

FILS NATUREL,

O U

LES EPREUVES

DE LA VERTU.

COMEDIE

EN CINQ ACTES, ET EN PROSE,

Avec l'Histoire véritable de la Piece.

Interdùm speciosa locis, morataque rectè
Fabula, nullius veneris, sine pondere & arte,
Valdiùs oblectat populum, meliùsque moratur
Quàm versus inopes rerum nugæque canoræ.

Horat. *Art. Poet.*



A AMSTERDAM,

Chez MARC MICHEL REY,

MDCCLVII

Титульный лист первого издания комедии «Побочный сын».

как публичное покаяние публики, терпевшей отвратительную сатиру, озаглавленную «Философы».

Вдохновленный успехом «Отца семейства», Вольтер даже хотел выдвинуть кандидатуру Дидро во Французскую академию, видя в этом средство борьбы против фанатиков и мошенников.

Борьба продолжалась. Противники не были побеждены. Свистопляска, поднятая аристократической партией с помощью «наемных убийц», продажных литераторов вокруг «Отца семейства», была еще больше, чем вокруг «Побочного сына».

Не помогло и то, что Дидро вопреки своему обычаю предпослал изданию пьесы посвящение высокопоставленной особе.

Он попросил Гримма походатайствовать за него перед одной из титулованных приятельниц «посланника», принцессой де Носсо Сарбрюк, кстати, тоже немкой, урожденной графиней фон Эрбах, и посвятил ей «Отца семейства». Личное знакомство сына ножовщика и принцессы состоялось, правда, только в 1765 году: Дидро не любил великосветского общества.

Принцесса осталась довольна посвящением. В письме к Гримму она благодарила его друга за то, что он поставил ее имя перед «Отцом семейства» и «отдал долг всем матерям, в частности, тем, которые принадлежат к числу суверенов мира». «Я тронута до слез человечностью и доброжелательностью, выраженными в посвящении м. Дидро... Я не могла бы получить его в обстоятельствах, более подходящих. Я нахожусь в деревне и делаю все для ее несчастных обитателей». Дидро в посвящении говорил о тех, у кого «едва хватает соломы для ложа и не всегда есть хлеб!». Благодарила она Дидро и непосредственно в письме к нему.

Но могло ли защитить пьесу это посвящение, если в нем, пусть и туманно, излагались те же излюбленные мысли насчет суверенов и принципов управления народами, насчет того, что природа не творит рабов и идея рабства родилась среди завоеваний, лучший правитель — отец своих подданных, общественные доб-

родетели нуждаются в поддержке и так далее, и тому подобное?!

По-прежнему противники не стеснялись в выборе средств. И на этот раз Дидро обвинили в плагиате у Гольдони. На беду, у того нашлась пьеса под тем же названием, к тому же напечатанная прежде, чем Дидро напечатал свою. Сколько усилий должен был потратить Дидро, отбиваясь от этого обвинения!

Наконец клевету решительно разоблачил сам Гольдони. В 1762 году, приехав в Париж, он посмотрел в театре дидеротовского «Отца семейства». Не обнаружив в нем никакого сходства с собственной пьесой, он тут же отправился к своему сопернику в сопровождении литератора, придумавшего плагиат. Целью визита было «рассеять негодование» Дидро, что, надо сказать, нелегко далось итальянцу. Не ограничившись этим, Гольдони еще и подробнейшим образом описал эту встречу, печатно засвидетельствовав, что о заимствовании не могло быть и речи.

Там же он свидетельствует и о своем преклонении перед поэтом-философом.

Однако сам Дидро очень быстро стал испытывать недовольство своей пьесой, упрекая ее в дидактичности, в отсутствии комического элемента. Он только не мог понять, чья это ошибка — жанра или его как автора.

Отсюда Дидро приходит к требованию темы героической и в то же время трагической судьбы великих вождей народа.

От «Побочного сына» и «Отца семейства» путь буржуазной драмы идет к республиканским гражданским трагедиям Сорена и М.-Ж. Шенье. Чем ближе к революции, тем больше буржуазия отрекается от своего классового эгоизма. Диалектика истории заново приводит к возрождению драматической системы классицизма.

В трактате «О драматической поэзии» Дидро предлагает этюд пьесы нового для него «гражданского жанра» «Судья». Коллизия этюда такова: «Нарушить достоинство и святость своей службы или пожертвовать самим собой, своим состоянием, своей женой и

детьми». Положительный герой должен избрать святость службы.

Пьесу на этот сюжет и под этим названием напишет не сам Дидро, а Мерсье, благополучным концом снизив коллизию.

Но Дидро тоже еще вернется к этому сюжету, развив и углубив его в сюжете наброска, озаглавленного «Шериф» и взятого из подлинного исторического эпизода времен английского короля Якова II.

От «Побочного сына» и «Отца семейства» шла еще одна дорога буржуазной драмы — к первым двум комедиям трилогии Бомарше. Недаром предание говорит, что штурм Бастилии начался на следующий день после премьеры «Женитьбы Фигаро».

Дидро предвидел, что драматургия, как и литература и другие искусства, будет участвовать в революции.

На заданный им самим вопрос, когда нравы наиболее созревают для поэзии и природа подготавливает образы искусству, он ответил: «Когда бешенство гражданской войны или фанатизма вооружает людей кинжалами и кровь широкими потоками заливает землю, лавры Аполлона волнуются и расцветают».

И, вероятно, самое замечательное и непреходящее в его драматической теории — это учение о необычайном и обыденном.

Начав с апологии обыденного, Дидро поднимается в рассуждении «О драматической поэзии» до понимания того, что обыденное неизбежно переплетено с невероятным. «Если бы природа никогда не комбинировала события необычайным способом, все, что поэт представлял бы по ту сторону простого и холодного однообразия обыкновенных вещей, было бы невероятным. Но так не бывает на деле. Иногда случается естественному порядку вещей связывать вещи необыкновенные. Задача в том, чтобы отделить чудесное от чудотворного». Необычайное или чудесное Дидро нисколько не похоже на чудотворное романтизма и классицизма, где чудеса возникают из фатального стечения событий и «слишком отличаются от тех, которые показывают нам опыт и история».

Теперь он в поэтике «редких случаев», противостоящих неподвижному течению обыденности, находит выражение процессам, скрытым за поверхностью явлений. И над такой историей он поднимает поэтическое воображение, основанное на познании закономерного. «Если в истории дано только «фатальное стечение фактов», драматург должен стремиться к тому, чтобы в его изложении действительного существовала видимая и ощутимая связь, которую природа часто скрывает от нас».

«Поэт, — говорит он, — часто менее истинен и более правдоподобен, чем история». Поэтому-то он советует драматургам активизировать историю, усиливать исторические характеры.

Он борется против старой абсолютистской истории так же, как против старого абсолютистского общества, и мыслит широкими историческими категориями.

Казалось бы, это осталось только в драматической теории Дидро так же, как его призывы к возрождению античных зрелищ, замены интерьера амфитеатром. Казалось бы, драматургическое наследство Дидро исчерпано только двумя его моралистическими «серьезными драмами», где добродетель преградила дорогу истине. Во всяком случае, так по сей день утверждает буржуазная наука, канонизирующая «Побочного сына» и «Отца семейства», оставляя в тени и реалистическую теорию драмы Дидро, поднятую советскими исследователями, и его архив, где хранятся не только наброски и планы недописанных пьес, но и пьесы, законченные и несравненно более значительные, чем обе «мещанские драмы». И это заметили тоже только советские дидеротисты. А то, что эти пьесы при жизни автора не были ни поставлены, ни напечатаны, так и «Племянник Рамо», и «Жак-фаталист», и «Монахиня», и «Прогулка скептика» и многие другие великие произведения Дидро увидели свет только после смерти автора. Велико ли было бы его наследство, если бы оно включало только то, что мог и хотел опубликовать сам Дидро?!

В 1759 году Дидро набросал уже упоминавшуюся сюжетную схему драмы «Шериф» — развитие на-

броска «Судья». Об этом стало известно из сообщения Гримма в «Корреспонденции». Гримм называет этот набросок «проектом трагедии, где дочь проституирует, чтобы спасти отца, которого она находит повешенным, выйдя из рук злодея, у которого купила жизнь отца ценой своей чести. Речь шла о том, чтобы вызвать отвращение к нелепости и жестокости религиозных преследований».

Комментарий Гримма не полон. Советский исследователь В. Блюменфельд справедливо увидел в этом наброске план *политической антиабсолютистской драмы* и самое замечательное в этом плане — защиту права народа на восстание. Это было совершенным новшеством. Политическая теория французского материализма XVIII века неизменно ограничивалась абстрактной критикой абсолютистского государства и его законов. Пьеса не была написана, но план ее свидетельствует, что Дидро готов был подняться над самим собой. В четвертом акте возмущение народа, до того сдерживавшееся судьей, проповедником «непротивления злу», выливается в восстание.

Если бы этой пьесе суждено было бы быть написанной, не стала бы она художественным воплощением той «поэтики для народа», которую Дидро разрабатывал теоретически?! Дидро этот сюжет так занимал, что вариант его мы находим и в «Парадоксе об актере».

А его набросок реалистической комедии «О наказанном распутнике-муже», не предварял ли он комедии Бомарше? В. Блюменфельд видит в герое наброска, слуге Жане, прообраз знаменитого героя, и отдает ему предпочтение перед Фигаро Бомарше. В начатой Дидро пьесе та же коллизия, что в «Женитьбе Фигаро»: Жан вынужден отстаивать свою невесту, служанку, от посягательств барина, как Фигаро отстаивает Сюзанну от посягательств графа Альмавивы. Но Жан лишен того светского обличия, которое придал Фигаро его создатель. Пьеса Дидро не могла бы за три года до революции, как комедия Бомарше, быть представленной при дворе, и граф Артуа, с успехом исполнивший роль Фигаро, не стал бы играть

Жана. Этот слуга в отличие от того не скрывает своей натуры под блистательным остроумием, заимствованным у аристократов. Он от земли, а не из лакейской вельможи. И вместе с тем Дидро нисколько не приукрашивает своего героя, здесь добродетель не уничтожает истину. Жан защищает правое дело, свою любовь. Но в пьесе говорится: «Он испорчен, он любит деньги». Жан не выше своей неписаной биографии: он собирается построить свое семейное счастье на богатстве барина, что не добродетельно, но зато правдиво.

И, наконец, последняя законченная пьеса Дидро, одно из последних его произведений. Он начал ее в 1770-м, дописал в 1781-м, назвав «Добр ли он, зол ли он?». Словно бы это совершеннейшая безделка, пьеса-шутка, предназначенная для дивертисмента. Но в ней Дидро полностью преодолевает морализм своих прославленных «серьезных драм», высмеивая филантропию, как панацею от всех социальных бедствий. Автор «Побочного сына» и «Отца семейства» отлично знал, что хорошо, что плохо, кто добр, кто зол, где добродетель, где порок. Автор «Добр ли он, зол ли он?» эту дурную незыблемость моральных ценностей подвергает сомнению и тем самым разрушает.

Полное название пьесы — «Добр ли он, зол ли он?», или «Любезный насмешник», или «Тот, кто служит всем, но никому угодить не может». Сюжет вкратце таков — светская дама, мадам Шени, просит поэта мосье Ардуэна написать пьесу: она хочет устроить спектакль в честь дня рождения своей приятельницы. Поэт — главный герой комедии — человек своеобразный и легкомысленный. «Он растрачивает свое время и талант, быть может, немного приятнее, чем большинство писателей», всюду бывая, волочась за тремя или четырьмя женщинами сразу, давая ужины, играя, посещая сильных мира сего. Ему очень не хочется браться за пьесу, но, отказав госпоже, он уступает ее хорошенькой и умненькой горничной, повторившей просьбу мадам. И, однако, пьесе не суждено быть написанной потому, что автора осаждают неотложными делами и важными просьбами. И ему все

удается. Удается неизвестно почему — потому ли, что он добр, потому ли, что он изобретателен.

Секрет успеха Ардуэна в том, что он понимает — каждую просьбу нужно сделать личной. Он исхлопатывает молодой красивой вдове морского капитана, безрезультатно обивавшей все двери, пенсию для ее ребенка, сказав своему влиятельному другу, что отец ребенка не покойный муж дамы, а он сам. Старого нормандского адвоката убеждает прекратить тяжбу рассказом о вымышленной смерти своей сестры.

Чтобы помочь людям, Ардуэн не щадит их репутаций. Упрямая мать не соглашается на брак своей дочери с преданным и достойным возлюбленным. Стоит Ардуэну солгать, уверив даму, что ее дочь уже беременна и свадьбу откладывать нельзя, и та дает свое благословение.

Мудрено ли, что к концу пьесы, удовлетворив все просьбы, Ардуэн никому не угодил, и никто не может решить, хорош он или дурен.

Автор же ставит этот вопрос очень серьезно, хотя все происшествия забавны, пьеса легка и изящна. Герой то дурен, то хорош так же, как все. Что пользы колебаться в выборе средств для достижения цели, проявлять щепетильность в вопросе о пенсии, раз все равно «проститутки, сводники, танцовщицы, певцы, толпы подлецов, жуликов и всяких гнусных людей будут расхищать казну, грабить королевскую шкатулку?..», «И зачем беречь репутации, если мир полон людей, у которых нет ни души, ни глаз?»

Эта комедия была своего рода вариацией гениального диалога «Племянник Рамо», где Дидро поднялся и над своим классом и над своим временем. Но судьба пьесы сложилась куда менее благоприятно. Впервые изданная в 1834 году в одном из малораспространенных журналов, она почти никем не была замечена. В пятидесятых годах XIX столетия комедию вновь отыскал знаменитый французский поэт Шарль Бодлэр. Он оценил ее как «произведение, предвосхитившее театр Бальзака», и вместе с писателем-реалистом Шанфлери положил много усилий, чтобы протолкнуть ее на сцену. Тем не менее пять лет она прождала во

Французской комедии своей очереди для того, чтобы быть окончательно отвергнутой.

В пятый том избранного собрания сочинений Дени Дидро на русском языке комедия вошла под названием «Хорош он или дурен?», но и у нас ни разу не ставилась.

В одном из писем к Софи, от 10 сентября 1768 года, Дидро сравнивает жюри конкурса на лучшую пьесу с сорока гусями, охранявшими Капитолий. Сравнение, говорит Дидро, «тем более правильное, что наши гуси, так же как и римские, охраняют Капитолий, но не защищают его». Охраняя искусство драмы и театра от всего поистине великого, эти «гуси» тем самым не защищали его. Эта обязанность возложена на нас, единственных законных наследников Дидро.

II

Амфитеатр, а не интерьер!

Если в интерьере не может уместиться драматический театр — он должен выйти на площадь, героика должна стать в нем рядом с обыденностью, обычное нельзя раскрыть без необычайного, то ведь, кроме драмы, существуют еще и опера и балет! И мог ли Дидро, стремясь победить старый порядок в искусстве, обойти эти виды театра?! Называя оперу «лирическим жанром», Дорваль в третьей «Беседе» говорит: «Я боюсь, что ни поэты, ни музыканты, ни декораторы, ни танцовщики не имеют еще действительного представления о своем театре. Если лирический жанр плох — это худший из жанров. Если хорош — он лучший. Но может ли он стать хорошим, если в нем не ставят себе задачей подражание природе, и природе наиболее яркой. К чему слагать стихи о том, что не заслуживало быть задуманным? Сла-

гать песню о том, что не заслуживало быть рассказанным?

Не проституируем ли мы философию, поэзию, музыку, танец, занимая их нелепостями. Каждое из этих искусств, взятое в отдельности, имеет целью подражание природе, а их объединенную магическую силу применяют к какой-нибудь сказке. Гениальные люди низвели в наши дни философию из мира отвлеченных идей в мир реальный. Найдется ли гений, который оказал бы ту же услугу лирической поэзии и низвел бы ее из волшебных стран на обитаемую нами землю?»

Здесь одинаково важны и требования реализма, и блистательная критика французской оперы XVIII столетия, и то, что Дорваль говорит о магической силе объединенных искусств.

«В прежние времена, — продолжает он свое рассуждение, — мудрец был одновременно философом, поэтом, музыкантом». (Мы помним, что то же говорил сам Дидро в Гранвале по поводу своей статьи об арабах. — *А. А.*) Отделившись друг от друга, таланты эти выродились, сфера философии сузилась, поэзия идейно оскудела, пение проиграло в силе и выразительности; и к мудрости, лишенной своих орудий, народы уже не прислушиваются с прежним восхищением. Великий музыкант и великий лирический поэт исправили бы все зло. Вот, следовательно, еще одна задача, которая ждет своего выполнения. Пусть появится гений, который утвердит подлинную трагедию, подлинную комедию на лирической сцене!»

Явно имея в виду итальянскую оперу, Дорваль говорит, что «лирический жанр одного соседнего народа, конечно, имеет свои недостатки, но гораздо меньше, чем думают. Если бы певец стал подражать в каденции только однозвучным выкрикам страсти в чувствительных ариях или главным явлениям природы в ариях, рисующих картины, а поэт знал бы, что его ариетта должна заключить собой сцену, реформа сильно продвинулась бы».

На вопрос, какую же трагедию хотел бы он увидеть на лирической, то есть оперной, сцене, Дорваль

решительно отвечает: «Античную». Казалось бы, в этом заключено противоречие. Только что устами того же Дорваля Дидро отвергал античные сюжеты и требовал бытовых, взятых из действительной современной жизни. Но то было в драме, а это в опере.

Более того, здесь-то и сосредоточены главные устремления Дидро в зрелищном искусстве. Он хочет вернуть ему широкие философские обобщения, большие страсти, трагические столкновения и полагает, что это не под силу драме, ограниченной одной человеческой речью. Театральная реформа, которую Дидро хотел произвести, должна была возродить античную трагедию. Но античная трагедия была искусством синтетическим, оркестр сопровождал декламацию и речитативы, чередовавшиеся с драматическими монологами и хорами, драматические пантомимы или танцы дополняли действие. И о таком именно искусстве мечтал Дидро, стремясь воссоединить философию с поэзией, пением, танцем, живописью.

Кроме того, возродить на сцене античную трагедию — значило для Дидро возродить и общественные зрелища, традиции массового народного, истинно патетического театра, «поэтику для народа». «Можно ли сравнивать, — спрашивает его alter ego Дорваль, — наши театральные сборища... с народными собраниями Афин и Рима? В античных театрах собиралось до восьмидесяти тысяч зрителей».

И сама массовость зрелищ необычайно усиливала их влияние на зрителя. «Судите сами, — говорил Дорваль, — о значении большого стечения зрителей по тому, что вы знаете о воздействии людей друг на друга, о том, как заразительны страсти при народных волнениях. Сорок, пятьдесят тысяч человек не станут себя сдерживать из-за приличий... И в том, кто не чувствует, как усиливается его переживание оттого, что множество людей его разделяет, заложен тайный порок».

И дальше: «Но если стечение большего числа людей должно усиливать эмоции зрителей, какое же влияние оно должно оказывать на автора и актеров! — восклицает Дорваль. — Какая разница меж-

ду тем, чтобы забавлять в такой-то день, от такого-то до такого-то часа несколько сот человек, и тем, чтобы приковывать внимание всей нации в ее торжественные дни, занимать самые пышные здания и видеть, что здания эти окружены и набиты неисчислимой толпой, чье веселье или скука зависят от вашего таланта?»

Из-за статьи Даламбера «Женева» Руссо уйдет из «Энциклопедии» и рассорится с Дидро и гольбахианцами. Но в своем «Письме к Даламберу о зрелищах», написанном по поводу этой статьи, он так же вдохновенно говорит об античном театре, который на огромных площадях под открытым небом обращался к собравшемуся народу; поэтому его искусство было величественным и прекрасным. А современный театр для немногих избранных Руссо сравнивает с темной пещерой, лишенной дневного света, лишенной и широкого зрителя.

А Дидро еще и рассказал анекдот о приятеле, который, войдя однажды в театр, подумал, что его обманом затащили в тюрьму, — так там было тесно и темно.

Отношение Руссо и Дидро к античным зрелищам и к театру французского классицизма было одинаковым. Разошлись они в выводах.

Еще больше были расхождения в театральных воззрениях и отношении к античности между Дидро и Вольтером. Вливая, как уже говорилось, новое вино в старые мехи, фернейский старец продолжал традицию классицизма и считал себя его наследником. Дидро тогда, в конце пятидесятых годов, относился к этому стилю нетерпимо, рассматривая его как профанацию античности, перед которой преклонялся. Правда, позже он, глубоко изучив античное искусство, придет и к более глубокому пониманию классицизма. Тогда же он решительно все в драматургических и театральных приемах классицистов объявлял бессмысленным. Если котурны и рупоры были нужны античным актерам для того, чтобы их увидели и услышали на огромной площади сотни тысяч зрителей, то зачем эта искусственно величавая походка и

крикливая декламация актерам, играющим для нескольких сот человек в тесном помещении?!

Вольтер же относился к античности в лучшем случае снисходительно и свысока, следуя французским классицистам, считавшим, что если они кое в чем и обязаны древним, то созданное ими искусство намного превзошло античные образцы. И Вольтер не обращался к античности в поисках «поэтики для народа».

История показала правоту Дидро. Не только Французская революция нарядила свое искусство в одежды древних и вывела его на площади. В первые годы нашей революции на площадях Петрограда при свете факелов разыгрывались массовые празднества, народные представления.

Что же касается реформы оперы, поразительно совпадение, а может быть, правильнее назвать его влиянием?! В «Беседах о «Побочном сыне» Дидро дает пример возможного сюжета музыкальной трагедии, восходящей к античному мифу о заклании в Авлиде молодой царевны Ифигении и страданиях ее матери Клитемнестры. Тут же говорится, что сцена приношения в жертву Ифигении способна вдохновить будущего композитора. И композитор этот явился. Это был гениальный реформатор оперной сцены немец Кристоф Виллибальд Глюк. В 1774 году человечество услышало его первую оперу, написанную во Франции. Это была «Ифигения в Авлиде». Она вызвала у Руссо слезы умиления и восторга. Женевский гражданин издевался над неестественностью и холодностью французской оперы, над помпезностью ее реквизита и убожеством ее музыки и вокала еще больше, чем Дидро. Он ведь сам был музыкантом и много писал о музыке, в том числе о «лирическом жанре» во Франции.

Дидро, не считая отдельных упоминаний, писал о музыке много и серьезно дважды — в тех же «Беседах о «Побочном сыне» и в «Племяннике Рамо». О знаменитом диалоге будет сказано в особой главе. Что же касается «Бесед», то здесь рассуждения Дорваля, высказывающегося, как и везде, за самого Дидро, сосредоточены вокруг того же сюжета Ифигении

и Клитемнестры. «В музыке есть два стиля, — говорит Дорваль, — простой и фигурный. Что можете вы возразить, если я вам укажу... места, на трактовке которых композитор может развернуть по своему выбору всю выразительность первого стиля или все богатства второго? Когда я говорю «композитор», я разумею человека, владеющего своим искусством, а не такого, который умеет лишь нанизывать модуляции и комбинировать их».

По просьбе автора он цитирует одно из этих мест, объясняя, какой эффект даст композитору музыка одного стиля и какой другого. «Простой стиль наполнит его отчаянием и скорбью Клитемнестры. Если же композитор изберет фигурный стиль, у него будет другая декламация, другое понимание, другая мелодия... Он заставит грохотать гром, он будет метать молнии, и они будут взрываться с треском. Он покажет на Клитемнестру, устрашающую убийц своей дочери образом бога, чью кровь они готовятся пролить. Он представит этот образ нашему воображению, уже потрясенному патетикой поэзии и сюжета, с наибольшей силой, на какую способен».

Сочувствие Дидро явно на стороне второго композитора. Особенно же скептически он относится к воображаемому третьему композитору, который попытался бы объединить оба стиля. Не случайно сюжет для этой оперы, подсказанной Дидро и написанной Глюком, взят из великолепной трагедии Расина на античный сюжет, и Дидро так подробно останавливается на IV и V актах, где французский драматург поднимается до трагического пафоса древних. Стиль музыки, одобряемый Дидро, ближе всего к классицизму, но не обветшавшему дворянскому, а тому героическому, который еще придет.

В той же третьей «Беседе», перечисляя работы, заданные нынешнему веку предыдущим, Дорваль в конце называет еще одну задачу — придать танцу форму настоящей поэмы. И муза Терпсихора им не забыта. Раскритиковав придворные танцы того времени, Дорваль заявляет: «Танец — это поэма. Такая поэма должна бы иметь свое отдельное представле-

ние. Это подражание посредством движений, которое требует содействия поэта, художника, музыканта и пантомимиста».

И тут же по просьбе автора он излагает примерный сюжет реалистического балета, или, как он выражается, танца-поэмы. «Мой пример зауряден, — сказал Дорваль, — но я применю к нему свои взгляды так же легко, как если б он был ближе к природе и занимательнее. Сюжет. Молодой крестьянин и юная крестьянка возвращаются вечером с поля. Они встречаются в роще, расположенной рядом с их деревней, и решают прорепетировать танец, который должны исполнять в следующее воскресенье под старым вязом».

Несмотря на стыдливое заверение Дорваля, что другой сюжет мог бы быть ближе к природе, уже описание первой сцены это заверение опровергает.

Итак, читаем: «Сцена первая. — Первое их движение — приятная неожиданная встреча. Они выражают это пантомимой. Они сходятся, приветствуют друг друга. Молодой крестьянин предлагает юной крестьянке повторить их урок, она отвечает ему, что уже поздно и она боится, как бы ее не выбранили дома. Он настаивает, она соглашается, они кладут на землю свои орудия труда — это речитатив. Ходьба в такт и неразмеренная пантомима — это речитатив танца. Они репетируют свой танец, сговариваются относительно мимики и па, укоряют друг друга, снова начинают, танцуют уже лучше, хвалят друг друга. Затем ошибаются, досадуют — это речитатив, который может прерываться ариеттой досады. Тут должен заговорить оркестр — выражать слова, подражать действиям».

Либретто отвечает только что выраженной точке зрения на танец как жанр подражательный, мы бы выразились — отражающий жизнь.

Недаром так любил Дидро, живя в Гранвале, наблюдать за поденщиками и с ними беседовать! Этот пример показал прекрасное знание им крестьянской жизни.

Как мы видим, он выполнял чужие уроки и жег свечу для других и в опере и в балете, хотя за всю свою жизнь не сочинил ни одной арии и не поставил ни одного танца.

III
Любил ли он парадоксы или искал истину, споря с самим собой?

Не составит никакого труда уличить Дидро в вопиющих противоречиях. То и дело он опровергает то, что только что утверждал. В «Парадоксе об актере» — первоначальный набросок появился в Гриммовой «Корреспонденции» в 1770-м, окончательный же текст только в 1778-м, — Дидро пишет: «Что может быть совершеннее игры Клерон? Несомненно, она сперва создала себе образ и стремилась приспособиться к нему: несомненно, образ этот она задумала сколь можно более высоким, величественным и совершенным. Но образ этот... — не она сама. Будь он лишь равен ей, какой слабой и жалкой была бы ее игра! Когда путем упорной работы она приблизилась, насколько смогла, к своей цели — все кончено; твердо держаться на этом уровне — дело упражнения и памяти... Как это иногда бывает в сновидении, голова ее касается туч, руки простерлись до горизонта; она — душа огромного манекена, облекшего ее своим телом; работа прочно укрепила за ней эту оболочку. В эту минуту в ней два существа: маленькая Клерон и огромная Агриппина...»

А в рассуждении «О драматической поэзии» Дидро восхищался тем, что Клерон «имела мужество отделаться от фижм», и мечтал о таком спектакле, «когда она появится на сцене в уборе, полном простоты и благородства, более того, в беспорядке, вызванном таким ужасным событием, как смерть мужа, ги-

бель сына... Во что превратились бы рядом с этой растерзанной женщиной все эти напудренные, завитые, разряженные куклы! Природа, природа, ей нельзя противиться!.. О Клерон, Клерон, отдайтесь своему вкусу и своему гению, покажите нам природу и истину!..»

В «Парадоксе» Дидро предостерегает актеров от внутреннего волнения. Да они и лишены его. Как все великие подражатели природе, одаренные прекрасным воображением, силой суждения, тонким чутьем и верным вкусом, они существа наименее чувствительные. «Они слишком многогранны, они слишком поглощены наблюдением, познанием, подражанием, чтобы переживать внутреннее волнение».

Дидро приводит примеры раздвоенности актеров на сцене.

«Меня подмывает, — говорит первый участник диалога в «Парадоксе», — набросать вам сцену между неким актером и его женой, которые ненавидели друг друга, — сцену нежных и страстных любовников, сцену, разыгранную публично на подмостках так, как я вам сейчас передам, а может быть, немного лучше, сцену, в которой актеры были точно созданы для своих ролей, сцену, в которой они вызывали несмолкаемые аплодисменты партера и лож, сцену, которую наши рукоплескания и крики восторга прерывали десятки раз, третью сцену четвертого акта «Любовной досады» Мольера, их триумф».

И, передав эту сцену, где фразы из пьесы перемежаются с его репликами, первый участник диалога заканчивает свой рассказ так: «После этой любовной сцены, где они были то любовниками, то супругами, Эраст отвел свою возлюбленную Люсиль (имена героев комедии. — *А. А.)* за кулисы и так сжал ее руку, что едва не искалечил свою дорогую жену, а на ее крики отвечал самыми грубыми оскорблениями».

Или в другом месте: «Актер охвачен страстью к актрисе. Пьеса случайно сталкивает их в сцене ревности. Сцена выигрывает, если актер посредствен; она проигрывает, если он настоящий актер: тут великий

актер становится самим собой, а не созданным им великим идеальным образом ревнивца».

А вот и третий пример. «Я хотел бы показать вам Клерон в припадке подлинного гнева, — говорит тот же любитель парадоксов, первый участник диалога. — Сохрани она случайно при этом театральную осанку, интонацию, жесты со всей их искусственностью и напыщенностью, — не ухватились ли бы вы за бока, чтобы не удержаться от хохота?»

И таких примеров в «Парадоксе об актере» приводится много. Между тем в рассуждении «О драматической поэзии» Дидро восклицает: «Как воспламениться и зажечь другого, когда светоч восторга погас и пламя вдохновения не озаряет чело?!»

В чем же тут дело? Чем объясняются эти противоречия и эти парадоксы? Дидро требует от актеров, чтобы они не были на сцене самими собой, не были такими, как в жизни, объясняя, что это и будет означать подражание природе! А начал-то он с призыва к актерам не сыграть, но заменить действующих лиц «Побочного сына». Во-первых, здесь снова и снова налицо все то же противоречие между истиной и добродетелью, идеалом и правдой. «Величайший актер — тот, кто лучше изучил и в совершенстве передал эти внешние признаки высоко задуманного идеального образа».

Во-вторых, и прежде Дидро предостерегал от рабского копирования природы, настаивал на различии между правдой жизненной и правдой художественной.

И в-третьих, в «Беседах о «Побочном сыне» и рассуждении «О драматической поэзии» он касался актерского искусства только вскользь, поскольку нельзя было говорить о реформе драмы, не говоря о реформе театра и первой фигуры в нем — актере, а теперь он все свое сочинение посвятил актеру и должен был серьезно задуматься над технологией его мастерства, над тем, как, играя одну и ту же роль в десятый, двадцатый, сотый раз, вызывать у зрителей те же чувства, что и в первый.

Дидро знал, что это не удавалось актерам нутра,

в той же самой роли в одном представлении они потрясали зал, в другом оставляли его совершенно холодным. Дидро видел выход в том, чтобы актер, изображая страсти своего героя и вызывая ответные сопереживания у зрителей, оставался совершенно холоден сам.

То, что итальянская актриса, синьора Риккобони, двадцать лет, проведенные ею на сцене, не смогла добиться успеха у публики, «Первый» объясняет тем, что она стала жертвой собственной чувствительности «именно потому, что она постоянно оставалась самой собой, публика постоянно пренебрегала ею».

Рассказывается в «Парадоксе об актере» и такой случай. Знаменитый драматический актер и в то же время певец Кайо играл дезертира — заглавную роль в опере Монсиньи на либретто Седена. Княгиня Голицына, которая тут же названа женщиной умной и тонкой, сидя в ложе, «разделила с ним всю силу отчаяния несчастного героя, теряющего возлюбленную и жизнь. Кайо подходит к ее ложе и улыбается — вы знаете его улыбку, — обращается к ней с веселой и учтивой речью. Княгиня в изумлении восклицает: «Как? Вы живы! Я была лишь свидетельницей ваших страданий и то не могу еще очнуться». — «Нет, сударыня, я не умер. И, право, я был бы достоин жалости, если бы умирал так часто». — «И вы ничего не чувствуете?» — «Простите...» И тут у них завязался спор...»

Но Кайо, в чем вынужден, хотя и обиняками, признаться «Первый», был *чувствующим* актером. И, надо думать, Дидро, все время споря с самим собой в поисках верных, истинно реалистических взглядов на искусство — потому-то он и избрал форму диалога, — на этот раз ближе ко второму, а не первому участнику разговора. И ближе к истине. Судите сами!

«Второй. Я хочу предложить вам мировую: отнесем за счет естественной чувствительности актера те редкие моменты, когда он теряет голову, не видит спектакля, забывает, что он на сцене, переносится на

Аргос или в Микены, превращается в самого героя, плачет.

Первый. Размеренно?

Второй. Размеренно. Кричит.

Первый. В верном тоне?

Второй. В верном. Сердится, негодует, отчаивается, являет моему взору подлинный образ, передает моему слуху и сердцу истинный голос волнующей его страсти, и вот я увлечен, я забываю самого себя, я вижу Агамемнона, слышу Нерона, а не Бризара или Лекена... Все остальные мгновения игры я отдаю искусству. Я думаю, что, быть может, природа здесь подобна рабу, который научился свободно двигаться в оковах и так привык к ним, что не замечает ни тяжести, ни принуждения».

Какая замечательная мысль и как превосходно выражена! Под «оковами» Дидро имеет в виду приемы актерского мастерства, в том числе и размеренную речь, если пьеса в стихах, и верный тон под «природой — этих оков не замечающей», — *переживания* актера, а уже не *подражание* переживаниям.

Но «Парадокс об актере» не произвел бы тогда, когда он был написан, впечатления взорвавшегося снаряда, если бы, кроме этих споров с самим собой, в нем не содержалось еще более взрывчатых элементов.

Я имею в виду прежде всего во весь голос провозглашенный тезис о равноправии основного посредника между автором и публикой — актера с поэтом, живописцем, музыкантом. До Дидро это не признавалось и требовало доказательств.

«Иногда автор чувствует сильнее, чем актер, иногда, и, может быть, чаще, замысел актера сильнее: как верно восклицание Вольтера, смотревшего Клерон в одной из своих пьес: «Неужели это сделал я?» Разве Клерон понимала больше Вольтера? По крайней мере в тот момент ее идеальный образ (и на этот раз идеальный! — *А. А.*) был гораздо выше образа, который создал автор в произведении...» — говорит «Первый», превознося актера, как самостоятельного и

равного драматургу, а иногда и превосходящего его, художника.

Или в другом месте: «Великий актер это не фортепьяно, не арфа, не клавесин, не скрипка, не виолончель: у него нет собственного тембра, но он принимает тембр и тон, нужный для его партии, и умеет применяться ко всем партиям. Я высоко ставлю талант великого актера: такой человек встречается редко; так же редко, а может быть, еще реже, чем большой поэт».

И не менее важно было то, что, превосходно зная личные недостатки актеров, Дидро страстно выступил против униженного положения этой профессии в обществе.

Виноваты ли актеры в своих недостатках? Нет, виновато их положение в обществе.

В ответ на реплику «Второго», перечислившего актеров, пользовавшихся уважением и великих и малых — Мольера, Кина, Монмениля, а из живых — Бризара и Кайо, «Первый» говорит: «Среди людей, по самому своему званию обладающих тем достоинством, которое является драгоценным и плодоносным источником многих других, актер — порядочный человек и актриса — честная женщина — такое редкое явление. И это и то, что мы видим так мало великих актеров, происходит оттого, что родители отнюдь не прочат своих детей на сцену, оттого, что к ней не готовятся воспитанием, начатым смолоду, оттого, что у нас актерская труппа не является корпорацией, образованной подобно всем другим объединениям из представителей всех слоев общества, идущих на сцену, как идут на военную службу, на судебные или церковные должности, по выбору или призванию, с согласия своих естественных опекунов, хотя именно так оно и должно быть у народа, воздающего... почести и награды тем, чье назначение говорить перед людьми собравшимися, чтобы поучиться, развлечься и исправиться».

На это «Второй» отвечает справедливым замечанием, что нынешнее униженное положение актеров — наследие, оставленное актерами прежних времен.

А мы с вами можем добавить, что такое положение актеров в обществе сохранялось еще очень долго и после того, как Дидро осудил его в своем «Парадоксе».

А разве не сохранил своего значения на вечные времена призыв Дидро, чтобы люди избирали эту прекрасную профессию — эпитет принадлежит ему — из желания быть полезными обществу, служить своей стране?!

Но в его время — Дидро устами «Первого» говорит об этом с сожалением — «людей заставляли надевать котурны или сандалии недостаток образования, нищета или распущенность», а не побуждения, которые «должны были привлечь прямой ум, горячее сердце, чувствительную душу...». Здесь Дидро признает, что все это, а не только разум и холодная наблюдательность нужно актеру.

Вот примеры того, почему люди идут в актеры. «Один молодой повеса, вместо того чтобы усидчиво работать в мастерской художника, скульптора, артиста, который его принял, растратил свои лучшие годы и в двадцать лет остался без средств и без таланта. Кем прикажете ему быть? Солдатом или актером? И вот он нанялся в бродячую труппу. Он странствовал, пока не почувствовал себя в силах дебютировать в столице».

Или еще более вопиющий пример: «Какая-то несчастная погибала в грязи разврата. Устав от гнуснейшего занятия, от жизни презренной распутницы, она разучила несколько ролей и отправилась к Клерон, как древняя рабыня к эдилу или претору. Та взяла ее за руку, заставила сделать пируэт, коснулась ее своей палочкой и сказала: «Иди вызывай слезы у зевак».

Мало того, в «Парадоксе об актере» Дидро вспоминает, как он сам некогда колебался между Сорбонной и Комедией. Зимой, в самые жестокие морозы, он в пустынных аллеях Люксембургского парка разучивал роли из Мольера и Корнеля.

На что он рассчитывал? На рукоплескания? Может быть. На связи с актрисами, которые казались

ему очень привлекательными? Несомненно. Рассказывая об этом, Дидро нарочно подчеркивает, что никакие высокие соображения им не руководили.

Поводом к написанию «Парадокса об актере» послужила малозначительная брошюра о великом английском актере Гаррике. Маленький повод вызвал большие последствия. Очень помогло утверждению равноправия актера с мастерами других искусств и то, что говорится в «Парадоксе» о самом Гаррике, лучшем исполнителе Шекспира, великом актере-реалисте и о многих великих французских актерах. Кстати, среди замечательных откровений «Парадокса» содержатся и очень интересные наблюдения над различиями национальных стилей актерской игры — французского и английского.

Еще одно не менее важное обстоятельство. Большая часть французских актеров и актрис, о которых Дидро говорит с восторгом и уважением, — и Клерон, и Барон, и Моле разрушали сценическую традицию классицизма, утверждая правду, естественность, простоту, заменяя декламацию и позу простой человеческой речью и простыми жестами, то есть они-то и проводили реалистическое преобразование театра, к которому он призывал.

Спрашивается, почему же на сцене этого театра «Отец семейства», как говорится в самом «Парадоксе об актере», был первоначально холодно принят и только после возобновления в 1769 году стал собирать полный зал еще до половины пятого (тогда спектакли начинались в это время) и актеры стали объявлять эту пьесу всякий раз, как нуждались в лишней тысяче экю? Сам Дидро в «Парадоксе» объясняет это недостаточной талантливостью своей пьесы. «Хотя кто-то и говорил, что нравы наши были слишком далеки от природы, чтобы примениться к жанру столь безыскусному; слишком растленны, чтобы воспринять жанр столь добродетельный... опыт доказал, что это неверно, ибо мы не стали лучше», — настаивает «Первый», опровергая замечание «Второго»: «Это не лишено правдоподобия».

Но разгадка не только в недостаточных достоин-

ствах «Отца семейства». В этом Дидро был прав и даже сделал отсюда практический вывод: решив, что в этом жанре он работает много хуже, чем в других, философ много лет вообще не брался за сочинение для сцены. Впрочем, когда взялся, то в комедии «Добр ли он, зол ли он?» превзошел самого себя.

Скорее разгадка была в том, что за девять лет, отделявших премьеру «Отец семейства» во Французской комедии от ее возобновления, если не вся труппа, то отдельные актеры сильно продвинулись на пути к реализму. К тому же продвижение это было постепенным и легче достигалось на более привычном репертуаре, подготовившем их и к исполнению «серьезной драмы» Дидро.

Вот и вся история.

IV

Коронованным подписчикам или искусству, нации, человечеству?

Первым стал посылать герцогине Саксен-Гота корреспонденции о литературных и художественных новостях Парижа, придав им форму рукописного журнала, еще аббат Рейналь. Это было в 1747 году.

В 1753-м его место занял Фредерик, или Фридрих, Мельхиор Гримм. Гримм, кроме того, что был литератором и философом, был еще и дипломатом, причем не только по профессии, но и по натуре. Недаром Гримма шутя называли посланником «Энциклопедии» при немецких дворах. Впрочем, не только немецких. Если же говорить не шутя, а серьезно, он был сперва секретарем саксонского посланника при общегерманском сейме, затем сопровождал герцога Саксен-Гота в Париж и там обосновался. Это произошло в 1748-м. Тогда же он вошел в кружок энциклопедистов, близко сошелся с Руссо, Вольтером,

Гольбахом, Гельвецием и особенно с Дидро, став его лучшим другом.

В 1752-м Гримм опубликовал «Письма об «Омфале» — лирической трагедии — критический этюд о французской опере и музыке вообще — и памфлет на итальянскую оперу — «Маленький пророк из Бемшиброда». Эти литературные выступления принесли ему известность в парижских салонах и позволили стать постоянным корреспондентом не только герцогини Саксен-Гота, заняв место Рейналя, но и еще нескольких европейских монархов.

Эти услуги коронованным особам — он регулярно извещал их обо всех новостях литературной и художественной жизни Парижа, — вероятно, помогли продвижению его на дипломатической лестнице. К 1759 году Гримм дослужился до поста парижского посланника Франкфурта, затем был парижским резидентом того же герцогства Саксен-Гота.

В свите ландс-графини Гессен-Дармштадтской, ездившей на бракосочетание дочери с наследником Павлом Петровичем, он впервые попал в Санкт-Петербург, а окончил свою жизнь посланником Екатерины II при одном из дворов Европы.

Полное название рукописного журнала Гримма было «Литературная, философская и критическая корреспонденция», но для краткости его обычно называют просто «Корреспонденция». Постепенно тираж этого издания увеличился до пятнадцати экземпляров. В числе подписчиков были Екатерина II, шведский король, польский король Станислав Август, другие монархи Европы помельче и несколько самых крупных сановников.

Салоны — периодические выставки произведений живописи, скульптуры, гравюры начались в Париже еще в середине XVII века. Почин принадлежал Королевской академии художеств. Правда, тогда они еще не назывались салонами. Большая выставка работ членов академии была устроена в 1673 году под открытым небом, во дворе Пале-Рояля.

О закрытом помещении для выставок позаботился

архитектор Мансар, вступив в должность интенданта королевских строений.

Выставка 1699 года после перерыва в пятнадцать лет была открыта уже в Большой галерее Лувра и насчитывала до трехсот картин и скульптур. Король милостиво разрешил обставить галерею мебелью, коврами и гобеленами из дворцовых хранилищ. Каталог выставки составил знаменитый сказочник Шарль Перро. На особом возвышении был выставлен окруженный пышной декорацией портрет короля Людовика XIV работы Риго. Тогда ассигнования на картины еще не были урезаны.

Позже выставки перевели в Большой салон Лувра, откуда и пошло название Салоны. При Людовике XV состоялось двадцать пять Салонов, с 1725-го по 1773-й, то есть до самой кончины короля. Продолжались Салоны и при его преемнике, Людовике XVI, и в первые годы революции. С 1751 до 1795 года они устраивались со строгой периодичностью, раз в два года.

Выставлялись «академики» и причисленные — два разряда художников Королевской академии. Как правило, к очередному Салону выпускался каталог (livret) с перечнем всех выставленных произведений. Развеска картин и гравюр и расстановка скульптур поручались кому-нибудь из художников. Он назывался tapissier, примерно это слово означает «организатор». В течение пятнадцати лет tapissier Салонов был Шарден.

Как развешивались картины, можно себе представить по акварели де Сент-Обена, изображающей Салон 1767 года, и по гравюре Борне — «Салон 1785 года». Теснота, надо сказать, на выставках была большая: картины заполняли сплошь все стены до самого потолка, между рамами почти не оставалось промежутков.

Уже это свидетельствует о том, что претендентов на участие в Салонах было много. С 1748 года было введено жюри. Оно рассматривало и отбирало произведения для выставки. Мосье Ленорман-Детурнем, директор королевских строений, в чью компетенцию

входили также художественные дела двора — раздача заказов художникам и другие формы королевского меценатства, мотивировал это тем, что «выставки приобретают блеск не благодаря большому количеству картин, но благодаря их правильному выбору».

Но что понимать под правильным выбором?! В жюри входили благонамеренные с точки зрения двора академики. Это определяло их эстетические суждения, кроме того, они не забывали и о нравственности и о религии. Когда парижский архиепископ выразил недовольство картиной Бодуэна «Священник благословляет молодых девушек», этого оказалось достаточно, чтобы жюри отвергло картину. Картина Дебюкюра «Благотворительность короля Людовика XV» тоже вызвала сомнение. Впоследствии будет забракована скульптура Гудона.

Что остается отвергаемым королевским жюри художникам, как не открыть свой Салон молодежи?! Впоследствии откроются и Салон отверженных и Салон независимых. Выставки Салона молодежи устраиваются под открытым небом. В них участвуют преимущественно художники, не принятые в академию, и любители, рисовальщики-ремесленники. Но в Салоне молодежи выставляются и такие мастера, как Буше, Ван-Лоо, Наттье, даже Шарден.

И тем не менее с конца пятидесятых годов XVIII столетия до начала восьмидесятых Салоны собирали все самое значительное, что создавали тогда французская живопись, гравюра, скульптура.

Вернисажи Салонов обставлялись пышно и торжественно, собирали многочисленную публику. Мерсье в «Картинах Парижа» не преминул, разумеется, описать один из таких вернисажей: «Поток посетителей не прекращается с утра до вечера. Бывают часы, когда в нем задыхаешься. Это настоящее смятение... Зрители столь же пестры, как то, что изображено на картинах, где смешалось все — и духовное и светское, патетическое и гротескное. Какой-то зевака принимает персонажа басни за святого, Тюфона за

Гаргантюа, Каррона за святого Петра, Ноев ковчег за телегу Оксерра...»

И в самом деле, к тому времени, как XVIII век перевалил за первую свою половину, в прекрасных искусствах Франции словно бы все смешалось. От последней монументальной фигуры французской живописи Никола̀ Пуссена прошло сто лет. Холодный и казенный академизм делил власть с вычурным и игривым рококо. Церемонный парадный официальный портрет соседствовал с галантной пасторалью эпигонов Ватто с его пастушечьими сюжетами. Чопорная риторика Вьена уживалась с откровенной эротикой Буше и Фрагонара. Рассудочность — с манерностью.

Академическая живопись была явно вне реального мира, она заменяла его условным миром канонических застывших форм. Рококо претендовало на изображение реальной жизни. Но что содержали картины его художников, кроме искусственного подъема чувств, что было в них от жизни, кроме имитации и стилизации?! И пейзаж и интерьер превращались у них в декорацию. Академизм давал образы — аллегории «героики», «красоты», «грации», трафаретный «набор» античных сюжетов и персонажей. Рококо те же мифологические сюжеты превращал в фривольные анекдоты.

Сотрудничество Дени Дидро в «Литературной, философской и критической корреспонденции» началось в 1757-м заметкой об «Ифигении из Тавриды» де Латуша и кончилось в 1782-м несколькими строчками об «Истории королевства Сиам» де Тюльпена. В пятнадцатилетнем промежутке между ними философ поставлял своему другу критические и теоретические статьи о литературе, философии, истории, политике, архитектуре, театре, в том числе и набросок «Парадокса об актере». А главное — «Салоны», обзоры периодических выставок живописи, скульптуры и гравюры.

Дидро поместил в «Корреспонденции» *девять* «Салонов», начав в 1759-м и закончив в 1781-м, а Салонов за эту четверть века, если считать до самой его

смерти, было *тринадцать*. Он пропустил Салон 1773 года по весьма уважительной причине — уезжал в Голландию и Россию — и по менее уважительным причинам Салоны 1777-го и 1779-го. Написать обзор последней при его жизни выставки 1783 года Дидро помешала тяжкая болезнь, от нее он и умер.

Первоначальное предположение, что Дидро был автором «Салонов», печатавшихся в Гриммовой «Корреспонденции» 1753, 1755 и 1757 годов, опровергнуто и самим Гриммом и Нэжоном.

«Салоны» носили форму писем Гримму. Они и возникли по инициативе Гримма. Это он предложил Дидро писать их и регулярно о них напоминал. Как свидетельствуют современники, хорошо знавшие обоих, не Дидро имел влияние на Гримма и этим влиянием пользовался, но Гримм имел влияние на Дидро и распоряжался философом по своему усмотрению. Эпиграфом к этим обзорам Дидро, занимающим такое большое и почетное место среди его сочинений, казалось бы, можно было бы поставить начальные слова «Салона 1765 года»: «Если у меня есть какие-либо здравые мысли о живописи и скульптуре, то ими я обязан вам, мой друг; я без вас шел бы с праздной толпой посетителей Салона...»

Следовательно, у нас нет оснований обижаться на Гримма. «Без «белокурого тирана» Дидро, занятый многим иным, может быть, и не стал бы художественным критиком. Гримм познакомил своего «автора», как бы мы выразились, со многими художниками.

Это не значит, что Дидро не страдал от требовательности Гримма. Он жаловался Софи: «Я получил от Гримма тираническую записку, она ранила мою нежную душу. Я обязался дать ему несколько строк о картинах, выставленных в «Салоне». Он мне написал, чтобы это было не позже чем завтра. С ним бесполезно спорить. Я буду отмщен за эту жестокость. Работал вчера всю ночь и сегодня весь день. Проведу за работой снова всю ночь и завтра весь день, и он получит исписанный том. Мосье посланник должен был бы обращаться со мной менее же-

стоко. Он требует от меня суждений о картинах, я должен их видеть, я возвращаюсь домой, пишу целый том... О мой друг, «Салоны» — это страшная повинность».

Но повинность эту Дидро нес не перед одним издателем «Корреспонденций». «Салоны», писавшиеся якобы для Гримма и его высокопоставленных подписчиков, на самом деле адресовались художникам, скульпторам, граверам, не только тем пятидесяти с лишним мастерам, произведения которых разобраны в «Салонах», а и всем остальным. И, конечно же, это было для Дидро несравненно важнее, чем одобрение или неодобрение короля шведского, герцогини Саксен-Гота, Станислава Августа или даже Екатерины II.

Впрочем, любезный Дидро заверял в 1761 году мадам Эпинэ: «Служа нашему другу, я надеюсь также развлечь и вас. Говорят, шведская королева любит, чтобы ей называли неверующих. Вот маленький каталог. Читайте и поучайтесь!»

Нэжон утверждал, что Гримм наносил существенный урон «Салонам» Дидро, редактируя их применительно к вкусам своих коронованных подписчиков. Но даже, если это и так, общее направление обзоров сохранялось.

«Салоны» Дидро, его «Опыт о живописи» и разрозненные, но очень глубокие мысли об искусстве доходили и до ценителей живописи, скульптуры, гравюры, формировали общественный вкус. «Повинность» была для Дидро и огромной радостью. «Салон 1763 года» начинается так: «Да будет благословенна во веки веков память о том, кто основал эту публичную выставку, возбудил соревнование среди художников и дал всем слоям общества, и прежде всего людям, обладающим хорошим вкусом, полезное упражнение и приятный отдых, кто отдалил от нас упадок живописи и, быть может, больше чем на сотню лет сделал нацию более чем другие сведущей и более требовательной в этой области искусства».

Не менее благословенна должна быть память Дидро, чьи «Салоны» не только критика, но явление

самого искусства, неотъемлемая и очень важная часть художественной жизни Франции двух с лишним десятилетий. Более того, как изящно выразился наш старый знакомый, новейший французский биограф Дидро Андрэ Бии: «Салоны» были... выражением личности, характера, настроения и зеркалом эпохи, явившись ее редкой и блистательной фотографией, какой не повторила и даже не попробовала повторить журналистика ни XIX, ни XX столетия. Этот беспорядок аксиом, анекдотов, отрывочных атак, диссертаций, то специальных, то философских, сатир, апострофов, суждений, истинно концертных по силе, по смелости, переходящих от слепого восхваления к суровости, производят, как «Племянник Рамо», как самые знаменитые произведения, вышедшие из-под этого пера, впечатление гениальности». Можно, разумеется, не согласиться с эпитетом «слепое», приложенным Бии к восхвалениям Дидро, прекрасно знавшего, кого и за что он хвалит. Но было бы странно, если бы с Андрэ Бии мы решительно обо всем были одного мнения.

Прав он, бесспорно, в том, что «Салоны» включали в себя решительно все, являясь как бы квинтэссенцией манеры Дидро.

В каждом из «Салонов» автор очень строго следовал за каталогом выставки, не пропуская не только произведений значительных самих по себе, но и таких, которые, будучи малозначительными, давали ему повод для общих суждений.

Дидро соблюдал в «Салонах» точность как бы строго протокольную. Но при том его литературная манера была так свободна и разнообразна, эпистолярный стиль так естественно сочетался со строгостью трактата, чисто профессиональные замечания о рисунке, колорите, свете с общими рассуждениями, интимными отступлениями, диалоги с беглыми заметками, словно бы взятыми из дневника или записной книжки, что это-то и давало ему возможность охватить такое обилие фактов художественной жизни, исторических явлений и явлений современности, проблем эстетики, философии, политики.

Дидро жаловался, что «так плоско ремесло критика! Как трудно создать самому даже посредственную вещь и так легко почувствовать посредственность чужую!!!» Но в применении к себе он не имел никаких оснований жаловаться. Разбирал ли он ту или иную картину или скульптуру, восхвалял ли ее автора или критиковал его, спорил ли с самим собой или с другими, — в «Салонах» немало диалогов, иногда вымышленных, а иногда, как разговор с Нэжоном, записей подлинных бесед, — во все это он вкладывает жар борца, убежденность философа, понимание художника.

Такой художественной критики до Дидро еще не было. Его «Салоны», трактат «Опыт о живописи», приложенный к «Салону 1763 года», «Разрозненные мысли о живописи, скульптуре, архитектуре и поэзии» разительно отличаются от всего, что прежде писалось об изобразительном искусстве, будь то «Жизнеописания великих художников» Фелибьена, наставления художникам, вроде «Начальных элементов практической живописи» Роже де Пиля, «Рассуждения о живописи и скульптуре» столь любимого Дидро Ричардсона, «Анализ красоты» Уильяма Хогарта и даже «Размышления о скульптуре» друга Дидро — Фальконе. Я не говорю, разумеется, о древних и гениальных мастерах Возрождения.

Можно сказать, что в «Салонах» Дидро родилась художественная критика нового времени.

Что же это была за новорожденная, сразу встававшая на ноги да еще и многих сбившая с ног? Прежде всего Дидро как критика занимали не отвлеченные идеи и дидактические поучения, написанные маслом или гуашью, а истинная мораль произведения. Художник для него — «наставник рода человеческого», так же как поэт, композитор, драматург, актер. С этих позиций он и раздает свои оценки, никогда не умозрительные, а всегда конкретные и доказательные.

Положительные идеалы Дидро в изобразительных искусствах так же конкретны, как отрицательные, они носят фамилии художников, скульпторов, граве-

ров. И в этих искусствах ему повезло больше, чем в драматургии, и даже, чем в театре. В любом из Салонов он находил не только старый порядок, воплощенный в холстах Карла Ван-Лоо, Буше, Вьена. На каждой выставке он находил и воплощение своих положительных идеалов или по меньшей мере приближение к ним.

И как же он был этим счастлив! Вручая Гримму рукопись первого «Салона» — 1759 года, Дидро с огорчением повторил то, что было написано в коротком введении: «Я люблю хвалить, я не хотел бы ничего иного, как быть счастливым и восторгаться». Но тут же вынужден был добавить, что в этом Салоне гораздо больше плохих картин.

Ему не доставило никакого удовольствия разбранить знаменитую картину одного из главных академистов, Карла Ван-Лоо «Язон и Медея». Но он вынужден был воскликнуть: «Прескверная вещь, друг мой! Это театральная декорация со всей ее фальшью, невыносимая пышность красок; сам Язон невыносимо глуп...»

Не меньше огорчили его и четыре равноценные, то есть одинаково плохие, картины Жозефа Мари Вьена, действительного члена академии, лауреата Большой премии 1745 года: «Иисус, преломляющий хлеб с учениками», «Петр, вопрошаемый после рыбной ловли Христом, любит ли он его», «Музыка», «Воскрешение Лазаря».

Ни в одном из этих плохих полотен Дидро не увидел ни малейшего достоинства, особенно сравнив «Воскрешение Лазаря» Вьена с «Воскрешением Лазаря» Рембрандта.

Не обрадовал Дидро в этом Салоне своей картиной «Рождество» и Буше, давший ему повод заметить: «У нас множество художников, среди них мало хороших и ни одного великого; они выбирают прекрасные сюжеты, но эти сюжеты им не под силу... В них нет ни ума, ни возвышенности, ни пыла, ни воображения. Почти все грешат против колорита. Живописи много, мысли мало».

Если следовать каталогу, то не после, а раньше

Буше, Дидро добирается до первого своего идеала в живописи, Жана Батиста Симона Шардена. Этот тоже член академии и даже в течение двенадцати лет организатор Салонов, но он нисколько не похож на Карла Ван-Лоо, хотя у него и учился, и на первого художника короля Франсуа Буше с его пасторалями, декоративными панно, шпалерами, плафонами, портретами и одними и теми же завитками рококо! Этот сын гравера и резчика по дереву, сразу видать, вырос не в залах Версаля и гостиных вельмож. Он сочетает новые идеи со смелостью формы. В его картинах Дидро привлекает мир простых вещей, обыденные человеческие лица, будни жизни. Шарден сумел доказать, что кухонная утварь, льняные ткани не менее достойный предмет искусства, чем хрусталь, бархат, кружева, которые так любит изображать в своих пасторалях Буше. Дидро спрашивает: «Где видели вы пастухов, одетых с такой элегантностью и роскошью?» Шарден пошел, считает Дидро, даже дальше нидерландских мастеров: его богатейший колорит наделил прозаическую манеру сверканием цветов и почти осязаемой объемностью.

О, одной темой Дидро не подкупишь: так он любит искусство! Но он так изучил секреты мастерства, что одними ухищрениями его тоже не возьмешь. Такие художники, как Вьен, заставляют его воскликнуть: «Эти господа считают, что все дело в том, как расположить фигуры; они и не подозревают, что самое главное — это величие замысла». Что же касается Шардена, то Дидро в «Салоне 1763 года» писал, что, если бы учил своего ребенка живописи, он, показывая ему на картины Шардена, говорил: «Скопируй это, скопируй то!»

В 1759 году были выставлены всего шесть небольших картин Шардена: «Возвращение с охоты», «Дичь», «Рисующий молодой человек, видный со спины», «Девушка за вышиванием» и две картины, изображающие плоды. В «Салоне» о них всего четырнадцать строчек, но каких!

«Все эти вещи натуральны и правдивы. Вам хочется пить, и вы берете эту бутылку, персики и ви-

ноград будят аппетит, рука сама тянется к ним. Шарден умен, он изучил теорию своего ремесла, он пишет в своей собственной манере, и наступит день, когда каждый пожелает приобрести его картины. Он пишет свои маленькие фигурки в такой свободной манере, как будто они высотой во много локтей. Его не ограничивают ни размеры картины, ни величина предметов».

Нас не должно удивить, что затем следует сравнение с Рафаэлем: «Уменьшайте, если хотите, любое из «Святых семейств» Рафаэля; вы не уничтожите его широкой манеры». Дидро писал словно бы только о картинах, скульптурах, гравюрах, один раз и вышивках, *этих девяти Салонов,* строго следуя каталогам. Но прочтите внимательно его обзоры, правда прибавив к ним «Опыт о живописи» и «Разрозненные мысли», и вы вперемежку с Шарденом, членами семьи Ван-Лоо, Фрагонаром, Буше, Фальконе, Верне, Вьеном и другими современниками и соотечественниками Дидро обнаружите там имена и названия произведений мастеров совсем иных эпох, а то и государств. Не только Пуссена, но и Ван-Дейка, Джорджоне, Веронезе, Микеланджело, Джулио Романо, Доу, Корреджо, Рубенса, Гольбейна и многих других. Что же касается Рафаэля, Дидро упоминает его тридцать один раз, десять раз — Рембрандта.

И это не говоря уже о том, что он не забывает Аристотеля, Платона, Плутарха, Гомера, Горация, и вовсе не потому, что они изображены на картинах или в скульптурах Салона. О героях картин и статуй он тоже находит что сказать. Нет, все эти великие художники, философы, поэты, историки нужны ему как мерило для искусства современников.

Начиная «Салон 1761 года» Дидро пишет другу, господину Гримму, что он без выбора и отделки набросал здесь мысли, какие пришли ему в голову. Среди них будут и верные и ложные. Но, во всяком случае, он сбережет Гримму несколько мгновений, которые тот проведет среди своих уток и индюшек.

Затем идут краткие разборы картин тех художников, которые привлекли его внимание уже в пре-

дыдущем Салоне. К Карлу Ван-Лоо он на этот раз снисходительнее, называет его «большим художником, хотя и не гением». О пасторалях и пейзажах Буше говорится: «Какие краски! Какое разнообразие! Какое богатство вещей и сюжетов!» Но заключение в устах Дидро убийственно: «У этого художника есть все, кроме правды».

Достается на этот раз и первому его идеалу — Шардену. Пусть, «как всегда, тончайшее подражание природе в манере, свойственной этому художнику; природа у него низка, обыденна, повседневна... но, увы, давно Шарден не заканчивает своих вещей. «Он не дает себе труда выписывать руки и ноги». И Дидро заканчивает столь же жестоким, сколь ироническим упреком, говоря о Шардене: «Он стал во главе небрежных живописцев». К своим Дидро еще требовательнее, чем к чужим. Мы еще увидим, как он ни малейшего промаха или отступления не простит Грёзу.

За Шарденом следует племянник Карла Ван-Лоо, Амедей. Этот заслуживает похвалы за то, что у него хорош колорит. А «цвет в картине подобен стилю в литературе».

Затем Верне, и, наконец, целых шесть страниц посвящены Жану Батисту Грёзу.

В этом нет ничего удивительного. Когда Грёз выставил в 1755-м своего «Отца, объясняющего библию детям», весь Париж был потрясен. Честность, выраженная в фигурах, простота, естественность, добродетельные нравы, которые он утверждал картиной!

Дидро, только познакомившись с этим полотном, немедленно свел знакомство и с его автором, выразив Грёзу свое восхищение, преклонив перед ним колени.

Так поступал он всегда, когда произведение и автор ему нравились.

А Грёз был Дидро ближе и дороже всех художников Салонов. Этот шел дальше Шардена. Он привел в движение то, что у Шардена было еще статично, раскрывая не мир вещей, но живой мир человеческих отношений. На его полотнах третьесослов-

ный интерьер пополнился повествовательной фабулой, превратился в сцены действительной жизни. А как сильны были его морализующие идеи! Домовитость, семейные добродетели он противопоставил распущенности и аморальности аристократического уклада. В его картинах — добродетельные отцы семейств, сыновняя привязанность, супружеская верность, скромная красота жен и дочерей буржуа и поселян, прославленные грёзовские головки!

Вскоре после их знакомства Грёз отправился в Руан, где провел год. А вернувшись, он женился на мадемуазель Бабюти, той самой Габриель, дочери книгопродавца, которой Дидро увлекался в молодости.

Он вспоминает в «Салоне 1765 года»: «Этот художник, несомненно, влюблен в свою жену, и он имеет к тому все основания. Я и сам любил ее, когда был молод и когда она называлась мадемуазель Бабюти. Она держала маленькую книжную торговлю на набережной Августинцев, щеголиха, беленькая и стройная, как лилия, румяная, как роза. Я входил в лавчонку, живой, пламенный и безумный, каким был тогда, и говорил ей:

— Сударыня, «Сказки Лафонтена» и Петрония, пожалуйста!..»

В «Салоне 1761 года» Дидро называет Грёза «наш друг». В «Салоне 1763 года» Дидро именует его «мой художник». Пожалуй, ни о ком не пишет он столько, сколько о Грёзе. Ему по душе сам этот жанр — нравоучительная живопись. «И так уже кисть долгие годы была посвящена восхвалению разврата и порока. Разве не наполняет радостью то, что живопись, наконец, стала соревноваться с драматической поэзией в искусстве трогать нас, наставлять, призывать к добродетели. Смелей, мой друг Грёз, морализуй в живописи, у тебя это получается прекрасно! И, расставаясь с жизнью, ты с удовлетворением вспомнишь любую из своих композиций. Почему ты не слышал, как воскликнула с наивной живостью юная девушка, глядя на голову твоего «Паралитика»: «Ах, боже мой, до чего же он трогателен!

Я заплачу, если буду на него смотреть». Как жаль, что эта девушка не моя дочь!»

Не одну нравоучительность ценит Дидро в своем художнике. «Грёз первый из нас, кто осмелился ввести быт в искусство, запечатлеть на полотне ход событий, из которых можно составить роман», «Грёз посылает свой талант повсюду — в толщу народа, в церкви, на рынки, гуляния, в дома, на улицу».

Дидро более десяти лет был связан с Грёзом и личной дружбой. Но это не делало его снисходительным, либеральным критиком.

В «Салоне 1761 года» Дидро, назвав прекрасным портрет тестя художника, своего старого знакомца книгопродавца Бабюти, признается, что автопортрет мастера нравится ему гораздо меньше. «Маленькая прачка» очаровательна. Но, изобразив мадам Грёз в виде весталки, ее муж посмеялся над зрителями. «Да это скорбящая мать, маловыразительная и чуть-чуть жеманная». «Эта вещь сделала бы честь Каунелю, но отнюдь не вам», — обращается он прямо к художнику. «Пастуха» можно принять за работу Буше», — упрек в его устах сокрушительный.

Зато в этом Салоне Дидро восхищен программными для Грёза и его самого нравоучительными жанровыми картинами художника: «Паралитик», «Погоревший фермер», «Деревенская невеста». Он описывает их так точно, что, и не видя этих картин, не составит большого труда себе их представить. Вот нотариус за маленьким столом, спиной к зрителю. На столе свадебный контракт и прочие бумаги. Нотариус в черном сюртуке, на нем цветные штаны и чулки, мантия и брыжи, на голове шляпа. Ни Грёз, ни Дидро не упустили ни одной детали. С виду нотариус — хитрец и сутяга, как и подобает крестьянину. «Прекрасная фигура!» — восклицает Дидро.

Рассматривая картину справа налево, мы увидим старшую дочь; она стоит, облокотясь на спинку отцовских кресел. Перед отцом — зять, в его левой руке — кошель с приданым. Обрученная нежно просунула свою руку под руку жениха, за другую руку ее держит мать, сидящая ниже. Не забыл Дидро

в своем описании и младшую сестру, обнимающую невесту за плечи, и мальчика, поднимающегося на цыпочки, чтобы все видеть, и девочку, в переднике которой накрошен маленькими кусочками хлеб, и двух служанок в отдалении. Тщательно перечисляет он и все аксессуары обстановки деревенского интерьера: шкафчик для провизии, старый аркебуз, деревянную лестницу на второй этаж, наседку с цыплятами.

Невесту художник наделил очаровательным личиком, она чудесно одета, лучше нельзя было для нее придумать и позы. Мать — добрая крестьянка лет шестидесяти, ей грустно расставаться с дочерью, но партия хорошая: Жан славный малый, жена будет с ним счастлива.

Любопытно сравнение с Тенирсом: тот «изображает нравы, может быть, правдивее, сцены и персонажи этого художника, пожалуй, легче найти в жизни. Но Грёз более изящен, более грациозен, его персонажи приятнее. Крестьяне его не столь грубы, как у нашего доброго фламандца, не так причудливы, как у Буше». Дидро был все-таки французом XVIII столетия и не всегда мог подняться над своим веком.

Затем следуют верные и точные критические замечания. Грёз написал одну и ту же голову в разных картинах трижды. Голова отца, выплачивающего приданое, — та же, что и отца, читающего детям Священное писание, и у паралитика, на одноименной картине. «По меньшей мере это три брата, наделенные сильным семейным сходством», — не без язвительности замечает Дидро.

Не прощает он Грёзу в «Деревенской невесте» того, что старшую сестру можно принять за служанку, а голова ее излишне напоминает голову прачки с другой картины. Мир гораздо разнообразнее, чем это получается у Грёза, — явно хочет сказать этими замечаниями Дидро.

Не упускает он случая и привести замечание одной весьма умной дамы, что в картине имеются персонажи двух типов: отец, жених и нотариус —

настоящие крестьяне, мать, невеста и все прочие — с парижского рынка.

Однако Дидро считает разумнее пренебречь всеми этими мелочами и восхищаться картиной, «прекрасной во всех отношениях», к тому же «сюжет ее свидетельствует о чувствительности и благонравии». Мудрено ли, что, заканчивая этот обзор, Дидро пишет: «Никогда не было у нас лучшего Салона», — и выражает гордость тем, что «Франция ныне единственная страна, где искусство продолжает существовать, и не без блеска... Во Фландрии больше не пишут, в Италии и Германии, если и продолжают существовать художники, они менее объединены».

Позже Дидро критикует Грёза за то, что его колорит уступает шарденовскому, да и самый его мир тесен и ограничен, мораль дидактична и неглубока. Здесь, впрочем, начинались противоречия в самом Дидро.

Но зато какой шквал негодования обрушил он на Грёза, когда тот изменил самому себе и дидеротовскому идеалу, в Салоне 69-го года выставив картину «Каракаллы», в официальном жанре исторической живописи. «Аллегория почти всегда холодна и туманна», — пишет Дидро, обличая чуждую Грёзу и неизменно враждебную ему самому классическую манеру.

Дидро спрашивает Софи: «Говорил ли я вам, что Грёз должен понести расплату — издержки за презрение, которое он выказывал своим собратьям? Это его желание стать историческим художником. Он выставил историческую картину. Она слаба, ее признали плохой. Его принимают только как художника-жанриста!»

Вероятно, это и послужило причиной разрыва: с тех пор Дидро и Грёз уже не друзья.

Идеал Дидро в жанре портрета воплотил Латур. Этот прекрасно понимает, что делает. Дидро записал его слова: «Всякое существо в большей или меньшей степени претерпевает тяготы своего положения и носит на себе более или менее ярко выраженный отпечаток этого. Главное — уловить этот отпечаток, с тем чтобы, пишешь ли ты короля, воена-

чальника, министра, судью, священника, философа, носильщика, сразу видно было их положение. Вместе с тем надо, чтобы король, судья, священник обладали не только лицом короля, судьи, священника, но принадлежали бы всему сословию с головы до ног». Как это близко к тому, что сам Дидро писал о «состояниях» или общественных положениях действующих лиц драмы! И действительно, у Латура получались портреты, по которым можно было сразу определить и сословие и профессию или положение человека и узнать его внутренний мир. О, он бывал и зло ироничен и порой даже жесток! Его портреты нисколько не похожи на парадные, аксессуарные портреты «академиков» или сладкие, прилизанные портреты, какие писали маньеристы. Но зато, увидев тонкую усмешку, скользящую по сжатым губам живописца Рету, или чуть-чуть презрительный взгляд Ледегива на портретах работы Латура, вам кажется, что вы давно уже хорошо знали этих людей.

И все это были лица людей нового времени. Ни чопорных поз, ни пышных аксессуаров, драпировок, кресел, табакерок; на первый план выступает само человеческое лицо с живым выражением.

«Прекрасный пейзаж помогает нам познать природу так же, как искусный портретист помогает нам познать лицо нашего друга». Идеалом Дидро в жанре пейзажа был Верне. Его пейзажи нисколько не напоминали условный исторический пейзаж «академистов» с его обязательными пропорциями или стилизованный, прилизанный пейзаж художников, писавших в манере рококо.

Разбирая картины Верне в «Салоне 1767 года», Дидро выступает как бы его соавтором, следуя мысли и глазу художника. Скалы должны быть освещены, следуя природе, так-то; дорога должна виться в таком-то направлении.

Но о чем бы и о ком бы ни писал Дидро, он не упускал случая разгромить академическую живопись, олицетворявшую для него старый порядок, и ее родную сестру, более кокетливую и внешне живую — живопись рококо.

В тот же «Салон 1767 года» он включил статью «О манере и манерности», где дает поразительный по точности и полноте перечень признаков фальши в живописи. Эту художественную фальшь, отступление от правды жизни он и называет манерностью. «В искусстве, как и в обществе, существует поддельное изящество, жеманство, аффектация, натянутость, неблагородство, ложное достоинство или спесь, ложная важность или педантизм, притворная набожность», — пишет Дидро. Можно ли было вынести более беспощадный и более справедливый приговор порокам «академизма» и рококо, точнее указать корни их в той действительности, которую Дидро ниспровергал вместе с ее искусством?

Во всем и всегда он требовал от художника правды, причем правды, почерпнутой не из внутреннего мира художника, а из многообразной и подвижной действительности. Он не устает порицать тех, кто изучает природу как совершенную, а не как совершенствующуюся. При всех своих противоречиях и поражающем порой разнобое оценок и требований Дидро неизменно верен и в художественной критике основным посылкам своей материалистической философии. Природа обладает лишь одним неподвижным качеством — органичностью. «В природе нет ничего неправильного; всякая форма, прекрасная или безобразная, обоснованна, каждое из существ именно такое, каким оно должно быть», — так начинается «Опыт о живописи».

Все в искусстве Дидро поверяет жизнью, опираясь на собственный опыт. С непосредственностью и непринужденностью, никогда ему не изменявшими, пятидесятилетний критик, разбирая изображение женской груди на картине Карла Ван-Лоо «Грации — племянницы Амура», восклицает: «Где то время, когда мои губы, касаясь груди любовницы, шли за этими легкими черточками, которые, расходясь из букетов лилий, терялись у розовых бутонов? Художнику неведомы эти красоты».

Чтобы подкрепить свои суждения и мысли суждениями и оценками других людей, тем самым утвер-

див свою правоту, Дидро в «Салонах» нередко приводит подслушанные им реплики посетителей выставок и включает в свои обзоры воображаемые или подлинные диалоги с друзьями и единомышленниками.

В «Салоне 1767 года» таких диалогов два — с Нэжоном и Гриммом. Дидро настоятельно ищет поддержки друзей. Обижается, если они пренебрегают его просьбами. Жалуется, что «они обещают и не делают», «Фальконе им пренебрегает», а Нэжон, которого он попросил вместе сходить в Салон, «Обещал и не пошел. Занятость помешала ему сдержать слово». А Дидро был особенно в этом заинтересован. Нэжон перешел в школу философов из мастерской художника. Прежде он был рисовальщиком, живописцем, скульптором.

Наконец Дидро повезло. Однажды, рассматривая картины Лагрене, он вдруг заметил Нэжона, тоже их изучавшего. Он то пожимал плечами, то насмешливо улыбался. «Ладно, — подумал Дидро, — я искал случая проверить свои суждения, вот он и представился».

Он подошел к Нэжону и, хлопнув его по плечу, спросил:

— Ну, что вы обо всем этом скажете?

Следует диалог.

Нэжон. Ничего.

Дидро. Как ничего?

Нэжон. Ничего, ничего и ничего. А разве можно хоть что-нибудь сказать об этом?

И Нэжон, не сказав больше ни слова, начал переходить от одной картины Лагрене к другой. Чтобы прекратить молчание, Дидро заметил: «Взгляните, как красиво лежит ткань на колене жены дофина и как хорошо передана нагота. Разве не превосходно убранство этой части кровати, на переднем плане?»

Но эта похвала была только провокацией, вызвавшей отповедь младшего друга Дидро.

Нэжон. Какое мне дело до его колена, части кровати и его мастерства, если он не трогает меня, оставляет меня холодным как сталь?

Он продолжал разносить художника, что вызвало следующую реплику:

Дидро. Я хочу, любезный мой Нэжон, чтобы вы приберегли свою желчь и свою ярость для богов, для попов, для тирании и для прочих мошенников мира сего.

Нэжон. У меня хватит ее с лихвой, и чего ради я должен остерегаться изливать вполне заслуженную порцию ее на людей, враждебных писателям и философам, мнение которых они презирают и учениками которых в искусстве подражать природе они должны быть еще долгие годы. Сошлюсь на ваши же собственные размышления о живописи.

Разговор продолжался еще долго. Окончательно разгромив Лагрене, Нэжон произнес панегирик Пуссену и Лессюеру.

Уже когда друзья вышли на улицу, он продолжал бормотать и тут-то произнес самое замечательное из всего, что было им сказано: «Природа! Природа! Какая разница между тем, кто видел ее самое, и тем, кто видел ее лишь в гостях у соседа!» Затем он повторил уже известные нам суждения Дидро о трех художниках, его «идеалах»: «Потому-то Шарден, Верне и Латур — три удивительнейших для меня художника, потому-то Лутербюр, будь его манера так же хороша, так же остроумна, так же привлекательна, как у Верне, все равно уступал бы ему, ибо он не видел природы в ее собственном доме. И все, что он видел, — лишь реминисценция, он повторяет Вувермана и Бергхэма.

Выставленные Лутербюром в Салоне 1767 года картины Дидро разбивает на четыре класса: сражения, марины и бури, пейзажи, рисунки. Упрек в эпигонстве у голландцев, сделанный по его адресу Нэжоном, не лишен основания.

Что же касается Луи Франсуа Лагрене, живописца аристократическо-маньеристской школы, бывшего одно время придворным художником императрицы Елизаветы Петровны, Дидро зло и метко вышучивает его манеру в «Парадоксе об актере»: «Если попросить Лагрене изобразить живопись, он поместит на

полотне женщину с надетой на палец палитрой и кистью в руке. Попросите у него философию, он вообразит, что изобразил ее, посадив за секретер растрепанную и задумчивую женщину в пеньюаре, которая, опершись на локоть, читает или размышляет. Поэзией будет у него та же женщина, увенчанная лаврами со свитком в руке. Музыкой — она же, только с лирой вместо свитка...»

Один из элементов «Салонов» Дидро — художественная публицистика. Он не устает страстно разоблачать ремесленничество, систему академического образования — об этом идет речь в диалоге с Гриммом, — выборы в академию, вред, который наносят подлинному искусству меценаты, любители. То, что Дидро пишет об искусстве, опирается на славное прошлое и обращено не только к настоящему, но и к будущему.

Он, славивший нравоучительную бытовую живопись Грёза, мир простых вещей Шардена, сумел оценить и монументальное искусство Фальконе, противопоставив его «мулу скульптуры» Пигалю. В «Салоне 1765 года» Дидро пишет о Фальконе: «Вот человек, наделенный гениальностью и всеми теми качествами, которые совместимы и несовместимы с гениальностью, хотя они встречались не раз и у Франциска Веруламского и Пьера Корнеля. Ибо он обладает в полной мере тонкостью, вкусом, остроумием, гениальностью, благородством и изяществом, ибо он груб и вежлив, приветлив и угрюм, нежен и жесток, ибо он обрабатывает глину и мрамор, читает и размышляет, ибо он мягок и язвителен, серьезен и шутлив, ибо он философ, ни во что не верит и твердо знает почему...»

Затем следуют сведения о Фальконе, как отце и любовнике. Дидро не постеснялся их обнародовать, будучи уверен, что они помогут зрителю лучше понять скульптуры его друга. Очень интересен рассказ об отношениях Фальконе и Пигаля. «Когда Пигаль увидел «Пигмалиона» Фальконе, он сказал: «Я хотел бы, чтобы это было мое произведение». Фальконе, в свою очередь, сказал, рассматривая его скульп-

туру: «Господин Пигаль, я не люблю вас и думаю, вы отвечаете мне тем же; я видел вашего «Гражданина»: можно сделать так же хорошо, но я не думаю, чтобы искусство могло подняться хоть на одну пядь выше». Мог ли Дидро не восхищаться такими людьми?! В «Салоне 1767 года» он рассказывает о Фальконе еще более величественную историю. Когда скульптор увидел у Гримма бюст Дидро работы своей ученицы Колло, он взял молоток и разбил собственную работу, менее удачный бюст Дидро. Любопытна и такая подробность. Когда под ударами молотка скульптура разлетелась на куски, обнаружились два прекрасных уха, скрытых под возмутительным париком, в который смеха ради нарядила бюст Дидро госпожа Жофрен.

В «Салоне 1765 года» Дидро касается предмета своего постоянного спора со скульптором. Это спор о том, что важнее — оценка современников или признание потомков, спор об отношении к бессмертию: «...нет человека, более дорожащего признанием современников и более равнодушного к признанию потомков, — с возмущением пишет Дидро, завершая словесный портрет Фальконе в этом «Салоне». — Эту мысль он доводит до нелепости и сотни раз говорил мне, что не пожертвует и одного экю, чтобы продлить жизнь прекраснейшей из своих статуй».

Чем больше Дидро любил Фальконе, тем ожесточеннее он с ним спорил.

Спорами наполнена вся их переписка, а переписывались они долго и часто, потому что по рекомендации самого Дидро Фальконе в 1766 году был приглашен Екатериной II в Россию для создания памятника Петру I и провел там целых двенадцать лет. Бессмертие его «Медного всадника» — лучшее доказательство правоты Дидро. Но Фальконе не мог знать этого и презрительно называл оценку потомства лотереей, которая при нем никогда не будет разыграна. «Я в ней не участвую». Дидро не менее остроумно отвечал ему в феврале 1766 года: «Вопреки самому себе вы все же покупаете билеты этой лотереи, и ваш билет выиграет, и вы не можете

этого не знать. Я вижу лишь, что вы пренебрегаете частью своего выигрыша. Правильно ли вы поступаете?»

И затем идет замечательное рассуждение о бессмертии. «Назовем ли мы потомством два или три века? Нам нужна точно и верно установленная вечность. Повторяю, она установлена. Свет просвещения может переноситься из одного места в другое, но он уже не может погаснуть. И тираны, и священники, и все те, кто более или менее заинтересован в том, чтобы держать людей в состоянии дикого невежества, приходят от этого в бешенство».

В другом письме, написанном в то же примерно время, мы читаем: «Послушайте, Фальконе, когда ваш «Пигмалион» дойдет до будущих веков, вот что будут о нем говорить... Моя хвала — это хвала настоящего и будущего. Разве если бы вы создали такое совершенное творение, как «Гладиатор», вы в похвале Агазия (автор этой древнегреческой скульптуры. — *А. А.*) не слышали бы голоса потомства? Агазия уже нет, но разве было бы смешно, если бы среди восторженных приветствий он различил бы голос Фальконе?.. Агазий не для своих современников написал «Сделал Агазий»: они знали это и без того. Вот душа, вот великая душа!»

Именно потому, что взгляд Дидро был обращен к будущему, он смог в несовершенном полотне начинающего, к тому же на античный сюжет — «Велизарий, узнанный воином, служившим под его началом в то время, как женщина подавала ему милостыню», — угадать великого художника Французской революции. В «Салоне 1781 года» он пишет о Давиде: «Это молодой живописец с большим вкусом, он обнаруживает его в выполнении своей картины; в нем чувствуется душа; лица выразительны, без жеманства, позы благородны и натуральны, он умеет рисовать, умеет накинуть драпировку и расположить ее приятными складками; краски его хороши, не будучи слишком яркими...»

Как всегда, критика Дидро профессионально точна. Поэтому и на этот раз за похвалами следует кри-

тическое замечание, высказанное очень мягко, чтобы не обидеть молодого художника. «Я предпочел бы, чтобы тела были не столь напряжены, мускулы гибче».

Последняя работа, о которой написал Дидро в последнем своем «Салоне», — это знаменитая скульптура Гудона «Вольтер». Ее знаем и мы с вами, потому что копия с оригинала, установленного в вестибюле театра Французская комедия, стоит в нашем Эрмитаже. Дидро критикует ее с позиции жизненной правды, но он хочет, чтобы правда эта при такой модели была незаземленной. «Те, кто находит морщины и их линии ненатуральными, забывают, что так бывает в действительности». И, однако, «для этого лица морщины слишком обычны...».

А какие точные профессиональные наблюдения рассеяны в «Разрозненных мыслях»! Вот несколько наудачу выбранных: «В женской фигуре трудно согласовать грацию с высоким ростом, в мужской — с силой», «Когда пишут портрет при свете лампы, лучше чувствуются все выпуклости и впадины. Тень гуще на впадинах, свет ярче на выпуклостях», «Слишком тщательно отделанные аксессуары нарушают взаимозависимость частей картины», «Нужно копировать Микеланджело, но исправлять свой рисунок по Рафаэлю».

Он знал все секреты мастерства, словно сам владел кистью живописца, резцом скульптора. Он указывал тем, кто писал картины, ваял фигуры и группы: «...природа — первая модель художника, но кто предписал вам быть строгими подражателями природы?.. Освещайте предметы светом вашего солнца, не забывая, что это не солнце природы, будьте сторонниками радуги, но не ее рабами!»

И художники слушались его советов, следовали его указаниям.

Но только ли в «Салонах», «Опыте о живописи», «Разрозненных мыслях» высказывал Дидро свои суждения об искусстве? Нет. Для того чтобы в этом убедиться, достаточно заглянуть в зеркало его ду-

ши — письма к Софи Волан, и те, что переведены на русский язык, и те, которые пока не переведены и полностью только теперь издаются во Франции.

27 января 1766 года Дени рассказывает Софи о споре с мужем ее сестры: «Он думает, что Пигаль и Фальконе не могли бы поступить лучше, чем если бы пошли в театр учиться у Клерон, Дименидь, маленькой Арну. А я думаю, что это было бы не что иное, как копии с натуры, холодные и манерные».

Свидетельствуют его письма и о практическом влиянии Дидро на работу художников, архитекторов, скульпторов и о том, как к его мнению прислушивались. Вот два примера:

«Утро я провел в ателье Вассе. Он проектирует залу для аудиенций Екатерины II. Гримм и я виделись с Голицыным, он захотел получить мой отзыв. Она (зала. — *А. А.*) величественна, благородна и проста. Характер апартамента выдержан...» — рассказывает Дидро своей подруге в одном из писем 1765 года.

В феврале 1766-го он пишет ей: «Представляю вам и вашей матушке угадать, чем я занят сейчас. Художники наградили меня проектом склепа дофину. Меня, меня! Молчок об этом! Не надо давать повода для упреков в нескромности. ...Монумент должен быть установлен в соборе Сены и быть достойным сочетания навеки супругов» (имеются в виду дофин и его жена. — *А. А.*).

Следует подробное описание двух показанных Дидро проектов. Сам он предлагает третий. Дидро просит выбрать тот проект, который лучше.

Этот монумент серьезно занимает Дидро. Он снова пишет Софи о склепе дофина. В его голове возник уже пятый проект, который он так же подробно описывает Софи. И тут-то вся разгадка. Нежности он отдает предпочтение перед религией и хочет, чтобы это было запечатлено в склепе царственного покойника, на который будут смотреть много людей.

И в его письмах мы встречаем постоянные упоми-

нания о художниках прежних веков, и они для него — живые.

«Микеланджело был превосходным ваятелем, но человеком черствым и завистливым. Рафаэль в ответ на его презрение изваял статую — единственную созданную им, она была прекрасна». Личные качества, человек в художнике для Дидро всегда неотделимы от его таланта.

И в своих оценках живописи, скульптуры, архитектуры он никогда не забывает о назначении полотна, скульптуры, здания или парка. «Сад Марли — огромная прекрасная декорация. Превосходные пропорции». Но, отдавая должное дворцовому архитектору Ленотру, по чьему проекту был разбит этот парк, Дидро воскрешает в своей памяти Генриха IV и Людовика XIV и сочиняет их воображаемый разговор в Версале. Последний показывает первому великолепное дворцовое здание, а тот говорит: «Вы правы, сын мой, это очень красиво, но я хотел бы посмотреть на дома моих бедных геносских крестьян». И от себя Дидро добавляет, что подумал бы Генрих IV, если бы увидел вокруг этих огромных и пышных дворцов людей, не имеющих ни крова, ни хлеба!» (Геносс — деревня неподалеку от Гранваля. — *А. А.*).

«Салоны», «Опыт о живописи», «Разрозненные мысли» увеличивают число произведений Дени Дидро, не напечатанных при его жизни. Тираж в пятнадцать списков вряд ли можно признать достаточным. Типографским путем, и то не полностью, эти сочинения были опубликованы впервые все тем же верным Нэжоном в 1796 и 1798 годах. В издания вошли «Салоны» 1765 и 1767 годов, «Опыт о живописи», «Разрозненные мысли». В 1819-м в приложении к сочинениям Дени Дидро, изданным Беленем, вы можете найти «Салон 1761 года» и пять последних писем из «Салона 1769 года». Вплоть до семидесятых годов следующего, XIX века появлялись публикации отдельных «Салонов». И только Ассез в двадцатитомном собрании сочинений Дидро напечатал их полностью — они заняли целых три тома.

V

Обманутый маркиз или хвала Ричардсону?

Начальник королевской военной школы граф де Круамар был в это январское утро 1760 года и без того не в духе. Учения прошли плохо. Двоих повес пришлось отправить в карцер. А тут еще эта нелепая записка! Какая-то несчастная женщина, которой маркиз де Круамар интересовался три года тому назад, когда жил около Королевской музыкальной академии, услышала, что он живет теперь в военной школе. Она посылает узнать, может ли рассчитывать на его доброту теперь, когда нуждается в этом более чем когда-либо.

Опять этот Марк Антуан Никола с его безрассудной добротой! Он словно отыскивает несчастных по всему белому свету. А эта дура еще и перепутала двоюродных братьев, приняла графа за маркиза. Пусть теперь помучается, поищет своего благодетеля.

Маркиз уже пятнадцать месяцев как уехал из Парижа в свое нормандское имение, надеясь, что быстро приведет свои запущенные дела в порядок, и, видите, все не едет! Если бы у него деловитости было столько же, сколько доброты! Зачем-то в чине капитана, только получив орден святого Людовика, вышел в отставку, покинул королевский полк, где его ожидала такая блистательная карьера. Он, видите ли, нашел, что убивать людей — утомительное занятие. Уехал тогда в Нормандию, женился не на честной католичке, а на протестантке, правда хорошего рода, — Шави де Пелерери.

Когда же она, едва достигнув тридцати двух лет, умерла, овдовевший маркиз буквально сошел с ума, забросил имение, чуть ли не забыл о новорожденной дочери — ее и крестили-то за две недели до кончины матери, — о двух сыновьях и без оглядки бросился

в Париж. Там он сошелся с кружком философов — Даламбером, Гальяни, Гольбахом, Дидро и, решив, что главная цель его жизни — борьба с несправедливостью, стал браться за дела, отнюдь не всегда отвечающие его происхождению и положению в обществе.

Вообще-то говоря, граф был человеком обязательным и, будь он в это утро в лучшем расположении духа, не велел бы отправить посыльного с устным ответом — настоящий адресат в Лассоне, возле Кана. Но граф был настроен дурно и поступил именно так.

Несчастной женщине не оставалось ничего иного, как написать снова. И вот в Кан приходит письмо. Если бы у маркиза было и не такое доброе сердце, и то он не мог бы не растрогаться, читая: «Я не знаю, кому я пишу, но в том отчаянии, в каком я нахожусь, я пишу вам. Если меня не обманули в военной школе и вы тот великодушный маркиз, которого я ищу, я буду благословлять бога. Если же это не вы, не знаю, что мне делать. Но, основываясь на имени, которое вы носите, надеюсь, что вы выслушаете несчастную, которую вы или другой мосье де Круамар, не тот, что в военной школе, поддержал в попытке, предпринятой ею три года назад — вырваться из вечной тюрьмы, куда ее заточила жестокость родителей. Безнадежность моего положения вынудила меня бежать из обители, вы, без сомнения, об этом слышали. Я не могла больше переносить возложенную на меня кару, и у меня не было иного пути... добыть себе свободу, которую я тщетно надеялась вернуть с помощью закона...»

Маркизу уже шестьдесят девять лет, но память его не притупилась, как не зачерствело его сердце. Он никогда не видел этой бедняжки Сюзанны Симонен — так подписано письмо, но, конечно же, не забыл ее нашумевшего процесса, не забыл и того, как сам за нее хлопотал. Молоденькая монахиня из Лоншана возбудила дело против монастырских властей, требуя официального расторжения данного ею обета, вырванного у нее насильно. Маркиз тогда пытался

помочь ей, употребив все свое влияние на Большую палату Парижского парламента. Пытался, но не смог, как не смог и никто другой, хотя в Париже нашлось немало людей, ей сочувствовавших.

Маркиз читал дальше. Сюзанна просила найти ей место горничной, кастелянши или просто служанки в Кане или где-нибудь еще. В родительском доме ее научили работать, в монастыре — повиноваться.

Бедная девушка! Маркиз возьмет ее к себе. Она пишет: «Я молода, у меня кроткий характер и прекрасное здоровье. Пока мне позволят силы, я готова выполнять все домашние обязанности. Умею вышивать, прясть, стирать. Так как я была и в свете, я умею и чинить кружева...»

В письме был указан адрес некоей мадам Маден, проживающей в Версале. Сюзанна просила на имя этой дамы, в двойном конверте, прислать ответ.

Маркиз немедленно ответил: «Мадемуазель, ваше письмо дошло до того, кому вы его посылали. Вы не ошиблись в ваших чувствах. Вы можете сейчас же приехать в Кан и занять место, вполне подходящее для молодой девушки».

Правда, он принял некоторые предосторожности, оговорив: «Если эта дама, ваша приятельница, мне поручится, что в вашем лице я найду такую горничную, какую могу желать... я возьму вас, не вникая больше ни во что». Но затем следовали точные инструкции, как Сюзанне добраться до Кана: «Почтовая карета выходит из Парижа в среду, прибывает в пятницу. Приехав в Кан, вы найдете меня, если же придется ждать — обратитесь к мосье Гассиону, напротив площади Рояль. Так как сохранить ваше инкогнито более необходимо, чем что-либо иное, пусть ваша приятельница в своем письме сообщит мне знак, по которому вы сможете быть опознаны». Письмо было отправлено, как просила сестра Сюзанна, мадам Маден. В конверт был вложен второй — с крестом на нем. Печать маркиза изображала амура, в одной руке он держал факел, в другой — два сердца, с девизом, который, вероятно, не удалось прочесть: чтобы достать второй конверт, содержа-

щий письмо молодой монахине от ее ангела-хранителя, нужно было разорвать первый.

Сюзанна, однако, в пятницу не приехала. Не получил маркиз и ожидаемого им рекомендательного письма мадам Маден. Зато следующая почта доставила ему новое послание бедняжки.

«Мосье, я получила ваше письмо. Но я больна, очень больна. Я совсем слаба. Если бог мне поможет, я без промедления прибегну к вашему покровительству, приеду и выполню все, что вы мне велите. О дорогой мосье, достойнейший из людей, я никогда не забуду вашей доброты! Моя уважаемая подруга должна приехать из Версаля, она сообщит вам все, что вы просите.

Святой день воскресенье февраля...

Я сохраню ваше письмо навсегда. Этот святой ангел, которого я нашла запечатленным на нем, это вы, мой ангел-хранитель».

За ангела она приняла Амура.

Вскоре в Кан пришло еще одно письмо. Бедняжка снова благодарила маркиза за его доброту, но она не смела больше ни о чем думать, для нее все было кончено. Она должна предстать перед богом и может надеяться только на его милосердие: «Надеясь, что в том пребывании, где я буду более счастлива, мы увидимся».

Наконец взялась за перо и мадам Маден. Маркиз получил от нее два письма. В первом сообщались подробности болезни Сюзанны. Второе начиналось так: «Мосье, особу, которую я вам представляю, зовут Сюзанна Симонен, я люблю ее так, как если бы она была моим ребенком. Вы можете поверить тому, что я скажу, потому что не в моем характере обманывать. Она сирота и по отцу и по матери, хорошего происхождения, ее образованием не пренебрегали».

Маркиз и на этот раз немедленно ответил. Он выражал беспокойство о здоровье мадемуазель Симонен и поручил ее заботам мадам Маден.

Сюзанна не выздоравливала. Оживленная переписка продолжалась весь март, апрель. Писали мадам Маден, маркиз, сама больная нашла в себе силы

и на смертном одре 7 мая в последний раз написать маркизу.

Мадам Маден сообщила маркизу пароль — «Святая Сюзанна», по которому их общая протеже должна была быть опознана. Но бедняжке так и не пришлось им воспользоваться. 12 мая почтовая карета доставила в Кан последнее письмо доброй женщины: «Нашего дорогого ребенка больше нет, ее мучения кончились...»

18 мая мосье де Круамар утешал осиротевшую мадам Маден.

Старая поговорка справедливо гласит, что мир очень тесен. Надо же, чтобы лет через восемь, вернувшись в Париж, маркиз в одном знакомом доме встретил жену некоего кавалерийского офицера.

— Мадам Маден, разрешите вам представить нашего старого друга, — сказала хозяйка гостье.

— Как, мадам Маден! — с нерастраченной им экспансивностью воскликнул старый маркиз. — Мы с вами так хорошо знакомы по переписке!

— Простите! — Мадам Маден ничего не понимала.

— Неужели вы забыли бедную девочку?

— Какую девочку? — Она удивилась еще больше.

— Сюзанну Симонен. Вы еще писали мне, мадам, что приготовили ей платье, белье, дюжину носовых платков, шесть пар нитяных чулок, ночные чепчики.

Ну и память же была у этого старика, маркиза из маркизов!

Но, как он ни старался, почтенная офицерская жена ничего не могла вспомнить, кроме того, что лет восемь тому назад два знакомых литератора — маркиз, наверно, их тоже знает — мосье Дидро и мосье Гримм попросили ее, не распечатывая, отдавать им письма, которые будут приходить на ее имя с почтовым штемпелем «Кан».

Что оставалось маркизу? Обратиться за разъяснениями к одному из них. Он обратился к Гримму. Что оставалось тому? Признаться в остроумной проделке, главным виновником которой был Дидро, а он — подручным. Всю эту мистификацию они, оказывается,

затеяли для того, чтобы вынудить маркиза скорее вернуться в Париж. Они были уверены, что он распознает подделку уже в первой, сочиненной Дидро, записке мнимой Сюзанны, которую граф ему перешлет, и тут же примчится из своей Нормандии. Получилось иначе. Дидро пришлось — не отказываться же от задуманного! — написать за Сюзанну и маркизу. Могли ли они с Гриммом предвидеть, что Круамар примет все за чистую монету?

Дидро, если бы ему не пришлось уехать из Парижа, умертвил бы бедную монахиню, несмотря на ее молодость, красоту и отличное здоровье, раньше. К тому времени, как они затеяли свою шутку, о подлинной Сюзанне Симонен ничего не было известно. Это и дало им возможность придумать, что она бежала из обители, скрывается в Париже и ищет надежного убежища. Но когда от маркиза пришел любезный ответ, Дидро был в отлучке, Гримм сам сочинил письмо, где Сюзанна сообщила о своей болезни, и попросил переписать его ту же девушку, к которой обращался его друг.

Забава продолжалась, как известно маркизу, до его собственного письма от 18 мая. Все письма Сюзанны, за исключением одного, и все письма мадам Маден вышли из-под пера Дидро.

Кроме запоздалого разоблачения мистификации, у этой истории было еще одно последствие: написанный уже одним Дидро в том же 1760-м, а по другим источникам — в 1761 году, роман «Монахиня». Во всяком случае, в ноябре 1760 года Дидро писал мадам Эпинэ: «Я принялся за «Монахиню». Это уже не письмо, это книга. В ней есть вещи правдивые, патетичные».

Роман этот — как часто приходится повторять одно и то же — не был опубликован сразу после того, как был написан, и при жизни автора вообще не вышел в свет. Его напечатали только в 1796 году, и он превосходно послужил революции в ее борьбе с религией и предрассудками.

А историю обманутого маркиза рассказал сам Гримм в 1770 году на страницах своей «Корреспон-

денции». Там же он почти полностью опубликовал и переписку де Круамара с Сюзанной и мадам Маден. На русском языке до сих пор были приведены только выдержки из писем, сочиненных Дидро и Гриммом [1], подлинные же письма маркиза не печатались.

Еще один документ подтверждает удачу мистификации. 10 февраля 1760 года Дидро писал мадам Эпинэ: «Маркиз ответил. Это правда. Какое у него хорошее сердце! И голова так же хороша. Он попался на мошенничество. Я же его мистифицировал от всех вас...»

Гримм, кроме того, написал позже и предисловие к роману. Кратко повторив в нем историю мистификации, он рассказал и следующий анекдот:

«Однажды, когда Дидро был совершенно погружен в свою работу, наш друг мосье Дамилавилль нашел его очень грустным, с лицом, залитым слезами.

— Что случилось? — спросил посетитель.

— Меня заставляет так огорчаться вещь, которую я пишу.

И тем не менее, — продолжает Гримм, — он был уверен, что допишет эту историю, которая стала одним из самых правдивых, самых интересных и самых патетических романов, какие мы знаем.

Ни одной его страницы нельзя прочесть без слез, а между тем там нет любви...»

«Произведение гения, направленное на общественную пользу», «Жестокая сатира на монастыри, которая тем опаснее, что первая часть ее не содержала ничего, кроме хвалы», — вот как отзывается Гримм о романе Дидро.

Уже из его предисловия видна прямая преемственность между письмами Сюзанны и мадам Маден маркизу, сочиненными Дидро, и «Монахиней». Гримм пишет о героине романа, не отделяя ее от прототипа: «Эта юная монахиня была ангельским существом и хранила в своем сердце столько уважения ко всему, что его заслуживало».

---

[1] См. примечания к роману «Монахиня» в III томе Собрания сочинений Дени Дидро. М.— Л., «Academia», 1937.

Роман и написан как письмо-исповедь Сюзанны Симонен, сохранены даже подлинное имя и фамилия прототипа, маркизу де Круамару, не изменены и его фамилия и титул. Роман — как бы расширенный ответ на первое письмо маркиза, где он просит рекомендации мадам Маден.

«Судя по живому интересу, который он обнаружил к моему делу, и по всему тому, что мне о нем говорили, я нисколько не скомпрометировала себя, обратившись к нему, но можно сказать заранее, что он не решится изменить мою судьбу, не зная, кто я такая, и это побудило меня победить свое самолюбие и нежелание браться за перо. Я начала эти записки, в которых рисую часть своих мытарств неумело и непосредственно, с наивностью, присущей моему характеру...» — говорится в начале «Монахини».

В конце романа-письма, предугадывая, что маркиз попросит: «Укажите, что я могу сделать для вас», героиня дословно повторяет и свое желание стать горничной, кастеляншей или служанкой и ту же аттестацию своих умений и своего характера, которые были в письме Сюзанны — Дидро.

В последних работах о Дидро, в частности, в книге Жоржа Мэя, указывается еще один прототип Сюзанны и ее судьбы. Кроме того, конечно же, Дидро помнил и судьбу одной из своих сестер, отданной метром Дидье в монастырь урсулинок, сошедшей там с ума и скончавшейся, так и не вернув себе здравого рассудка. Недаром в романе рассказывается о сумасшедших монахинях и говорится: «На сто затворниц, умирающих в обители, не дожив до пятидесяти лет, ровно столько же губят свою душу, не считая тех, которые делаются идиотками, полоумными или сумасшедшими в ожидании смерти».

Дидро писал роман, а не биографию подлинной Сюзанны Симонен, о которой и в письмах маркизу придумал гораздо больше, чем знал. У книги было много источников.

Роман был проникнут ненавистью автора к религии, а ненависть была подкреплена превосходным знанием нравов духовенства, быта монастырей.

У колыбели романа стояли и эстетические взгляды Дидро, его программа реализма: к тому времени были уже написаны и рассуждение «О драматической поэзии» и первый «Салон».

Гримм пишет в предисловии, что Дидро заставило подшутить над маркизом де Круамаром и желание отвлечься от скандала, поднявшегося в 1760 году в парижском обществе вокруг пресловутой комедии Шарля Палиссо «Философы» и очень близко коснувшегося Дидро.

Своим романом Дидро противопоставил этому пасквилю еще один свой философский, политический манифест, утверждая в нем безбожие, свободу личности, правду жизни.

Повивальной бабкой первого реалистического произведения Дидро в прозе можно счесть обожаемого им знаменитого английского романиста. Вероятно, Андрэ Бии преувеличивает, говоря, что без Ричардсона Дидро не написал бы своего романа. Но влияние автора «Памелы» на автора «Монахини» бесспорно, впрочем, так же, как и на «серьезные драмы» Дидро. Это влияние соперничало с влиянием английских философов и другого английского романиста — Стерна. Потом победу одержал Стерн.

Популярность Ричардсона в тогдашней Франции была огромна. Мы знаем, впрочем, хотя бы из «Евгения Онегина», как «Памелой», «Клариссой», «Грандиссоном» зачитывались и в России даже в двадцатых годах XIX века, а имя Ричардсонова героя Ловеласа и у нас стало нарицательным именем соблазнителя.

Открывая французскому читателю новый для литературы мир обыденной жизни, обличая пороки аристократии, защищая бедных и честных, романы Самуэля Ричардсона в предреволюционной Франции воспринимались как гораздо более решительные и смелые, чем они были на самом деле. Так относился к ним и Дидро.

В 1761 году Ричардсон умер. Дидро немедленно откликнулся на его смерть статьей «Хвала Ричардсону». Против обыкновения статья была тогда же на-



LE PERE DE FAMILLE,

COMEDIE.

Le Théatre repréſente une ſalle de compagnie, décorée de tapiſſeries, glaces, tableaux, pendule, &c. C'eſt celle du Pere de Famille. La nuit eſt fort avancée. Il eſt entre cinq & ſix du matin.

ACTE PREMIER.

SCENE PREMIERE.

LE PERE DE FAMILLE, LE COMMANDEUR, CECILE, GERMEUIL.

Sur le devant de la ſalle, on voit le Pere de Famille qui ſe promene à pas lents. Il a la tête baiſſée, les bras croiſés & l'air tout-à-fait penſif. Un peu ſur le fond, vers la cheminée, qui eſt à l'un des côtés de la ſalle, le Commandeur & ſa niéce ſont une partie de trictrac.

A 2 *Derriere*

Титульный лист первого издания комедии «Отец семейства».

печатана в парижском «Иностранном журнале», и один из редакторов его, Арну, предпослал панегирику маленькое предисловие. На русский язык предисловие, как и сама «Хвала Ричардсону», не переведено. Приведу небольшие выдержки из этого предисловия. «Если вам попадется в руки английский экземпляр «Клариссы», испещренный несколькими написанными от руки размышлениями, вы решите, что автор их не может не быть человеком большого ума... Эти размышления на полях несут отпечаток сильного воображения и чувствительного сердца... Они принадлежат уверенной и умелой руке большого художника».

Следует текст панегирика. Вначале изложены программные мысли Дидро: «От романа до сих пор ждут ткани событий химерических и фривольных, чтение которых опасно для вкуса и для нравов. Я хотел бы, чтобы нашли другое название для произведений Ричардсона, которые поучают ум, трогают душу, распространяют повсюду любовь к добру и которые тоже называют романами. Все, что Монтескье, Скаррон, Ларошфуко и Николь выразили в своих максимах, Ричардсон выразил в действии. Но умный читатель Ричардсона не отдаст и одной его страницы за все сентенции моралистов».

Дидро находил в романах Ричардсона то, чего он требовал от искусства в своих теоретических рассуждениях. Сопоставляя описание исторических событий с событиями романов своего кумира, он утверждал, что эти описания полны вымыслов, в то время как произведения его любимого автора полны истины. История делает своим объектом изображение нескольких личностей. «А ты изображаешь человеческий род! — восклицает он, обращаясь к Ричардсону. — Все, что ты приписываешь человеческому роду, он говорил и делал». И дальше, в заключении: «Я осмелюсь сказать, что история бывает похожа на дурной роман, а роман в том виде, как ты его создал, есть хорошая история».

Дидро восторгается Ричардсоном, потому что тот создает идеализированный мир, мир такой, каким он должен быть, показывая в то же время многослож-

ные перипетии жизни. Поэтому Дидро не осуждает и растянутость этих романов. Ему кажется, что Ричардсон сумел примирить истину и добродетель.

Нам нетрудно отделить зерна от плевелов и в теоретических посылках Дидро и в его критических оценках, но изменить в них мы ничего не имеем права. Наше дело только объяснить их.

История такая, какой она была тогда, действительно сводилась к жизнеописанию королевских родов. Буржуазия нуждалась — мы это знаем — в идеализации третьего сословия. Жизнь буржуа, какой она была, не могла служить образцом ни гражданственности, ни высокой человечности. Поэтому буржуа и должен был выступать идеализированным, только тогда он являл собой Гражданина, представителя *человеческого рода.*

А Ричардсон вошел в самое жизнь Дидро.

Конечно же, «Памелой», «Клариссой», «Грандиссоном» зачитывалась и Софи Волан. И когда Дидро по четвергам и воскресеньям приходил на улицу Старых Августинцев, они много говорили о Ричардсоне и его героях. Много говорили и много спорили. Отзвуки споров и в письмах к Софи 1761 и 1762 годов.

Кларисса не вызывает у Дидро особого сочувствия. «Кларисса — ягненок, попавший в зубы волку, и у нее для защиты имеются лишь малодушие, проницательность, осторожность», — пишет Дидро Софи 21 сентября 1761 года.

Идеал Дидро — героиня первого романа Ричардсона — Памела. Он очень огорчен тем, что Софи не понимает Памелы, не понимает романа. «Когда появился перевод «Памелы», мнения об этой вещи разделились. На одной стороне оказались люди наиболее просвещенные, наделенные верным и изысканнейшим вкусом, на другой — толпа читателей. Это прискорбно для вас. Мне очень за вас досадно. Как низменно понимаете вы содержание «Памелы». Какая жалость! Нет, нет, мадемуазель, это вовсе не история горничной, сбитой с пути молодым повесой. Это борьба добродетельной, религиозной, честной, правдивой, доброй девушки, бессильной



Мадам Жофрен.



Мадам Эпинэ.



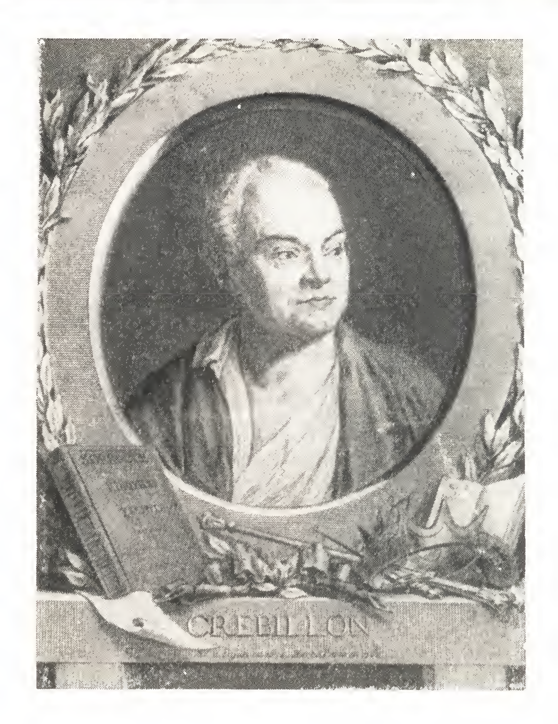
«Игра в карты». Французская гравюра XVIII века.



«В вестибюле оперы». Гравюра Мальбета по рисунку Моро-младшего.



«Актриса в ложе своего покровителя». Гравюра Пата по рисунку Моро-младшего.



Кребилион-отец (драматург).

Театр Французская комедия



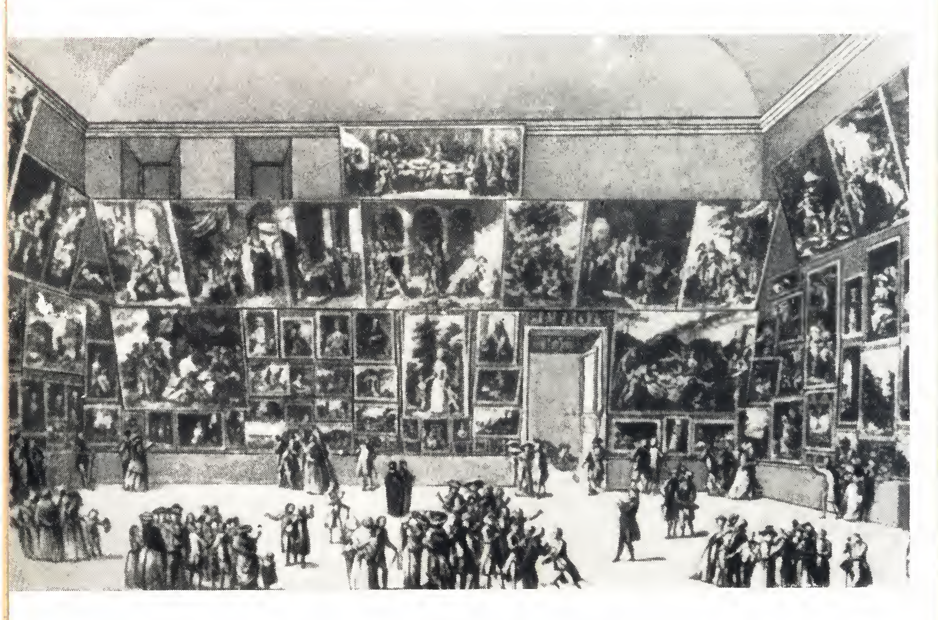
Клерон.



Лекен.



*Дюманиль
в роли Аталии.*



«Салон-выставка картин в Лувре». Гравюра Мартини.



Автопортрет Карла Ван-Лоо.



Шарден. Натюрморт.



Дени Дидро. Работы Мишеля Ван-Лоо.

Буше. Картина.

Грёз. «Деревенская невеста».

«Смотр Королевской военной школы». Французская гравюра XVIII века.



Иллюстрация к первому изданию «Монахини».



Le Neveu de Rameau.

Первая страница ленинградской копии «Племянника Рамо».

Rameau's Neffe.

Ein Dialog
von Diderot.

Aus dem Manuskript übersetzt
und
mit Anmerkungen begleitet
von Goethe.

Leipzig,
bey G. J. Göschen, 1805.

Титульный лист «Племянника Рамо» в переводе Гёте, издания 1805 года.

Jakob und sein Herr

aus

Diderots ungedrucktem Nachlasse.



Erster Theil.

Berlin.

Bei Johann Friedrich Unger

1792.

Титульный лист немецкого издания «Жака-фаталиста» 1792 года.

Фронтиспис I тома «Жака-фаталиста» — первого французского издания 1797 года.

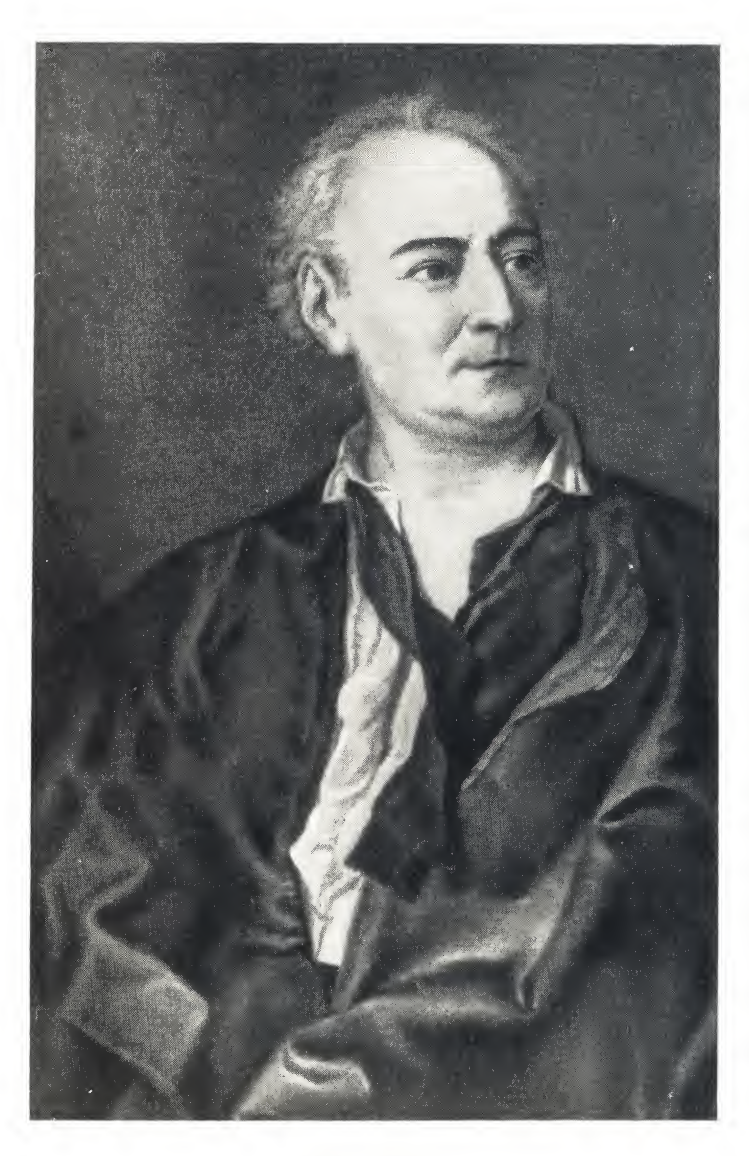


Дидро и Гримм. Рисунок Кармонтеля.





Фальконе. Мраморный бюст работы Колло.



Дени Дидро.

Екатерина II.

LES PLANS
ET
LES STATUTS,

DES DIFFERENTS ÉTABLISSEMENTS
ORDONNÉS PAR SA MAJÉSTÉ
IMPÉRIALE

CATHERINE II.

POUR L'ÉDUCATION DE LA JEUNESSE,

ET

L'UTILITÉ GÉNÉRALE DE SON EMPIRE,

Ecrits en Langue Ruffe par MR. BETZKY & traduits en Langue Françoife, d'après les originaux, par MR. CLERC.

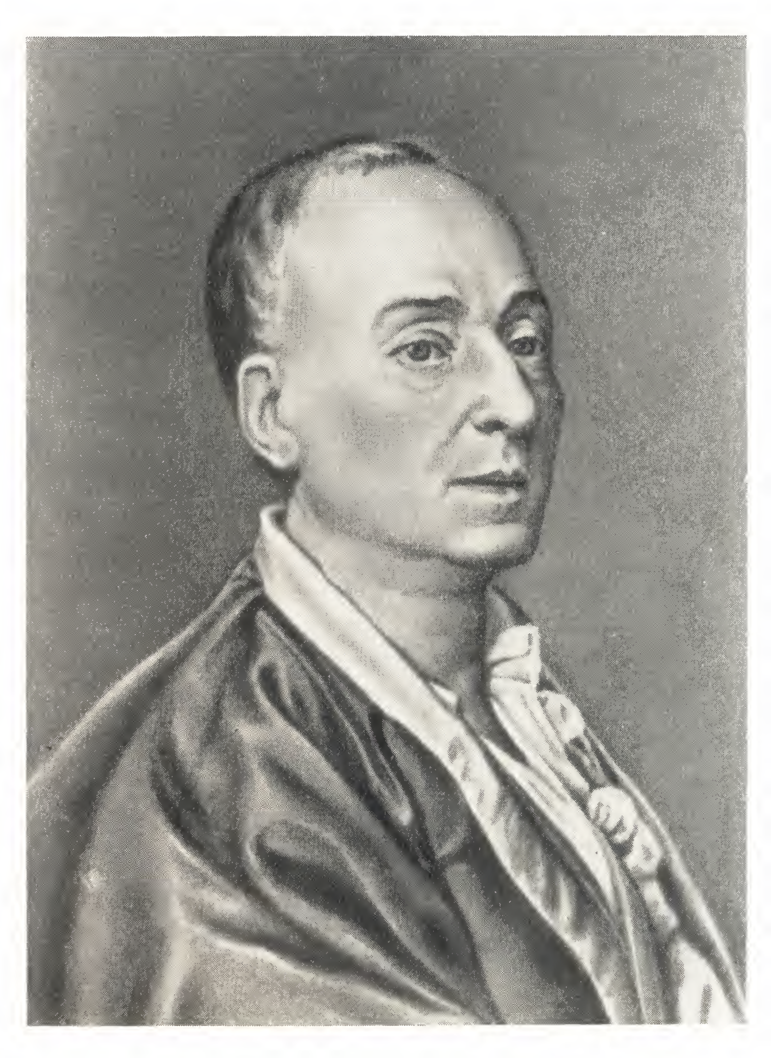
Un bon Prince eſt ſemblable à la Divinité, à qui l'on ne peut rien offrir qui ne faſſe partie de ſes Bienfaits.

TOME PREMIER.



A AMSTERDAM,
Chez MARC-MICHEL REY.

Титульный лист французского издания «Планов и уставов для наставления юношества».



Дени Дидро. Портрет работы Левицкого.

и лишенной опоры, униженной — если только возможно ее унизить — зависимостью, поношением, бедностью, борьбой с могуществом, роскошью, пороком и всей его адской силой».

Дидро не написал комментария к своей «Монахине». То, что он говорит здесь о «Памеле», можно счесть как бы рассуждением, приложенным к собственному роману Дидро. Таков его идеал третьесословной положительной героики. Это главное. Резонанс статьи Дидро был так силен, что аббат Прево, знаменитый автор «Манон Леско», который до того перевел «Клариссу» не полностью, теперь добавил к своему переводу еще два пропущенных отрывка.

В том же письме от 16 сентября 1762 года Дидро высказывает свою точку зрения на незаконных детей. И это не менее важно для понимания романа. Дидро спорит, Дидро огорчен: замечания Софи по поводу законности детей достойны порицания и совсем не подходят к ее образу мыслей. Затем следуют строки, которые могли бы послужить эпиграфом к «Монахине», истории девушки, чьи злоключения возникли от того, что она была побочной дочерью. «Отсутствие родителей — наименьшее зло, какое может быть обнаружено в отношении общества; напротив, иногда в этом есть даже некоторое преимущество. Я предпочел бы совсем не иметь имени, нежели носить громкое имя и быть ничтожеством». По поводу происхождения Даламбера Дидро восклицает: «Кто бы вообще знал, что он сын мадемуазель Тансен, не расскажи он сам об этом? Нет ничего легче, чем скрыть свое происхождение. Пусть как угодно называется дитя, которое должно остаться в лоне отца и матери, обреченное вами на неизвестность, мать найдет тысячу способов, чтобы обеспечить его судьбу. Такое дитя действительно обязано своим существованием тем, кто дал ему жизнь. Все мы дети страсти, минуты, случая, клятвы и ночи. Кто создавал нас хладнокровно, спокойно?»

Роман «Монахиня» был и отзвуком биографии Даламбера, брошенного матерью на паперть церкви святого Иоанна Круглого, и художественной паралле-

лью к статье «Энциклопедии» — «Человек», и как бы этюдом к философскому диалогу «Разговор с Даламбером», где утверждается материализм и где в качестве одного из аргументов Дидро напоминал собеседнику историю его собственного рождения. Даламбер простил мать, Дидро не мог ее простить. Роман был и отзвуком биографии самой «прекрасной и мерзкой канониссы», как Дидро назвал мать Даламбера. Она ведь тоже бежала из монастыря, только в отличие от Сюзанны ей удалось снять с себя обет.

Дидро нашел на этот раз подлинный и типичный конфликт, где семейные отношения были неразрывно связаны с общественными и их отражали.

Сюжет романа несложен. В центре его — Сюзанна, все остальное и все остальные раскрыты в той мере, в какой они связаны с ее судьбой. На первый план выведены социальные мотивы.

Героиня — незаконная дочь своей матери и только считается дочерью своего отца мосье Симонена. У нее две сестры, законные дочери обоих родителей, поэтому те обеспечивают их приданым и выдают замуж. Сюзанне же не достается ни приданого, ни обычного человеческого счастья. Несправедливость ее судьбы подчеркивается словами героини: «Я, безусловно, превосходила своих сестер приятностью ума и наружностью, нравом и талантами, но мои родители были, казалось, огорчены этим».

Этим противопоставлением Дидро восстает против нарушения естественной иерархии, единственной, которая должна существовать на земле. И это относится не только к побочным детям, но и к угнетенным классам. В романе так прямо не говорится, но угадывается читателем.

То, что Сюзанну, лишая возможности даже без денежной придачи выйти замуж за человека, которому она могла бы понравиться, отдают в монастырь, и жизненно правдиво и дало Дидро возможность развить в сюжете романа свои социально-этические взгляды.

В романе три плана. Первый план — монастырский — дан подробно и наглядно. Второй план —

светский, мирской — служит параллельно к первому и как бы только намечен пунктиром. В него входят семья Сюзанны, заставляющая ее постричься, ее духовники, особенно отец Серафим — он недавно стал священником и поэтому меньше других умеет лукавить, адвокат Сюзанны Манури, в конце — Париж.

Третий план — природа, ее установления.

И этим трем сюжетным планам строго соответствуют три ряда законов — религиозные, гражданские и законы природы, классификация, установленная Дидро в его теоретических трудах.

Законы религии, бесспорно, должны быть низвергнуты, ибо здесь все уродливо, все противоречит нормам человеческого общежития и самой природе. Законы гражданские, социально-политический строй должны быть исправлены в соответствии с законами природы, истинными законами, которыми только и дóлжно руководствоваться, направляя все человеческие дела и поступки.

Почему Дидро так обрушивается на монастыри? Потому что монастырь для него — олицетворение всего того, что противостоит самому драгоценному для человека, — его свободе, монастырь порабощает человеческую личность, лишает человека счастья.

Развивая свой постоянный тезис об естественном человеке, Дидро делает героиню воплощением такого естественного человека, как бы человека в чистом виде. Это молодая, неопытная девушка, совсем не знающая жизни, она только еще ее предвкушает, предчувствует. Ей словно бы не с чем еще и сравнивать монастырь, но жизнь в нем противоречит самой ее природе, природе всякого человека и поэтому вызывает у Сюзанны протест.

Непримиримая враждебность Сюзанны всему монастырскому, стремление девушки освободиться мотивированы одной ее фразой: «Я с этим родилась». Человек не создан для монастыря. Он создан для счастья, для свободы.

Точный самоанализ героини очень характерен для Дидро. Это то рационалистическое зерно, которое постоянно присутствует во всех его произведениях.

Социальная активность героини подкрепляет властно говорящий в ней голос природы. Сюзанна ненавидит одиночество и тянется к обществу. Она так прямо и говорит: «Человек создан для общества». (Эта фраза стала знаменитой и так вошла в обиход русских просветителей, что Островский через сто лет даже пародирует ее в «Доходном месте», вкладывая в уста Поленьки.)

Дарования и достоинства Сюзанны служат в романе не только для защиты естественной иерархии, нарушаемой общественными и религиозными законами, семейными нравами. Они утверждают и исключительность героини. Она, единственная из всех жертв монастырского заточения, протестует. Это необычайное явление, которое окружено обыденным и его объясняет, что полностью соответствовало действительности, дававшей очень мало подобных примеров. Характеры и поведение других обитательниц монастыря подтверждают и подчеркивают ту же идею, что заложена в характере и судьбе главной героини. Подруга Сюзанны, Урсула, забитая, безропотная девушка, — жертва религии. Хорошая настоятельница Мони в ее попытках уговорить Сюзанну постричься оказывается слабее той, которую должна убедить, она предоставляет богу говорить не ее устами. Следующая настоятельница, Христина, своим деспотизмом снова заставляет Сюзанну восстать.

Дидро, рисуя обители, в которых находится Сюзанна, показывает, как установления монастырской жизни — бедность, целомудрие, послушание — обращаются в свою противоположность.

Самая яркая фигура романа — настоятельница Арпажонского монастыря, которую обуревает противоестественная страсть к Сюзанне, явление в женских монастырях очень частое.

Рупором своих взглядов автор делает адвоката Манури, выступающего на процессе Сюзанны. В одной из своих защитительных речей он говорит: «Давать обет бедности — значит обязываться быть лентяем и вором, давать обет целомудрия — значит отказываться от неотъемлемого права человека —

от свободы. Монастырская жизнь — удел фанатиков и лицемеров».

Сильнее всего в романе сатирическое и агитационное начала. Автор противопоставляет жизнь, как она есть, жизни, какой она должна быть.

Но монастырский план, несмотря на некоторое сгущение красок, отражает действительное положение вещей. Здесь много верно отобранных фактов. Что же касается «мирского» плана, здесь Дидро отступает от реализма, позволяя себе неточность и приблизительность в обрисовке обстоятельств, двигающих сюжет.

Прежде всего неточно обозначены мотивы отношения к Сюзанне ее родителей. По документам Сюзанна такая же законная дочь супругов Симонена, как и две другие. Чем же мотивировано, что ее лишают приданого, и это не причуда, не откровенно злая выходка, а словно так и надо и иначе быть не может? Крайне схематично даны сестры и их жизнь после замужества. Они как в сказке «Золушка» — уродливые, глупые, злые, в браке одна несчастна, другая удачлива, то есть даны два рационально найденных варианта.

Это словно бы удивительно, потому что в переписке с маркизом де Круамаром Дидро показал себя тончайшим психологом, знатоком людей и нравов. Сюзанна, только понаслышке зная своего покровителя, могла быть несведуща в том, какой у него титул, какую он занимает должность, да и вообще не слишком в таких тонкостях разбиралась. Потому она и адресовала свое письмо не маркизу, а графу, не капитану в отставке, а начальнику королевской военной школы.

Да и все остальные письма наполнены такими же жизненными подробностями, взять хотя бы перечисление чулок и носовых платков в одном из писем мадам Маден. Поэтому-то Круамар и принял их за подлинные человеческие документы, а может ли писатель заслужить большую похвалу?

Получается парадокс: роман не достиг правдоподобия мистификации, шутки. Но парадокс этот вполне

объясним — добродетель и на этот раз вступила в противоречие с истиной, хотя и гораздо меньшее, чем в «Побочном сыне» и «Отце семейства».

В романах Ричардсона добродетель нанесла истине гораздо больший ущерб. Поэтому-то они и сохранили только исторический интерес, «Монахиня» же и сейчас читается с неослабевающим волнением. В Советском Союзе она не раз переиздавалась и принадлежит к числу наиболее известных у нас произведений Дени Дидро.

VI

Философия, литература, сама жизнь?

Подделку Дидро маркиз де Круамар принял за подлинные письма сестры Сюзанны. Сына дижонского аптекаря и органиста, Клода Рамо, племянника знаменитого композитора — человека, хорошо известного в парижских салонах пятидесятых и шестидесятых годов, спустя два года после первой публикации на французском языке знаменитого диалога принимали за вымышленного персонажа.

Ошибку поняли, только обнаружив упоминание о Жане Франсуа Рамо, племяннике композитора, в «Картинах Парижа» Себастьяна Мерсье.

Удивляться этой ошибке не приходится: к тому времени могло уже не остаться в живых ни одного из тех, в чьих гостиных он играл роль шута, и даже тех дворянских сыновей и дочерей, которых он обучал игре на скрипке, флейте или клавесине. Или они настолько постарели, что забыли его. Ведь с тех пор, как Дени Дидро написал первый вариант диалога, и до 1821 года, когда «Племянник Рамо» впервые был напечатан на его родине, прошло почти шестьдесят лет.

Да и то, как выяснилось еще через два года, это издание было литературной мистификацией, чтобы не сказать — мошеннической проделкой. Происхождение ее таково. Не будучи издан самим автором, «Племянник Рамо» долгие годы распространялся в многочисленных списках. (Очевидно, они не попадались тем, кто лично знал героя и дожил до издания.) В конце 1804 года знаменитый немецкий поэт Фридрих Шиллер сказал своему другу, еще более знаменитому Вольфгангу Гёте, что у него есть копия рукописи диалога Дидро «Племянник Рамо». Гёте был страстным поклонником французских просветителей, особенно же ценил Дидро. Он тут же заинтересовался этой копией и перевел диалог на немецкий язык; с немецкой обстоятельностью снабдил перевод многочисленными примечаниями и в 1805 году издал.

С тех пор прошло еще шестнадцать лет, и, наконец, в Париже вышел в свет «Племянник Рамо», посмертное и неизданное сочинение Дидро. Естественно, что эта публикация явилась настоящей сенсацией. Между тем это издание оказалось не чем иным, как обратным переводом с перевода Гёте.

Мошенничество было делом рук двух литературных шарлатанов — виконта де Сора и его приятеля Сен-Женне. Они выдумали, что нашли утерянный оригинал Дидро.

Мало того, что голубчики сфабриковали подделку, они еще и свалили с больной головы на здоровую. Когда Бриэр, издатель первого Собрания сочинений Дени Дидро, опубликовал копию оригинала, он изобличил шарлатанов в литературном мошенничестве, а они в том же самом обвинили его.

Припертый к стенке виконт де Сор вынужден был признаться, что, не располагая французским текстом диалога, перевел гётевский перевод. Но тут же он заявил в печати, что подлинника нет и у Бриэра и его публикация — такой же обратный перевод с немецкого.

Его противник располагал серьезнейшими доказательствами: он получил от мадам Вандель, хотя и не полностью, архив ее отца, рукописи, копии, в том

числе и копию «Племянника Рамо». Но и виконт де Сор не сдавался. Продолжая неистовствовать и клеветать, он, доказывая свою правоту, отыскал в опубликованном Бриэром тексте «столько стилистических ошибок, погрешностей и бессмыслиц, что он никак не мог выйти из-под пера такого гениального автора». Рукопись Дидро тогда еще не была найдена, и бесспорных аргументов в распоряжении Бриэра не было, однако он сумел уличить своего оппонента в лингвистическом и литературном невежестве и доказать, что приведенные примеры подтверждают обратное.

Полемика на этом не кончилась, и неизвестно, сколько бы она продолжалась, если бы по просьбе Бриэра в спор не вмешался Гёте. Он подтвердил правоту Бриэра и разрешил ему опубликовать свое письмо. Оно появилось в трех французских печатных органах одновременно: в «Пандоре», «Корсаре», «Французской библиографии». Виконт де Сор вынужден был навсегда умолкнуть.

Но история «Племянника Рамо» продолжалась. Через полвека Ассез обнаружил новую копию этого сочинения, названного на этот раз не диалогом, а сатирой — так же называл «Племянника Рамо» и Нэжон. Ассез сравнил и тщательно проанализировал все три текста и обнаружил, что найденная им копия существенно отличается от публикации Бриэра, будучи в то же время гораздо ближе к переводу Гёте. Разночтения оказались очень существенны и определенным образом направлены. Очевидно, копия, врученная мадам Вандель Бриэру, была заранее ею препарирована, то есть удалены все «неудобные» для печати сентенции, выпады и так далее, изъяты многие собственные имена. Между тем все это наличествовало и в копии Ассеза, в копии, с которой переводил Гёте, очевидно гораздо более близкой к подлиннику Дидро.

В 1884 году Морис Турне опубликовал новую копию «Племянника Рамо», еще более близкую к оригиналу, как выяснилось потом.

И, наконец, в 1890 году... Я не знаю, был ли он

молодым или старым, толстяком или худощавым, блондином, шатеном, седым, лысым... Известно только, что его звали Жорж Морваль и он служил библиотекарем в театре Французская комедия, и нетрудно предположить: занимая эту должность, он любил рыться в старых книгах и рукописях. Однажды, роясь в «развале» букиниста на углу улицы Вольтера, Жорж Морваль обнаружил, казалось, безнадежно утраченный подлинник — авторскую рукопись знаменитого диалога. А затем его напечатал.

С этой публикации с точным соблюдением орфографии и пунктуации оригинала воспроизведен текст «Племянника Рамо» в однотомнике Дени Дидро, изданном в 1951 году Андрэ Бии.

Вернемся, однако, к самому герою диалога, или сатиры, Жану Франсуа Рамо. Мы располагаем о нем некоторыми сведениями сверх тех, которые даны в диалоге. Он родился в Дижоне 30 января 1716 года, будучи, таким образом, всего на два года моложе Дидро, и тоже учился в иезуитской школе. Вероятно, ему было уже года двадцать два, когда он покинул родительский дом — отцу надоело содержать взрослого шалопая. Раз шесть Жан Франсуа поступал на военную службу и столько же раз оставлял ее. Недаром Дидро говорил, что одна из дорог бездельников — военная карьера. В 1746-м он брал уроки живописи у художника Вилле. Учитель написал портрет своего ученика, сохранившийся до наших дней. Но можно ли было запечатлеть этого человека на одном портрете? Если верить Дидро, Рамо беспрерывно менялся. То он был тощ и изможден, как чахоточный, можно было подумать, что он несколько дней не ел или только что вышел из монастыря траппистов, истязавших плоть. То он был так жирен, словно несколько дней не вставал из-за стола откупщика или пребывал в монастыре чревоугодников бернардинцев. Затем Жан Франсуа обучался музыке, да еще сразу на трех инструментах — скрипке, флейте, клавесине и, не слишком овладев ими, стал давать уроки музыки. Рамо как учитель великолепно изображен в диалоге.

«Я (то есть Дидро. — *А. А.*). И вы говорите, что были учителем, ровно ничего не зная?

Он (так Дидро называет племянника Рамо. — *А. А.*). Да.

Я. Ровно ничего не зная?

Он. Ничего, готов побожиться, потому-то и были учителя еще хуже меня, те, которые воображали, что они что-то знают. Я хоть не портил ни вкуса, ни техники детей. Не научившись от меня ничему, они по крайней мере не должны были переучиваться, когда переходили к хорошему преподавателю: значит, деньги были целы и время не потеряно понапрасну.

Я. Как же вы это делали?

Он. Как и все. Приходил, усаживался. «Какая скверная погода. Мостовая — одно мучение». Болтал, сообщал новости. «Мадемуазель Лемьер должна была играть весталку в новой опере, но она вторично в интересном положении, неизвестно, кто выступит вместо нее. Мадемуазель Арну только что бросила своего графчика...»

И так далее, и тому подобное. Ноты, изжеванные, изорванные мопсом или котенком, тем временем оказывались под креслом.

А Рамо принимался лавировать между мамашей и дочерью, то соглашаясь с матерью, что мадемуазель несерьезно относится к занятиям, и порицая ученицу, то, наоборот, за нее заступаясь и превознося ее неумелую игру сверх всякой меры, пока не получал свой конвертик.

Когда ему надоело давать уроки, он дал выстричь на своей голове тонзуру. Когда ему надоело быть духовным лицом, он дал тонзуре зарасти и в 1757 году женился на дочери портного. (И жена не забыта в диалоге.)

Вернувшись к музыке, Рамо выпустил сборник упражнений для клавесина. В 1761 году, овдовев и потеряв сына, он снова превратился в аббата Рамо и повел жизнь прихлебателя. На этом его приключения не кончились, но, поскольку это было уже после того, как Дидро написал диалог, мы можем последние десятилетия земного существования этого противо-

речивейшего создания опустить. Умер он, как полагают, в 1771 году в приюте или богадельне, куда министр граф Сен-Флорентен по просьбе родных упрятал его как беспокойного сумасшедшего. Бессмертие же ему обеспечил Дидро.

Конечно же, эти отзывы принадлежат времени гораздо более позднему, но свет их так озарил «Племянника Рамо», что, снова нарушая хронологию, не могу их не привести. 17 апреля 1869 года Маркс писал Энгельсу: «Сегодня я by accident [1] обнаружил, что у нас дома имеются два экземпляра «Neveu de Rameu» [2], поэтому посылаю тебе один. Это неподражаемое произведение еще раз доставит тебе наслаждение». Позднее во введении к «Анти-Дюрингу» Энгельс приведет «Племянника Рамо» как высокий образец диалектики. В «Немецкой идеологии» Маркс снова говорит о гениальном диалоге.

Почему Дидро выбрал такого героя и отказался от жанров драмы и романа в пользу диалога? Не потому ли, что в борьбе между истиной и добродетелью, происходившей в нем самом и в том, что выходило из-под его пера, победила истина? Точнее, Дидро понял, что к подлинной добродетели, то есть идеалу, он сможет прийти только через настоящую истину, и показал современное ему общество таким, какое оно есть, а не таким, каким оно должно быть. А субъект, подобный Рамо, говорится на одной из первых страниц диалога, «попадая в компанию... как дрожжи вызывает брожение и в каждой частичке восстанавливает ее подлинное лицо. Он встряхивает, возбуждает, заставляет одобрять или хулить, вскрывает *истину* (подчеркнуто мной. — *А. А.*), позволяет распознавать честных людей, срывает личину с мошенников, и вот тогда-то и здравомыслящий человек прислушивается и разбирается в окружающем обществе». Вот и ответ на вопрос, почему Дидро после добродетельного отца семейства и наделенной всеми достоинствами страдалицы Сюзанны

---

[1] Случайно *(англ.)*.
[2] «Племянник Рамо» *(франц.)*.

выбрал в главные герои произведения этого проходимца.

Что же касается формы диалога, где все имена и события были подлинными, — эта форма позволяла наиболее свободно и точно отразить жизнь, а заодно и поставить ряд важных философских, политических, этических, педагогических проблем.

А сделав самого себя вторым героем вещи, введя для достоверности даже некоторые факты собственной биографии, Дидро получил возможность прямо и непосредственно высказывать свои взгляды, противопоставляя их взглядам племянника Рамо.

И вместе с тем «Я» диалога — это и обобщенный образ энциклопедиста, философа.

Разговор между двумя собеседниками ведется с необыкновенной, истинно французской легкостью, перескакивая с предмета на предмет, сверкая парадоксами, остротами, забавными историями, анекдотами, иллюстрирующими серьезные мысли. А в итоге фейерверк непреходящих откровений и энциклопедия жизни Франции середины XVIII века.

Вот хотя бы общая картина государства.

Дидро размышляет:

«Дурачества этого человека, побасенки аббата Гальяни, причудливые замыслы Рабле иногда заставляют меня глубоко задумываться. Это три склада карикатурных масок. Я беру их и надеваю на самых важных особ: в прелате мне чудится Панталоне (маска итальянской народной комедии. — *А. А.*), президент кажется сатиром, монах — боровом, министр — страусом, его первый секретарь — гусем».

И дальше:

«Я. Из ваших слов следует, что мир полон попрошаек и что все поголовно знают некоторые из па вашего танца.

Он. Вы правы. Во всем королевстве ходит только один человек — глава государства; все остальные принимают позы.

Я. Глава государства? Это еще большой вопрос. Неужели вы думаете, что ему не попадается иногда маленькая ножка, тоненькая шейка, носик, ради ко-

торых он тоже разыгрывает пантомиму? Всякий, кто нуждается в другом, — тоже неимущий и принимает позы. Король принимает позу перед любовницей и проделывает свои па в пантомиме перед богом. Министр проделывает па придворного льстеца, лакея и нищего перед королем. Толпа карьеристов выплясывает ваши позы на сто ладов — один омерзительнее другого — перед министром. Высокопоставленный аббат — в брыжах и в сутане — по крайней мере раз в неделю вытанцовывает перед раздатчиком бенефиций. Ваша пантомима попрошаек — великий хоровод, в котором кружится весь мир».

Острые, как рапиры, реплики собеседников прежде всего скрестились на вопросе о том, что такое гений, каковы его преимущества и обязанности перед человечеством.

Рамо ненавидит гениальных людей. Он противопоставляет их толпе: «...раз толпа довольна, значит все идет хорошо. Если бы я знал историю, я доказал бы вам, что корень зла на земле всегда в гениальных людях».

«Они изменяют лицо земли, и, однако, глупость так обыденна и так всемогуща даже в мелочах, что без большой кутерьмы ее не переделаешь». Для Рамо лучшая мудрость — это жизненные правила монаха, одного из героев Рабле, — «исполняй свои обязанности с грехом пополам, всегда отзывайся почтительно о настоятеле, а там хоть трава не расти». Кроме того, гении, как люди, невыносимы, для них не существует ни родства, ни семьи, ни дружбы.

Дидро протестует против этой антиобщественной философии. Он ставит перед Рамо дилемму — предпочел ли бы он, чтобы Расин был хорошим мужем, честным коммерсантом и никем больше или пройдохой, вероломным, завистливым, злым, но вместе с тем автором «Андромахи», «Ифигении», «Федры»?

Рамо выбирает Расина-коммерсанта, ведь гениальные произведения не принесли драматургу и двадцати тысяч франков. И кроме того: «Этот человек хорош только для тех, кто с ним незнаком, и для того времени, когда его больше нет».

На это Дидро отвечает:

«Согласен. Однако взвесьте принесенное им добро и зло, и через тысячу лет он будет вызывать слезы, будет предметом восторженного поклонения во всех странах земного шара; будет внушать человеколюбие, сострадание, любовь. Будут спрашивать, кто он, из какого края, и будут завидовать Франции. Он причинял страдания нескольким людям, которых нет в живых и которые не представляют для нас почти никакого интереса, нам же нечего бояться ни его пороков, ни его недостатков».

Спор между общественным интересом и интересом эгоистическим расширяется. Дидро предлагает: «Подумаем о благе нашего рода, подразумевая человечество». Рамо отвечает: «Важно то, что вы и я существуем... а там хоть трава не расти». Он совершенно равнодушен ко всему общественному, он индивидуалист, партизан, совершающий набеги на богатые кварталы Парижа. Наилучший порядок для него тот, при котором можно поживиться.

Но, и это очень важно, у него бывают и правильные мысли, благородные мечты. От защиты мещанской посредственности и эгоизма он переходит к мечте о славе, о радости творчества.

Дидро поражается, как в этом человеке перемешано все: и дурное, и хорошее, и верное, и ошибочное! И в этом подлинный реализм характера, таков подлинный человек, а не абстрагированный идеал человека. Подлинный реализм — и в обстоятельствах, сформировавших этот характер.

Принадлежа к огромной армии нищих и бездомных, наводняющих Париж, что исторически совершенно точно, Рамо стремится к богатству и, если бы разбогател, вел бы такую же жизнь, какую ведут богачи. Но раз ему не повезло, он с предельным цинизмом обнажает святая святых общества, то, чему оно поклоняется, — богатство, деньги, наслаждение.

Дидро говорит ему об отечестве, об обязанностях человека перед обществом. Рамо отвечает: «Пустяки! Защищать отечество! Нет никакого отечества, от од-

ного до другого полюса я ничего не вижу, кроме тиранов и рабов».

Он не признает и бессмертия и вечных нравственных норм. Единственное правило — расчет. И, становясь на редкость красноречивым, когда разговор касается борьбы за существование, Рамо обнажает противоречие между пороками частной жизни и лицемерием принятых установлений общественного поведения.

Поэтика «редких случаев» и необычайного, окруженного обыденным и его подчеркивающего, как нельзя лучше оправдала себя в образе Рамо. Этот невыдуманный, но гениально раскрытый характер Дидро стал зеркалом рождающегося буржуазного общества, каким мог бы не стать и купец и владелец мануфактуры. Зеркалом и в то же время приговором. «Говорят, что честь дороже денег, — провозглашает Рамо, — но тот, у кого есть честь, не имеет денег, и я вижу, что в наше время тот, у кого есть деньги, вряд ли нуждается в чести». А почета им хватает. «Если бы мошенники не сидели бы с утра до вечера в своих лавках, они были бы не богатеями и, значит, не были бы в почете».

Большое место в диалоге занимает музыка. Это оправдано тем, что Рамо музыкант. Это дало Дидро возможность вмешаться в так называемую «войну буффонов», продолжавшуюся уже десять лет, с тех пор как в Париж приезжала на гастроли итальянская опера-буфф. Непосредственная, живая, демократическая итальянская музыка была поднята на щит передовой просветительской интеллигенцией. На стороне условной, аристократической французской оперы стояла и более могущественная партия, состоявшая, как выразился Руссо, «из великих мира сего, из богатых и из женщин». Нетрудно догадаться, на чьей стороне Дидро. Но и Рамо высказывается о музыке так, что философ вынужден признать: «Все, что вы говорите, почти разумно».

Мало того, Рамо настоящий музыкант, музыка ему открыта так же, как человеческие души. Он чувствует себя в музыке, как рыба в воде. Дидро просто потря-

сен его музыкальным темпераментом, его исключительной игрой (подлинный Жан Франсуа Рамо вряд ли был так одарен), так же как и его верными суждениями. Спрашивается, почему же он не стал композитором, как его гениальный дядя?

«Почему же в таком случае не писать? — переспрашивает племянник Рамо. Конечно же, он пытался. — Но, ах, мосье философ, нищета — ужасная вещь!»

И в том, что племянник Рамо не пишет музыки, вскрываются социальные законы. Ни старому порядку, если смотреть в глубь вещей, ни прорезывающемуся новому не нужны таланты, не нужна поэзия.

В этом диалоге-сатире не только на государство и общество времен Людовика XV, но и на буржуазное общество, приходящее ему на смену, Дидро поднимается над самим собой. Он сохранил свое преклонение перед частной собственностью, он не понимал экономических законов эксплуатации человека человеком, ему казалось, что дело только в отношении подлинной пользы и использования. Но, как художник, он создал такую реалистическую сатиру на буржуазное общество, которая не умрет, пока будет жить последний буржуа.

Освещая при помощи племянника Рамо все стороны жизни своего времени, ее парадные залы и ее закоулки, Дидро тем самым накладывал мазок за мазком и на его портрет, бессмертный образ раздавленного человеческого достоинства и погубленного таланта, унижения и нищеты.

Потому впервые в художественном произведении Дидро истина и не вступила в противоречие с «добродетелью». В споре его с Рамо аморализму, эгоцентризму, цинизму противостоят вера в победу всеобщей справедливости, признание общественной значимости человека, основанные на исторической правде.

...Рамо, пожаловавшись на судьбу, не давшую ему писать музыку, говорит и о том, что где-нибудь на мельнице в Монмартре есть мельник или помощник мельника, который не слышит ничего, кроме сту-

ка толкача, тогда как мог бы стать творцом чудесных арий. Замечание Дидро: «Природа предназначает человека ко всему, за что он берется с усердием», — эти слова приводит и Маркс, — Рамо парирует репликой: «Она делает странные промахи». Природу следовало бы заменить обществом. Терминология Дидро, с нашей точки зрения, не точна, он не мог подняться до исторического материализма, как мыслитель. Но, как художник, он написал беспощадный приговор и старому порядку, и капитализму, и исторически справедливое предсказание такого мира, где человек будет всего себя отдавать обществу, но и общество откроет ему все возможности «стать творцом чудесных арий».

И вместе с тем, как отделить Дидро-писателя от Дидро-философа, Дидро-политика, Дидро-ученого, Дидро-человека, если идея, развиваемая им в «Письме о глухих и немых в назидание тем, кто говорит и слышит»: можно быть человеком, объясняясь только жестами, послужила как бы философским обоснованием его «безартикуляционной поэтики», провозглашенной тремя годами позже в «Беседах о «Побочном сыне»? Если в письме из Гранваля он, рассказывая Софи о беседе у камина с дядюшкой Упом и о том, как его дразнили живущим виноградом, мыслящей грушей, предвосхищает то, что станет предметом спора в его знаменитом философском диалоге «Разговор с Даламбером»? Если идея романа «Монахиня» основана на основном положении политической теории Дидро о трех противоречащих друг другу кодексах законов — религиозных, гражданских и законов природы? Если он в письмах к любимой рассуждает о философии, религии, литературы, а в философские сочинения 1769 года «Разговор с Даламбером», «Сон Даламбера» и «Продолжение разговора», так же, как в художественные диалоги, вводит реально существующих людей, не только себя и Даламбера, но и мадемуазель Леспинас и доктора Борде и аргументирует свои материалистические воззрения бытовыми подробностями и фактами из биографии своего друга? Если свои занятия драматургией,

театром, живописью и скульптурой он чередует с занятиями естественными науками и, привезя из России «Жака-фаталиста» и новый вариант «Монахини», тут же принимается за капитальный труд «Элементы физиологии», законченный шестью годами позже?

Его сблизило с Руэллем, господствовавшим в химии того времени ученым, решающее значение, которое оба придавали опыту.

Руэлль бывал в салоне Гольбаха. Он обратился к барону, совмещавшему в себе химика и литератора, с просьбой порекомендовать ему редактора, способного придать изящество научным трудам. Гольбах свел его с Дидро. Оба отнеслись друг к другу не просто с интересом, но с энтузиазмом. Мы знаем, как экспансивен был Дидро. Руэлль в порыве импровизации срывал с себя парик и дрыгал ногами. Философ, потрясенный идеей, которую развивал перед ним химик, даже забывал свои «à propos». Их сближал и энциклопедический склад ума и страстность натуры обоих.

Мы уже знаем из «Энциклопедии», что почти не было отрасли знания, которая не интересовала бы Дидро. Эта широта интересов не изменила ему и когда «Энциклопедия» была закончена.

Достаточно заглянуть в докторскую диссертацию профессора мужского лицея в Ренне Жана Мейера, изданную в 1959 году в Париже, чтобы в этом убедиться, хотя эта толстая, солидная книга и грешит эмпиризмом. Она называется «Дидро-ученый». Из нее видно, что наука была базисом самой философии Дидро, что у него был экспериментальный склад ума, и во времена «Энциклопедии» и позже Дидро занимался математикой, математической физикой, химией, биологией, физиологией, медициной, педагогикой, социологией.

К примеру, Мейер пишет: «Ни в одном всеобщем словаре анатомия не занимала такого места, как в «Энциклопедии». Редактором этого отдела был Пьер Гарен. Но и сам Дидро интересовался анато-

мией и еще больше медициной. Постоянно общался с крупными медиками. Беседовал со знаменитым Троншеном не только об «Отце семейства», здоровье отца и своем собственном, но и о медицине.

А как отделить в Дидро вдумчивого философа, теоретика, ученого от полемиста, спорщика по самой натуре, если он так часто отталкивается от книг, написанных другими, к критике их, присоединяя самые заветные свои воззрения и, споря с другими, неизменно спорил с самим собой?

В «Систематическом опровержении книги Гельвеция «Человек» Дидро *решительнее,* чем прежде, провозглашает республиканские идеалы. Конечно же, это произошло не без влияния общения с Екатериной II, не оправдавшей его надежд на республиканское преобразование Российской империи.

Об этом разговор впереди.

Предмет же спора с Гельвецием вот в чем. Гельвеций — воинствующий материалист, но человек у него асоциален, человеческая особь, так же как животные, наделена только физиологической чувствительностью. Поэтому-то человек в книге Гельвеция предстает хищником, стяжателем, себялюбцем. Дидро упрекает Гельвеция в том, что подобный портрет написан им с эгоистов и мошенников, которых он встречал, вращаясь в светском обществе. Как характерен для Дидро этот аргумент не от чистой теории, а от самой жизни!

Но Дидро в «Опровержении» спорит не только с Гельвецием, а и со своим бывшим другом Руссо, и тут становится уже совершенно ясно, что не одна статья Даламбера «Женева», различие точек зрения на театр, обида, нанесенная Жан Жаком мадам Эпинэ, страсть его к ее невестке и его дурной характер послужили в свое время причиной их разрыва. Руссо — плебей и демократ — борется за угнетенных и бесправных, за тех, кто трудится на благо горстки процветающих честолюбцев. Руссо — за равенство всех, за уравнение имущества, пусть любой ценой — трудовой бедности, простоты нравов.

Что же касается Дидро, он и слышать не хочет

о бедности, о «бледной, грязной, отвратительной нищете»; в пылу спора с Руссо он именно так и выражается в «Опровержении».

Уравнительный идеал его противника кажется ему слишком серым и унылым. Он предпочитает риск, конкуренцию, борьбу, но процветание.

Недаром Дидро так любил буйный ветер.

Но главный пафос «Опровержения», как и «Племянника Рамо», в утверждении того, что общественная жизнь — непременное условие человеческого состояния.

Дидро, исповедуя лучшую часть доктрины Локка, утверждает обусловленность воспитания наследственностью и влиянием социальной среды.

При жизни автора и эта работа напечатана не была.

Часть «Опровержения» опубликована Гриммом в «Корреспонденции» 1787 года. Полностью же его напечатал только Ассез в двадцатитомном собрании сочинений Дени Дидро.

«Элементы физиологии» и не предназначались автором для печати. Мало того, Дидро, как выразился в письме Даламберу, посылая ему рукопись, сам «разбил статую», причем так, что «художнику невозможно восстановить ее. Вокруг нее осталась масса обломков, надлежащего места которых он не смог найти... Мне говорили, что первоначально в этом произведении были оригинальность, сила, увлекательное красноречие, веселость, естественность и даже связность. Большая часть этих качеств улетучилась, остались только бессвязные намеки...»

Но то, что «Элементы физиологии» были напечатаны тоже только сто лет спустя тем же Ассезом в том же собрании сочинений, оказалось даже очень кстати. Опираясь в этой работе еще больше, чем в предыдущих, на естествознание, Дидро был не только на высоте научной мысли своего времени, но предугадал многое в ее дальнейшем пути, предвосхитив открытия Ламарка и Дарвина. Являясь точнейшим зеркалом состояния естественных наук в XVIII столетии, «Элементы физиологии» включились в споры

Est-il bon? Est.il mechant?

ou

L'officieux Persifleur.

ou

Celui qui les sert tous et qui
n'en contente aucun.

Piece de Société

en quatre Actes et en prose.

Quatrieme Edition manuscrite,
revue, corrigée et augmentée.

Первая страница ленинградской копии комедии «Добр ли он, зол ли он?».

вокруг дарвинизма семидесятых годов следующего века. Ошибки же, допущенные Дидро и столь естественные для времени, в которое он жил, последующее развитие науки исправило.

Вместе с тем несомненна связь «Элементов физиологии» с названной выше сюитой «Разговор с Даламбером». Она тоже не предназначалась для

печати и только дана была автором для прочтения немногим лицам. Мадемуазель Леспинас настаивала на уничтожении диалогов, и Дидро почти уничтожил их вместе с «Элементами физиологии», к ним примыкавшими. Отсюда и сравнение с разбитой статуей. Он и не подозревал, что сохранились копии, которые и были впервые опубликованы в 1830 году.

Диалоги написаны в обычной для Дидро манере — «как они выходят из-под пера», но из-под пера его они вышли настолько блистательными, что сам автор, вовсе не склонный восторгаться собой и тем, что он делал, воскликнул в письме к Даламберу: «Эти диалоги вместе с некоторыми заметками по математике, которые я, может быть, когда-нибудь решусь опубликовать, были единственными из всех моих произведений, которыми я любовался!»

«Разговор с Даламбером» был написан как живая беседа двух друзей. О «Сне Даламбера» Дидро писал Софи, что он удался ему больше, чем предыдущий диалог, — больной Даламбер во сне продолжал свою беседу с Дидро, а мадемуазель Леспинас, дежуря у его постели, ее записала, о чем и рассказывает доктору Борде. В «Продолжении разговора» тот же круг мыслей развивается уже этими двумя собеседниками.

Нигде и никогда еще, ни самим Дидро, ни кем-либо иным, в такой блистательной и общедоступной форме, так смело и последовательно не были высказаны материалистические взгляды, не было утверждено единство органической и неорганической природы. Для этого Дидро должен был знать и химию, и биологию, и физику, и физиологию, и все предшествующие философские учения.

Выше материализм XVIII века не поднялся и подняться не мог. Недаром В. И. Ленин в введении к «Материализму и эмпириокритицизму» так сочувственно излагает «Разговор с Даламбером» и приводит оттуда им самим переведенный кусок о взбесившемся фортепьяно.

Ленин писал: «Философской основой марксизма, как неоднократно заявляли и Маркс и Энгельс, яв-

ляется диалектический материализм, вполне воспринявший исторические традиции материализма XVIII века во Франции...»

Между двумя вершинами художественного гения Дени Дидро — «Племянником Рамо» и романом в форме диалога «Жак-фаталист и его хозяин» — и параллельно с «Жаком» были написаны не только философские сочинения — я далеко не все их назвала, но и несколько художественных диалогов и миниатюр: «Мой отец и я», «Он и я», уже знакомый читателю «Разговор отца с детьми», «Сожаления о моем старом халате», «Это не сказка». Нам известны жизненные источники, так называемые реалии, не всех этих произведений. Мы знаем, правда, из «Предуведомления читателю» к первому изданию «Сожаления о моем старом халате» — оно вышло в 1772 году отдельной брошюрой, что мадам Жофрен за какие-то услуги подарила Дидро новый шлафрок и некоторые предметы обстановки его кабинета. Знаем и то, что мадемуазель де Лаше, главное действующее лицо миниатюры «Это не сказка», была вхожа в кружок энциклопедистов, и все события, о которых там говорится, происходили на самом деле.

Но если мы кое-каких фактов и не знаем, можно побиться об заклад, что они существовали. И точно так же в каждый из диалогов, в каждую из миниатюр была вложена очень важная для автора мысль. В диалог «Мой отец и я», к примеру, — идея общественного долга.

А диалог «Он и я» нам еще пригодится для статьи «Человек» «энциклопедии Дидро». Что бы он ни писал, он писал свою автобиографию, она же была биография века.

Когда говорят о «Жаке-фаталисте», всегда вспоминают знаменитого английского писателя Лоренса Стерна. Недавно вышла даже толстая книга на английском языке «Дидро и Стерн».

А сам Лоренс Стерн в начале 1762 года побывал во Франции. Этот свободомыслящий, остроумнейший романист и в то же время пастор — парадокс в XVIII веке очень частый — приехал в Париж в со-

провождении жены и дочери через две недели после того, как в Лондоне вышли в свет пятый и шестой тома его «Тристрама Шенди».

Англия и Франция еще находились в состоянии войны, поэтому Стерн не мог получить заграничного паспорта и нуждался в свидетельстве о благонадежности. Его поручителем стал не кто иной, как барон Гольбах.

В письме от 31 января Стерн сообщает своему другу актеру Гаррику, как его с восхищением, редким в Лондоне, принимали в Париже: «Я имею теперь в моем активе пятнадцать дней обедов и ужинов. Барон Гольбах дал полные гарантии за мое пребывание во Франции. Этот барон — один из самых ученых дворян Парижа, большой покровитель beaux ésprits и ученых, которые beaux ésprits (блистательными умами) не являются. Он держит дом, открытый три раза в неделю; этот дом мой впредь до...»

Дидро, несомненно, был одним из тех, кого Гольбах прежде всего представил «Рабле по ту сторону Ла-Манша», как называли Стерна во Франции.

Упоминания о Стерне и его «Тристраме Шенди» в связи с романом Дидро вполне основательны. «Жак-фаталист и его хозяин» и в самом деле построен так же, как знаменитый английский роман. Главный интерес его сосредоточен не на якобы основной сюжетной линии — рассказе Жака о своей любви, а на многочисленных авторских отступлениях и вводных новеллах, то и дело перебивающих повествование.

Конечно же, как повелось с времен «Побочного сына», Дидро снова облыжно обвинили в плагиате, на этот раз не у Гольдони или Ричардсона, а у Стерна. Такая уж была у бедного Дени судьба. То ему приписывали, как было с диссертацией де Прада или трактатом Гельвеция «Об уме», чужие сочинения, то хотели отобрать собственные.

Дидро даже это предвидел. В послесловии мнимого издателя записок Жака в шутливой форме говорится: «Приведем второй параграф, списанный из «Жизни Тристрама Шенди», если только беседа Жа-

ка-фаталиста и его хозяина не написана раньше этого произведения и мистер Стерн не является плагиатором, чему я не верю, ввиду исключительного уважения, питаемого мной к мистеру Стерну, которого я отделяю от большинства литераторов его народа, усвоивших обычай обкрадывать нас и при этом осыпать ругательствами».

Конечно же, Дидро знал, что «Жизнь Тристрама Шенди» дописана и издана на одиннадцать лет раньше, чем он сочинил своего «Жака-фаталиста». Он наверняка прочел ее к тому времени, когда Лоренс Стерн жил в Париже под поручительством барона Гольбаха и делил с ним самим обеды на улице Рояль де сен Рош. Пятый и шестой тома, только что вышедшие в Англии, может быть, дал ему прочесть или преподнес и сам автор.

В поисках формы задуманного им позднее романа Дидро многому научился у Стерна. Но, во-первых, Стерна называли «Рабле по ту сторону Ла-Манша», следовательно, свободная и просторная манера повествования была изобретена впервые не им и не в Англии. Во-вторых, Стерн сам подвергся большому влиянию французских просветителей. И, в-третьих, сказанное выше по поводу влияния английской философии на французскую — Вольтер, Монтескье, Ламетри и другие пришли к своему образу мыслей, не только прочтя такие-то книги, но прежде всего увидев в окружающей их жизни то, что не могло не привести их к этим мыслям, — в равной мере справедливо и по отношению к «Жаку-фаталисту» и чтению Дидро романа Стерна.

Конечно же, в первую очередь «чтение» и изучение жизни современной Франции побудили Дидро избрать такую форму для своего романа. Неприязнь к шаблонным литературным приемам, а главное, ощущение неустойчивости, переменчивости, зыбкости всего уклада французского королевства начала семидесятых годов, еще более глубокое, чем в «Племяннике Рамо», потому что это углубилось в самой действительности, невозможность передать все это в традиционной форме романа заставили Дидро пойти по

тому же пути, которым шел Стерн. Но если бы Стерна просто не существовало, разве «Жак-фаталист» не был бы написан и написан примерно так же?

Ведь это свободная композиция, и только она наиболее соответствовала столь характерному для Дидро, особенно к тому времени, динамическому, диалектическому восприятию мира — в движении, в развитии — его убеждению, что неизменна в природе только изменчивость. Недаром «Жак-фаталист» был написан вскоре после Даламберовой сюиты.

К тому же эта форма давала автору возможность, так же как в «Племяннике Рамо», не только поспевать за стремительным движением жизни, но и самому включаться в действие, комментировать все происходящее, поворачивать сюжет так, чтобы можно было порассуждать о религии, о старом порядке, о французском народе, о правосудии, о нравах и обо всем остальном.

И, может быть, нигде теоретические положения реалистической эстетики Дидро, высказанные в рассуждении «О драматической поэзии», «Опыте о живописи», «Салонах», не получили такого образного воплощения, как в «Жаке-фаталисте».

Дидро требовал от художника: «Отправляйтесь в трактир, и там вы увидите человека в гневе. Ищите уличных сцен, будьте наблюдательны на улицах, в садах, на рынках, в домах, и там вы получите верное представление о правдивом движении и течении жизни».

Теперь он «отправился» во все эти места сам. И вот результаты: кого только нет в этом романе! Аббаты и мужики, судьи и подсудимые, аристократы и ремесленники, авантюристы и ученые, офицеры и проститутки, добропорядочные буржуа и кабатчики, солдаты и светские женщины... Все сословия, все профессии, калейдоскоп характеров, обстоятельств, происшествий, а все вместе — широчайшая картина предреволюционной Франции.

Но реалистическая программа Дидро противо-

стоит не только классицизму, а и натурализму. «Солнце художника не равняется солнцу природы, ибо во всяком поэтическом произведении есть доля лжи, границы которой не были и не будут определены». Под «ложью» следует понимать художественное преобразование, оно обязательно, и оно не противоречит стремлению к правде, то есть познанию жизненных закономерностей, и читатель сможет сказать: «Я не видел этого явления, но оно существует».

И роман освещен «солнцем художника». В нем все контрастно, сталкиваются противоположности, с одинаковой резкостью обозначены свет и тени, он написан маслом, а не пастелью, крупными мазками, а не кропотливой кистью. Это никак не копия жизни, но ее художественная картина. Поэтика «редких случаев», необычайное, окруженное обыденным и его раскрывающее, постоянно применяются в «Жаке-фаталисте».

Дидро здесь, больше чем где-либо, прибегает к приему гипотез — может быть, это объясняется так, а может, и иначе.

Не знаю, произошло ли это так-то или так-то, к примеру сказать: «не знаю, начал ли он с оправления юбок или с высвобождения ноги, но если судить о состоянии потерпевшей по ее крикам, то она была тяжело ранена...»

Воспользуюсь тем же приемом и скажу: не знаю, поступал ли Дидро так, опасаясь цензуры, или хотел вовлечь читателя в решение поставленных им вопросов, а заодно уже вовлекал его в забавную игру. Может быть, так, а может быть, и иначе. Во всяком случае, он сразу предупредил читателя о своем авторском праве свободно обращаться с жизненными фактами. Только Жак начал рассказывать хозяину историю своей любви, как автор прервал его для следующего заявления: «Вы видите, читатель, что я нахожусь на хорошем пути и что от меня зависит потомить вас и отсрочить на один-два-три дня рассказ о любовных приключениях Жака, разлучив его с хозяином и подвергнув каждого из них всевозмож-

ным случайностям по моему усмотрению. Что помешает мне женить хозяина и наставить ему рога? Отправить Жака на Антильские острова? Послать туда же его хозяина?..» и так далее и тому подобное. Дидро тут же подтрунивает над самим собой, в свое время отправившим Лизимона на Антильские острова.

Не только от «Побочного сына» и «Отца семейства», но и от «Племянника Рамо» «Жака-фаталиста» отделяет немало лет. И каких! Если Арну в редакционном вступлении так почтительно отзывался о панегиристе Ричардсоне, если в «Салоне 1767 года» Дидро разбирал столько *своих портретов,* то к 1774 году за плечами Дидро была уже блистательно законченная, несмотря на все препятствия, «Энциклопедия». Всей Европой была признана его слава «президента» литературной республики, главы философской школы материалистов. Не было той сферы умственной жизни, будь то философия, наука, литература, живопись, скульптура, архитектура, где авторитет его не был непререкаем для одних и с ожесточением не опровергался бы другими. А для него самого, больше чем когда-либо, не было ничего выше жизни и ничего враждебнее академизма.

Если «Племянник Рамо» и другие диалоги, художественные и философские, были написаны свободно, естественно, «как вышли из-под пера», то в «Жаке-фаталисте» Дидро просто демонстрирует читателю свою свободу художника, превращая ее чуть ли не больше, чем это делал Стерн, в литературный прием.

Именно поэтому, обходя все жанровые ограничения, Дидро пользуется приемами всех жанров. Вот сатира в одной из вставных новелл о бывшем хозяине Жака — капитане и его приятеле. Почему в их отношениях так, казалось бы, противоестественно сожительствуют любовь и ненависть? Это объясняется в конце: «Наши офицеры были просто два паладина, они опоздали родиться». Для Дидро дворянское понятие чести и дворянский обычай защищать честь на дуэли — анахронизм. Поэтому он и делает

обоих предметом жесточайшей сатиры. «Им часто делали замечания насчет странности подобных отношений (они то дрались, то обожали друг друга. — *А. А.*), я сам говаривал капитану — он позволял мне делать ему замечания: «Ну, а если, сударь, вы убьете его?» При этих словах он начинал плакать и, зажав руками глаза, бегал по комнате, как сумасшедший. А часа через два — смотришь, или он тащит приятеля раненого, или приятель его самого ведет окровавленного». В отступлении дается еще более точная формула странного поведения этих героев: «На всякое достоинство и на всякий порок приходит и проходит мода».

Нравы этой пары *необычайны,* потому что они преувеличены, как бы конденсированы, но эта необычайность, эта преувеличенность, эта конденсированность *подчеркивает обыденные* нормы старого порядка, которым автор противопоставляет зарождающийся новый в следующем рассуждении: «Дуэль повторяется в обществе во всевозможных формах между попами, судьями, литераторами, философами; у всякого ремесла есть свое оружие и свои рыцари. Борьба ведется в новых формах — вот что стало законом общества. Или ты победишь противника, или противник наступит тебе на горло и сделает тебя своим рабом. Через отдельное вскрывается смысл целого».

И Дидро вместе со своим героем блуждает по дорогам Франции, останавливаясь на крестьянских дворах и в трактирах, заглядывая на рынки и в судебные камеры, в притоны разбойников и на деревенские свадьбы, в дворянский замок и в городскую тюрьму, везде отыскивая и наблюдая эти формы борьбы.

Может быть, больше чем во всех его произведениях, в «Жаке-фаталисте» проявился истинный демократизм Дидро, любовь и сочувствие его к народу. Здравый смысл, трудолюбие, юмор, жизнерадостность принадлежат простонародным персонажам романа. Но и здесь истина не вступает в противоборство с добродетелью. Жак ранен. О нем заботится

бедная крестьянская чета. Но она не похожа ни на нарядных пейзан Буше, ни на приукрашенных селян Грёза. Муж не отказывает Жаку в лечении и уходе, но корит жену лишними расходами на этого постояльца.

И вместе с тем, нисколько не отступая от жизненной правды, Дидро показывает, что у простых людей человечности гораздо больше, чем у знатных. «Народ не бесчеловечен, будь у него возможность, он вырвал бы из рук правосудия несчастного, вокруг эшафота которого столпился... Народ страшен в бешенстве, но оно длится недолго... Собственная нужда сделала его сердобольным...» — говорится в романе, и это правда. Жак отдает последние су бедной женщине, разбившей кринку молока, и она при случае платит ему добром за добро, но и в том и в другом нет ничего приукрашенного.

И такая же правда — хитроумные интриги и издевательства, лицемерие и коварство, карьеризм, корыстолюбие, которыми щедро наделены в романе все духовные лица, старые «приятели» Дидро. Но их похождения недаром описаны Жаком, и благодаря этому и в этих эпизодах книга полна народного юмора, жизнелюбия, оптимизма, поистине раблезианского. Жака не раз называли французским Санчо Панса. Но он пошел дальше своего испанского предшественника. Отделяющие их друг от друга почти два столетия сделали его и храбрее и умнее, даже философичнее, независимее, чем герой Сервантеса. Не хозяин командует им, а он — хозяином, это уже от XVIII века. От XVIII века и то, что в хозяине нет ничего от Рыцаря Печального Образа, мечтателя, борца за справедливость, пусть она и принимает у Дон-Кихота форму борьбы с ветряными мельницами. Хозяин Жака — безвольное и трусливое создание; оставаясь один, он коротает время тем, что беспрестанно глядит на часы и нюхает табак. Он все время ищет общества Жака, чтобы позабавиться его рассказами. Это тоже от XVIII века.

XVIII век, точнее — вторая половина и даже последняя треть его, — это и вставная новелла о ма-

дам Помре, приведшая в восторг Гёте и Шиллера. Маркиза де Помре ревнует маркиза, настояниям которого уступила, и терзается его охлаждением. Поэтому, как ни парадоксально это звучит, она и толкает маркиза на сближение с мадам д'Энон. История ее своеобразной мести разработана очень живо и естественно. Рассказ об этом трактирщицы столь же естественно перебивается всем, что и должно входить в ее жизнь — хозяйки трактира и жены своего мужа. То — «Сударыня!» — «Что тебе?» — «Почтарь пришел». — «Отведи его в зеленую комнату», то — «Сударыня!» — «Что тебе?» — «Монах за подаянием». — «Дай ему двенадцать су за этих господ, шесть за меня и пусть обойдет остальные номера». То — «Жена!» — «Что тебе?» — «Ничего».

Месть маркизы де Помре, то, что она делает вид, будто охладела она, а не маркиз, приводит к тому, что ее неверный любовник говорит: «Вероятнее всего, чем дальше я зайду в своих приключениях, тем больше вы выиграете от сравнения, и я вернусь более влюбленным, более нежным, более убежденным, чем когда-либо, в том, что мадам де Помре единственная женщина, созданная для моего счастья; а после моего возвращения можно биться об заклад, что я останусь при вас до конца моей жизни».

И тем не менее остается неизвестным, обрел ли постоянство маркиз, станет ли правдой то, о чем, играя, говорит мадам де Помре, что, вернувшись к ней, он, возможно, ее не застанет: «вдруг я почувствую склонность, каприз, даже страсть к кому-нибудь, кто вас не стоит». Нет ничего абсолютного и вечного в человеческих отношениях.

Эксцентричные характеры героев, неожиданные повороты их судеб вовсе не причуда автора и даже не поиски необычайного, чтобы подчеркнуть обыденное. Это природа! «Природа так разнообразна, особенно в инстинктах и характерах, что нет той фантазии поэта, которую опыт и наблюдение не открыли бы нам в природной действительности».

LA RELIGIEUSE,

PAR DIDEROT;

NOUVELLE ÉDITION,

ORNÉE DE FIGURES,

ET OU L'ON TROUVE UNE CONCLUSION.

TOME PREMIER.

A PARIS,

Chez { DEROY, Libraire, rue Haute-Feuille, n.° 34, au coin de celle des Poitevins.
MOLLER, Imprimeur-Libraire, rue des Francs-Bourgeois, n.° 129, place Michel.
MONGIE, l'aîné, Libraire, Palais-Egalité, galerie de bois, n.° 224.

Et à Belleville, chez DUPRÉEL, Graveur, rue Franciade n.° 122.

AN VII DE LA RÉPUBLIQUE.

Титульный лист первого французского издания «Монахини».

Но нужно было и желание их открыть и искусство их передать.

Искусство засвидетельствовал Гёте. «Жака-фаталиста», написанного позже, он прочел гораздо раньше, чем «Племянника Рамо». Уже вскоре после того, как роман был написан, по Германии ходило около двадцати его списков, как ходили они и по другим европейским странам. В одном из своих писем 1780 года Гёте сравнил это поистине прекрасное произведение с тонким и изящным кушанием, приготовленным и сервированным с большим искусством.

И «Жак-фаталист» впервые был напечатан в немецком переводе. Только на этот раз первым переводчиком оказался другой великий поэт. Увы, тоже посмертно, хотя и вскоре после кончины автора, Фридрих Шиллер перевел и издал отдельной брошюрой под названием «Месть женщины» один из лучших эпизодов романа — историю маркизы де Помре. В 1792 году вышел и полный немецкий перевод «Жака-фаталиста», сделанный неким Мелиусом.

Для того чтобы издать на родине автора оригинал романа, французский институт, созданный в 1794 году с целью собрать и издать многочисленные разбросанные по Европе и утерянные во Франции рукописи отечественных писателей, обратился к брату Фридриха II, принцу Генриху Прусскому, с просьбой о передаче одной из имеющихся у него копий «Жака-фаталиста». Отсюда нетрудно заключить, что во Франции ни оригинала, ни копий найти не удалось. Принц этот интересовался французским Просвещением и был обладателем нескольких ценных рукописей и копий рукописей энциклопедистов.

Принц просьбу удовлетворил. Благодаря августейшей любезности роман вернулся, наконец, на родину и в 1796 году был издан на французском языке. С тех пор он много раз переиздавался и был переведен на основные европейские языки. Советский читатель хорошо знаком с Жаком и его хозяином.

VII Отец

Февраль 1765 года. Санкт-Петербург. Четвертый год царствования Екатерины II. Министр ее императорского величества Иван Иванович Бецкой читает письмо «имевшего честь знать генерала во время пребывания его во Франции» Фридриха (Фредерика) Мельхиора Гримма, издателя «Литературной, философской и критической корреспонденции», августейшей подписчицей которой состоит императрица. Она и без «Энциклопедии» не может прожить ни одного дня, хотя и видит в ней большие неточности, и даже, едва вступив на престол, предлагала перевести издание в Россию.

Может ли Бецкой невнимательно отнестись к письму Гримма, тем более что речь в нем идет не о ком ином, как о главном редакторе «Энциклопедии»?! Корреспондент императрицы пишет: «Философ Дидро после тридцати лет литературного труда вынужден продать свою библиотеку, чтобы приготовить приданое своей единственной дочери». Гримм просит Бецкого предложить эту библиотеку Екатерине II.

Просьба не просто удовлетворяется. Хотя ответа пришлось пять недель подождать, зато он превзошел все ожидания.

16 марта 1765 года Бецкой писал Гримму: «Постоянное покровительство, которое ее августейшее величество оказывает наукам, и ее особое расположение к ученым позволили мне подробнейше изложить моей повелительнице мотивы, которые согласно вашему письму побуждают м. Дидро продать его библиотеку. Ее чувствительное сердце не могло остаться равнодушным к тому, что философ, столь знаменитый в литературной республике, движимый родительской нежностью к предмету его забот, на-

шел нужным отказаться от источника своих трудов и спутника своих чтений.

Ее императорское величество, чтобы выразить свое благоволение к Дидро и поддержать продолжение его деятельности, поручила мне предложить за эту библиотеку вознаграждение в пятнадцать тысяч ливров с единственным условием, чтобы он пользовался своими книгами, пока государыне не заблагорассудится их спросить». Тут же Бецкой сообщал о распоряжении, отданном полномочному министру Екатерины в Париже, князю Голицыну, немедленно выплатить Дидро шестнадцать тысяч ливров, с тем что сверх пятнадцати тысяч он будет получать еще по тысяче ливров ежегодно.

Эти два письма повлекли за собой множество других. 14 апреля Вольтер, узнав о происшедшем от своего парижского агента Дамилавилля, писал ему: «Отвечая на ваше письмо от 18-го, обнимаю нашего Платона — Дидро... Обнимаю также императрицу всея Руси. Мог ли кто-нибудь предполагать пятьдесят лет тому назад, что придет день, когда скифы проявят такое благородство по отношению к добродетели, науке, философии, так постыдно третируемым у нас?»

Несколькими днями позже Дидро отправил два почти одинаковых письма: государственному секретарю по иностранным делам, герцогу де Пралину и министру двора графу Сен-Флорентену, прося обоих представить его ходатайство на высочайшую подпись.

В этих письмах снова были изложены причины, вынудившие его к продаже библиотеки: «Трудности приобретения средств к существованию и невозможность обеспечить приданое своему дитяти, с фортуной такой же, как у меня, заставляют отца и супруга лишить литератора его книг. Уже давно я искал среди своих соотечественников кого-нибудь, кто захотел бы их приобрести. Не найдя таковых, я попросил Гримма предложить императрице России купить мою библиотеку...

Я не знаю, должен ли я считать эти сто пистолей пенсией или гонораром, но понимаю, что подданный

его величества не имеет права принять пособие из-за границы без дозволения своего короля».

К этим письмам прибавилось еще два: оба ответа последовали через восемь дней. На этот раз ржавая бюрократическая машина сработала без промедлений. Людовик XV любезно разрешил Дидро воспользоваться благодеянием Екатерины II.

Но и на этом переписка, вызванная намерением Дидро продать свою библиотеку, не кончилась. 4 мая некий Ланикс, знакомый Руссо, писал ему о покупке Екатерины II — правда, он ошибочно назвал законную дочь Дидро побочной. Еще через две недели он же сообщал в Женеву: «На днях я встретил Дидро. Он доволен хорошей авантюрой — сохранить свои книги, называться библиотекарем Екатерины и получать ежегодную пенсию в тысячу ливров...»

Дидро и в самом деле был рад. 10 мая он вслед за изъявлением восторгов по поводу избрания Даламбера в академики, восторгаясь императрицей, писал старому другу: «Вы знаете, что она сделала? Она ее (библиотеку. — *А. А.)* приобрела, она заплатила за нее столько, сколько я назначил, и она все это сделала с такой деликатностью, с таким тактом... Если у вас будет случай... присоедините свою благодарность к моей...»

Даламбер не преминул поблагодарить императрицу. Так же поступил и Вольтер.

Один превосходил другого в восторгах не только перед «благодеянием» Екатерины II, но и перед Дидро, которому оно было оказано. Это один из примеров того, как «ей настолько удалось ввести в заблуждение Вольтера и других, что они воспевали «Северную Семирамиду» *(Энгельс)*.

Даламбер писал: «Вся литературная Европа рукоплещет, государыня, отличному выражению уважения и милости, оказанными вашим величеством Дидро. Он заслуживает этого во всех отношениях своими достоинствами, своими дарованиями и своим бедственным положением. Издавна связывающая нас дружба заставляет меня живо разделить его призна-

тельность, и я умоляю ваше императорское величество принять мою всепокорнейшую благодарность за то, что вами сделано для Дидро, для философии и литературы».

Вольтер, со своей стороны, в изысканнейших выражениях благодарил Екатерину II и писал, что «все писатели Европы должны пасть к стопам ее величества».

Екатерина ответила им почти одновременно и почти в одних и тех же выражениях. Она скромничала: «Никогда бы я не подумала, что покупка библиотеки Дидро сможет навлечь на меня столько похвал; но согласитесь, это было бы и жестоко и несправедливо разлучить ученого с его книгами», — писала она обоим. Даламберу же она еще и рассказала один факт из собственной биографии, им объясняя свое благодеяние. Оказывается, ей самой часто угрожали, что у нее отнимут ее книги. Поэтому-то она и не захотела причинить такую же неприятность мосье Дидро.

Ничего не скажешь: спектакль был разыгран прекрасно!

Так эти пожелтевшие письма рассказывают, как Дени Дидро стал библиотекарем ее императорского величества.

На этом, однако, история не кончилась. Загляните в мемуары мадам Вандель — для ее приданого все это и было затеяно — и узнаете, что жалованье, назначенное Дидро, «нарочно забывали выплачивать в течение двух лет». Но стоило философу об этой забывчивости напомнить, как ему прислали из России пятьдесят тысяч франков, якобы жалованье за пятьдесят лет вперед, что было уже явным подарком; вряд ли Екатерина II предполагала, что Дидро проживет больше ста лет.

Многое переплелось в истории о том, как француз-вольнодумец стал библиотекарем и философом русской императрицы.

Вот как Дидро объясняет уже не герцогу де Пралину или графу Сен-Флорентену, а Софи, — а это то же, что самому себе, почему он решился

продать библиотеку: «Состояние мое было весьма ограничено, необходимость отдать часть его в приданое дочери, когда настанет для нее пора замужества, тревожила меня, ибо раздел возможен был бы лишь при условии переезда в провинцию — в поисках заработка, или голодания в Париже, и это, по-видимому, обрекало меня на работу до глубокой старости, когда человек становится немощен и нуждается в покое».

Здесь скрестились две причины: действительная необеспеченность и общественный предрассудок, а точнее, реальная невозможность выдать дочь замуж без приданого.

Мнимая же покупка библиотеки объяснялась тем, что Екатерина II нуждалась в энциклопедистах, чему, в свою очередь, был целый ряд причин.

Но в этой игре участвовала еще одна карта: отцовская любовь. О ней свидетельствует не только принятое Дидро решение пожертвовать своей библиотекой, но и многое другое.

Однажды Анжелика заболела. Не очень серьезно, что Дидро превосходно понимал. Он написал Софи: «Это пройдет, но случится другое, а отцом бываешь каждый день».

Он говорил правду. Загляните в его письма — дочери, жене, Софи, Гримму, и вы поверите. Те его биографы, которые говорили, что занятия философией, политикой, литературой не оставляли ему ни времени, ни сердца для отцовских чувств, скромно говоря, ошибались.

И для этого не требовалось даже испытаний. Разве детям нужно болеть и умирать, чтобы обнаружилась родительская любовь? Когда однажды заболела племянница Софи, дочь мадам Лежандр, Дидро с возмущением опровергал этот трюизм в письме к своей подруге: «Какая глупость! Неужели необходимо принести в жертву невинное и чувствительное существо, чтобы вызвать сострадание другого, вырвать жалобы и стоны из уст его, сделать обоих несчастными, чтобы убедиться в доброте одного из них?»

У Дидро было четверо детей. Выжила одна Анжелика, родившаяся 2 сентября 1753 года, когда ему самому должно было вот-вот исполниться сорок. Двухмесячный Дени Лорен умер, когда отец сидел в Венсеннском замке, пятилетний Жак Франсуа Дени — 30 июня 1750 года. В начале сентября того же года Анна Туанета родила третьего сына. Этот не дожил и до крестин. Младенца уронили на лестнице церкви Сен-Этьен дю Монт, и он тут же отдал богу душу.

Приходится ли удивляться, что вся отцовская любовь — а ее с избытком хватило бы на четверых: сердце этого человека было так же обширно, как и ум, — сосредоточилась на одной Анжелике?! В 1768 году он писал Софи: «Мне кажется, я умер бы с горя, если бы потерял этого ребенка: не могу вам выразить, как я ее люблю».

Стоило девочке заболеть, он заболевал вместе с нею. Появлялась ли краснота в ее горле, или случалась рвота, это немедленно отражало зеркало его души — письма к Софи. К счастью, Анжелика мало болела. «Эта шалунья сорвала себе ноготь с большого пальца ноги. Для всякого менее здорового ребенка это представило бы большую опасность. Она же пролежала в постели только один день», — писал отец шалуньи своей подруге 21 ноября 1760 года.

Но гораздо больше, чем здоровье дочери, Дидро беспокоило ее воспитание. Стоило хоть немножко его запустить, как начинала «болеть душа».

Если бы он воспитывал ее один! Если бы он не вынужден был ежедневно, ежечасно бороться с противоположным влиянием! Девочка родилась с хорошими задатками, была недурна собой (еще бы, и отец и мать достались ей красивые!), «отличалась способностями к различным упражнениям, как телесным, так и умственным». С какой тоской Дидро писал Софи: «Урания или ее сестра сделали бы из нее существо удивительное. Но мать, овладев дочерью, никогда не потерпит, чтобы я сделал для нее что-нибудь. Ну что ж, она будет походить на тысячи других. И ес-

ли она выйдет замуж за дурака — а ведь сто шансов против одного, что именно так случится, — пожалуй, она будет этим меньше недовольна, чем в том случае, если бы хорошее воспитание сделало ее более требовательной».

Так писал он в минуту отчаяния. На самом же деле он беспрерывно боролся за дочь, и эта его борьба, повседневная, изнурительная, была частью той общей борьбы, которую вел он с фанатизмом, суеверием, предрассудками, порабощением человека во имя свободы, просвещения, равенства, раскрепощения и гармонического развития личности. Борьба велась с переменным успехом. То он в припадке безнадежности писал Софи: «Большую же часть вечеров я посвящаю друзьям, развлечениям, прогулкам и воспитанию Анжелики, из коего, надо сказать, ничего не выйдет, ибо в одну минуту заглушается то, что посеяно мной в течение месяца». То — в следующем письме того же 1762 года: «Моя Анжелика не пойдет в монастырь, это я твердо решил про себя. Я думаю, что она будет клавесинисткой, у нее есть слух и появится беглость». И не раз еще он вернется в своих письмах и к Софи и к другу Гримму к мысли сделать из дочери музыкантшу. В 1767 году — «Заставил дочку поиграть на клавесине», несколько позже — «Стала играть на всех инструментах, как ангел».

Но это уже результаты. Анжелика не играла бы как ангел на всех инструментах и даже на одном клавесине в 1767-м, если бы в 1762-м между отцом и дочерью не велось бы разговоров, подобных этому. «Анжелика, мне кажется, что пассаж вас затрудняет. Посмотрите-ка в ноты!» — «В них ведь не указаны пальцы, а это как раз меня и затрудняет». — «Анжелика, вы пропустили такт». — «Как я могла его пропустить, ведь я еще держу аккорд?»

Передавая этот разговор Софи, Дидро пишет: «Я очарован своей дочуркой, она так рассудительно относится ко всему, что делает».

Но чем больше восхищался Дидро своей дочерью, тем больше он досадовал, что воспитание так мало

соответствует ее природным склонностям и... его педагогическим устремлениям.

«Какая прелестная женщина вышла бы из нее... Но она день-деньской только и слушает, что сплетни да глупости, и что бы я ни сделал в будущем, все равно останутся следы ее первоначального дурного воспитания».

Опять и опять он возвращается к мысли, как было бы прекрасно, если бы Анжелика была дочерью не своей матери, но мадам Лежандр: ему очень нравилось воспитание, даваемое Уранией ее дочери Эмилии. Он видел в своей девочке тонкость чувств, расходуемую не по назначению. Будь она дочерью мадам Лежандр, какую бы радость испытала та, если бы девочка бросилась к ней со словами: «Я вижу, что ты сердишься, потому что ты целуешь меня не от всей души»! Разве могла это оценить Анна Туанета?!

И все-таки многого ему удавалось добиться. Как он был счастлив, как безумно влюблен в свою дочь, когда она говорила, что «мама ее молится богу, а папа делает добро», сравнивала образ мыслей отца с его сапожками, «которые надеваются не для щегольства, а для тепла...». Или сознавала, что «мы иногда избегаем поступков, которые нам могут принести пользу, но вредят другим, вроде того, как, любя чеснок, не едят его, потому что он дурно пахнет». Признавалась, что будь она матерью многочисленной семьи и окажись среди ее детей один очень, очень дурной ребенок, она не решилась бы взять его за ноги и сунуть головой в печку. И все эти здравые мысли она успела высказать в течение полуторачасовой беседы в ожидании обеда, а было ей тогда пятнадцать лет.

И тогда же, убедившись, что она чрезвычайно развита и его уроки пошли ей в пользу, Дидро решился на поступок, еще столетие спустя вызывавший негодование ханжей. В одно из воскресений жена попросила его погулять с дочерью. Если бы добродетельная Анна Туанета могла предвидеть, на что употребит ее муж эту прогулку! Если бы она знала, что он решит открыть Анжелике все касающееся жен-

щины и начнет с вопроса, знает ли она, чем отличается один пол от другого. И в этом разговоре и в других он объяснял дочери, что природа главный законодатель и нарушать ее законы безнаказанно нельзя. Но одно дело — свобода чувств, совсем иное — опасные пустые увлечения. В ту же воскресную прогулку он растолковал Анжелике смысл любезностей, с какими часто обращаются к женщинам.

«Это значит, — сказал отец дочери, разоблачая подобного рода любезников, — не угодно ли вам, мадемуазель, из расположения ко мне, обесчестить себя, утратить положение, вами занимаемое, удалиться от общества, заточить себя навсегда в монастырь и свести в могилу отца с матерью?»

Он тогда же дал Анжелике читать Вольтерова «Кандида», и она до упаду хохотала над уроками по «экспериментальной физике», которые Панглосс в роще давал Пинетте. Нетрудно догадаться, что это были за уроки. Но самое Анжелику отец от подобных уроков предостерегал.

И тем не менее, как только она подросла, в Париже его попечением открылись медицинские курсы для женщин. Дидро посылал туда дочь, сам посещая такие же курсы для мужчин.

В «Племяннике Рамо» Дидро говорит, что обучает свою дочь танцам «не больше, чем надо, чтобы сделать реверанс, выступать с достоинством, иметь грациозную осанку; гармонией, и то, если бы нашелся хороший преподаватель, он поручил бы ему заниматься с ней часа два в день в течение одного-двух лет, не больше».

Рамо спрашивает, чем Дидро бы заменил упраздняемые им предметы. Следует ответ: «Грамматикой, мифологией, историей, географией и главным образом — моралью». Здесь неточно то, что относится к музыке, но совершенно точно то, что относится к наукам и морали. Такой же перечень занятий девочки дан в его письмах. В то же самое воскресенье он, объясняя дочери, что надо и что не надо говорить, внушал ей — должно слушаться матери, какой черной неблагодарностью отплачивают иные дети, огор-

чая ту, которая рисковала своей жизнью, чтобы дать жизнь им; ему Анжелика обязана любовью и благодарностью только как благодетелю, иное дело — мать. В этот день он посвятил девочку в тайну материнства. Как же важно было укрепить в ней уважение к матери, какой бы ее мать ни была!

Но и на этом разговор не кончился. Объяснив дочери истинную основу приличий, он указал ей на необходимость скрывать некоторые части тела, вид которых склоняет к пороку. Словом, открыл ей все, что можно было открыть, не оскорбляя благопристойности. Не удивляйтесь! Ведь это XVIII век.

И Анжелика поняла его правильно. Выслушав отца, девочка заметила: теперь, когда ей все известно, вина ее, если она совершит проступок, будет особенно тяжелой, потому что этот проступок нельзя будет извинить ни неведением, ни любопытством. И еще она сказала, что, хотя никогда еще не думала о таких вещах, рано или поздно пришла бы пора ее просветить и, когда ей придет в голову фантазия подумать о замужестве, до сих пор подобная мысль ей в голову не приходила, она не станет скрываться, а скажет без обиняков: «Папа, мама, выдайте меня замуж», — и ей не будет нисколько стыдно.

Дидро прекрасно понимал необычность такого разговора отца с дочерью, почему и посоветовался с несколькими благоразумными людьми. Все они сочли, что он поступил правильно. Не потому ли, что советовался он задним числом и они решили не порицать того, что нельзя исправить?

На этом воспитательные беседы отца с дочерью не кончились. В одну из прогулок Дидро старался внушить своей девочке, что всякая добродетель или всякий добрый поступок вознаграждается дважды: удовольствием, которое доставляет его совершить, и удовольствием от благожелательности тех, для кого он совершен. Всякий же порок или всякий дурной поступок наказывается тоже дважды: одно наказание мы испытываем в глубине собственного сердца, другое — это то порицание, которое мы вызываем в людях.

Это был отнюдь не отвлеченный и потому бесплодный разговор. Перебрав все добродетели, отец указал дочери на завистника с бледным и худым лицом и ввалившимися глазами, на обжору с хроническим расстройством желудка и печени, сладострастника с астматическим дыханием и следами многих неудобопроизносимых болезней, от которых либо совсем нельзя вылечиться, либо в ущерб излечению от других болезней. Правда, не совсем ясно, встречались ли им носители всех этих пороков тут же по пути, во время прогулки, или Дидро рисовал их словесные портреты.

Мало того, Анжелика постепенно проникалась образом мыслей отца и все лучше понимала, что он за человек. Дидро восторгался: как прекрасен путь, по которому самостоятельно следует его дитя. На самом же деле, не он ли указывал ей дорогу? Однажды он рискнул спросить Анжелику, что такое душа. «Душа? — переспросила она. — Но ведь, создавая плоть, создают и душу». И тут же девочка добавила, что если человек бессмертен, а животное, издыхая, погибает навсегда, и истинный разум — то превосходство, которое отличает человека от животного, то она сама должна исчезнуть бесследно, так как между нею и отцом разница еще больше, чем между ею же и животным.

Дидро был счастлив тем, что Анжелика дружна с Гриммом, постоянно получает от него книги, ноты. Он даже, конечно шутя, прочил Гримма себе в зятья. Вот если бы Гримм женился на его сестре Денизе, он, вероятно, был бы доволен...

А как он обрадовался, узнав, что во время его поездки в Голландию и Россию Анжелика подружилась с Софи!

Но она была не только умницей, начитанной, эта «малютка», она была еще и кокеткой. Однажды Анжелика собиралась на прогулку. Отец спросил, что она надела на голову, ведь эта шляпа величиной с тыкву (оказывается, она называется «коляской») и ее из-под этого сооружения совсем не видно. «Тем лучше, будут больше смотреть!» — «А тебе нравится,

когда смотрят?» — «Пожалуй, большого неудобства я в этом не вижу. Один говорит: недурна, другой: мила, третий: красива. Вернешься домой, а в ушах все эти ласковые словечки, и так приятно, приятно!»

Все это значило, что Анжелика стала взрослой. Пришла пора, когда понадобилось приданое, о котором ее отец так заблаговременно позаботился. Теперь, по собственному свидетельству, он располагал состоянием в двести тысяч франков. Сын старых друзей и земляков семьи Дидро — мать его была подругой Денизы, — мосье Каруайон де Вандель три раза еще в 1770 году приезжал из Лангра просить руки Анжелики у ее отца. Два раза он уезжал, не сказав ни слова, и только на третий решился заговорить. Дидро ответил, что дело это требует размышления, что он не может ничего решить, пока не поговорит с матерью и дочерью, с дядей и тетей, но прежде всего нужно, чтобы молодой человек нравился самой Анжелике. С одной стороны, она слишком добрая дочь, чтобы упорствовать в выборе жениха, которого отец счел бы неподходящим, но, с другой стороны, он слишком добрый отец, чтобы навязать ей человека, который был бы ей неприятен. Дидро разрешил Каруайону, пока он в Париже, видеться с Анжеликой, а вернувшись в Лангр, пусть удостоверится в согласии своей матушки.

Отчего Дидро так нерешителен и изъясняется так туманно, словно выделывает па замысловатого танца? Не оттого ли, что ему так страшно расстаться с дочерью, и обыкновенное замужество с приданым и всеми прочими аксессуарами — то ли, о чем он для нее мечтал? Да еще и неизвестно, тот ли человек Каруайон, который должен стать мужем его дорогой девочки.

Впрочем, когда молодые люди увиделись, Дидро поверил, что они полюбят друг друга, жених показался ему и рассудительным, и разумным, и, что не менее важно, здоровым. Что же до его состояния, это отнюдь не то, что Дидро больше всего ценил. Если молодые будут вести себя разумно, они будут достаточно богаты, если же они окажутся беспут-

ными, то при всех богатствах мира они будут несчастны и бедны.

Гораздо больше Дидро беспокоит то, что оба слишком молоды: Каруайону — двадцать четыре, Анжелике только семнадцатый. Он хочет отложить свадьбу на два года, и она откладывается. Мало того, свадьба могла бы и совсем расстроиться, потому что жених торгуется. Для влюбленного он слишком заботится о своих интересах. У Анжелики и так, когда она соберет все то, на что может рассчитывать — из сбережений отца, из его заработков, от родных, — будет сто тысяч экю. Дидро удерживает только данное слово, иначе он отказал бы Каруайону.

Но он не отказывает, и начинаются мучительные для него подсчеты, расчеты, деловая переписка, свидетельство матери жениха о состоянии ее сына и, наконец, брачный контракт, а в середине 1772 года — свадьба.

Казалось бы, Дидро должен радоваться, а он горюет. Он пишет Гримму 19 сентября: «Друг мой, я остался один. Я в отчаянии... и не перестаю ощущать свое одиночество... Я, конечно, не хотел бы умереть накануне свадьбы моей дочери, потому что тогда свадьба не состоялась бы. Но на следующий день у меня была такая жажда покоя, что тот покой, который никогда не кончается, мне показался бы великим счастьем...»

Он пишет Денизе 25 сентября: «Бедная сестра моя, не могу сказать, чтобы я был счастлив. Я так много выстрадал за последние два или три месяца, что долго буду помнить об этом, а мое теперешнее положение мало способно утешить меня. У меня нет больше моей девочки, я один, и мое одиночество для меня непереносимо. Родители, лишающиеся своих детей, чувствуют себя близкими, беседуют между собой, поддерживают друг друга. У матери остается общество отца, у отца — общество матери. У нас же никого нет. Мы с мадам Дидро ходим один около другого, но мы друг для друга не существуем».

И, выдав дочь замуж, Дидро продолжает каждый день быть отцом. Единственное утешение он находит

в том, чтобы «отправляться в гнездышко новых пташек и приносить туда какое-нибудь новое перышко или недостающую соломинку». То эти «перышки» — новая кофейница, то тридцать фунтов кофе... А представьте себе «соломинку» в виде шести возов дров!

Он хочет, чтобы его девочка не дала заглохнуть своему таланту, чтобы у нее было двое учителей, один по аккомпанементу и гармонии, второй по игре. Он сам будет их оплачивать, только бы она училась. Он хлопочет о месте для зятя. Он доволен тем, что они добры к нему, платят ему любовью.

Но это еще только начало. Пройдет несколько месяцев со дня их свадьбы. И вот уже он в отчаянии от того, что под угрозой все плоды его воспитания. В декабре 1772 года пишет Гримму: «Я приучил свое дитя к размышлениям, чтению, к радости уединенной жизни, к презрению к пустопорожним мелочам, на которые уходит вся жизнь женщин, к скромной одежде, любви к музыке и всяким хорошим вещам. А этот господинчик желает, чтобы его жена с самого утра была разодета, как кукла, и чтобы весь ее день уходил на то, чтобы прельщать его.

Друг мой, мою девочку стараются превратить в глупышку, пошлую, нелепую, которая скоро будет уметь только хорошо делать всякие финтифлюшки, жеманиться, злословить и улыбаться. Это приводит меня в отчаяние, мой друг».

Борьба продолжается, и уже не только с мадам Дидро, но и с мосье Каруайоном, с обществом, в котором живет его дочь.

А сколько еще впереди тревог! У Анжелики выкидыш... Анжелика рожает, и как раз тогда, когда отец ее так далеко, в России.

Его отцовская любовь неизменна. А то, что из Анжелики получилась не только дочь Дидро, но и дочь Анны Туанеты, мадам Каруайон де Вандель, — в этом вина времени и обстоятельств.

Возможен был еще вариант ее судьбы, к счастью, не сбывшийся.

Аббат Дидье Пьер требовал, чтобы Анжелику отдали в монастырь. И какую же борьбу пришлось

Дени Дидро выдержать со своим братом! 13 ноября 1772 года, когда Анжелика была уже замужем, он писал аббату: «В числе поставленных вами условий нашего примирения было требование, чтобы я поместил свою дочь в монастырь. Вы знали, что я не буду так глуп, чтобы принять его...»

VIII Возлюбленный

«Ах, если бы я мог быть таким же жалким любовником, какой я жалкий отец и жалкий муж! Как видите, я не смягчаю выражений. Это потому, что когда доходит до того, что открываешь душу перед другом, не следует раскрывать ее лишь наполовину».

И вот она, душа Дидро, раскрытая им в июле 1767 года другу Фальконе: «Что же я вам скажу? Что у меня есть подруга, что я связан самым сильным и самым нежным чувством с женщиной, которой я посвятил бы сто жизней, если бы они у меня были...» Дальше идут слова — мы их уже знаем — о том, что его дом мог бы сгореть дотла, свобода его могла быть в опасности, жизнь висеть на волоске, он не будет жаловаться, лишь бы она осталась у него. «В ее объятиях я жаждал не своего, а ее счастья! Я никогда не причинил ей ни малейшей неприятности, и я предпочел бы, я думаю, умереть, лишь бы не заставить ее пролить хотя бы одну слезу. При очень чувствительной душе у нее очень слабое и деликатное здоровье. Я так нежно любим ею, и цепь, которая нас обвивает, так тесно сплетена с тонкой нитью ее жизни... Я не думаю, что можно было бы затронуть первую, не рискуя оборвать вторую».

Так он пишет Фальконе о своей любви к Софи Волан, объясняя, почему не может выехать в Россию,

куда настойчиво зовет его друг, повторяя приглашение Екатерины II. «Ты хочешь, чтоб я вдохнул смерть в душу моей подруги? Вот о чем идет речь, вот великое препятствие, и мой Фальконе может понять силу этого препятствия. У меня две государыни, но моя подруга — первая и более давняя. Такими словами я говорю о ней после десяти лет. Призываю небо в свидетели, что она мне столь же дорога, как некогда. Призываю его в свидетели, что ни время, ни привычка, ничто из того, что обычно ослабляет страсти, не оказало никакого влияния на мою страсть, что с тех пор, как я ее узнал, она была для меня единственной женщиной в мире...

А если она умрет? У меня голова кружится при мысли об этом. Я не переживу ее, — нет, я уверен в этом! Ах, мой друг, благодеяния императрицы очень важны, очень ценны! Но не приближай своими советами момента, когда... Ах, мой друг, ах, великая императрица, простите мне оба! Но я люблю, и ничто на свете не может для меня сравниться со счастьем, с любовью, с жизнью моей подруги, если я умею как следует любить».

Да, он умел любить. Ведь речь шла не только о новых благодеяниях императрицы и о благодарности за благодеяния, ею уже оказанные. Тогда жертва была бы еще не так велика. Фальконе звал его приехать работать с Екатериной II для блага, которое она хочет принести, для блага народа. А что могло быть для Дидро важнее? Правда, у него были сомнения, сможет ли он, который всегда все говорит напрямик, с его душой нараспашку, ужиться при дворе? И он вместо себя предлагает друга, обладающего сверх качеств, имеющихся у него самого, еще многими другими, мудрее его, разумнее его. «...В моральном пластическом искусстве он является тем же, чем вы являетесь в механическом пластическом искусстве», — писал он Фальконе, явно имея в виду Гримма.

И эти сомнения он бы, вероятно, преодолел. Но любовь?! Ею он ни за что не хотел жертвовать. Он предлагал Фальконе из того, что было сказано, доверить императрице то, что ему будет угодно. «Ес-

ли вы не считаете возможным сказать ей, что ее философ и друг безумно влюблен, скажите ей, и это будет правда, что мне остается еще выпустить четыре тома моего большого труда, что я связан с коммерсантами, которые на основании моего слова вложили все свое состояние в одно это предприятие, что никто не может меня заменить — ни к кому другому ни они, ни публика не будут относиться с таким доверием, что четыре или пять тысяч граждан внесли значительные средства, которые они в любой момент имеют право потребовать обратно, что именно этому труду я обязан большей долей своей якобы знаменитости...»

Это и в самом деле было правдой. И даже не через восемнадцать месяцев — срок, указанный в письме, а через пять лет Дидро освободился от своих обязательств, выпустив последний, одиннадцатый том гравюр и таблиц.

Но опять-таки главным было не это. «И когда он будет свободен от всех обязательств перед издателями и публикой, останется одно обязательство, которое всегда будет для него свято...» Обязательство сердца.

Так он понимал любовь и так чувствовал. «Когда любишь женщину, надо быть безумно в нее влюбленным, как я безумно влюблен в вас», — писал он Софи в 1760-м. И таковы же были его чувства в 1767-м.

Его жестоко мучила необходимость сделать выбор между благодарностью к Екатерине и нежностью к Софи — он писал об этом и своей подруге. «Но, друг мой, верх всегда берете вы».

Он мог бросить к ногам русского посланника горсть золота, которую получил от него, — а она была так нужна ему, но был не в силах расстаться со своей подругой, которая не могла последовать за ним в Россию. Он объяснил Фальконе почему, но не полностью. Здесь были и привязанность к ее матери, к родным... Но если бы Софи была даже свободна, Дидро был женат. Это не написано, но подразумевалось.

Чтобы жертва, приносимая им, казалась не так велика, он пытается ее обесценить и пишет, что от дара императрицы стал не богаче, а беднее. (Впрочем, он и в другом письме признавался, что, получив

эти деньги, не стал счастливее.) Да еще и ехать за семьсот-восемьсот лье...

Но тут же он проговаривается, рассказывая подруге: у Фальконе был соблазн переслать Екатерине II его письмо. А он, Дидро, только этого бы и хотел. И что нашла бы в этом письме императрица? «Что я люблю, люблю безумно».

Любовь его проявляется в крупном и в мелочах. Он неизменно боится огорчить Софи. Задерживаются его письма. Она волнуется, а Дени молит: пусть лучше думает, что он ленив, невнимателен, занят, чем мертв или болен.

Он заверяет свою подругу, что «не видит» ни одной женщины, пусть самой очаровательной, называет себя янсенистом и даже хуже, подразумевая аскетизм, пуританизм или что-нибудь еще в этом роде. Что говорить, если даже прелести молоденькой мадам Дэн, жены брата баронессы Гольбах, оставили его равнодушным?! Он презирает мимолетную нежность. За это в раю для любовников его поместят по крайней мере на второе небо. И это на одиннадцатом году их любви.

Пятьсот пятьдесят три письма написал Дидро своей Софи. Эти письма и вправду были зеркалом его души, его ума, его жизни. Он писал своей подруге обо всем, что происходило с ним, в нем и вокруг него. О важном и пустяках, о смешном и серьезном, о возвышенном и низменном. О философских разговорах с бароном и дядюшкой Упом и о проказах мадам Дэн. О новостях из Лиссабона и о последнем словечке Анжелики. О Ричардсоне и о своем пищеварении. О собачке мадам Эпинэ, Пуфе и о праздной роскоши Версаля. О том, что купил Софи и себе по дешевке, по тридцать семь су за фунт, кофе, и о сновидениях, которые хотел бы ей навевать. До нас дошло меньше двухсот его писем к Софи. Но и эти осколки огромного зеркала отражают его великую жизнь, его обширный ум, его большое сердце.

С 1754 года почти до самой смерти Дидро жил на углу улицы Таран и улицы Сен-Бенуа, снимая в доме бакалейщика Герена два этажа, четвертый и пятый.

Четвертый этаж был отдан его семейной жизни. Пятый — его работе, посещениям друзей, часам уединения, чтению, воображаемым свиданиям с Софи — письмам к ней. Мадам Дидро поднималась на пятый этаж редко, может быть никогда. Софи, ни разу не побывав на улице Бенуа, присутствовала в библиотеке и кабинете Дидро постоянно. И точно так же она жила с ним в Гранвале, в Шевретте, везде, где жил Дидро. Она сопровождала его, когда он ходил в Салоны, на спектакли Комедии, посещала с ним «дни синагоги», понедельники и среды мадам Жофрен, скромные сборища мадемуазель Леспинас.

До нас не дошло ни одно письмо Софи, как не обнаружен до сих пор томик Горация с ее портретом, и никто из современников и даже сам Дидро не оставили нам описания ее наружности. Мы так и не знаем, блондинкой ли она была или брюнеткой, высокой или маленькой.

Кроме прочтенного нами письма Гримма и отзывов безумно влюбленного Дидро, у нас нет и свидетельств об ее уме и сердце.

Андрэ Бии попробовал воспользоваться доказательством от обратного. Он напечатал в своей книге «Жизнь Дидро» несколько писем его жены, чтобы заключить: «мадемуазель в очках», как он называл Софи Волан, бесспорно, писала в ином стиле.

Вот начало письма Анны Туанеты ее золовке, Денизе. Прочтите его, и вы скорее всего согласитесь с Бии:

«Моя сестра,

Вы заставляете нас беспокоиться из-за отсутствия новостей о моем отце и о вас. Мой муж писал своему брату. И мы не дождались ничего ни от кого. Примите на себя труд написать нам...»

И дальше в том же духе. Остальные письма тоже не отличаются от этого ни богатством мыслей и чувств, ни отточенностью стиля.

Конечно же, подруга, для которой Дидро вел свой дневник, писал свою гранвальскую газету, рассуждал с ней о религии и философии, о Расине и о Стерне, о Грёзе и английской нации, посвящал ее во все свои планы, делил с ней радости и тревоги, поддерживал ее

и искал у нее опоры, должна была быть совсем иной женщиной, чем его жена.

Мы знаем о Софи Волан до ее знакомства с Дидро обидно мало. Первые сорок лет ее жизни покрыты для нас мраком неизвестности. Почему она не вышла замуж, любила ли кого-нибудь до него? Мать обращалась с ней и когда Софи было уже сорок три, как с девочкой.

Шел апрель 1757 года. Уже целую вечность Дидро не видел своей подруги. Приехала в Париж ее сестра. Увеселительные — для других — выезды, визиты, театры, прогулки, званые обеды отнимали у него Софи. Так прошло две недели. Им очень хотелось побыть вместе. И вот однажды Дидро отправился к Софи, поднявшись по маленькой лестнице. Приблизительно час они были вместе. Вдруг раздался стук. Стучала ее мать. Дидро не смог даже рассказать, что с ними, всеми тремя, сталось. Он и Софи стояли неподвижно, не будучи в состоянии произнести ни слова. Мать открыла ящик секретера, взяла какие-то бумаги и молча вышла. С тех пор она требовала, чтобы Софи поехала с ней в их имение.

«А там она зачахнет от тоски. Какое будущее нас ожидает!» — писал Дидро другу Гримму, поведав ему всю эту историю.

В другом письме он называет мадам Волан «сфинксом». В третьем — пишет, что он «в Гранвале, а Софи умирает в Париже». И это опять-таки потому, что мать увозит ее в деревню. В четвертом упоминает о семейной сцене, свидетелем которой был на улице Старых Августинцев.

Бии высказывает предположение, что мать обращалась с Софи в ее уже весьма зрелом возрасте так сурово, потому что у нее и в прошлом были какие-то грехи. Это только гипотеза, он ничем подтвердить ее не может и просит тень Софи, если он не прав, простить его. Думается, что объяснение гораздо проще: сколько бы Софи ни исполнилось лет, она по меньшей мере числилась девицей, и связь ее с женатым человеком, да еще и с таким вольнодумцем, не могла не внушать матери опасений.

Потом уже мать примирилась с их отношениями, подружилась с Дидро, он стал называть ее шуточным прозвищем — Морфизой, и последние его письма большей частью адресованы всем дамам семьи Волан, или Софи и ей.

Мадам Дидро, об этом рассказано еще в главе «Битвы Жизни», знала об их любви, но, очевидно, чтобы избежать семейных скандалов, они переписывались тайно, иногда через Гримма, а главным образом, при посредстве верного Дамилавилля, друга Вольтера и Дидро, сотрудника «Энциклопедии», и, что не менее важно, начальника двадцатого почтового отделения Парижа. И сколько же испытывали оба тревог, когда письма задерживались! «С нетерпением ожидаю письма» — этот лейтмотив проходит через десятки, если не сотни, его писем.

И в стольких письмах мы находим его признания в любви к ней. И даже, когда Софи запрещает ему объяснения, он все равно не может удержаться. «О сердечных чувствах своих буду говорить лишь тогда, когда не хватит городских анекдотов», — пишет он, словно бы склонный внять ее увещеваниям, но из этого намерения ничего не получается. «Вы заслуживаете, чтобы я запечатал письмо, не повторивши вам, что люблю вас, — но не могу. Не сердитесь, не ради вас, но ради себя самого говорю я, что люблю вас всей душой, что беспрестанно думаю о вас, ежеминутно чувствую ваше отсутствие, а мысль, что я потеряю вас, мучит меня даже помимо моей воли. Если иногда я сам не понимаю, чего ищу, то после размышления понимаю, что ищу вас; когда выхожу из дому, не зная, куда направиться, подумав, вижу, что мне хочется пойти туда, где находитесь вы; когда же в приятной компании меня вдруг одолевает скука, то, поразмыслив, вижу причину в том, что у меня нет надежды хоть на короткий миг увидеть вас, а между тем только эта надежда позволила мне находить мое времяпрепровождение приятным».

Это и значило, что Софи была с ним всегда и везде.

Он позволяет себе пошутить, сказав, что она не-

достойна слышать те слова, которые он не мог не сказать ей, но тут же просит не принимать его шутку всерьез. Если есть какой-нибудь способ сократить ее уединение — оно кажется ему вечным, — пусть скорее сообщит, он ей поможет. Он целует буквы, начертанные ею, ведь когда она писала, рука ее касалась этого листка; он просит ее поцеловать конец этой строчки, он тоже его поцеловал, вот здесь...

Это он писал в 1760-м, но и в 1765-м не устает ей повторять: «Люблю тебя так, как ты заслуживаешь, и буду любить всегда», «Я люблю вас так, как человек может любить только однажды, и, кроме вас, никого не полюблю».

В 1759-м он утверждает, что у Софи самая прекрасная женская душа, как у Гримма самая прекрасная мужская. Но и через восемь лет, в 1767-м, он называет себя счастливейшим из мужчин. «Рассудок мой твердит мне, что я имею тысячу оснований любить вас, и сердце ему не противоречит. И пусть это счастье и эта гармония существуют вечно. И они будут существовать, прошедшее в десять-двенадцать лет обеспечивает мне будущее».

Это не значит, что он всегда был настроен так безоблачно. Бывало и так, что препятствия, стоявшие на дороге их любви, заставляли его спрашивать: «Неужели мы созданы для того, чтобы вечно ждать счастья? А счастье — для того, чтобы никогда не сбываться?»

Спрашивается, почему же, так упорно отказываясь во имя своей любви и самой жизни своей возлюбленной от поездки в Петербург, Дидро все же через шесть лет, когда ему стукнуло шестьдесят и путь в семьсот-восемьсот лье, на перекладных, по тогдашним дорогам должен был быть для него еще труднее, отправился в Россию? И торопился вернуться оттуда, как мы знаем, из-за любви к дочери...

Думается, разгадка не только в том, что он выполнил свои обязательства по отношению к публике, коммерсантам, своему многолетнему труду, закончив «Энциклопедию». Вопреки его заверениям, что он не

полюбит больше ни одной женщины, Дидро на склоне лет посетила еще одна любовь.

Знала ли об этой любви Софи? Дидро еще в 57-м обнаружил, что она ревнива. Во всяком случае, в дошедших до нас письмах к Софи мы находим только весьма невинные упоминания о мадам де Мо и ее дочери мадам Прюнево.

Мадам де Мо — это и была последняя любовь Дидро... Их познакомил еще в 1767-м Гримм на Бурбонских водах, там же, где перед смертью лечился метр Дидье. Роман их начался в 1768-м, но любовь Дени Дидро к мадам де Мо достигла своего апогея в 1770-м, когда ему было пятьдесят семь, а ей сорок пять.

Многие биографы Дидро ошибочно полагали, что он был влюблен в ее дочь, мадам Прюнево. Возможно, он был увлечен и ею, и сочиненный им «Мадригал молодой даме, которая в театральной пьесе играла роль жрицы храма Амура», скорее всего был посвящен мадам Прюнево. Но истинным предметом поздней любви философа была не дочь, а мать.

Кто была эта женщина? Побочная дочь Кино-Дефрен и мадам де Сен, она совсем девочкой была выдана замуж за мосье де Мо, что не помешало ей ко времени знакомства с Дидро быть второй любовницей его друга и «почтальона» мосье Дамилавилля. Первой и общепризнанной его любовницей была мадам Дюкло. Мадам де Мо соперничала в парижских салонах с мадам Гольбах и мадам Эпинэ. «Ни у кого вы не найдете больше ума и рассудительности», — отзывался о ней наш философ. Его, правда, огорчали провалы ее художественного вкуса. Красота сильная, суровая и злая ее не трогала. Она считала Буше превосходнейшим художником мира. Может быть, в этом была вина ее пола и национальных нравов?

Дидро не подозревал, что унаследует мадам Мо у своего друга. Но это произошло. К 1768 году, как утверждает Бии, и, видимо, он прав, любовь Дидро к Софи действительно перешла уже в дружескую привязанность, чему не приходится удивляться. Он приближался уже к шестидесяти, мадемуазель Волан —

тоже, страсть могла и погаснуть. Отношения их приняли характер семейный, теперь он почти так же нежен и заботлив с ее сестрами, матерью, племянницей, дружен с зятем. А такие отношения оставляли ему свободу для нового чувства. Это не значит, что любовь к Софи ушла из его сердца. Он пишет ей из Гаги в 1773 году: «Я твердо решил любить вас всю вашу и свою жизнь». И в следующем письме: «Разница в градусах широты не изменит моих чувств». И все-таки чувства были уже иные, хоть и в самом деле Дидро пережил Софи только на пять месяцев.

Переписка Дидро с мадемуазель Волан подверглась жесточайшей посмертной цензуре мадам Вандель и ее мужа, кое-что вычеркнула Софи и даже он сам, когда после смерти своей подруги получил обратно свои письма. Переписка Дидро с Гриммом, видимо, этой цензуры избежала. Поэтому в письмах Дидро к Гримму сохранилась, хотя и требующая порой расшифровки, летопись его отношений с мадам Мо.

Они сложны, они мучительны, эти отношения, хотя Дидро изо всех сил уверяет Гримма, наперсника обоих любовников, что он нисколько не страдает, что он спокоен и свободен. У Дидро есть соперник, некий мосье де Руасси, шталмейстер герцога Шартрского. Он ухаживает и за мадам Прюнево.

Движимый своим постоянным желанием видеть в людях доброе, Дидро пишет Гримму о мадам де Мо: «Предпочитаю считать ее ветреной, чем бесчестной. Посмотрите, как мосье шталмейстер устраивается между матерью и дочерью в Бурбоне. Каждая из них убеждена, что именно она является предметом его желаний, и обе усердно приглашают его бывать у них... оставляют каждый день ужинать.

...И что станется с моим благополучием, с моим спокойствием в ходе этой интриги? Если бы задались целью свести меня с ума, что бы еще оставалось сделать для этого?»

Но Дидро думает о своей коварной возлюбленной: «А что станется с ее благополучием и спокойствием, когда она постоянно будет иметь перед глазами человека, которого свела с ума? Разве в сорок пять

лет доставляют себе подобное развлечение?» Он не может понять женщины, которая не хочет любить и тем не менее не довольствуется ежедневными посещениями у нее на дому, а устраивает еще так, чтобы три раза в неделю видеться с безумно влюбленным в нее человеком в другом доме. «Ведет ли себя эта женщина как следует быть, отдает ли она себе отчет в том, что творится в ее сердце, соблюдает ли некоторую меру в обращении со своим другом?»

Дидро спрашивает Гримма, и как характерен для него этот вопрос: «Разве существуют различные правила для жены и для любовницы? Если бы ваша жена вела себя так, разве бы вы не сказали ей ни слова? Так как изучение и применение справедливости было делом вашей жизни, будьте же справедливы!»

Он задает еще один вопрос: «Разве существуют особые правила поведения для женщин и другие для мужчин? Что думали бы вы обо мне, если бы я был любим другой и позволял бы себе все, что она делала?»

И все-таки, несмотря на горечь, которой переполнена его душа, Дидро великодушен. Он не хочет ни мстить мадам Мо, ни ее унизить. Вероятно, он ошибается или хочет ошибаться, заявляя: «Если она уйдет, я потеряю ее без сожаления, если вернется, я приму ее с восторгом». Но, зная его душу, как не поверить, что уйдет ли она или останется с ним, он будет искренне заботиться об ее счастье?

Его ветреная любовница продолжает вести свою игру, пагубную, как говорит Дидро, для четырех человек, то есть для него, для нее самой, для шталмейстера и для Гримма, потому что, если Дидро сойдет с ума, и у того «голова пойдет кругом». Негодуя, он восклицает в следующем письме уже из Гранваля: «Значит, достаточно сказать человеку: «Я вас люблю, и люблю только вас одного», и после этого вести себя как заблагорассудится? Его изматывают, друг мой, булавочными уколами, жизнь проходит в мрачных настроениях, в ссорах, в примирениях, за которыми снова следуют ссоры. И, кроме того, я еще должен участвовать во всех развлечениях, которые ей пред-

лагает этот господин. Во всем этом есть нечто унизительное, гнусное, коварное, что для меня совершенно неприемлемо. Каждый переживает по-своему, вот что переживаю я, и я ей об этом писал».

Что в этом было правдой, что преувеличениями пылкого воображения Дидро? Кто знает? Гримм уверял его, со слов мадам де Мо, что «он пока еще один в ее душе». «Возможно, — соглашается оскорбленный любовник. — Но почему же она не чувствует, что проявляет ко мне невнимание во всех отношениях?»

Но, так или иначе, были ли ревность Дидро к шталмейстеру и горькая обида на легкомысленную — в ее сорок пять лет — женщину основательны или нет, все равно поразительна сила его чувств, не слабеющая с годами.

Недаром и через шесть лет, 13 декабря 1776 года, он писал Гримму, что умрет старым ребенком. «Несколько дней тому назад я у Пигаля рассек себе лоб о мраморную глыбу. После этого великолепного приключения я поехал к своей дочери. Когда ее трехлетняя дочурка увидела на моей голове огромную шишку, она сказала: «Вот как, дедушка, ты, значит, тоже стукаешься носом о двери!» Я рассмеялся, а про себя подумал, что, в сущности, ничего другого я не делал с тех пор, как живу на свете».

Но ведь нельзя жить и не стукаться о жизнь. Он жил! Он любил! Он страдал!

IX Друг

Не меньше страданий, чем мадам де Мо, — впрочем, после того, как прошла любовь, он сохранил с ней приятельские отношения, — причинял Дидро и Гримм, эта «самая прекрасная мужская душа».

У Дидро с его обширным сердцем было много друзей. Но самым любимым, самым близким, часто он называл его даже единственным, он считал Фредерика Мельхиора Гримма. Признаниями в любви к Гримму, восхищением перед ним пестрят письма Дидро.

Старинная поговорка гласит: «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты». Но вряд ли она справедлива для Дидро. Он не столько брал у своих друзей, сколько давал им, будучи душой и мозгом всего своего кружка, а в частной жизни человеком редчайшей щедрости души, бескорыстия, самоотверженности и доверчивости. Этот большой ребенок, при всей его проницательности и уме, наделял людей, которых любил, и теми достоинствами, которых у них не было, полагая, что они платят ему той же любовью и расположением. И, может быть, точнее всего это характеризует его отношение к Гримму.

Бывали у Дидро и минуты просветления, всегда для него горького. Однажды он написал Софи, обидевшись на Нэжона, которого никак не мог заманить в Салон: «Эта маленькая невнимательность лишний раз доказывает мне, что я больше люблю своих друзей, чем они меня, что в течение десяти лет, к примеру, я посвятил Гримму гораздо больше месяцев, чем требовал от него минут».

Это было в 1767 году. Но в 1769-м он совершенно искренне писал самому Гримму, умоляя его не беспокоиться по поводу своей «Корреспонденции»: вернувшись в Париж, он найдет совершенно готовый материал, и даже больше, чем требуется. «Если вы меня действительно любите, вы нисколько не будете жалеть о затраченном мною времени. Разве я мог бы лучше использовать его, как отдав своему другу? Разве вы думаете не так же? Берегитесь, вы станете похожи на Руссо, который опасается тех, кому доставляет удовольствие оказывать ему услуги. И вы будете еще гораздо хуже, потому что пожалеете доставить своему должнику жалкую возможность поквитаться с вами».

Между тем если кто из двоих и был должником другого, то, конечно же, не Дидро, а Гримм. Дидро

и прежде много делал для «Корреспонденции», но стоило Гримму в 1765 году заболеть, Дидро взял эту «повинность» на себя почти целиком. «Гримм болен, его глаза в опасности от работы над «Корреспонденцией». Я видел его вечером, и я нагрузился порцией его периодической повинности, которая больше всего его беспокоит...» (письмо к Софи).

Гримм давно уже выздоровел, а Дидро, по собственному выражению, все еще «продолжал нести ношу его лавочки». Он даже не удержался и пожаловался Софи: «Не знаю, чего хочу больше от его возвращения — удовольствия снова видеть друга или освобождения от ноши, которую несу». Это письмо Софи написано за несколько месяцев до того, где он говорит, что нельзя лучше использовать свое время, чем отдать его другу. Не примите это за двуличие! Просто, уставая, он жаловался, но самоотверженность и высокое понимание дружбы тут же побеждали усталость.

Он жаловался и потом, но, и жалуясь, никогда бы не подумал отказаться от ноши, которую взвалила на его плечи дружба... А ведь он нисколько не преувеличивал, когда признавался Софи, что брал перо и писал пятнадцать дней подряд, тут же восторгаясь Гриммом, его неподкупностью, его целостностью во всем.

И ему никогда не приходило в голову то, что видели все другие: Гримм приятно проводил время в имении мадам Эпинэ, а Дидро работал над его «Корреспонденцией»; Гримм гонялся за пенсиями по немецким княжествам, а Дидро составлял для него обзор неинтересных книг; Гримм делал дипломатическую карьеру, а Дидро нес за него «повинность» «Корреспонденции». Если он просил Гримма скорее вернуться из-за границы, то делал это не потому, что ему самому было трудно тащить чужую ношу, а от имени друзей, которые «не могут и никогда не смогут привыкнуть без вас обходиться», и, конечно, прежде всего это относилось к самому Дидро. Если Гримм, не давая о себе знать, счастлив, Дидро прощает ему молчание. Но стон боли заставит его помчаться к другу.

Но ему так хочется, чтобы тот поскорее приехал, что тут же он спрашивает: неужели Гримм не видит протянутой к нему дюжины рук? Баронессе недостает его громкого смеха, мадам Мо — его шуток и неизменной логики, самому Дидро — его жалоб и его ласки.

И в этом письме, как и во многих других, Дидро утверждает мнимое превосходство Гримма над собой. «И разве вы не думаете, друг мой, что это геройство с моей стороны показывать всем, что вы выше меня? Зачем же еще возвещать по всей Германии это неблагоприятное для меня сравнение?» Дидро не щадит себя, хотя и думает, что отдает себе должное. «Я здесь почти всегда близок к тому, чтобы казаться смешным. Мне прощают, потому что меня знают, потому что меня любят, потому что я добр, да так добр, так добр, потому что у меня иногда бывают порывы, которые их забавляют, потому что я проявил себя во многих областях. Но вдали, в других местах, я не сдерживал бы себя, я дал бы себе волю и во многих случаях подавал бы повод нападать на себя, и вы привезли бы меня в Париж покрытым полученными в ответ ранами».

Что же касается Гримма, Дидро убежден, что он всегда и везде, во дворцах и хижинах, будет на своем месте, потому что над головой его Дидро видит большую Минерву с развернутыми крыльями. «Как только вы собираетесь сделать ложный шаг, она вас останавливает. А я способен сваливаться во все встречающиеся ямы и ринуться в последнюю из них с головой, покрытой шишками». Мы не раз уже могли убедиться, что превосходство Гримма над ним — постоянный лейтмотив писем Дидро. «Белокурый тиран» был, бесспорно, умен, меток на язык, талантлив, отличался дипломатическими способностями, сильным характером, умел себя держать, но если над головой одного из них витала Минерва, то уж, во всяком случае, это была не его голова.

Но убедить в этом Дидро не смог бы никто.

Когда «посланник» в 1769 году, наконец, вернулся в Париж из своих странствий по большим дорогам

Германии, в один из четвергов октября Дидро «овдовел»: мадам и мадемуазель уехали. Он был счастлив назначить Гримму рандеву у себя. Тот пришел в «добрый час», и расстались они поздней ночью. «Я его люблю, и нежно любим им. Этим все сказано», — пишет Дидро об этом дружеском свидании Софи.

Между тем чему была посвящена их так затянувшаяся беседа? Конечно же, прежде всего рассказам Гримма о принцах. Король Пруссии задержал его на три дня в Потсдаме. После приема Гримм получил от него ящик золота. Принц Саксен-Гота поступил еще лучше, наградив Гримма званием. А Дидро покорно выслушивал эти панегирики Гримма коронованным особам и самому себе да еще беспокоился о его здоровье.

На следующий день они виделись снова. Принесли угрожающих размеров папку бумаг, материалов для «Корреспонденции». Дидро выбрал самые забавные, прося Гримма щадить себя. Он-то себя не щадил. Гримм обещал. Но сдержит ли он слово? Впрочем, были ли у Дидро основания так уж беспокоиться за своего друга? Будучи в Германии, Гримм навестил свою мать. Ей восемьдесят пять или восемьдесят шесть лет, но она все еще в добром здравии. И сам Гримм обещал долго прожить. Так и случилось. Он был моложе Дидро всего на десять лет, а пережил его на двадцать три. Себялюбие — великолепное средство сохранить долголетие.

Как Дидро ни любил Гримма и преклонялся перед ним, как он ни был добр и великодушен, но между ними, хотя они и не поссорились окончательно, бывали охлаждения... То из-за резкости Гримма, наталкивавшейся на чувствительность его друга, то из-за жалоб мадам Эпинэ, постоянно прибегавшей к защите Дидро от эгоизма и обидного равнодушия своего любовника. Одна из размолвок была так серьезна, что на этот раз Дидро, очень страдавшему, пришлось прибегнуть к заступничеству мадам Эпинэ.

Но, может быть, самая значительная их ссора произошла из-за различного отношения к коронованным

особам. Было это в 1769 году. Дидро по-прежнему не любил августейших. Екатерина II — иллюзии о ней еще не развеялись — составляла для него единственное исключение. Между тем в Париж приехал маленький принц Саксен-Гота. Гримм хотел, чтобы Дидро нанес ему визит, а потом сопровождал августейшего гостя к мадам Беррион, женщине-астроному. Дидро отказался, заявив, что ему ненавистны эти смешные парады. Гримм смертельно обиделся.

* * *

Эта глава может показаться читателю слишком коротенькой, автор же сам утверждал, что дружба занимала в жизни Дидро такое огромное место, а Гримм был его ближайшим другом, и дружили они больше тридцати лет. Но в каждой «Энциклопедии» бывают большие статьи и маленькие заметки, могут они быть и в энциклопедии «Дидро». А дружба Дидро и его друзья, не один Гримм, но и Гольбах, Гельвеций, Даламбер, Фальконе и другие не раз уже встречались в предыдущих и еще встретятся в последующих главах.

X Человек

К любимым мыслям возвращаешься постоянно. Дидро несколько раз в «Племяннике Рамо», в «Парадоксе об актере» , в разговоре с Уранией — мадам Лежандр, в письме к Софи развивал мысль о том, что из двух Расинов он выбрал бы не Расина — доброго отца, хорошего мужа, превосходного друга и обыкновенного честного человека, но Расина — плохого мужа, скверного отца, коварного друга и зато величайшего поэта. Ибо «что останется от Расина —

скверного человека? Ничего. А что от Расина-гения? Бессмертные произведения».

Парадокс — а Дидро любил парадоксы — заключался в том, что сам он был не только гением, но и добрым отцом, превосходным другом и если не совсем хорошим мужем, то хорошим возлюбленным. От него остались не одни бессмертные произведения, но и бессмертный образ Человека. И это гораздо больше, чем отец, друг, возлюбленный: отец — для детей, друг — для друзей, возлюбленный — для любимой, а человек — для всех людей, для человечества, для современников, для нас с вами.

Но Дени Дидро ни в коей мере не был искусственным и скучным воплощением добродетели и обладал редким умением посмотреть на себя со стороны. Он знал все, знал и самого себя, и знал превосходно. В том числе и свою внешность. Вот что он писал, разбирая в «Салоне 1767 года» портрет мосье Дидро работы Мишеля Ван-Лоо: «Это я. Я люблю Мишеля, но еще более того люблю истину. Сходство посредственное; он может возразить тем, кто не узнает меня, словами садовника из комической оперы: «Это потому, что никогда он не видел меня без парика». Очень живо свойственная художнику мягкость сочетается со свойственной ему живостью; но Дидро слишком молод, голова слишком мала, красив, как женщина, делает глазки, улыбается, грациозен, жеманен, губки сложены бантиком... кроме того, подобная роскошь одеяния разорила бы бедного литератора, если бы сборщику податей вздумалось обложить налогом его халат... Лицо обращено к зрителю; голова не покрыта, седой хохол и грациозность позы придают ему вид старой ветреницы, которая не прочь пожеманничать и сейчас; поза, достойная государственного секретаря, но отнюдь не философа. Неправда первого взгляда наложила отпечаток на всё...»

Дидро шутит: виной всему, оказывается, ветреная мадам Ван-Лоо: она приходила поболтать с ним в то время, как он позировал. Полушутя он обращается к своему портрету: «Миловидный философ мой, вы будете для меня навсегда драгоценным свидетельст-

вом дружбы художника, превосходного художника и еще более превосходного человека. Но что скажут внуки, сравнивая унылые мои творения (здесь он кокетничал. — *А. А.*) с этим улыбающимся, красивым, женственным, престарелым прелестником? Предупреждаю вас, дети мои, что это не я».

Каков же он был на самом деле? «В течение одного дня лицо мое принимало десятки различных выражений в зависимости от того, что оказывало на меня действие. Я бывал умиротворен, печален, задумчив, нежен, груб, яростен, восторжен, но никогда не был я таким, каким вы видите меня здесь. Был у меня высокий лоб, живые глаза, довольно крупные черты лица, голова напоминала голову оратора древности, добродушие мое весьма граничило с тупостью, с простоватостью былых времен».

Дидро превосходно понимал, как затрудняет портретиста эта сложность натуры, сказывающаяся в переменчивости облика. Она затрудняет и меня, решившуюся написать его словесный портрет. Но что поделаешь?

Немало художников и скульпторов пытались запечатлеть Дидро на полотне или в мраморе, среди них Гудон, Фальконе, мадемуазель Колло, Фрагонар. Сам Дидро считал, что «одному бедняге Гарану случайно удалось уловить сходство, как случается иногда дураку сказать умное словцо». На этом портрете Дидро нисколько не напоминает прелестника, он здесь суровее, проще, строже. Но не польстил ли он Гарану, хотя портрет его кисти и был удачнее других? Конечно же, ни один портрет не мог передать всех Дидро, которые были заключены в одном Дидро. Вряд ли они воплотили его и все вместе.

К словесному автопортрету, нарисованному им самим, современники добавляли, что у Дидро был широкий, высокий и открытый лоб, изгиб его бровей был очень изящен, нос красив по-мужски, взгляд обычно добрый и симпатичный, но, когда он разгорался в разговоре, глаза сверкали, как огонь, очертание рта свидетельствовало о привлекательном сочетании грации и ума. Его телодвижения были небрежны, но в манере

держать голову, особенно когда он говорил жестикулируя, было много достоинства, энергии и благородства. Казалось, будто восторженность была естественной принадлежностью его голоса, его ума, его наружности. Он делался настоящим Дидро только тогда, когда мысли уносили его за пределы его внутреннего мира. В его идеях было еще больше силы, чем в нем самом. Сам он заметил, что голова его была похожа на голову древнего оратора. Те, кто им восторгался, утверждали, что у него была такая же идеальная голова, как у Аристотеля или Платона. Его сравнивали еще и с Сократом по тому благотворному влиянию, которое он оказывал на людей. Молодой Аристид говорил, что он делался лучше, когда находился с Сократом в одном доме, не говоря уже — в одной комнате.

Сам Дидро знал эту свою способность влиять на людей. Он писал Фальконе: «Если Даламбер бесконечно лучше меня умеет решать дифференциальные уравнения, то я могу гораздо лучше формировать душу, воспитать ее, внушить ей прочную и глубокую любовь к истине, к добродетели».

Он никогда не напускал на себя вида притворной снисходительности к плохим литературным произведениям и не намекал на более высокое литературное дарование, отпущенное ему самому и не проявившееся полностью в силу неблагоприятных условий. Мало того, он постоянно готовил «чужие уроки», притом так, что ученик и не замечал этого. Слушая чужое произведение — а он делал это постоянно, стоило ему заметить, что автор не попал на настоящий путь, он, не следя больше за чтением, тотчас доделывал в своей голове то, что у автора осталось недоконченным или просто не удалось. Если это была театральная пьеса, он вносил в нее новые сцены, новые перипетии сюжета, новые черты характера и тут же, воображая, что слышал то, что было создано его собственным воображением, сверх всякой меры превозносил произведение, которое было только что прочитано.

И так он держался не только с плохими писателями, но решительно со всеми людьми. Мармонтель

написал в своих «Мемуарах»: «Будучи одним из самых просвещенных людей своего века, он был и одним из самых любезных, но, когда он откровенно высказывал свое мнение о чем-либо, касавшемся нравственных достоинств человека, в его красноречии была такая увлекательность, которую я не могу выразить словами. Вся его душа отражалась в глазах и на устах, никогда еще человеческая физиономия не выражала с такой достоверностью человеческую доброту».

Дидро и сам сознавая, что он добр, писал Гримму, Фальконе, что люди «знают его, как воплощенную доброту, простоту и искренность, знают, что он всегда все говорит напрямик, душа у него всегда нараспашку, он не умеет ни лгать, ни притворяться, так же как не умеет скрывать и свои привязанности и свою ненависть». Потому-то он и не годился в придворные. Мадам Эпинэ жаловалась, что тщетно пыталась приучить его к женскому обществу. Но не о светских ли дамах шла речь?

Мудрено ли, что такой характер постоянно давал повод им злоупотреблять. По мнению его родных, три четверти жизни Дидро были принесены в жертву тем, кто нуждался в его деньгах, его знаниях, его услужливости. Дочь сравнивала библиотеку отца с лавкой, где одни покупатели сменяли других, но все брали даром. Нуждаясь в деньгах так, что после тридцати лет труда вынужден был продать свою библиотеку, он в то же время совершенно не умел их беречь. Никогда не мог воздержаться от покупки понравившейся ему книги, брошюры, эстампа, а на следующий день дарил их тем, кому они понравились. Брал наемную карету, когда другой прошел бы пешком, да еще нередко кучер полдня простаивал у дома, пока его ездок рассуждал об истине, добродетели или о чем-нибудь еще.

Примеры его доброты и душевной щедрости бесчисленны. Вот хотя бы из чего складывался его рабочий день. 20 декабря 1765 года зеркало его жизни — письмо к Софи — отразило: «Занятия поглощают меня без остатка, и я начинаю забавлять себя химерой

об отдыхе. Позавчера на моем бюро были комедия, трагедия, перевод, политический трактат, мемуары, не считая комической оперы. Комическая опера — Мармонтеля (музыку к ней написал Коо), это его сказка об альпийской пастушке, которую он переложил для сцены. Он просил меня высказать мое мнение. Оно таково, что, хотя сюжет и неблагодарен, музыка сотворит с ним чудеса. Баронесса не знает, с какой ноги танцевать в этой авантюре, она не любит поэта, но проявляет подлинный интерес к музыке, тем более что ее учитель на лютне Гот — тот, который устроил прекрасный вечер мадам Жандр и мадам Мелани. Я видел вчера, как автор и композитор ссорились».

«Комедия — одного из молодых Марселлуа, которого привел мне мой друг Кошен, она слабая... Трагедия — одного молодого человека... Политический трактат — я с нетерпением и скукой занимался им полгода — бедного аббата Рейналя. Мемуары — швейцарца, по имени Стюарт, оспаривающего с большой энергией наследство в несколько миллионов...»

Зато, чем труднее было пробиться к собственной работе, когда это удавалось, он бывал счастлив, он просто наслаждался. «Было восемь часов вечера, когда я в воскресенье вышел из кабинета. Работа движется, она серьезная, она веселая, она включает знания, развлечения, удовольствие, сумасшествие, истину, она забавляет меня самого». Потому-то его жалобы на усталость и производят такое впечатление, что они встречаются очень редко. И еще реже он корит себя за безделье.

Вероятно, самый красноречивый пример его нередко доходящей до абсурда душевной щедрости — это рассказанная его дочерью история. Вспоминает ее и сам Дидро в одном из писем к Фальконе.

Один молодой писатель, имя его точно не установлено, хотя обычно называют некоего Ривера, однажды принес к Дидро свою рукопись и попросил прочесть и помочь ему советом. Дидро тут же прочитал. Оказалось, что это не что иное, как пасквиль на него самого и энциклопедистов.

— Зачем же вы мне ее принесли? — удивленно спросил Дидро.

— Я очень нуждаюсь — и полагал, что вы дадите мне пять франков, чтобы я ее не печатал.

— Но вы сможете получить гораздо больше, если не только напечатаете свое произведение, но и посвятите его нашему заклятому врагу, старому герцогу Орлеанскому. Он наверняка вас щедро вознаградит.

Наглец на это ответил, что с удовольствием поступил бы именно так, но не умеет писать посвящений.

— Садитесь, — предложил Дидро, — и подождите.

Затем он присел к своему бюро, в пять минут набросал посвящение и вручил его пасквилянту. Кроме того, он еще и внес несколько исправлений в пасквиль, так как тот был написан плохо.

Пасквилянт не постыдился представить рукопись герцогу Орлеанскому и получил от него солидное вознаграждение.

Но если бы на этом история кончилась! Негодяй еще несколько раз обращался к Дидро за денежными пособиями, и тот ни разу ему не отказывал. Мало того, когда он понял, что больше пользы из Дидро извлечь не сможет, еще над ним и посмеялся.

И тут вступило в силу разительное противоречие между пылким и порывистым характером философа, его восторженностью, безрассудной щедростью и добротой, с одной стороны, и редкой наблюдательностью — с другой. Он страстно любил литературу, никто больше его не интересовался наукой. Но люди занимали его еще больше, чем книги. Подлинные человеческие страсти, трагикомедии самой жизни занимали его больше, чем их отражение в литературе. Идеал его был не только в том, чтобы делать добро, но и в том, чтобы узнавать правду. И эта проницательнейшая наблюдательность распространялась и на него самого.

Потому-то он и написал диалог «Он и я», где не столько рассказывает — за точностью он и не гонится, — сколько с исключительной глубиной психологического анализа осмысляет историю своих отношений с этим пасквилянтом и вымогателем. Диалог начи-

нается так: «Никто, кроме него, не знает, до чего я глуп. Хотя он мне должен, он снова занимает у меня и на эти же деньги печатает на меня пасквили. Перед тем как опубликовать, он читает их мне. Я доказываю ему, что пасквиль плох, а он пользуется моими советами, чтоб его исправить. Рассчитав, что извлек из меня всю пользу, какую негодяй может извлечь из дурака, он признает себя передо мной негодяем, дает понять, что я дурак, отвешивает мне поклон и удаляется».

Внизу страницы в авторском примечании к этому абзацу дан совершенно поразительный диалог между пасквилянтом и Дидро. «Вы, который все знаете, скажите, знакомы ли вы с естественной историей?» — «Все так или иначе с ней знакомы». — «Слышали ли вы про муравьиного льва?» — «Да». — «Это маленькое, очень проворное насекомое. Он селится там, где есть тонкий песок, и устраивает свою норку в форме опрокинутой воронки. Сверху же он посыпает ее очень легким и зыбким песком. Если какое-нибудь насекомое неосмотрительно набредет на это коварное место, оно проваливается и падает на дно ямы, где муравьиный лев пожирает его, говоря при этом: «Мосье, я ваш покорный слуга».

Как часто повторялась в жизни Дидро притча про муравьиного льва! Кстати сказать, советский бальзаковед Б. Реизов открыл, что этот факт биографии философа отражен в эпизоде «Утраченных иллюзий», где Дартрез правит статью Люсьена де Рюбампре, в которой тот разносит его собственный роман.

А вот еще одна история. Дидро заявил, что она научила его осмотрительности во вред многим беднякам, стучавшимся к нему в дом и находившим там радушный приют. После нее он поклялся, что отныне его дверь для них закрыта, и... конечно же, не сдержал клятвы.

Вот эта история. Среди тех, кого приводили к Дидро случай и нищета, в 1762 году оказался некий Глена. Он обладал красивым почерком, некоторыми познаниями в математике и нуждался в хлебе насущном. Чего только не делал для этого человека Дидро!

Стоило прохудиться башмакам Глена, Дидро его обувал. Если тот приходил во время обеда, усаживал его за стол. Со всех сторон добывал для него работу. Разумеется, давал ему взаймы деньги. Вовлек в заботу о нем своих друзей. В Глена стали принимать участие и барон, и Гримм, и мадам Эпинэ, и Дамилавилль, начальник двадцатого отделения почты, через которого шла переписка с Софи. Все делали это с тем большим удовольствием, что он весело переносил свою нищету, казался равнодушным к богатству, почестям и производил впечатление наичестнейшего в мире человека. И чем же это кончилось? В середине сентября Дидро получил от Дамилавилля письмо: тот просил прислать ему Глена. Одному из друзей комиссара двадцатого понадобилось переписать какую-то рукопись. Дидро с радостью направил своего протеже.

И где же эта рукопись оказалась через несколько дней? У начальника полиции. Дидро узнал об этом от Дамилавилля и немедленно отправился к Глена предупредить беднягу, чтобы тот больше на него не рассчитывал.

— А почему? — удивленно спросил тот. — Мне не в чем себя упрекнуть, и если вы лишаете меня своих милостей, другие сумеют воздать должное моим заслугам.

Дидро вовсе и не собирался его ни в чем упрекать. Вся суть, как он считал, была только в том, что Глена на примете у полиции. Сам он никогда не давал ему переписывать ничего с точки зрения властей предосудительного и впредь не собирается давать, но раз за беднягой следит полиция, она может без разбору взять у него как опасное, так и самое невинное сочинение. А кому же захочется бегать к мелким полицейским сошкам, и самому начальнику полиции, и бог весть еще куда, чтобы получить обратно свою рукопись?!

На это Глена весьма цинично ответил, что тому, кто не дает ему переписывать предосудительных сочинений, опасаться нечего. Полиция является к нему лишь тогда, когда может поживиться чем-ни-

будь подходящим. Он и не знает, чем это объяснить, но почему-то она никогда не ошибается.

Зато Дидро сразу понял, в чем тут причина. Глена был просто засланным в его дом шпионом. Когда вскоре после этого Дидро пришлось побывать у начальника полиции, — теперь эту должность занимал уже не Беррие, а Сартин, его соученик по коллежу Даркур, как уверяет Бии,— тот вовсе не отрицал, что опасное сочинение попало к нему от Глена, но назвал негодяя добрым малым. Дескать, иначе он поступить не мог. Дидро же утверждал, что тот обязан отказаться от работы, как ни нуждался в ней, но не унижаться до ремесла доносчика. Что же касается мосье Сартина, раз ему нужны подобные люди, пусть пользуется их услугами, награждает их, но считает подлецами, как они того заслуживают, а не добрыми малыми!

Осмыслив же потом до конца всю эту историю, Дидро возмутился и Сартином. Разве тот не гнусно поступил? Играя на доброте и простодушии философа, заслал к нему в дом шпиона, который целых четыре года пользовался доверием и расположением хозяина и его друзей?! Мало ли еще какие могли из-за этого произойти беды. Ведь так легко могло статься, что у Дидро бы вырвалось нескромное словцо, касающееся какого-нибудь лица, требующего тем больше уважения, чем меньше оно его заслуживает. И подумать только: Гримм собирался взять его к себе в секретари для ведения всей иностранной переписки!

Заканчивая этот рассказ, Дидро писал Софи: «Впредь всякий, кто придет ко мне в грязных и порванных манжетах, дырявых чулках, стоптанных башмаках, с гладкими или растрепанными волосами, в рваном плисовом рединготе или худом камзоле с потертыми швами, с жалким и честным лицом, будет казаться мне посланцем полиции, негодяем, направленным для наблюдения за мной».

Но, конечно же, никакой Глена, никакой Сартин не могли воздвигнуть преграду его доброте. В 1767 году он напишет Гримму о ямках, в которые неизменно

проваливается. И сколько еще таких ямок ему предстоит встретить!

Дидро не только возился с рукописями бездарных писак, но и помогал им, чем только мог, нимало не задумываясь, соответствуют ли заботы, которые он принимал на себя, его занятиям, его гению. Целые часы и дни просиживал он над слабыми стихами и комедиями некоего аббата де Монье. Но и этого аббату показалось недостаточно. Терпя денежные затруднения, он в 1769 году попросил Дидро продать принадлежащий ему экземпляр «Энциклопедии», точнее, вышедшие к тому времени ее тома. Дидро и не подумал отказаться. Но через некоторое время с явным огорчением сообщил аббату, что выручил от продажи сумму меньшую, чем ожидал. Повредил распущенный негодяями, швейцарскими книготорговцами слух, что они готовят новое, дополненное издание «Энциклопедии». Пусть аббат пришлет за принадлежащими ему девятьюстами пятьюдесятью ливрами, а если их не хватит на расходы, пусть не забывает, что, кроме того ящика, где лежат его деньги, есть еще и другой, где лежат деньги Дидро. Тот, правда, не знает, сколько их там, но, сколько бы ни было, все они в распоряжении аббата.

А сколько Дидро совершал подобных поступков, о которых мы не знаем и не сможем узнать, потому что ему удалось скрыть их. Однажды одну бедную женщину обидел священник. У нее не было денег, чтобы обратиться к покровительству закона. Ей помог один приятель Дидро. Процесс она выиграла, но священник скрылся. Женщина пришла поблагодарить своего благодетеля и выразила сожаление о напрасно понесенных им расходах. Во время разговора, очевидно волнуясь, она вынула из кармана дешевую табакерку и кончиками пальцев стала перебирать остатки табака на самом ее дне. Приятель Дидро взял из ее рук табакерку, чтобы наполнить, а сам незаметно положил на дно несколько луидоров, сверху прикрыв их табаком.

Узнав об этом, Дидро воскликнул: «Вот поступок, который совершенно в моем вкусе... Помогайте, если

можете, но избавьте бедняка от необходимости протягивать руку!»

Он был одинаково добр в поступках и суждениях. Верил, что добро сильнее зла, правда сильнее кривды. «При равных условиях честный человек проявит больше энергии, чем негодяй», — говорил он, и его добрая энергия была неистощима.

Этому способствовало и то, что он был свободен от ложной брезгливости и прекрасно понимал человеческую природу. Софи осуждала карточную игру. Он пишет ей, что отличается большей терпимостью и всегда был защитником сильных страстей. «Если они побуждают человека к отвратительным поступкам, то они же толкают его и на изумительные подвиги».

В этом же письме есть и такое место. Одна несчастная женщина рассказала ему свою грустную историю, и у него «вся душа от жалости перевернулась. Соблазнив, ее бросили, беременную, умирающую, а там тысяча других подробностей, менее жестоких и более подлых». Перескакивая, как обычно, с одного на другое, Дидро тут же заявляет, что его приятель Сорен им больше не товарищ... Говорят, что его жена забеременела, а до женитьбы он ненавидел беременных женщин. Вот уж противоестественное чувство! Самого Дидро это состояние всегда трогает. Беременная женщина вызывает в нем сочувствие. На женщин из народа в таких случаях он не может смотреть без нежного сострадания.

И дурные качества тех, кто вызывал в нем сострадание и кому он считал себя обязанным помочь, не отвращали его.

В 1761 году умер один из сотрудников «Энциклопедии», Жодэн. Дидро принял на себя заботу об его сумасбродной вдове и упрямой, заносчивой дочери. О чем только не просила мадемуазель Жодэн этого очень занятого, очень знаменитого и очень уже немолодого человека! Купить ей браслет, найти ей ангажемент — она была актрисой, устроить дела ее матери, выгодно поместив двенадцать тысяч ливров. И ни от одного из этих поручений он не отказывался,

как не отказывался от продажи экземпляра «Энциклопедии» аббата де Монье.

Но он еще и заботился о счастье мадемуазель Жодэн, о душе ее, о морали так, как если бы она была собственной его дочерью. Находил время, чтобы внимательно читать ее письма и самому писать ей. В его представлении профессия актрисы плохо совмещалась с добродетелью, и он имел к тому немало оснований. Мы это знаем из «Парадокса об актере». Но в том, что Дидро, как старший друг, писал мадемуазель, отложилось не только это, не только его знание жизни, но и его преклонение перед сильными страстями и его требование высокого человеческого достоинства. «Я не педант, я поостерегусь спрашивать от вас такого рода добродетелей, которые почти несовместимы с вашей профессией и которые светские женщины, коих я от этого не больше уважаю или презираю, редко сохраняют среди окружающего их богатства, вдали от всякого рода соблазнов, вас окружающих. Порок идет вам навстречу, а они сами идут навстречу пороку. Но помните, что женщина завоевывает право сбросить с себя помочи, которыми ее связывает общественное мнение, только высшими дарованиями и выдающимися качествами ума и сердца. Нужно обладать тысячами добродетелей, чтобы прикрыть ими один мнимый порок. Женщину редко попрекают привязанностью к человеку, чьи достоинства всеми признаны. Если вы не дерзаете открыто признать свою близость со своим избранником, значит вы бы сами себя презирали за это, а когда человек сам относится к себе с презрением, он редко может избежать презрения других».

Но это уже отступление, впрочем простительное, в книге о Дени Дидро: он сам любил отступления и ненавидел последовательное систематическое изложение.

Итак, речь шла о дурных качествах людей и о том, что они не мешали Дидро хорошо к этим людям относиться. Монтескье был гениальным человеком и одним из духовных отцов Дидро. Его «Дух законов», «Персидские письма», статья для «Энциклопедии» —

«Вкус» вложили много «камней» в великую «пирамиду» французского Просвещения. Но автор этих великих сочинений ненавидел литераторов и держал весь человеческий род на почтительной дистанции. Не лучше, чем к другим, он относился и к Дидро. Не удивительно, что когда в 1755-м Монтескье умер, на его похороны — пышные, так как он был не только философом и литератором, но и бароном и бывшим председателем парламента города Бордо, — явилось мало людей. Но Дидро, до конца оставшийся верным своему преклонению перед человеком, который выказывал ему полное безразличие, шел за гробом Монтескье.

И при всем том Дидро был не святым, не ангелом, а человеком. Порой им овладевало дурное настроение. Иногда он жаловался на усталость от «чужих уроков» и собственной работы, на безденежье, на дурной характер жены, на брата, на цензоров, на иезуитов и прочих врагов «Энциклопедии». Когда болела жена, он исполнял обязанности горничной и забывал о собственном здоровье, которое тоже было не хорошо, побеждая болезнь тем, что о ней не думал. Но бывало и так, что он подробно извещал о своих недомоганиях Софи, жену, дочь. Среди его корреспонденции есть и письмо доктору Троншену с жалобами на боли в желудке, холод в ногах.

Он любил одиночество, но порой изменял этой любви. «Вчера я снял халат и ночной колпак и отправился обедать к Дамилавиллю», — письмо Софи от 30 ноября 1765 года. Пристрастия к званым обедам, карточной игре не оставляли его и с годами.

При всей его искренности ему иногда приходилось и притворяться, хотя бы любезно принимая гостей жены, приводивших его в ужас мелочностью своих интересов, бессмысленностью всего, о чем они говорили. Чтобы избежать семейных скандалов, тайно переписывался с Софи.

Считая самым большим грехом человеческое пристрастие судить других, и сам порой бывал пристрастен, порой несправедлив и уже по меньшей мере требователен, особенно к самым близким.

Но его воркотня по поводу дурного характера барона и недовольство баронессой почтительнейшим образом отступали перед его заботой о друзьях. Однажды он не смог поехать в Гранваль разбирать семейную ссору и очень скорбел об этом: он *«всегда сожалел, когда жертвовал возможностью быть полезным»*. И не только это. Стоило баронессе Гольбах в 1765 году заболеть, как Дидро тут же разработал подробнейший проект ее спасения. «Компания из двадцати человек, с утра до вечера рассуждающих о политике и философии, не лучшее лекарство от ее болезни. В первую же нашу прогулку наедине я предложил барону сосредоточить «академическое общество» в его кабинете, а жену оставить в ее апартаментах с ее учителем музыки Готом, с ее лютней и малым числом семейных друзей, которые составят ей наилучшую компанию, развлекая ее вещами более приятными, чем наша вечная морализация».

И с годами он нисколько не черствел душой, не становился ни благоразумнее, ни осторожнее. Потому-то я так произвольно чередую примеры и эпизоды, относящиеся к разным годам его жизни.

Менялось в нем другое. Отказавшись от стремления к абсолютной добродетели, поняв, что ее невозможно примирить с истиной, он еще больше, чем прежде, направлял острие своей наблюдательности, беспощадного критического анализа на самого себя.

Рассказав в главе «Истина и добродетель или преобразователь драмы» о последней комедии Дидро «Добр ли он, зол ли он?», автор утаил от читателя одно очень важное обстоятельство.

Пьеса эта еще более автобиографична и основана на подлинных жизненных фактах, чем другие его произведения, и самое существенное — в главном ее герое Ардуэне, желавшем угодить всем и никому не угодившему, Дидро изобразил самого себя. По свидетельству нескольких французских литераторов-современников, почти все персонажи комедии — действительно существовавшие лица, и сюжет ее основан на действительных происшествиях. История же с пен-

ЧАДОЛЮБИВОЙ ОТЕЦЪ

КОМЕДІЯ

ВЪ

ПЯТЬ ДѢЙСТВІЙ.

сочиненіе Г. Дидерота.

переведена съ Французскаго



печатана

ВЪ Санктпетербургѣ

1765 года.

Титульный лист первого русского перевода комедии «Отец семейства».

сией вдовы Бертран изложена в письмах Дидро к Софи..

В этой комедии, над которой он работал одиннадцать лет, с 1770-го до 1781-го, Дидро высмеял самого себя, свои попытки сделать людей счастливыми, попытки, обреченные на неудачу, пока не стало счастливым человечество, свою былую веру в филантропию, как панацею от всех бедствий.

В изобретательнейших авантюрах Ардуэна разве мы не узнаем Дидро — озорника и мистификатора, автора проделок с отцом Ангелом, с рубашками и поступлением в семинарию святого Сульпиция, с письмами сестры Сюзанны к маркизу Круамару?

Но на вопрос, поставленный в его пьесе и решенный так диалектически, мы все-таки ответим — добр, а не зол. Пусть путь к добру сложен и извилист, он шел этим путем.

XI

Благодарность императрице или полная «Энциклопедия» и освобождение крестьян?

Фиакр внезапно остановился.

— Приехали? — спросил Дидро. Он так задумался, что и не заметил, сколько они едут, на какую улицу свернули.

— Нет, мосье. — Кучер удивился. — Просто придется подождать; видите, сколько карет!

Дидро выглянул. Фиакр стоял у большого магазина. Карет и в самом деле скопилось видимо-невидимо, а в дверях поднялась такая толкотня, что какая-то дама с «коляской» на голове — теперь уже благодаря Анжелике Дидро твердо знал, что подобное сооружение называется «коляской», — завизжала, так ее стиснули.

Дидро поднял голову, чтобы прочесть вывеску над магазином.

— «A l'Impératrice de Russie», — вслух прочел он, почему-то рассмеялся, а потом глубоко задумался.

— Что вы, мосье? — недоумевая, спросил кучер. — Здесь всегда такое столпотворение.

Но этот чудак его уже не слышал.

«Предзнаменование, — думал Дидро, а он изредка поддавался суеверию. — «Императрице России»! И как раз тогда, когда я еду к княгине Дашковой».

Мысли его прыгали, обгоняя одна другую. Сколько раз он отказывался от этой поездки. Но теперь «Энциклопедия» закончена. Подписчики получили свои тома иллюстраций. Издатели — свои доходы. Он сам и его сотрудники сжевали свои листья от лавровых венков. Он не смел себе признаться, что теперь может расстаться на год с Софи. Хотя, конечно же, он продолжает ее любить. Он решил ее любить.

Значит, судьба ему самому вслед за картинами Ван-Лоо, Маши, Вьена, Доу, Мурильо, по его совету купленными императрицей, за коллекцией барона Тьера — и ее он сосватал Екатерине, проследовать в Петербург... Если там смог побывать Дагессо! Законодатель был уже в преклонном возрасте, когда Дидро пришел к нему советоваться насчет будущей «Энциклопедии». А с тех пор прошло... В самом деле, сколько же лет прошло с тех пор? Двадцать пять? Нет, двадцать семь. И в Петербурге — друзья. Который уже год Фальконе! А теперь и Гримм прибыл в столицу России в свите ландс-графини Гессен-Дармштадтской на бракосочетание ее дочери с наследником Павлом. «Посланник» верен себе и своей привязанности к коронованным особам. Дени тоже будет верен себе. Он явится ко двору Екатерины как посланник энциклопедической республики. Императрица писала, что не может решить, какое дать ему назначение, прежде всего потому, что не хочет стеснить его собственный выбор, и поэтому желала бы ближе познакомиться с ним, прежде чем предложить

ему что-либо, но, если бы он приехал, и она бы следовала своему влечению, оставила бы его при себе, для своего наставления. Он почти дословно запомнил письмо, хотя оно было и не ему адресовано. Она писала еще, что желает приезда Дидро в Петербург, «чтобы отвратить от него преследования», и потому, что «охотно хочешь видеть достойных людей». Ему и не нужно никаких назначений. Наставлять русскую императрицу, быть ее советником... Чего еще он может желать?! Пусть в России еще варварство, крепостное право, говорят, что там десятое столетие соседствует с восемнадцатым, грубые скифы— с образованными европейцами. Тем лучше! Это страна молодая, она не испорчена еще цивилизацией, как Англия, Голландия, Франция. Она сможет, не повторяя их ошибок, пойти по более разумному пути. Императрица освободит крестьян, ограничит свою власть, создаст парламент. Она ведь уже сочинила «Наказ» депутатам комиссии по составлению законов, наполовину списав его с «Духа законов» Монтескье. Северная Семирамида знает его образ мыслей, раз она его зовет, значит... И Вольтер так настаивает, чтобы Дидро съездил к его коронованной ученице, хотя и не всегда доволен прекрасной Като... А главное — что толку от всех прекраснодушных сочинений философов, если они даже не пытаются учредить республику хотя бы под такой же вывеской: «A l'Impératrice de Russie» — республиканизированную монархию.

Он хотел еще раз посмотреть на вывеску и выглянул из фиакра. «Булочная», «Москательная лавка»... В дверях одного магазина стояла хорошенькая блондинка и натягивала на руку перчатку, как бы приглашая покупателей.

Книги... Цветы... Но черт возьми, куда же девалась эта вывеска?!

— Где же? — начал Дидро и остановился. Ну и чудак же он! Давно уже они не стояли возле того магазина и даже свернули на другую улицу. Еще две «русские вывески» попались на их пути — гостиницы «La Russie» и модного магазина «Au Russe ga-

lante». В последнее время все русское было в моде в Париже. На днях он смотрел во Французской комедии новую пьесу о Петре Великом.

Для него это была не мода. Он вслед за Вольтером издавна и серьезно интересовался Россией.

Решено. Он едет в Петербург. Он, наконец, издаст там «Энциклопедию» — полную, не изуродованную цензорами и этим чудовищем Лебретоном, без вынужденных экивоков и уверток, где не будет больше различий между тем, что они сказали, и тем, что они хотели сказать. Императрица не может не согласиться. Если, едва вступив на престол, она через графа Шувалова предлагала перенести издание «Энциклопедии» в Ригу или любой другой город империи... А теперь он примет ее предложение.

Екатерина и лично обязана Дидро. В начале 1768 года в литературных кругах Парижа в списках ходило сочинение некоего Клода де Рюльера, бывшего секретаря французского посольства в Петербурге, под сенсационным названием «Русская революция 1762 года». Под «революцией» имелся в виду дворцовый переворот, приход к власти Екатерины II. Императрица изображалась в этом сочинении в таком неприглядном виде, что публикация записок нанесла бы серьезный ущерб августейшей репутации. Дидро обнаружил это первый, как только прочел то, что написал Клод де Рюльер.

Он отправился к Рюльеру и попросил его не печатать «Записок». Тот ответил, что и не намеревался издавать свою рукопись. Но можно ли было полагаться на это заверение? Дидро тут же написал в Петербург Фальконе, но для сведения императрицы, предупреждая, что и купить рукопись у Клода де Рюльера не удастся: для этого у него больше чем достаточно амбиции и вполне достаточно средств. Екатерина обеспокоилась и в тот же день ответила, оправдывая необходимость свергнуть Петра III тем, что иначе действовать не могла: «предстояло или погибнуть вместе с полоумным, или спасти себя вместе с массой, стремившейся избавиться от него». Она хотела все-таки купить рукопись, чтобы этим воспре-

пятствовать ее напечатанию, и поручила переговоры Бецкому и русскому поверенному в делах в Париже Хотинскому. Им эта деликатная миссия не удалась, и положение спас опять-таки Дидро, заручившись твердым обязательством Клода де Рюльера при жизни императрицы не печатать своих записок[1].

Но, кроме Екатерины II, существует еще Людовик XV. Дидро — подданный его королевского величества и вынужден обратиться к нему за августейшим разрешением.

Король оказался не слишком доволен прошением философа. В салоне последней его фаворитки, мадам Дюбарри, зашла речь о намерении Дидро поехать в Россию. Людовик XV недовольным тоном заметил:

— Это еще зачем? Я и не подозревал, что он так богат, чтобы позволить себе подобное путешествие.

Королю объяснили, что дорожные расходы Дидро берет на себя императрица.

И это не понравилось королю. Он спросил с еще большим неудовольствием:

— Чего же хочет от него Екатерина? — И тут же сам ответил: — Нетрудно догадаться, что Дидро будет при русском дворе посланником клики философов, а они любят потешать иностранцев за наш счет. Он никогда не был при моем дворе, но помешает ли это ему рассказывать в России всевозможные ужасы о моей частной жизни, тем более что слушателям подобная болтовня доставит удовольствие?!

Король так разволновался, представляя себе, как Дидро — слухи о его красноречии не могли не докатиться и до Версаля — разглагольствует при русском дворе о мадам Помпадур, о мадам Дюбарри. Мало ли еще о чем!..

Кто-то из придворных, желая успокоить его ве-

---

[1] Они и в самом деле были опубликованы через год после ее смерти — в 1797 году.

личество, предложил сейчас же арестовать философа.

Этот совет еще больше напугал Людовика.

— Боже упаси! — воскликнул он. — Вы хотите поссорить меня с императрицей! Она желает видеть Дидро, и если я воспротивлюсь его поездке, весь белый свет будет прославлять Северную Семирамиду и потешаться надо мной...

И все-таки со свойственной ему непоследовательностью Людовик продолжал жаловаться:

— Разве я у кого-нибудь что-нибудь отнимаю? Отчего же русские, да и другие народы тоже, лишают Францию ее выдающихся писателей?! Довольствовались бы тем, что вывозят наши гобелены, кружева, фарфор, к этому мы привыкли... Но зачем же вывозить еще наши лучшие умы? (Из этой реплики явствует, что с тех пор, как родился Дидро, положение с французским экспортом решительно переменилось.)

И тут же, нарушая уже всякую логику, король заявил:

— Нет уж, пока я жив, этот Дидро не попадет во Французскую академию. И без него там достаточно философов и атеистов.

Поскольку именно этому королю принадлежит знаменитое изречение «После меня хоть потоп», не приходится удивляться, что его не беспокоило, примут ли в академию еще одного философа и атеиста после его смерти.

Выезд Дидро в Россию разрешить пришлось.

Итак, Дени Дидро в первый раз выехал за границу на шестидесятом году своей жизни, в 1773 году от рождества Христова, в которое он не верил, на пятьдесят восьмом и предпоследнем году царствования Людовика XV.

Путь Дидро лежал через Голландию.

Вполне вероятно, что он и выбрал такую дорогу, чтобы перед страной самой отсталой, в которой он надеялся воплотить свой идеал государства, по-

бывать в самой развитой стране Европы. В Гааге он мог взять немало наглядных уроков свободной торговли, разумного управления, просвещенных нравов, чтобы потом преподнести их Екатерине. Но и промахи, допущенные государственными деятелями Голландии, ошибки ее истории он, конечно же, хотел изучить и понять, чтобы не допустить их повторения в России.

Покинув Париж в мае, он вскоре прибыл в столицу Голландии, где целых три месяца прогостил у старого знакомого, князя Дмитрия Голицына, бывшего полномочного министра Екатерины II в Париже, а теперь русского посланника в Гааге. Для характеристики взглядов и пристрастий князя достаточно сказать, что как раз тогда он был занят посмертным изданием трактата Гельвеция «О человеке», безуспешно пытаясь заручиться покровительством императрицы. Чтобы обезопасить от преследований родственников покойного Гельвеция, князь обратился к Екатерине за разрешением посвятить книгу ее величеству. Она не отказала, но и не дала согласия, уклонившись от прямого ответа. Это достаточно характеризовало двуличие императрицы и должно было несколько насторожить Дидро, — князь не мог не поделиться с ним своим огорчением.

Едва прибыв в Голландию, Дидро тут же доложился Софи и дамам Волан: «Утром в среду приехал в Гаагу. Должен был приехать в понедельник, но я очень устал. В дороге чувствовал себя хорошо и сейчас чувствую себя очень хорошо. Князь принял меня так, как я надеялся. Княгиня отсутствует, она поехала в Берлин навестить своих родных. Мы живем по-холостяцки. У меня красивые апартаменты, слуга только в моем распоряжении».

В следующих письмах он делится своими впечатлениями от Голландии: «Чем больше я узнаю эту страну, тем больше приноравливаюсь к ней». Он восхищается голландской рыбой, восхитительнейшими в мире прогулками. Подшучивает над голландками: «Не знаю, насколько благоразумны здешние женщи-

ны, но, когда они проходят, опустив глаза, в своих больших соломенных шляпах и безобразных косынках, завязанных на груди, у них всегда такой вид, будто они возвращаются с вечерни или идут исповедаться». Зато о голландцах отзывается гораздо более одобрительно: «Мужчины весьма рассудительны, отлично понимают толк в делах, несомненно, проникнуты республиканским духом; это относится как к высшим, так и к низшим состояниям. Мне пришлось слышать от одного ремесленника-седельщика такие слова: «Надо поскорее взять из монастыря свою девочку, боюсь, как бы она не приобрела там подлых монархических привычек».

Очень любопытен отзыв Дидро о двух отставных государственных деятелях: «Встретил здесь двух стариков, которые в настоящее время остались не у дел и поэтому не без причины чувствуют себя весьма плохо; но до своей отставки они оказывали большое влияние на государственные дела. У них такой важный вид и такая поучительная и строгая речь, что, право, мне казалось, будто я нахожусь в обществе Фабиев и Регулов; никто мне так не напоминает древних римлян, как эти две достопочтенные особы — один Шарль Бентинг, другой граф де Руон».

Самым же интересным человеком французский Сократ нашел голландского Платона — впрочем, французского происхождения, — Гамстердюи, знатока древней философии и литературы, но врага французского Просвещения.

К сожалению, Дидро в письмах к Софи не распространялся о Голландии, оставив это до той поры, когда вновь будет иметь счастье увидеть свою подругу у ее камина. Того менее писал он о Гааге и ее жителях другим своим корреспондентам и когда останавливался там по пути в Россию и на обратном пути.

13 августа 1773 года Дидро пишет семье Волан: «Жребий брошен, я еду в дальний путь; не тревожьтесь, однако». Некий господин Наришин, как Дидро называет камергера ее императорского величества

двора Семена Нарышкина, предоставил ему место в своей карете и везет в Петербург. Поедут они втихомолку, с остановками там, где подскажет любопытство или потребность отдохнуть.

И в самом деле, добирались они до Петербурга больше двух месяцев, прибыв туда 22 октября, между тем как обратный путь от Петербурга до Гааги занял у Дидро только двадцать два дня. И это несмотря на то, что Дидро сознательно миновал столицу Пруссии, избегая встречи с Фридрихом II. Задержала болезнь: Дидро и в Петербург приехал больным.

Между тем в России Дидро ожидали с нетерпением, и почва для его встречи была подготовлена не только при дворе. Проповедь французских просветителей к тому времени звучала по всей Европе. И чем острее и мучительнее ощущалось русскими людьми недовольство крепостническими порядками, подьяческим режимом, самодержавием, тем живее откликались они на эту проповедь. Вольтерьянство было распространено в России больше, чем где-либо. Произведения энциклопедистов ходили по Руси в тысячах экземпляров, что по тем временам равнялось теперешним миллионным тиражам, в подлинниках и широко переводились.

С пятидесятых годов стало появляться множество переводов произведений Вольтера, причем в роли переводчиков выступали крупные русские писатели — Сумароков, Богданович, Херасков, Княжнин, Фонвизин... А сколько было списков! Митрополит Евгений Болховитинов, в молодости увлекавшийся крамольным чтением, даже обмолвился словцом: «Письменный Вольтер был тогда столь же широко известен, как печатный!» Вслед за Вольтером стали переводить младших французских просветителей: Руссо, Гельвеция, Рейналя, Мабли и, конечно же, Дидро. Вольтерьянцы обнаруживались среди самых высокопоставленных особ. Болотов с возмущением отозвался о князе Гагарине: «Но я нашел его, читающего

французского известного безбожника Гельфеция книгу». О Голицыне мы уже знаем. Даже архиепископ Платон зачитывался Вольтером, Гельвецием, Руссо.

Вольнодумство приблизилось к самому трону. В журнале «Невинное упражнение» подруги Екатерины, той самой княгини Дашковой, которую в бытность ее в Париже посещал Дидро, были напечатаны отрывки из трактата Гельвеция «Об уме». Родственник светлейшего, граф П. С. Потемкин перевел «Новую Элоизу» Руссо. Впрочем, впоследствии, когда он начальствовал на Северном Кавказе, это не помешало ему прославиться чудовищными грабежами и убийствами в целях наживы.

Здесь смешивалась мода на вольнодумство с подлинным недовольством социально-политическими порядками России. И очень важно различать правительственную фальсификацию вольнодумства, дворянскую фронду и социальный гнев истинных демократов.

Вольнодумство проникло и в учебные заведения— Московский университет, кадетские корпуса, московскую медицинскую школу. Но и там существовало это различие между весьма благонамеренным вольнодумством и подлинным свободомыслием.

Интерес к «Энциклопедии» в Петербурге и Москве пробудился уже с первого ее тома. «Петербургские ведомости», издаваемые Академией наук, в 1751 году оповещали читателей о готовности академической книжной лавки «выписывать из-за моря новые книги, которые могут быть получены на первых приходящих кораблях», называя среди прочих книг «Энциклопедию». В последующих номерах тех же «Ведомостей» довольно подробно излагалось дело де Прада. В марте 1752-го газета извещала подписчиков: «Препятствия, для которых остановилось печатание книги, называемой «Энциклопедией», ныне совсем прекращены, и прочие части впредь беспрерывно печатать будут». И дальше русская пресса продолжала неусыпно следить за судьбой «Словаря». В 1762 году, когда Дидро добился разрешения опу-

бликовать пояснительные таблицы и рисунки (вышли эти тома, мы знаем, в 1772-м), «Ежемесячные сочинения» выразили надежду, что «также последует дозволение о продолжении самой «Энциклопедии» и о приведении ее к желаемому концу».

В 1765 году «Санкт-Петербургские ведомости» поспешили известить своих читателей, что «будущей весной во Франции выйдут из печати остальные части «Энциклопедии», чего ради охотники, которые уже имеют у себя первые десять томов и желают получить и прочие, благоволили бы заблаговременно о том заявить в Академической книжной лавке».

Первые русские переводы «Энциклопедии» появились уже в 1767 году. До 1777 года было издано и переведено около четырехсот восьмидесяти статей и мелких справочных заметок на самые различные темы. Конечно же, это была лишь небольшая часть опубликованного в семнадцати огромных фолиантах. Но, не говоря о том, что большая часть читающей публики владела французским языком и среди нее было много подписчиков «Энциклопедии», переводы давали представление о ее содержании и направлении. Уже в самом отборе статей и заметок для перевода, в том, *что* переводилось, *кто* и *как* переводил, отразились все три направления русского вольнодумства — правительственная его фальсификация, дворянская фронда и подлинно демократический протест.

К приезду Дидро в Россию с полного благословения императрицы, если не по прямому ее распоряжению, в Москве было издано три тома «Переводов из «Энциклопедии». Для того чтобы был понятен смысл этой акции так же, как и самого приглашения Дидро в Петербург, неоднократно возобновлявшегося, необходимо вернуться на десяток лет назад.

У Екатерины II были очень веские причины завербовать Дидро в свои философы. Когда она в 1762 году вступила на престол, просветительское движение в России было уже в полной силе. Открыто противо-

действовать ему императрица не могла, тем более что троном была обязана не только гвардейцам Орлова, за которыми стояли реакционные крепостники, но и предводительствуемой Паниным дворянской интеллигенции, зараженной просветительскими идеями. Екатерина вынуждена была лавировать, давать неопределенные обещания либералам и в то же время не совершать никаких поступков, которые могли бы вызвать неудовольствие крепостников. Только Пугачевское восстание заставило ее откровенно на них опереться. И в этой ее двойной игре очень важно было заручиться поддержкой передового европейского общественного мнения, создать официальное просветительство в России, по сути дела противостоящее просветительству подлинному, не только демократическому, но и дворянскому. Перед лицом Европы Екатерина довольно ловко изображала просвещенную, свободолюбивую монархиню, ученицу Вольтера. «Учитель» был выбран ею очень умно. Во-первых, фернейский патриарх возглавлял общественное мнение Европы, а во-вторых, чрезвычайно кстати оказалось и то, что из-за своего преклонного возраста он не мог приехать в Россию. Это давало императрице полную возможность в продолжавшейся много лет переписке с Вольтером фальсифицировать истинное положение вещей в России. Он же все равно не сможет убедиться, что вопреки ее заверениям в России нет ни веротерпимости, ни свободы мыслей и «каждый русский мужик не ест курицы, как только пожелает», а «в последнее время они предпочитают курам индеек».

И точно так же фальсифицировала она в своей транскрипции и идеи самого Вольтера. Под ее рукой из передового мыслителя он превращался всего-навсего в блистательного остроумца и дипломата от литературы.

И это не говоря уже о том, как мало уроков из его учения извлекала императрица для управления империей.

Фальсификацией был даже изящный французский язык ее писем в Ферней — августейшие оригиналы

правились. Ложью было и то, что она «читает и перечитывает Вольтера от доски до доски». Единственный из ее корреспондентов-просветителей, с которым она позволяла себе быть искренней, был Гримм. Ему она писала: «Кто же в состоянии прочесть 52 тома Вольтера?!»

Отправив в 1767 году путешествовать по Европе двух молодых людей, воспитанием которых руководила, императрица запретила им посещать Женеву или Лозанну, «чтобы не быть в близости от Вольтера».

Да мало ли еще примеров ее разительного двуличия, того, как слово у нее расходилось с делом!

Но в искусстве создавать видимость у Екатерины было мало равных. К приезду Дидро в Петербург эта блистательная актриса на троне великолепно сыграла искреннейшие стремления к преобразованиям и полное единодушие с энциклопедистами. Еще одна очень важная причина вынуждала Екатерину покровительствовать французским философам, гонимым у себя на родине. Тем самым она делала выпад против французского правительства, которое вело враждебную России политику в польском вопросе и в турецких делах.

Ей необходим был приезд Дидро и столь же необходимо было скрыть от него все, что только удастся скрыть, и, не приняв ничего из его советов — нетрудно было себе представить, каковы они будут, — ни в чем его не разочаровать. Вероятно, Екатерина очень надеялась и на доверчивый, простодушный нрав философа, о котором не могла не быть наслышана. Очевидно, ей представлялось, что обмануть Дидро окажется легче, чем Вольтера, если бы тот приехал в Россию.

Императрица создавала видимость торжества мудрости и справедливости, поднимая вокруг каждой своей акции подобного рода шум на всю Европу и особенно заботясь, чтобы шум дошел до Парижа. В 1765 году в Петербурге было основано Вольно-Экономическое общество — с целью совершенствования земледелия в России. Учредителями общества

были крупные вельможи, в числе их фаворит императрицы Григорий Орлов. Екатерина словно бы не имела к обществу никакого отношения. Но года через два в его адрес поступило два письма от «неизвестной особы». Она предлагала вниманию общества тему для конкурса: «В чем состоит или состоять должно... имение и наследие землепашца». Оба письма были подписаны инициалами «И. Е.», а ко второму был приложен ящичек с тысячей червонцев на премии. Так ли трудно догадаться, кто скрывался за этими инициалами?

Разумеется, общество не преминуло объявить не только в России, но и в Европе конкурс на заданную столь щедрой неизвестной особой тему. Теперь она называлась: «Что полезнее для общества: чтобы крестьянин имел в собственность землю или токмо движимое имение, и сколь далеко его права на то или иное имение простираться должны?» По сути дела, это был самый кардинальный вопрос о границах и характере крепостного права. Поступили сто шестьдесят две работы из разных государств, из них русских было только семь. Очевидно, русские авторы понимали демагогический характер конкурса, ничего от него не ожидая. Премия была присуждена сочинению французского ученого Беарде де л'Аббе. Он предлагал освободить русских крестьян. Могла ли Европа не восхищаться радикализмом жюри, за которым стояла императрица?

Радикализм, правда, несколько ослаблялся тем, что члены общества всячески препятствовали напечатанию этой работы. Если бы не нажим со стороны правительства — Екатерина была хитрее своих подданных, она бы и совсем не увидела света. Но, и увидев его, никакого влияния на положение крепостных, не говоря уже об их освобождении, не оказала и оказать не могла. И все равно «шум» до Парижа докатился.

А сколько шума должен был произвести и произвел такой поступок императрицы! Едва в Париже вышла книга Мармонтеля «Велизарий», где в художественной общедоступной форме излагалось

учение о государстве энциклопедистов умеренного крыла, как Екатерина в пику Версалю послала автору письмо, где выражала полное сочувствие его идеям. Мало того, во время прогулки по Волге Екатерина с несколькими придворными соблаговолила сама перевести «Велизария» на русский язык.

Любопытно, что переводчиками трех томов «Переводов из «Энциклопедии», изданных к приезду Дидро, были те же вельможи, которые вместе со своей повелительницей переводили «Велизария» — А. П. Шувалов, А. И. Бибиков, С. М. Козьмин и другие, а также литераторы из кружка Хераскова, принадлежавшие к той же родовитой и чиновной знати: президент берг-коллегии граф А. Е. Мусин-Пушкин, сын обер-прокурора синода, молодой поэт Ф. А. Козловский, впоследствии прославившийся своей реакционной деятельностью на посту директора Академии наук С. А. Домашев, князь Н. Н. Трубецкой, братья Нарышкины и, разумеется, сам Херасков. Он в ту пору был директором Московского университета и выступил в роли главного организатора издания. Статьи были большей частью общеобразовательного характера: «География», «Минералогия», «Этимология», «Словесность», и на такие совсем невинные темы, как «Гамак», «Баня».

Впрочем, и невинное название могло скрывать не столь невинное содержание, как, например, статья «Волшебство» вольтерьянца, женевского пастора Полье де Боттене.

И самое главное, нужно было создать видимость сочувствия идеям энциклопедистов. Поэтому среди двадцати семи статей сборников были такие: «Право естественное», «Экономия», «Нравоучение». Свободомыслие не только переводчиков и издателей, но и властей, санкционировавших издание, было засвидетельствовано, а особого соблазна для читателей не получилось.

В предисловии к первому тому предлагалось и «другим принять участие в столь полезном труде». Поэтому в числе переводчиков оказались и люди иного круга: профессора университета С. Г. Зыбелин

и П. Д. Вениаминов и преподаватели Московской медико-хирургической школы.

Переводы были приостановлены при весьма любопытных обстоятельствах: в 1768 году обстановка в Московском университете осложнилась. Несколько молодых профессоров, в том числе Зыбелин, выступили с недостаточно благонамеренными публичными лекциями. Херасков вынужден был их осудить, и показалось бы по меньшей мере странным, если бы он продолжал издавать переводы из книги, более дерзновенной, чем эти лекции. Пока же этого не произошло, сама Екатерина в своем журнале «Всякая всячина» сочувственно откликнулась на херасковские сборники. Публикация переводов возобновилась еще до приезда Дидро — в 1769 году, на этот раз под маркой достаточно официозного «Собрания, старающегося о переводе иностранных книг» при Академии наук.

Истинным пропагандистом подлинной «Энциклопедии» в России стал материалист, революционный демократ, ученик Ломоносова Яков Козельский. Он перевел и издал в 1770 году двухтомный сборник — переводы семидесяти статей и заметок. Русские читатели получили такие важные статьи, как «Философ», «Метафизика», «Логика», «Психология», «Мораль», «Естественное право», «Диалектика», «Богословие». Второй том Козельский отвел политике и юриспруденции. И отбором статей и самим переводом, ничего не сглаживающим, не притупляющим остроты боевых статей оригинала, Козельский явно полемизирует с херасковскими сборниками.

Статья «Философ» Дидро, к примеру, дорога была ему тем, что в ней людям с новым, передовым мировоззрением противопоставлялись те, «кто, не смея выступить ни на минуту из предела установленных истин, ниже шествовать иным путем, дремлют под игом суеверий».

Статья «Об естественном праве» — автор ее до сих пор не установлен; академик В. П. Волгин склонен был к тому, что она вышла из-под пера Гельвеция, — представляла особый интерес для русского

читателя тем, что поднимала вопрос о законности и непогрешимости народной воли.

Не меньший интерес представляла для русских статья «Политика», где речь шла о законности политической власти. Вошло в эти сборники и много статей шевалье де Жокура о различных способах правления. Для русского читателя было всего важнее, что, следуя схеме форм правления, данной в «Духе законов» Монтескье, Жокур выступал против божественного происхождения монаршьей власти, а именно таково было официальное толкование русского феодально-крепостнического государства. «Гвоздями» сборника были статьи Дидро «Самодержец» и «Тиран».

Яков Козельский был примечательнейшей фигурой русского просветительства XVIII века. Истинный демократ по убеждениям, он и происхождения был демократического: выходец из служилого украинского шляхетства, не имел ни земли, ни крестьян. Двумя годами раньше «Статей о философии и частях ее из Энциклопедии, переведенных надворным советником Яковом Козельским», он издал замечательный трактат «Философические предложения», развивая в нем смелые демократические идеи и ратуя за создание справедливого общества, основанного на общем труде.

Удивительно, что советский ученый Г. Макагоненко, отдавая должное Козельскому, изображает его идейным противником Дидро. И было бы еще более удивительно, если бы книга Макагоненко «Новиков и русское просвещение XVIII века» вышла не в 1951 году, может быть, и невольно отдав дань историческим концепциям, исходящим от Сталина той поры. Макагоненко пишет: «Нельзя не поразиться редкостному единомыслию французских просветителей в определении существа и природы ее (Екатерины II. — *А. А.*) единовластия, и прежде всего поражает полное совпадение мнений энциклопедистов об Екатерине II и ее самодержавстве с ее собственными оценками ее режима».

И дальше: «Борьба с политическими теориями

французских просветителей оказалась одновременно борьбой с практикой русского самодержавия». И это говорится о книге «Философические предложения» того самого Якова Козельского, который пошел в своей политической программе дальше Дидро и других энциклопедистов, но не боролся с ними, а пропагандировал их идеи, тем самым подкрепляя свои.

Насколько несправедливо и неверно отождествлять Дидро с Екатериной II и русским самодержавием, мы убедимся на фактах.

Не один Козельский, но и другие разночинцы переводами из «Энциклопедии» боролись с русским самодержавием. В том же 1770 году вышла такая книга: «О государственном правлении и разных родах оного, из Энциклопедии переводил Иван Туманский, Правительственного Сената переводчик». В нее вошли статьи: «Демократия», «Деспотическое правление», «Монархия», «Олигархия», «Самодержавство», «Самодержец», «Тиранство», «Тиран»» и так далее. Получилась как бы квинтэссенция самых боевых, смелых, свободолюбивых мнений «Энциклопедии». Книга звучала сверхрадикально, явно призывая к утверждению республики.

Русские просветители очень умело пользовались заигрыванием Екатерины с просветителями французскими. Любопытна и такая подробность — статьи, наиболее действенные в борьбе с самодержавием, повторялись в нескольких сборниках.

Русские просветители умели еще больше, чем французские, заставить служить политике и статьи на совсем иные темы. Семен Баширов, сын канцеляриста, широкообразованный человек, дослужившийся до секретаря сената, выпустил три сборника переводов из «Энциклопедии» под невиннейшими названиями: «О любви», «О надзирателях при воспитании», «О ласкательстве». И эти сборники не только ударили по феодальным нормам поведения, если выражаться по-русски — по домострою, но были проникнуты и политическими освободительными идеями. Была ли то статья Дидро «Об отцовской любви» —

в ней шла речь о правах и обязанностях самодержца, или статья Даламбера «Придворный», де Жокура «Ласкатель» (льстец), «Лжец» и «Ласкательство» (лесть), так или иначе они были направлены против самодержавия.

Буржуазную, передовую по тем временам мораль утверждал своими переводами другой русский интеллигент Иван Венслов: он перевел и опубликовал восемнадцать статей: «Ложь», «Клевета», «Презрение», «Порок», «Добродетель», «Нищета» и т. д.

Эти семинаристы, воспитанники университетов, учителя, протоколисты, секретари, сенатские переводчики и были настоящей опорой Дидро в Петербурге, в России, а не императрица, не ее фаворит граф Григорий Орлов, и даже не Нарышкины, не Херасков и его группа. Знал ли это Дидро, понимал ли? Может быть, ему даже не сказали, в скольких переводах вышли в России статьи «Энциклопедии» и, уж во всяком случае, как различны эти сборники по позиции переводчиков? Или, ожидая революции сверху, в чем разуверится потом, он и не искал общения с далекими от трона и высшего света самыми передовыми русскими людьми? Да и было ли это возможно для гостя императрицы?! А им бы наверняка он понравился больше, чем петербургским вельможам.

Так или иначе, насколько нам известно, за пять месяцев петербургской жизни Дидро встретился только с двумя переводчиками «Энциклопедии», не считая Нарышкиных, и то, вероятно, потому, что оба были учеными: Демидов — натуралистом, Владимир Орлов — минералогом, к тому же еще братом фаворита.

Итак, опасности, связанные с поездкой, позади. А их было немало, и первая из них — тяжелая болезнь Дидро. Последний приступ ее он к тому же скрыл от своего спутника и, терзаемый ужасными коликами в животе, мучился еще и от дорожной тряски.

Однако Дидро в первом письме из Петербурга заверяет жену, что прогулка пешком в Булонский лес утомила бы его больше, чем эти восемьсот лье на почтовых по ужасным дорогам. Мало того, он пишет Анне Туанете,— тридцатилетний Нарышкин, который вот уже четыре года объезжает таким же способом весь свет, бывал в пути «до такой степени разбит, что мне несколько раз казалось — придется оставить его мертвым где-нибудь под забором или ополоумевшим доставить в его страну, между тем я чувствовал себя лучше, чем когда-либо». И несколькими строчками выше: «По-видимому, движение для меня очень полезно, а сидячая трудовая жизнь является источником всех моих недомоганий. В Париже я ложился утомленным и вставал еще более утомленным, чем бывал с вечера. Ничего подобного я не испытывал даже после сорока восьми часов безостановочной езды, ибо нам не раз случалось ехать днем и ночью».

Что здесь было ложью во спасение и данью обычной гиперболической манере Дидро, а что правдой? Во всяком случае, он приехал в Петербург совершенно больным, почему и попросил отвезти себя к Фальконе, рассчитывая получить в доме друга «набор трав, клистирную трубку и постель». Кстати сказать, Фальконе его не принял: приготовленную для Дидро комнату занял приехавший из Лондона сын хозяина. Было ли это истинной причиной или предлогом? Так или иначе, Дидро был очень огорчен и холодностью старого друга, обязанного ему самим своим пребыванием в Петербурге, и тем, что вынужден искать приюта, о чем не смог не проговориться. Не зная русского языка, на постоялом дворе он остановиться не мог. Оставалось просить гостеприимства у Гримма или у Нарышкина. Дидро начал с камергера, так как Гримм был в Петербурге не у себя дома. Нарышкины — сам камергер, его брат и невестка — оказали философу превосходный прием, и благодаря им он свел знакомство с просвещенными особами петербургского света. Они охотно посещали его и приглашали к себе.

Правда, все это было потом. Пока же он лежал больной в постели. Но сознание высокой миссии, с которой он приехал, поддерживало в нем бодрость духа, пересиливавшую физическую немощь.

И все-таки не только потому, что он был болен, Дидро не смог явиться ко двору, как только приехал, и тем более присутствовать при торжественной церемонии бракосочетания Павла Петровича, к тому же совпавшего с его собственными именинами, — он прибыл в Петербург накануне дня святого Дени. У него не было с собой иной одежды, кроме дорожной, да еще и парик потерялся дорогой. Екатерина подарила ему цветной костюм: в черном во дворец являться не полагалось, а затем — шубу и муфту, и приняла Дидро так, что самые пылкие надежды его, казалось, были превзойдены.

Не будем придавать чрезмерного значения расточаемым Дидро в письмах комплиментам императрице, как поступали некоторые исследователи, и задумаемся над тем, что для него в отношениях с Екатериной было самым главным. Уже на обратном пути из Гааги, как бы подводя итоги, он пишет дамам Волан:

«Путешествие мое было не только приятно, но и весьма почетно; со мной обходились как с представителем просвещенных и талантливых людей моей родины. Таковым я считаю себя, сравнивая знаки внимания, которыми меня почтили, с теми, которых я мог ожидать лично для себя». Своим же заслугам он не придавал значения, считая, что рекомендацией для него является только оказанное ему императрицей благодеяние.

«Вот что я говорил себе: «Тебя представят императрице; ты поблагодаришь ее; месяц спустя она, быть может, пожелает тебя увидеть вновь; она задаст тебе несколько вопросов; еще через месяц ты попрощаешься с нею и вернешься на родину».

Спрашивается, зачем же он проделал этот мучительный путь, если больше ни на что не рассчитывал? Но все сказанное выше — только словесная фиоритура для того, чтобы заключить: «Не согласитесь ли вы,

милые подруги, что при любом дворе, кроме петербургского, дело обстояло бы именно так!»

Здесь же все обстояло иначе: «Двери кабинета императрицы открыты для меня все дни, я вижу ее с глазу на глаз с трех до пяти, а порой и до шести. Я вхожу, меня просят сесть, и я беседую с той же свободой, с какой разговариваю с вами, а выходя оттуда, должен признаться самому себе, что был рабом в стране, именуемой страной свободных людей, и стал свободным человеком в стране, которую называют страной рабства».

В другом письме он рассказывает, что Екатерина берет денежный штраф с тех, кто при ней не садится. Конечно же, для него очень важно, что русская императрица держится демократично и позволяет ему вести себя так, как он при Людовике XV не мог бы и помыслить.

Он восторгается Екатериной, называет ее необыкновенной женщиной, но тут же отводит от себя упрек в корысти: «Меня за мою хвалу не могут обвинить в продажности, ибо я поставил узкий предел ее щедротам».

Он повторяет в письмах не только Дашковой, но и Софи, что в императрице «душа Брута соединилась с обликом Клеопатры, потому что ее любовь к истине не имеет пределов, а в делах своего государства она разбирается, как в своем хозяйстве». И это после того, как Екатерина не смогла или не захотела ответить правду на многие из его восьмидесяти восьми вопросов, касающихся социального и экономического состояния Российской империи. Не так-то просто разгадать, в чем тут дело. Не применял ли Дидро традиционный прием «наставников» монархов, выдавая желаемое за сущее?

А Екатерина держала себя с ним именно как с добрым знакомым, на ровнях. Дидро мог вести себя непринужденно, потому что императрица это дозволяла. Дело доходило даже до курьезов. Гримм писал графу Нессельроде, что его друг держит себя с Екатериной, как в доме Гольбаха, — «Дидро берет

руку императрицы, трясет ее, бьет кулаком по столу, он обходится с ней совершенно так же, как с нами». Сама Екатерина писала мадам Жофрен: «Ваш Дидро — человек необыкновенный, после каждой беседы с ним у меня бока помяты и в синяках. Я была вынуждена поставить между ним и собой стол, чтобы защитить себя от его жестикуляции». Нетрудно заметить, что здесь она называет Дидро необыкновенным человеком совсем не в том смысле, в каком она 27 декабря 1773 года писала Вольтеру: «Я нахожу у Дидро неистощимое воображение и отношу его к разряду самых необыкновенных людей, какие когда-либо существовали». Комплимент, правда, несколько двусмысленный: Екатерина именует воображением то, что Дидро считал деловой программой преобразования России. И заверение в том же письме, что она «беседовала бы с ним всю жизнь без скуки», носит платонический характер. Дидро важна была отнюдь не занимательность их разговоров.

В простоте обращения Дидро с Екатериной сказывались его неугомонный темперамент и то, что он совершенно не годился в придворные. Недаром осторожный Гримм под маской сожаления, что Петербург не оценил Дидро, — «он не одержал здесь ни одной победы, кроме как над императрицей», все же прочие сочли его чудаком, к которым под этими широтами не привыкли (это было неправдой), — осуждает непринужденные манеры своего друга.

Но только ли в манерах дело? Простота обращения Дидро с императрицей сочеталась с независимостью суждений, а суждения эти выражали стремление к буржуазному преобразованию России, истине, свободе, благу народа. Дидро не лгал Дашковой, заявляя: «Могу вас уверить, что ложь не входит в кабинет ее императорского величества, когда там философ».

Но ложь не покидала кабинета ее императорского величества, когда туда входил Дидро, потому что в Екатерине все было ложью. Внимание, с каким она выслушивала Дидро, якобы с полной готовностью внять его советам, было только игрой

в стремление к истине и благу управляемого ей народа.

Она фальшивила и притворялась. Дидро же был совершенно искренен и откровенен, с поправкой на то, что из тактических соображений, предлагая императрице очередное нововведение, излагал его таким образом, словно прежде всего заботился об ее интересах, даже когда советовал ввести в России третье сословие.

О чем же шла речь в их долгих, непринужденных беседах? Дидро не оставил дневника своей петербургской жизни, да и в письмах все больше обещал подробно рассказать о ней у камелька в Париже. Но зато под свежим впечатлением бесед с Екатериной он составил для нее «Философские, исторические и другие записки разного содержания», и они с успехом могут заменить отчет об этих беседах. Спасибо Дидро и за то, что восемьдесят восемь вопросов, касающихся социального и экономического состояния России, он задал Екатерине в письменной форме, и благодаря этому они до нас дошли. Отложилось его пребывание в Петербурге и в двух важнейших, принципиальнейших трудах: «Плане университета или публичного преподавания всех наук для Российского правительства» и «Замечаниях на наказ е. и. в. депутатам Комиссии по составлению законов».

Дидро сам составил оглавление «Записок». Из него видно, как с истинно энциклопедической широтой, экскурсами в историю и философию, он подкреплял свою практическую программу, как охватывал решительно все стороны жизни, как последователен был во всех «наставлениях», которые давал своей августейшей собеседнице.

Записки начинались с исторического очерка о представительных учреждениях. Затем следовали «Мечты мои, философа Дени». О чем же мечтал философ Дени? Во-первых, он полагал, что Франция скорее склонна вступить в союз с Россией, нежели с Пруссией, и объяснял Екатерине, что пруссаки — естественные враги русских. Очевидно, здесь не обо-

шлось без влияния французского посла Дюрана. Тот не преминул объяснить философу, чего ждет от него, как от француза, и даже заслужил одобрение министра иностранных дел Дэгийона. Дидро действительно старался улучшить отношения своей родины с Россией. Но «Париж», как называли вольнодумцев, оказался бессилен помочь королевской резиденции Версалю, ибо именно в это время Франция выступила против России в Польше, Швеции и Турции и не пускала русский торговый капитал на Ближний Восток.

Иностранные дипломаты тем не менее обеспокоились тем, что Екатерина так приблизила француза. Особенное неудовольствие выразил Фридрих II, обиженный на Дидро, миновавшего Берлин.

Политическая прозорливость Дидро подтверждается предсказанием: раздел Польши между тремя волками, а есть еще и четвертый — Франция — приведет к сваре.

Он выступает не только в роли противника длительной войны, которую вела тогда Екатерина, но и противника всякой войны. «Если победа будет стоить хотя бы одного года вашего мирного царствования, то и то это слишком дорогая цена».

Говорит о том, что французская монархия одряхлела, называя Людовика XV посредственным королем, чтобы не сказать — хуже, и предсказывая старому порядку упадок еще больший.

Казалось бы, это рискованно — высказывать одному монарху подобные суждения о другом, но Дидро рискует. «Я прекрасно сознаю, что сия записка может погубить и меня и все мое потомство. Но я еще лучше знаю, с кем я имею честь разговаривать и на какой священный алтарь я возлагаю свои мысли. Здесь они будут сохраннее, чем в глубинах моего сердца, где никогда не обитала ложь, и откуда всегда готова излиться истина».

«Алтарь» был не слишком священным, но зато не в интересах Екатерины было предавать Париж Версалю — посланника энциклопедической республики — Людовику XV.

Для улучшения отношений России с Францией Дидро пользуется еще одним козырем обоюдной коммерческой выгоды.

Но гораздо больше, чем дела международные и даже чем внутренние дела Франции, изменить которые русская императрица не могла, в беседах с ней Дидро занимало преобразование самой России в республиканизированную монархию.

Он пишет в своих «Записках», а значит, об этом он говорил Екатерине, об отправлении правосудия, добиваясь полного упорядочения судебной практики и строгого соблюдения законов для всех и всеми. Опираясь на ее собственный «Наказ», он требует, чтобы императрица установила всеобщее законное равенство: «оно так естественно, так человечно, что только дикие звери могут отвергать его».

А императрица между тем, чего не знал или делал вид, что не знает Дидро, больше всего не любила, когда ей напоминали про законы. Современник, князь М. М. Щербатов, писал: «Ничто ей не может быть досаднее, как то, когда, докладывая ей по каким делам, в сопротивление ваше ее законы постановляют, и тотчас ответ от нее вылетает: «Разве я не могу, невзирая на законы, сего учинить?»

Дидро писал в «Записках», а значит и говорил императрице о важности конкурса даже на первые должности империи, то есть предлагал установить естественную иерархию, которой не существовало тогда нигде. А при Екатерине должности раздавались фаворитам.

Он предлагал императрице следовать примеру Голландии, увеличивая население городов и «покровительствуя всеми мерами механическим искусствам, привлекая возможно больше рабочих, отчего выиграют и нация и нравы — вследствие обогащения промышленных рабочих».

Просветитель, он призывает Екатерину непрестанно и мощно развивать народное образование до тех пор, пока не исчезнут невежество, предрассудки, озлобление и рознь.

Он идет еще дальше, призывая: «Придайте силу народу, и вы отнимете столько же силы у знатных». А в это время началось уже Пугачевское восстание, которое Екатерина старалась скрыть от Дидро, и России дальше Царского Села ему не показывала. И все равно уже одного взгляда на Петербург, хотя и здесь круг его наблюдений и знакомств был ограничен прежде всего незнанием языка да и опекой, под которой он находился, оказалось для Дидро достаточно, чтобы предложение о преобразовании столицы связать с освобождением крестьян. В записке «Петербург» говорится: «Если столица перейдет в Москву не раньше, чем через сотню лет, нельзя ли побольше заселить Петербург, сделать его более живым, более деятельным и торговым, присоединив к множеству разбросанных в нем дворцов и частные дома? Кем же будут заселяться эти дома? Рабочими всех специальностей: каретниками, плотниками, каменщиками, канатчиками и т. п.

Откуда же получить таких рабочих? Из деревень, где они или живут или работают в имениях господ, путем немедленного освобождения или постепенного...»

Его заботит решительно все, что может и должно способствовать процветанию страны. Он спрашивает Екатерину, почему бы ей не устроить в России торговые дома, которые находились бы в зависимости от финансовой коллегии, и тем самым отобрать финансовую монополию у монастырей? Кстати, здесь-то он и вспоминает своего родственника, помощника настоятеля монастыря кармелитов, брата Ангела, и его маклерские операции.

Дидро прекрасно сознает, что все его проекты не столь уж реальны, называя их «помыслами бедняка, пустившегося рассуждать о политике на своем чердаке», и заверяя, что он «понимает, какая пропасть отделяет их от помыслов государыни». «Нет ничего легче, чем распоряжаться империей, лежа у себя в постели. Тут все кажется очень просто. Иное, когда берешься сам за дело».

Но, считая себя наставником государыни, давшей ему для этого все основания, он действительно «принялся за дело». Не было ни одной области жизни страны и столицы, которую бы он не старался изучить и продумать, как ее улучшить в соответствии со своими политическими, экономическими, философскими взглядами, но и применительно к обстоятельствам.

Так, к примеру, понимая, что Екатерина не пойдет на разрыв с православным духовенством, он призывал ее только утвердить религиозную терпимость.

Он заботился о крупном и о мелком, об «учреждениях ее императорского величества и о духе ее нации» и о прокладке улиц.

Как всегда, он во многом исходил от самого себя. Так, совершенно очевидно, что, говоря Екатерине: «Мне очень хотелось бы, чтобы ваше императорское величество нашло какой-нибудь способ ввести развод. Нерасторжимость брака противоречит постоянству... Из-за розни родителей дети становятся несчастными...», он не мог не думать о собственном браке с Анной Туанетой.

Но предложение это было прогрессивным и само по себе, независимо от личной горечи, которой оно приправлено.

Он относился по-хозяйски решительно ко всему, предлагая меры к развитию техники, улучшению сельского хозяйства, борьбе с расточительностью, но и ростовщичеством. Заботясь о будущем страны, где надеялся увидеть воплощение своих государственных идеалов, предлагал воспитать наследника престола так, чтобы полученное им узковоенное воспитание пополнилось широкими познаниями в науке и искусствах, изучением своей страны и других стран при посредстве путешествий, участием в работе государственных учреждений, то есть школой управления. Конечно же, ничего из этого выполнено не было: вместо познавательной поездки по России мать отправила Павла в увеселительную поездку по Европе.

Очень интересовался он и театром как средством просвещения; особую записку он написал императрице о двух школьных постановках Мольера.

Настолько же, насколько заданные Дидро вопросы характеризовали его, настолько же характеризовали Екатерину ответы.

Вопрос. Не влияет ли рабство земледельца на культуру земли?

Ответ. Нет.

Вопрос. Не ведет ли к дурным последствиям отсутствие собственности у крестьян?

Ответ. Нет.

Отвечая на многие вопросы, она отшучивалась. Так на вопрос: «Существуют ли в России ветеринарные школы? — ответила: «Бог да хранит нас от них».

На многие вопросы она просто не могла ответить или отвечала так, что это свидетельствовало о несовершенстве ее как государственного деятеля.

Вопрос. Как устроено общее управление торговлей зерном?

Ответ. Такого управления не имеется.

Вопрос. Во сколько оценивается ежегодная продукция зерна по всей России? Известно ли это в среднем на год?

Ответ. Не знаю.

Императрица не смогла ответить на двадцать восемь вопросов Дидро, переадресовав его к графу Миниху, к которому философ и обратился. Он хотел довести свою работу до конца и узнать решительно все относительно населения России, ее земледелия, промышленности, торговли, ввоза и вывоза продуктов и товаров, положения крестьян.

Не менее характерно для Екатерины, как она отвечала на «опасные» вопросы. Дидро захотел узнать: «Каковы условия между господином и рабом относительно возделывания земли?» Она ответила, что не существует никаких условий, так как «всякий здравомыслящий хозяин, не требуя слишком многого, бережет корову, чтобы доить ее по своему желанию, не изнуряя».

И все-таки Екатерине не удалось обмануть своего

советчика. Как честный и принципиальный человек, он сказал ей все, что думал, но потом понял, что скорее всего проповедует тщетно. Это очевидно из его «Замечаний на «Наказ»», составленных уже не в Петербурге, а в Гааге, когда Дидро возвращался домой. Он писал: «Нет и не может быть истинного государя, кроме народа... Екатерина, несомненно, является деспотом. Намеревается ли она остаться им... или она отречется от деспотии? Если же она останется им, то пусть составляет свое уложение, как хочет: ей не нужно одобрения нации. Если же она откажется от самодержавия, то надо, чтобы ее отречение было оформлено». Что может быть красноречивее этой последней попытки заставить Екатерину превратить «Наказ» в дела.

Екатерина II прочла эти «Замечания» уже после смерти Дидро и доверила Гримму свое истинное мнение о них: «Это настоящая болтовня, в которой нет ни знания обстоятельств, ни благоразумия, ни предусмотрительности. Если бы мой «Наказ» был во вкусе Дидро, то он бы должен был перевернуть все вверх дном».

Спрашивается, почему же из той же Гааги в том же 1774 году Дидро слал столь восторженные отзывы о русской императрице? Думается, объяснение вот в чем. Разуверившись, хотя еще и не полностью, в Екатерине как республиканце на троне, Дидро не потерял надежды на то, что она издаст полную «Энциклопедию», и так как письма эти писались в доме посланника князя Голицына и через его слуг, очевидно, отправлялись, Дидро должен был держаться лояльно.

Он и в сентябре, уже вернувшись в Париж, верил, что «Энциклопедия» будет издаваться, и как будто бы к тому были все основания.

Издать в России полную, неискаженную «Энциклопедию» было одной из главных целей поездки Дидро. В конце «Записок» помещен его монолог, именно монолог, об «Энциклопедии». Он начинается по-

истине трагически: «Я работал около тридцати лет над этим произведением. Нет такого преследования, которому бы я не подвергался. Я уже не говорю о всех клеветнических нападках. Посягали на мою честь, на мое состояние и свободу. Мои рукописи переходили из одного хранилища в другое, мы укрывали их то в одном, то в другом месте. Несколько раз пытались их у меня выкрасть... Я собирался даже эмигрировать, как мне советовали друзья, считавшие небезопасным мое пребывание в Париже».

Мы с вами уже пережили все это вместе с Дидро, как пережили и то, о чем он говорил дальше — отношение к энциклопедистам как к людям, достойным виселицы, пасквиль натравленного на энциклопедистов мосье де Шуазелем Палиссо. Но и нам полезно вспомнить все, о чем Дидро рассказывал императрице для того, чтобы до конца понять побуждения, заставившие его предложить ей:

«Не удивительно, что среди всех этих тревог «Энциклопедия» при всех своих достоинствах имела и ряд недостатков. Было бы достойно вашего величества поступить в отношении «Энциклопедии» прямо противоположно тому, как поступили во Франции, и довести нашу «Энциклопедию», ныне представляющую лишь прекрасную рукопись, до состояния прекрасной книги. Признаюсь, что я с большим удовольствием написал бы на заглавном листе: «Французы желали видеть ее плохой; русская императрица сделала ее хорошей».

Зная честолюбие Екатерины и заботу ее об общественном мнении, он говорит: «Эта попытка была бы отмечена в истории в ряду дел, совершенных вами в дни войны и в дни мира. Произведение, несомненно, было бы посвящено вам, и этот памятник, позорный для Франции и славный для вас, оказался бы одинаково полезным и для вашей нации и для мира.

Даже в существующем виде «Энциклопедия» не лишена достоинств и ценности. Насколько же возросла бы ее репутация и польза, приносимая ею, если бы она была усовершенствована!»

СТАТЬИ О ФИЛОСОФІИ И ЧАСТЯХЪ ЕЯ ИЗЪ ЭНЦИКЛОПЕДІИ,

переведенныя

НАДВОРНЫМЪ СОВѢТНИКОМЪ

ЯКОВОМЪ КОЗЕЛЬСКИМЪ.

Часть I.



цѣна 30 коп.

при Императорской Академіи наукъ

1770 года.

Титульный лист русского перевода статей «Энциклопедии».

Затем идут деловые сведения: в распоряжении Дидро все его сотрудники, все его друзья, не исключая и Даламбера, трусливо покинувшего «Энциклопедию» перед восьмым томом.

«Работая вне опасности, имея достаточно друзей и дюжину сотрудников, при наличии многих статей, составленных вполне хорошо и требующих лишь некоторой доделки, я могу в течение довольно короткого времени довести это предприятие до такой степени совершенства, что его не придется существенно дополнять в течение еще целого века». (Можно ли обвинять Дидро в том, что он недооценивал того, что принесет человечеству XIX век, не предвидел рождения Маркса и Энгельса, великих достижений науки и искусств?)

Дидро брал на себя обязательство «выслать полную рукопись ее величеству через шесть лет, считая со дня его прибытия во Францию». Он допускает и такую возможность, что она оставит эту рукопись полной «Энциклопедии» для личного пользования, словно угадывает, как она поступит с его собственными рукописями.

И, самое главное, он прямо объявлял императрице, что воспользуется ее покровительством, чтобы составить «Энциклопедию» в свободном духе, восполнив все, что было упущено. Любопытна и такая подробность: Дидро обязуется тщательно проверить и дать все ссылки, и он «лично придаст части, относящейся к механическим искусствам, ту точность, которая необходима и в тексте и в гравюрах».

В заключение следуют финансовые соображения. Приведя точные данные о сравнительно небольших расходах и гигантских доходах Лебретона и К°, Дидро заверяет императрицу, что издание превзойдет первое, бывшее для того времени наилучшим, но потребует гораздо меньших затрат — всего сорок тысяч рублей.

Он представит генералу Бецкому, которому Екатерина поручила вести с Дидро все переговоры об «Энциклопедии» и якобы подготовку издания, отчет в этой сумме с расписками от сотрудников. «Ваше

величество разрешит, чтобы среди этих расписок моих не было». Он берет на себя общее руководство, раздел техники, текст и рисунки, историю древней и новой философии и все относящееся к языку. Но Дидро не нужно иного вознаграждения, кроме «сознания, что ему посчастливилось воздвигнуть великий литературный памятник (он вынужден был добавить «в честь вашего величества») — оставить после себя зримое свидетельство своего существования...»

Дальнейшее он адресовал уже генералу Бецкому, объяснив: «С государыней следует беседовать о пользе и о славе, о финансах же и о доходах — с ее министром».

Генерал, вероятно, с благословения своей повелительницы — зачем ей была «Энциклопедия» в совершенно свободном духе? — тянул, то обнадеживал, то разочаровывал, то снова обнадеживал. Сколько времени и душевных сил потратил Дидро на переговоры, устные и письменные, со «сфинксом», как Екатерина прозвала своего министра. 9 мая казалось, что дело выгорело. В сентябре надежда загоралась снова, чтобы в октябре погаснуть окончательно. Бецкой высчитал, что издание потребует двенадцати лет труда. Дидро соглашался еще раз приехать в Россию, его ничто не пугало. Зато пугало тех, кого он хотел увенчать бессмертной славой. Сотни тысяч летели на развлечения, но сорок тысяч истратить на «Энциклопедию» Бецкой окончательно признал неразумным, хотя доходы должны были решительно превысить расходы и пойти на содержание воспитательного дома, множа добрую славу матушки Екатерины.

Еще одна иллюзия Дидро потерпела крах.

Зато в бытность философа Дени в Петербурге его избрали в действительные члены императорской академии наук.

На это поступило особое указание Екатерины. Могла ли она упустить случай уколоть Версаль и тем

самым выиграть в европейском общественном мнении?! Людовик XV Дидро в «бессмертные» не пропускал.

Конечно же, в Российскую академию он мог бы быть избран и без августейшего повеления. В Петербурге у него было много почитателей и среди ученых.

Дидро познакомился с непременным секретарем академии графом Штелиным, его преемником — профессором Эйлером и отцом последнего, знаменитым математиком.

1 ноября 1773 года прочел на заседании Академии наук записку с рядом вопросов о Сибири — очевидно, для тех же целей преобразования России; профессор Ланксман на них ответил. Уезжая, в письме Эйлеру-младшему выразил сожаление, что не смог сделать доклад о геометрии, поблагодарил за прием и избрание, обещал передать Даламберу и знаменитому геодезисту Лакондамину письма от обоих Эйлеров и заверил, что в его лице они имеют в Париже преданного собрата.

И еще один, очень важный интерес был у Дидро в Петербурге: это памятник Петру, над которым работал Фальконе. Здесь опять-таки ему пришлось столкнуться с Бецким. Генерал настаивал, чтобы за образец был взят памятник Марку Аврелию. Скульптор с ним не соглашался. Характер у Фальконе примерно как у Жан Жака, но в споре с Бецким он прав. «Марк Аврелий» как образец не годится. И Дидро поддерживает своего не слишком обязательного друга. Какое могло иметь значение даже то, что тот не принял его, больного, в своем доме, в сравнении с величием создания Фальконе? Да и дружеские чувства к Фальконе Дидро с его добродушием пока сохранил. Он писал ему 6 декабря 1773 года: «Эх, мой друг, оставим коня Марка Аврелия. Пусть он... хорош, пусть он безобразен, какое мне до него дело?.. Поговорим о вашем. Если вы хорошо знаете, как дружески я к вам отношусь, вы поймете, с какой

тревогой я вступил в вашу мастерскую. Но я увидел, я внимательно рассмотрел, и я отказываюсь когда-либо высказывать свое мнение о скульптурных произведениях, если вы не создали великолепный памятник и если исполнение не соответствует во всех отношениях благородному и величественному замыслу».

Письмо это поразительно конгениальностью великому созданию Фальконе и пониманием высокого реалистического искусства. Дидро пишет дальше: «...Бушардон[1], перед чьим именем вы скромно преклоняетесь, был в манеже, где видел коней, прекрасных коней, которых в совершенстве изучил и в совершенстве отобрал, но никогда не проникал он в конюшни Диомеда или Ахилла и никогда не видел их боевых коней. А вы, мой друг, напомнили их моему воображению такими, какими мне их раньше показал древний поэт.

Правда природы сохранена во всей своей чистоте. Но ваш гений сумел придать ей обаяние поэзии, которая возвеличивает и поражает. Ваш конь не копия самого прекрасного из существующих коней, как Аполлон Бельведерский не копия самого прекрасного мужчины: и тот и другой — произведения творца и художника...»

5 марта Дидро покинул Петербург. Дала ли ему Екатерина прощальную аудиенцию? По одной версии оба были так недовольны друг другом, что от последнего решительного разговора уклонились. Профессор А. И. Молок, автор статьи «Дидро о России» в X томе русского Собрания сочинений, утверждает, что прощальная аудиенция состоялась, мало того — Екатерина предложила философу остаться в России, выписав семью, а он отказался, сославшись на то, что жена его больна, а сестра ее стара. Бесспорно, Екатерина, демонстрируя все ту же щедрость, удвоила названную им скромную сумму, которая покрыла бы издержки на его обратную дорогу — литератор

---

[1] Эдди Бушардон — выдающийся французский скульптор, стремился возродить простоту и строгость античных мастеров.

путешествует не как вельможа, и вместо полутора тысяч пожаловала три. Он попросил на память какую-нибудь лично ей принадлежащую безделушку; императрица сняла с пальца дорогой перстень и презентовала ему. Она сказала, что Дидро всегда может рассчитывать на ее помощь.

Отношения и с его отъездом порваны не были. И как Дидро, догадываясь уже о двуличии императрицы, мог их порвать, пока еще надеялся на издание полной «Энциклопедии» и не отказался от попыток наставлять Екатерину на пути преобразования ее государства? Да и личное обаяние императрицы продолжало на него действовать.

Уезжая из Петербурга, Дидро принял на себя немало императорских комиссий или поручений, впрочем, ничто из них не шло против его убеждений, ни против его обычая жечь свечу для других. Он обещал написать или переработать шестнадцать-семнадцать комедий и трагедий для домашнего театра воспитанников и воспитанниц закрытых учебных заведений, помочь графу Миниху составить каталог картинной галереи императрицы, прислать уставы французской консульской юрисдикции и, что было самым трудным, издать в Гааге уставы петербургских учебных заведений. Не все свои обещания Дидро успел выполнить.

Зато Екатерина из своих обещаний не выполнила ничего. Своими «Замечаниями на «Наказ» Дидро хотел заставить ее раскрыть карты, но «Замечаний» не окончил и не отослал. Как отнеслась Екатерина к этой тетради после смерти автора, мы знаем.

В середине 1776 года Дидро отправил императрице очень резкое письмо, упрекая ее за невыполнение обещаний. К этому времени, очевидно, он окончательно распрощался с иллюзией, что республика может существовать под вывеской «A l'Impératrice de Russie».

Конечно, поездка Дидро в Россию с целью уговорить императрицу учредить республиканизированную монархию явно противоречила его демократическим

La Religieuse.

La reponse de M. le Marquis de C***,
s'il m'en fait une, me fournira les premieres
lignes de ce récit. Avant que de lui écrire, j'ai
voulu le connaître. C'est un homme du
monde; il s'est illustré au service; il est
âgé; il a été marié; il a une fille et deux
fils qu'il aime et dont il est chéri. Il a
de la naissance, des lumieres, de l'esprit, de
la gaieté, du gout pour les beaux-arts,
et surtout de l'originalité. On m'a fait
l'éloge de sa sensibilité, de son honneur et
de sa probité, et j'ai jugé par le vif inté-
rêt qu'il a pris à mon affaire, et par tout
ce qu'on m'en a dit, que je ne m'étois point
compromise en m'adressant à lui, mais
il n'est pas à présumer qu'il se determine

Первая страница ленинградской копии «Монахини».

убеждениям. Но противоречие это было следствием не личной его непоследовательности, а отражением противоречий объективной исторической действительности. Он должен был считаться с реальным положением вещей. В Европе XVIII века самой распространенной государственной формой была монархия. Народные массы в подавляющем большинстве были настроены монархически, ждали облегчения своей участи от доброй воли короля и только в том случае, если он не захочет ее облегчить, склонны были прину-

дить своего монарха уважать народный суверенитет.

Поэтому-то Дидро только в глубокой истории находил доказательства «естественности» и преимуществ республиканского способа правления перед монархическим.

Этими примерами он подкреплял теорию государства. Что же касается практики, частично разделял иллюзии физиократов и большей части старшего поколения просветителей, что можно добиться изменений социального строя силой королевской власти, представляемой просвещенным и мудрым королем. Разделял до тех пор, пока их не разрушила Екатерина.

К тому же примерно времени, что и поездка в Петербург, относится попытка Дидро осуществить и во Франции социальную революцию с помощью Людовика. Это написанная им «Речь философа, обращенная к королю». Конечно же, она сразу была обречена на неудачу. Оставалась одна надежда на Екатерину, так щедро выдававшую авансы свободомыслия и попечения о благе народном. Теперь и эта надежда рухнула. Так же как частная филантропия бессильна исправить зло в мире, так же ничего нельзя ждать и от филантропии государей.

Дидро не мог не прийти к этому выводу.

XII

Ему нельзя было помешать стать бессмертным

Но в 1774 году Дидро вернулся из путешествия не таким, каким покинул Париж. И не только из-за невской воды, заставившей его тяжело болеть. Сам он говаривал, что вода Невы не так уже отлична от воды Сены.

Меньше года прошло с тех пор, как он уехал, а все увидели, как он сразу постарел. Те, кто противился его поездке, и раньше предсказывали, что Дидро постигнет участь Декарта при дворе Христины. Сам же он, по свидетельству Гальяни, считал, что Время и Пространство для него то же, что для всемогущего. Он воображал, что он всюду и что он вечен. А в общем-то, если смотреть на вещи с вышки всемирной истории, Дидро был прав.

Представьте себе знакомую квартиру на углу улицы Бенуа и улицы Таран. Дидро поднимается на четвертый этаж и говорит:

— Добрая моя жена, пожалуйста, пересмотри и перечти все мои вещи. Ты увидишь, что тебе не за что бранить меня, я не потерял даже ни одного носового платка.

Мы знаем, над чем Дидро работал в последние годы жизни. Знаем, как много он работал. Молодой англичанин Самуэль Ремилье, побывав в 1781 году в Париже и познакомившись со старой гвардией энциклопедистов, рассказывал: «Даламбер был слаб, Дидро полон жизни и огня и откровенно хвастал своим неверием в бога».

Почти сразу после возвращения Дидро начал писать «Жизнь Сенеки», а прежде был к этому римлянину весьма равнодушен. И этот труд при различиях жанра очень близок к комедии «Добр ли он, зол ли он?». Нет абсолютных правил относительно того, что хорошо, что дурно. Политическая карьера Сенеки это подтверждала. А в России доверчивое прекраснодушие Дидро потерпело серьезный урон.

Екатерина, однако, продолжала перед лицом Парижа и всей Европы выказывать Дидро знаки благоволения. Ему было уже трудно подниматься на пятый этаж к своей библиотеке. Она распорядилась снять для него великолепную квартиру на улице Ришелье, надо полагать, в бельэтаже. Правда, пожить ему там не пришлось: переезд состоялся за несколько дней до его смерти.

19 февраля 1784 года у Дидро началось кровохаркание. Врачи поставили диагноз: водянка легких.

Потом его еще и разбил паралич. В часы, когда ему становилось лучше, он подолгу говорил о классической поэзии, переводил Горация и Вергилия.

Когда Дидро слег, началось то же, что бывало всегда, когда смертельно заболевал безбожник. К нему стал захаживать кюре его прихода. Умирающего надо было уговорить отречься от материалистических, антирелигиозных убеждений. С другими безбожниками подобная тактика церковников нередко приводила к успеху: силы умирающего вольнодумца слабели, да тут еще на него начинали влиять родные, грешник приносил покаяние, причащался святых даров и сходил в могилу, примирившись с богом.

Поначалу кюре могло показаться, что ему удастся вернуть Дидро в лоно католической веры. Больной встречал его добродушно, говорил о добрых делах, которые тот уже совершил, и напоминал о тех, что его ждут. Пришел и такой день, когда священник и застарелый безбожник словно бы договорились по некоторым вопросам морали. Тогда кюре осторожно сказал: было бы хорошо, если бы Дидро опубликовал эти свои мысли, присовокупив к ним отречение от прежних своих трудов. Какое бы прекрасное впечатление это произвело на общество!

Но маневр его не удался. Дидро ответил, что подобный поступок его был бы бесстыдной ложью.

Накануне его смерти у постели больного собралось несколько друзей. Разговор зашел о том, какими путями идут к философии. Дидро сказал:

— Первый шаг к философии — неверие. — Это последние слова его, которые дошли до нас. Их приводит мадам Вандель в своих воспоминаниях.

На следующий день, 31 июля 1784 года, он еще разговаривал со своим врачом. Но когда сели обедать и Анна Туанета о чем-то спросила мужа, больной не ответил. Так тихо и незаметно умер Дени Дидро.

* * *

Екатерина и здесь не оставила своих попечений о нем. Вдове своего философа и библиотекаря импе-

ратрица назначила пенсию в двести ливров ежегодно и распорядилась выплатить за пять лет вперед.

И похоронная запись в церковной книге указывала на то, как связан был покойный французский философ с императрицей России: «1784 года, августа первого дня, в этой церкви погребен Дени Дидро, семидесяти одного года, член Берлинской, Стокгольмской, Санкт-Петербургской академий наук, библиотекарь ее императорского величества Екатерины II, умерший вчера, июля в тридцать первый день». Под этой надписью словно было похоронено и литературное наследство Дидро.

Екатерина держала себя как душеприказчица и духовная наследница Дидро. И в какой же обиде за это на нее история, и как досадно, что никто не смог этому противостоять! Дурную роль сыграл Гримм, в нем все меньше и меньше оставалось от энциклопедиста и все больше и больше от посланника и наперсника коронованных особ.

Екатерина не только востребовала купленную ею библиотеку, но уже 5 марта 1785 года писала Гримму: «Добудьте для меня все произведения Дидро. Вы заплатите за них, что потребуют. Конечно, они не выйдут из моих рук и никому не повредят».

Почему-то этой последней фразе не придавали рокового значения, которое в ней заключено. Екатерина и в самом деле, получив рукописи Дидро вместе с его библиотекой, не выпустила их из своих рук и они «никому не повредили», то есть не были опубликованы еще много лет.

Среди рукописей находилась и сафьяновая тетрадь с «Замечаниями на «Наказ». И она была так же захоронена. Только через много лет «Замечания», так же как и «Записки», составленные Дидро для Екатерины в напоминание об их беседах, были обнаружены и опубликованы. Сама история их розысков и публикации очень интересна. Она подробно изложена в статьях П. И. Люблинского в X томе русского Собрания сочинений Дидро.

Пока же дидеротист Морис Турне в 1899 году не опубликовал «Записок», единственным источником

сведений о беседах Дидро и Екатерины были мемуары французского посла в Петербурге графа Сегюра, где он рассказывает об этих беседах со слов самой императрицы. Но уже и этот рассказ свидетельствует о непроходимой пропасти между Дидро и Екатериной. Сегюр записал с ее слов: «Я подолгу и часто беседовала с Дидро, но более ради любопытства, чем ради пользы». Это было правдой. Рассказывает Сегюр и о том, что Екатерина якобы признала планы Дидро прекрасными для бумаги, которая все терпит, но непригодными для «человеческой шкуры, над которой работает она». А вот это было уже ложью, потому что императрица боялась и его планов, изложенных на бумаге.

В 1785 году она отреклась от Дидро, а несколько позже приказала вынести из кабинета бюст своего обожаемого учителя Вольтера. Дидро этого не узнал, но мог предвидеть.

А как обошлась Екатерина II с библиотекой Дидро? Весьма неуважительно, чтобы не сказать — варварски. Книги не были выделены в особый фонд, а каталог таинственно исчез. По сей день в ленинградской Публичной библиотеке имени Салтыкова-Щедрина — книги Дидро были переданы туда, когда она была еще Императорской, в шестидесятых годах XIX века — не удалось их собрать. Обнаружены пока только отдельные книги. Библиотеке Вольтера, приобретенной Екатериной после его смерти, повезло больше.

Не философом и библиотекарем ее императорского величества остался он в веках.

Людовик XV помешал Дидро стать «бессмертным», то есть французским академиком, но не смог ему помешать стать бессмертным, то есть живущим и после смерти.

«Если кто-нибудь посвятил всю свою жизнь служению «истине и праву» (в хорошем смысле этих слов), то именно Дидро», — писал Энгельс. Дидро был убежден, что человечество движется вперед, и помогал этому движению.

«Не требуется большого остроумия, чтобы усмотреть связь между учением материализма о прирожденной склонности к добру, о равенстве умственных способностей людей, о всемогуществе опыта, привычки, воспитания, о влиянии внешних обстоятельств на человека, о высоком значении индустрии, о нравственном праве на наслаждения и т. д. и коммунизмом и социализмом».

Что красноречивее этих слов Маркса может определить историческое направление усилий Дидро и его друзей из энциклопедической республики?

КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

I. НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Сочинения Дени Дидро, письма, статьи «Энциклопедии».

Дени Дидро, Сочинения и письма в 10 томах. «Academia» — Гослитиздат, 1935—1947.

Дени Дидро, Монахиня. С предисловием Вл. Блюменфельда. Гослитиздат, 1939.

Дени Дидро, Избранные сочинения. М., Гослитиздат, 1951.

Дени Дидро, Монахиня, Племянник Рамо, Жак-фаталист. С предисловием К. Н. Державина. Гослитиздат, 1961.

Дени Дидро, Избранные атеистические произведения. Со вступительной статьей К. Н. Момджяна «Атеизм Дидро». М., изд-во АН СССР, 1956.

«Энциклопедия» Дидро.

«Статьи о философии и частях ее из Энциклопедии, переведенные надворным советником Яковом Козельским». Спб., 1770.

«О государственном правлении и разных родах его из Энциклопедии, переводил Иван Туманский, Государственного Сената переводчик». Спб., 1770.

Литература о Дидро

Т. Барская, Дени Дидро. М., «Искусство», 1962.

В. П. Бильбасов, Дидро в Петербурге. Спб., 1884.

В. Блюменфельд, Драматическая теория Дидро. В сб.: «Ранний буржуазный реализм». Л., Гослитиздат, 1936.

В. П. Волгин, Дидро и «Энциклопедия». В кн.: «Развитие общественной мысли во Франции в XVIII веке». М., изд-во АН СССР, 1958.

Д. Гачев, Эстетические взгляды Дидро. М., Гослитиздат, 1961.

Л. Дюкро, Энциклопедисты. Перевод с французского. Спб., 1906.

А. И. Казарин, Экономические воззрения Дени Дидро. М., изд-во соц.-экономлитературы, 1960.

Он же, Учение Дидро о государстве и праве. М., Гос. изд-во юридической литературы, 1960.

И. К. Луппол, Дени Дидро. Очерк жизни и мировоззрения. М., изд-во АН СССР, 1961.

Джон Морлей, Дидро и энциклопедисты. Перевод с английского. Спб., изд-во Солдатенкова, 1887.

II. НА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ

Сочинения Дени Дидро, письма, «Энциклопедия»

Oeuvres complètes de Diderot, publiées par J. Assézat et M. Tourneux, 20 vol. Paris, 1875—1879.

Oeuvres de Diderot, publiées par André Billy. Paris, 1953.

Lettres de Denis Diderot à Sophie Volland, publiées par André Babelon. Paris, 1938.

Lettres de Denis Diderot publiées par André Babelon, 2 vol. Paris, 1932.

Diderot Denis, Correspondance, recueillie, établie et annotée par Georges Roth. 6 v. v. Paris, 1953—1961.

Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers 28 vol., Paris, 1751—1772.

Correspondance littéraire, philosophique et critique par Grimm, Diderot, Raynal, Meister etc., publiée par Maurice Tourneux. 16 v. v. Paris, 1882.

Литература о Дидро. Мемуары, публикации, исследования, монографии, книги, статьи

Avezac-Lavigne C., Diderot et la société du baron d'Holbach. Paris, 1875.

Billy André, Diderot. Paris, 1932.

Billy André, Vie de Diderot. Paris, 1948.

Bonnefon Paul, Diderot, prisonnier à Vincennes. Revue d'Histoire Littéraire de la France juillet — septembre 1899.

Journal du marquis d'Argenson, éd. par Armande Brette. Paris, 1878.

Dédeyan Charles, L'Angleterre dans la pensée de Diderot. Paris, 1958.

Dieckmann Hubert, Cinq lecons sur Diderot. Génève — Paris, 1959.

Memoires et correspondance de madame d'Epinay, éd. par Paul Boiteau. Paris, 1818.

Friedmann Alice, Diderot and Sterne. New York, 1955.

Gautier Hubert, Le père de Diderot. Moulins, 1933.

Löpemann Martin, Der junge Diderot. Berlin, 1934.

Luc Jean, Diderot. Paris, 1938.

Marcel F., chanoine, Diderot écolier, la légende et l'histoire. Revue d'histoire littéraire de la France, novembre, 1927.

Marcel F., chanoine, Une lettre du père de Diderot à son fils, détenu à Vincennes (3 septembre 1749). Revue des questions historiques, 1 juillet 1928.

Mémoires de Marmontel, publiés par Maurice Tourneux. Paris, 1896.
May Georges, Diderot et «la Religieuse» Étude historique et littéraire. Paris, 1954.
Mayer Jean, Diderot — homme de sciences. Rennes, 1959.
Naigeon J.-A., Mémoires historiques et philosophiques sur la vie et les ouvrages de D. Diderot. Paris, 1821.
Rosenkranz Karl, Diderots Leben und Werke. Leipzig, 1866.
Seillière Ernest, Diderot. Paris, 1944.
Mémoires de madame Vandeul. Oeuvres complètes de Diderot, publiées par J. Assézat et M. Tourneux, v. I, Paris, 1875.
Venturi Franco, Jeunesse de Diderot, traduit de l'italien. Paris, 1939.
Mémoires et Journal de Jean-Georges Willes, graveur du roi avec préface par Edmond et Jules de Goncourt. Paris, 1837.
«Europe», 1963, 1—2. Paris (номер журнала, посвященный Дидро).

СОДЕРЖАНИЕ

Часть первая

Часть вторая

Часть третья

Часть четвертая

Акимова Алиса Акимовна

ДИДРО. М., «Молодая гвардия», 1963.

480 с. с 25 л. илл. («Жизнь замечательных людей». Серия биографий. Вып. 12(368)).

8И(Фр.)

Редактор *М. Брухнов*

Серийная обложка *Ю. Арндта*

Оформление *В. Сурикова*

Художественный редактор *А. Степанова*

Технический редактор *Л. Лясникова*

А07276. Подп. к печ. 19/XII 1963 г. Бум. 84×108¹/₃₂. Печ. л. 15(24,6) + 25 вкл. Уч.-изд. л. 23 l.

Тираж 65 000 экз. Заказ 1229. Цена 91 коп.

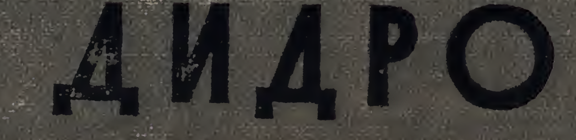
Типография «Красное знамя» изд-ва «Молодая гвардия». Москва, А-30, Сущевская, 21.

91 коп.

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ

ЖЗЛ





ДИДРО

А. Акимова